

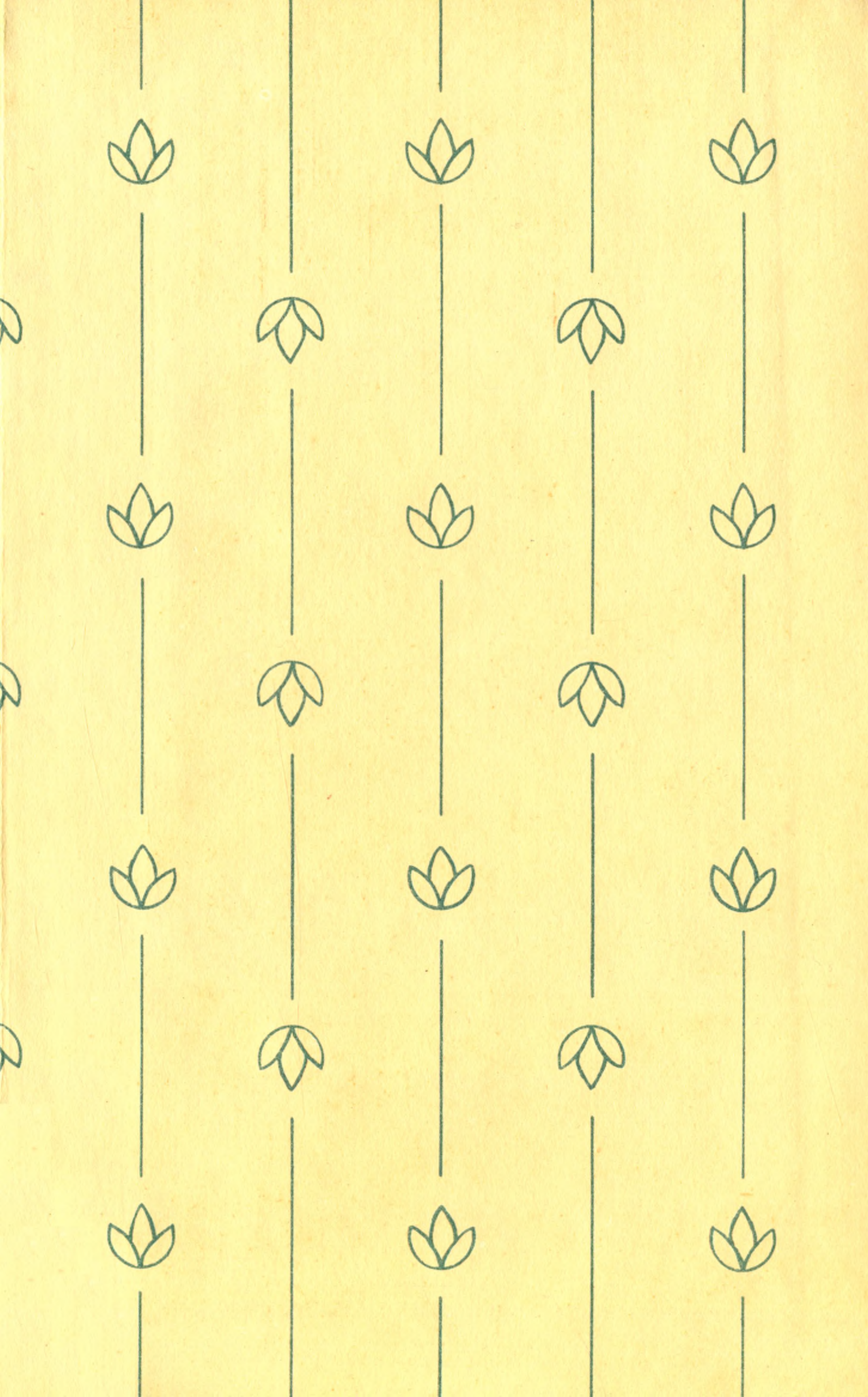
Н. Н. ГУСЕВ · ДВА ГОДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ



# Н. Н. ГУСЕВ

# ДВА ГОДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ







# СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО

С. А. МАКАШИНА

С. И. МАШИНСКОГО

В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

# Н. Н.
# ГУСЕВ

## ДВА ГОДА
## С Л. Н. ТОЛСТЫМ

## ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
## В ЧЕРДЫНЬ

## ОТРЫВОЧНЫЕ
## ВОСПОМИНАНИЯ

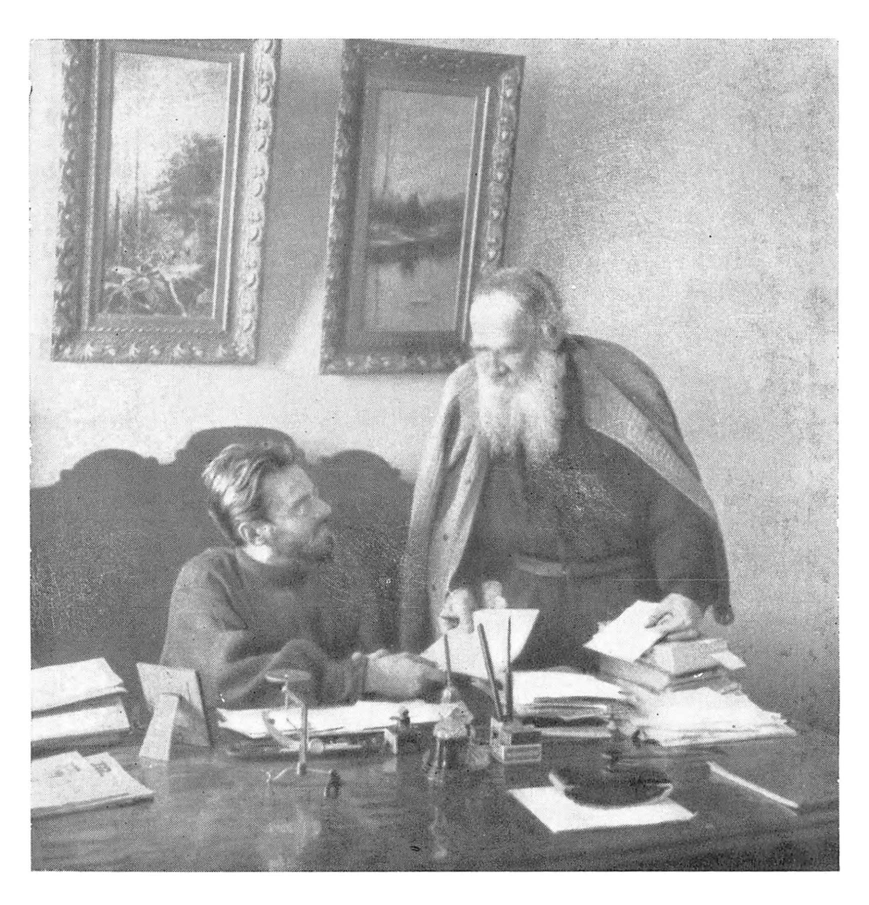
## ЛЕВ ТОЛСТОЙ –
## ЧЕЛОВЕК

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

*Составление, вступительная статья
и примечания*
А. И. ШИФМАНА

*Оформление художника*
В. МАКСИНА

Г $\frac{0722\text{-}226}{028(01)\text{-}73}$ 35-73



Л. Н. Толстой и Н. Н. Гусев в ремингтонной.
27 марта 1909 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова

# ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

## I

По словам Горького, А. П. Чехов однажды высказал сожаление, что рядом с Львом Толстым нет человека, который записывал бы и сохранил для потомства мысли великого писателя, его суждения и высказывания на самые разные темы. «После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут» [1], — сокрушался он. К счастью, это опасение было напрасным. Слова и мысли Толстого — в разное время и с разной степенью полноты и точности — записывали многие его близкие и друзья: С. А. Толстая, В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, П. А. Сергеенко, А. Б. Гольденвейзер, М. С. Сухотин и некоторые другие.

В последнее десятилетие жизни писателя записи вели его секретари — В. А. Лебрен, Д. П. Маковицкий, В. Ф. Булгаков и Н. Н. Гусев, оставившие подробные дневники о его жизни, творческой работе и думах, общении с современниками.

Годы приобщения молодого Гусева к духовному миру Толстого были временем, когда творчество писателя получило всемирное признание, а его обличающий голос звучал особенно громко и проникновенно. Только что вышел в свет роман «Воскресение», — им зачитывалась вся Россия. Самодержавно-церковная реакция сотворила над Толстым позорный акт отлучения от церкви, и это еще выше подняло его популярность в стране. В преддверии первой русской революции Толстой писал статью за статьей, в которых беспощадно обнажал порочность, жестокость господствующего строя.

---

[1] М. Горький. Собр. соч., т. 14. М., «Художественная литература», 1951, с. 281.

Его влияние на умы молодежи было очень велико. Им зачитывались все, кто не мог мириться с гнетом царизма, кто искал выхода из общественного кризиса. Заинтересовался Толстым и рязанский гимназист Николай Гусев.

Сын ремесленника, внук крепостных, Н. Н. Гусев рано увлекся идеями Толстого. В 1903 году, совсем еще юношей, он вступил в переписку с ним и тогда же впервые посетил Ясную Поляну. Его серьезные умственные интересы и незаурядные способности обратили на себя внимание Толстого, и он приблизил его к себе. Так открылся для Гусева путь в дом писателя.

В 1907 году Гусев поселился в Ясной Поляне в качестве секретаря Толстого и сразу же «вписался» в близкое окружение писателя. Для яснополянской обстановки тех лет это была типичная фигура — серьезный, способный и образованный молодой человек, ищущий ответа на проклятые вопросы действительности, разделяющий убеждения Толстого. Такими в те годы были и 19-летний гимназист В. А. Лебрен, и 20-летний студент В. Ф. Булгаков, и другие юноши, которые, не задумываясь, пренебрегали своей будущей карьерой ради счастья жить в общении с глубоко почитаемым мыслителем и художником. Толстой любил эту честную, преданную ему молодежь и порою раскрывался перед нею с большей душевной щедростью, чем перед своими старыми последователями. среди которых, он знал, было немало людей неискренних, льстивых и даже корыстных. Близким Толстому оказался и Николай Гусев.

Поселившись в Ясной Поляне, Гусев принял на себя значительную долю «письменного» труда, высвободив от него Толстого и его близких. По сути говоря, он был первым настоящим секретарем Толстого, ибо все предыдущие помощники писателя: В. А. Лебрен, Х. Н. Абрикосов, П. А. Буланже, Д. П. Маковицкий, как и жена и дочери Толстого, — лишь эпизодически помогали ему. Гусев же по поручению Толстого отвечал на письма его многочисленных корреспондентов, подбирал литературу, необходимую писателю для осуществления его замыслов. Порою Толстой диктовал Гусеву, знавшему стенографию, наброски своих будущих статей, и эти быстро расшифрованные записи попадали на его стол для дальнейшей работы. Вместе с другими Гусев снимал копии с рукописей, вел переписку с редакциями, рассылал книги Толстого, выполнял десятки других просьб писателя. Вот почему Толстой имел все основания отозваться о своем молодом секретаре: «Помощник и работник он бесценный» [1].

---

[1] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 89. М., Гослитиздат, 1958, с. 99. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием лишь тома и страницы.

Среди обязанностей Гусева, принятых им на себя добровольно, была одна, тайная, сокрытая даже от Толстого, но чрезвычайно важная, — опровержение в печати клеветы на писателя и правдивое освещение жизни в Ясной Поляне. Сам Толстой неизменно придерживался правила — не отвечать на грязные инсинуации, не выступать в печати с полемикой. К этому он призывал и близких. Однако появлявшиеся в реакционной печати измышления бывали столь хитроумны и гнусны, что они порою ставили в тупик даже друзей и доброжелателей Толстого. В Ясную Поляну то и дело поступали запросы близких людей по поводу очередных выпадов черносотенной прессы. Н. Н. Гусев, по собственному почину, тайно от всех, под разными псевдонимами, направлял в наиболее влиятельные газеты корреспонденции, в которых твердо и решительно опровергал низкую ложь и восстанавливал истину. И эта «служба правды» имела большое значение как для читателей, так и для самого писателя и членов его семьи. Кроме того, Гусев иногда, с ведома Толстого, по очень важным вопросам — например, об отношении Толстого к аресту его единомышленников, к его юбилею — направлял в газеты «Открытые письма» за своей подписью, и они тоже играли важную общественную роль.

Замечательными качествами Гусева-секретаря были скромность, трудолюбие, готовность оказывать необходимую писателю помощь. Стоило Толстому проявить интерес к какой-нибудь книге или автору, как через некоторое время он находил на своем столе эту книгу или даже собрание сочинений упомянутого им автора.

Н. Н. Гусев прожил долгую жизнь, целиком отданную изучению наследия Толстого. Арестованный в 1909 году в Ясной Поляне за распространение запрещенных сочинений Толстого и сосланный в Чердынь, Гусев по возвращении вскоре после смерти писателя посвятил себя изданию его произведений, особенно тех, какие не увидели света при жизни. К тому времени еще не были изданы повести «Хаджи-Мурат», «Отец Сергий», рассказы «Дьявол», «Фальшивый купон», «После бала», «Алеша Горшок», драма «Живой труп» и другие произведения, дневники. Н. Н. Гусев вместе с другими друзьями писателя подготовил и издал эти сочинения. Тогда же он написал очерк «Из Ясной Поляны в Чердынь», в котором рассказал историю своего ареста, ссылки и об участии, проявленном к нему Толстым. Позднее Гусев опубликовал и другие свои воспоминания о Толстом.

С момента возвращения из ссылки и до последнего дня своей жизни Н. Н. Гусев вел неутомимую научно-исследовательскую работу, выступая как биограф Толстого, собиратель, текстолог,

комментатор и исследователь его творчества. Особенно велики его заслуги в издании уникального Полного собрания сочинений Толстого, являющегося гордостью нашей культуры. Все 90 томов этого издания прошли через руки Н. Н. Гусева — текстолога, рецензента, консультанта и неизменного — на протяжении тридцати лет — члена редакционной комиссии.

Многолетняя работа над изданиями сочинений Толстого, неутомимая деятельность по собиранию и изучению наследия писателя помогли Н. Н. Гусеву создать капитальные биографические труды о Толстом. Уже его первые крупные исследования — «Молодой Толстой» (1927) и «Толстой в расцвете художественного гения» (1927) — по-новому осветили многие события жизни, литературной работы писателя. Вслед за этими трудами, в 1936 году, появилась составленная Н. Н. Гусевым «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», впоследствии (1958) значительно дополненная многими новыми материалами.

В начале 1940-х годов Гусев приступил к работе над многотомной биографией Толстого. В течение четверти века он написал четыре обстоятельных тома «Материалов к биографии Л. Н. Толстого», охватывающих жизненный путь писателя от рождения до 1886 года. Последний из них автор завершил за два месяца до смерти. Гусев умер в 1967 году восьмидесяти шести лет. Согласно завещанию его богатейший архив и личная библиотека поступили в распоряжение Государственного музея Л. Н. Толстого.

Заметное место в обширной мемуарной литературе о Толстом занимает дневник Гусева «Два года с Л. Н. Толстым». Проводя много времени в обществе Толстого, молодой секретарь каждодневно записывал его разговоры, беседы, которые с его участием велись в Ясной Поляне, фиксировал события, которые там происходили. Из этих записей и составился этот дневник, отличающийся исключительной точностью и достоверностью. В нем нашла отражение многогранная и сложная связь писателя с революционной эпохой, со страждущим под игом самодержавия народом, с различными идейными течениями и эстетическими направлениями той поры, со многими его современниками. И хотя сам Гусев, будучи преданным последователем религиозно-нравственного учения Льва Толстого, стремился прежде всего запечатлеть облик «учителя», проповедника новой философии жизни, и гораздо менее обращал внимание на «житейские мелочи», все же его дневник вобрал в себя интересный и значительный материал о Толстом и дает яркое и впечатляющее представление о могучей личности прославленного гения русской литературы.

## II

Дневник Н. Н. Гусева охватывает два предпоследних года жизни Толстого — с сентября 1907 года по август 1909 года, когда победившая в России реакция жестоко расправлялась с народом, мстя ему за недавние революционные выступления, подавляя в стране всякие проблески свободной мысли.

Пристально и заинтересованно следит Толстой за происходящим в стране, живо и активно на все реагирует. Отстраняясь на словах от «политики», писатель весь погружен в нее. Как это явствует из воспоминаний Гусева, он обсуждает события, происходящие в русской действительности, и особенно пристрастно — все, что имеет непосредственное отношение к судьбе народа: положение в деревне, земельный вопрос, деятельность партий, дебаты в Думе, новые правительственные акции. Стремясь все это осмыслить «снизу», с точки зрения «ста миллионов земледельческого народа», Толстой, дабы услышать живые голоса эпохи, ищет общения с простым людом — с крестьянами, с рабочими, с рядовыми революционерами. В этом смысл описанных Гусевым встреч Толстого с крестьянскими парнями села Ясенки, с тульскими рабочими-печатниками, с молодежью деревни Телятинки, с десятками людей, которые нескончаемым потоком проходили через Ясную Поляну. В этом также и смысл огромной переписки, которую писатель вел в эту пору.

Его ощущение глубокого общественного кризиса, крайнего неблагополучия всего общественного строя усилилось особенно в связи с очевидными переменами в сознании угнетенной части общества. «Совершается что-то важное, какой-то духовный процесс, — как всегда что-то новое, небывалое...» — услышал от него его неутомимый летописец. Толстой с сочувствием наблюдает проявление протеста народа. Он сознает, что это уже не просто жалобы на бедность, а глубокое понимание народом несправедливости, каждодневно совершаемой над ним. «Тут боль не в желудке, а в сердце»; «совсем другой народ стал... все недовольны своим положением, раньше этого не было», — делился Толстой своими наблюдениями. А на возражение, будто недовольство и раньше было, но его громко не выражали, Толстой убежденно ответил: «Не сознавали своего положения. А теперь сознают, что их положение несправедливое. Слово можно удержать, а сознание не уйдет назад». «Люди думают — это не стадо баранов». Свою эпоху Толстой воспринимает как эпоху революционную, эпоху зреющих коренных перемен, реальных и необходимых. И он не перестает размышлять над проблемой революции как средства решения больных вопросов времени, над ее «законностью».

Если еще совсем недавно, в 1905 году, Толстой в одинаковой мере порицал и правительство и революционеров за «насилие», то теперь он отдает себе отчет в том, что такой подход был неверен. В январе 1908 года он заносит в записную книжку следующую примечательную запись: «Гусеву сказать о том, что насилие революционеров и правительства не равное. Одно сознательное, другое бессознательное. Насилие правительства и воров одинаковое, но насилие революционеров особое» (*ПСС*, т. 56, с. 307). И хотя Толстой по-прежнему отрицает всякое «насилие», он теперь совершенно иначе относится к участникам освободительного движения. Гусев сохранил для нас одно существенное суждение писателя: «Это лучшие люди, — те... которые хотят сбросить эту тяжесть. Другие просто сидят спокойно: тяжесть — и пусть тяжесть, а я буду пить чай и есть пирожное». Из многих дневниковых записей мы узнаем, как заступался Толстой за этих «лучших людей», за революционеров Г. Н. Ветвинова, А. В. Юшко и других, которым угрожали суровые приговоры. Он добивается освобождения из-под ареста молодого крестьянина Лисицына, приговоренного к году крепости за оскорбление царя. Толстой переписывается с заключенными в тюрьмах, сосланными «бунтовщиками» — М. А. Моисеенко, Ф. А. Мищуровским, А. Апохиным, К. Романюк-Петровой и другими, оказывает им всевозможную помощь. Некоторым из них он тайно посылает деньги.

Заметно меняется в эти годы и тон высказываний Толстого об участниках революции. Порицая революционеров за «насилие», он и раньше не забывал отмечать их самоотверженность, преданность народному делу. Теперь он с еще большей готовностью отдает дань их мужеству и благородству. «Сколько за последние годы было совершено дел самоотвержения революционерами! — восхищается он. — Как бы это восхвалялось, если бы было в патриотическом (то есть в официальном, казенно-шовинистическом. — *А. Ш.*) духе».

Особенно привлекает Толстого, судя по записям Гусева, непреклонная убежденность революционеров, их готовность пойти за свои идеалы в тюрьму, в ссылку, на виселицу. В этих случаях он даже готов мириться с их «жестокостью»: «Какая же тут жестокость, когда человек идет на верную смерть...» Восхищает его и мужество тех молодых людей, кто, по его зову, отказывается служить в царском войске и отбывает за это наказание в тюрьмах и крепостях. «Это не то, что читать лекции перед дамами, а сидеть в тюрьме», — восклицает он с гордостью.

В дневнике Гусева мы встретим и слова осуждения Толстого в адрес революционеров, особенно в связи с террористиче-

скими актами. Дело в том, что многие из так называемых революционеров, с которыми Толстому пришлось общаться или читать о них в газетах, были эсерами, стоявшими на платформе индивидуального террора. Их приверженность к шумным эффектам, их громкие «покушения» и «экспроприации» чаще попадали на страницы газет, нежели неприметные, но единственно плодотворные дела истинных революционеров, самоотверженно работавших в массах над приближением торжества идеалов социализма. Толстой не очень разбирался в различиях между партиями, между их программами и платформами, и часто свои упреки, предназначенные террористам-экспроприаторам, направлял в адрес «революционеров» вообще. Но даже и при этом знаменательно его сочувствие участникам революции, стремившимся устранить ту вековую несправедливость по отношению к неимущим классам, которая так мучила и его самого.

Толстой этих лет необычайно остро чувствует вину — свою и господствующих классов — перед народом, он убежден в законности народного недовольства. «У нас, — говорит он, — столько грехов по отношению к людям. Мы все, сидящие в этой комнате, пользуемся тем, что сами не сделали». «Мало нас ругают, мы много больше стоим». «Если поступить по закону око за око, то они еще очень милостивы». «Я бы на их месте плевал бы, когда видел этих лошадей и эти огромные парки, когда у него нет кола, чтобы подпереть сарай...» Толстой целиком на стороне народа, находит вполне оправданным и его протест, и действия самоотверженных борцов за его интересы.

## III

Резким контрастом земным, реальным представлениям Толстого об эпохе, о времени, о революции кажутся записанные Гусевым суждения писателя о боге, о вере, о душе, о «всеобщей любви» и нравственном самоусовершенствовании, к которым молодой Гусев относился весьма апологетически, не сознавая еще их беспочвенности и практической несостоятельности. «Разум» Толстого, по словам Ленина[1], тесно переплетен с его «предрассудком», с тем кругом иллюзорных и реакционных идей, которые мы именуем толстовщиной.

Сам Толстой, как записал Гусев, решительно отрицал наличие у него цельной собственной доктрины. «Толстовства никакого не существует, — говорил он своим последователям, — есть

---

[1] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 23.

вечные истины, если что сделал Толстой, так только применил эти вечные истины к современной жизни». В действительности же доктрина — хотя и не цельная, полная внутренних противоречий — у него была, и какая-то часть общества испытывала ее влияние.

Краеугольный камень учения Толстого — принцип всеобщей любви и непротивления злу насилием. Этот принцип, следование которому, по мнению писателя, является единственно верным путем к социальному обновлению общества, Толстой убежденно отстаивает в беседах с людьми. «Причина угнетения народа, — утверждает он, — находится в самом народе, а не вне его; сам народ поставил себя в такое положение, отступив от истинной веры». Столь же горячо и настойчиво, по свидетельству Гусева, он проповедовал абстрактную идею добра, всеобщей любви, то есть те духовные ценности, которые, по его мнению, утрачены современным человечеством, но без которых оно не выйдет из социального кризиса.

Какое же содержание вкладывает Толстой в понятия «бог», «вера», «непротивление»?

В идеалистическом мировоззрении Толстого присутствует понятие о боге как высшей духовной силе, которой человек должен служить во имя своего и общего блага. Толстой утверждает превосходство религиозного мышления над научным, ставит веру выше рационального знания. И поэтому вполне оправдано предостережение Ленина, что Толстому «религии спускать нельзя» [1].

Действительно, читая дневник Гусева, мы на каждом шагу встречаемся с поразительными противоречиями мысли писателя. Толстой-бунтарь сочувствует крестьянской «жакерии», он оправдывает захват крестьянами помещичьих земель; и он же искренне, со всей убежденностью, предлагает крестьянам села Ясенки «любовное», «божеское» воздержание от «насилия». Толстой страстно обличает политику царизма. Он то и дело загорается ненавистью к палачам и насильникам: «Во мне в восемьдесят лет, слыша о таких приговорах, поднимается злоба и ненависть...» И он же, во имя своего «учения любви», вызывает в себе чувство жалости и сострадания к «заблудшему» Столыпину, к «жалкому» Победоносцеву и другим верным слугам правительства. Даже к гнусной черносотенке-изуверке, приславшей ему веревку для самоубийства, он обращается с умиленными словами христианского увещевания и всепрощения... Поистине,

---

[1] Из письма к А. М. Горькому от 3 января 1911 г. — В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 48, с. 12.

как пишет В. И. Ленин, в сознании писателя «самый трезвый реализм» уживался с проповедью «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии...» [1].

И все же понятие Толстого о боге значительно отличается от догматического, церковного. «Понятие о боге — хозяине мира мне чуждо. Для меня есть только понятие бога в человеке», — записывает его слова Гусев. Бог для Толстого — преимущественно морально-этическая категория, синоним всеобщей любви, олицетворение высшей совести, которой должен руководствоваться человек, чтобы разрешить назревшие общественные конфликты, создать справедливый строй жизни. И именно в этом смысле Толстой утверждает: «То, что люди называют богом, это есть любовь»; «Где любовь, там и бог» (так назван один из его народных рассказов).

Так же обстоит дело с толстовской проповедью непротивления злу насилием. Писатель в эти годы все чаще сомневается в действенности этого принципа — жизнь России этих лет доставляет ему немало тому подтверждений, — и все же он, по словам Гусева, продолжает отстаивать свою идею и подкрепляет ее все новыми доводами: «Выход я вижу только в том, чтобы делать то, что сейчас, нынче, завтра требует от меня любовь». В своих статьях и беседах с посетителями Толстой утверждает, что можно победить социальное зло «силой любви», верой в добро, апелляцией к «душе» и «совести» насильника. И эта проповедь не только наивна, но и реакционна, поскольку морально разоружала массы в их борьбе с угнетателями. Достаточно напомнить, что в период революции 1905—1907 годов толстовская проповедь непротивления злу насилием противостояла революционным призывам к активной борьбе с царизмом и, по словам Ленина, была «серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании» [2].

Вместе с тем, — и мы это также видим по дневнику Гусева, — Толстой отнюдь не стоит за пассивную покорность угнетателям. Он не призывает к покорности «злу», не исповедует культа безответного страдания, как это часто приписывали ему.

В борьбе с царизмом, с казенной церковью, с произволом «власть имущих» он выступает как ярый противленец, как непримиримый борец против зла и несправедливости. Свидетельство тому — публицистика этих лет, его прямые нападки на «царя и его помощников». Недаром правительственные круги изыскивают меры расправы с Толстым, а «жандармы во Христе»,

---

[1] В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 209.
[2] Там же, с. 213.

вроде знаменитых мракобесов Гермогена, Амвросия и Иоанна Кронштадтского, предают его анафеме и натравливают на него народные массы.

Таким образом, дневник Гусева наглядно подтверждает ленинские слова о кричащих противоречиях взглядов Толстого: «Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении злу», привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гг. Борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс» [1]. Толстой, при всем бесстрашии мысли, не смог отречься от своего учения, увидеть его слабость, не смог пойти вместе с передовыми борцами за народное дело, и в этом объективно заключалась его духовная трагедия, разлад с эпохой.

Острая вражда Толстого к церкви подробно освещена в его статьях, дневниках и письмах, в мемуарах многих его друзей. Н. Н. Гусев прибавляет к этому ряд новых выразительных штрихов. Таковы, например, его записи о посещении Ясной Поляны тульским архиереем Парфением, о реакции Толстого на церковные махинации с так называемыми «мощами» княгини Анны Кашинской и другие.

Проповедуя идею бога, бога любви, Толстой решительно отвергает казенную церковь, со всеми ее установлениями и канонами. На эту тему, как свидетельствует Гусев, он яростно спорит с гостями яснополянского дома, особенно с посещающими его церковниками. «Для меня, — говорит он, — всякая церковь есть ложь, потому что человек не может быть непогрешимым. Из-за этого, из-за того, что были люди, признававшие себя непогрешимыми, были войны, пролито столько крови...»

Особенную ярость Толстого вызывает утверждение церковников, будто они обладают абсолютной истиной. «Мне вот восемьдесят лет, и я до сих пор только ищу истину...» Что же касается церковных догматов о непорочном зачатии, о воскресении Христа, о его вознесении на небеса и т. п., то эти мифы вызывают у него насмешливое презрение. «Если бы мне сказали, что я сейчас здесь, на этой аллее, увижу воскресшего Христа, я бы не поинтересовался...» Толстой и в последних своих статьях разоблачал казенную церковь как верную служанку царизма, — в его лице церковная реакция имела непримиримого и могущественного врага.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

## IV

Записи Гусева содержат много суждений Толстого по актуальным для того времени социальным проблемам, которые глубоко задевали писателя.

Все статьи и даже домашние беседы Толстого этих лет наполнены одной жгучей темой — темой народной нужды, бедственного положения крестьянских масс: «Какая ужасная жизнь! Бедность, развращенность...»; «Проезжал мимо мужиков, которые разбивают камень. Какая трудная работа!»; «Я никогда не чувствовал так ярко несправедливость крепостного права, как чувствую теперь несправедливость земельной собственности. Эти цветы, эти луга — и рядом с ними крестьянская скотина на пару, где уж ничего нет...»

Народную нужду Толстой воспринимает не только как объективное тяжкое явление, но и как личное горе. Гусев рассказывает: «Вчера Лев Николаевич... чувствовал какую-то подавленность. Несколько раз и за обедом и вечером заговаривал о бедности народа. «Ах, нищета, нищета!» — повторял он. В другой раз, побывав на деревне, Толстой сказал с тоской в голосе: «Какая там беднота!.. Как стыдно так жить!»

Главным бедствием деревни Толстой считает безземелие. Ни одно из требований крестьянства он не отстаивает с такой силой и убежденностью, как требование о ликвидации земельной собственности. Во всем позднем творчестве писателя явственно слышен голос миллионов русских мужиков, ограбленных помещиками и кулаками, разоренных дотла, согнанных с земли и обреченных на «ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских „хитровцев"» [1].

Крестьянская нужда, безземелие, бесправие, как это явствует из дневника, — постоянный предмет бесед писателя с его гостями. О земле он расспрашивает всех встречающихся ему или посещающих его крестьян — яснополянских и богородицких мужиков, казака с Дона Д. М. Сехина, телятинских и ясенковских парней, косцов в поле и других. О земле — вся его публицистика этих лет, вся его переписка с крестьянами. Но, отстаивая демократические интересы «стомиллионного земледельческого народа», Толстой полагает возможным решение этой насущной проблемы вне связи с более широкими задачами русской революции, без коренного политического переворота в стране. Сплошь и рядом он «отвлекается» от революционных требований рабочего класса, от политических требований самого крестьянства и признает их

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 40.

ненужными. Даже отмену частной собственности на землю он мыслит как мирную реформу, осуществляемую сверху, несмотря на все свое враждебное отношение к «власти».

Русское самодержавие, начиная с 80-х годов, имело в лице Толстого могучего противника. В последний период жизни под влиянием страшных преступлений царизма, его террористической политики, отношение писателя к господствующему режиму еще более непримиримо: «Правительство более всего виновато...»; «Правительство старается насилием подавить революцию, — оно ничего не успеет»; «Сажая в острог, они создают злейших врагов из тех же самых людей, кого сажают; убивая — из новых». Толстой с отвращением отзывается о Николае II, Столыпине, Победоносцеве, именуя их не иначе как «шайкой разбойников».

С особенной силой обличение российской государственной машины проявляется в выступлениях Толстого против смертных казней, особенно в статье «Не могу молчать».

«Манифест Толстого», как газеты прозвали эту статью, с небывалой силой выразил протест писателя против страшных злодеяний царизма. Он явился плодом тяжелых нравственных страданий Толстого и ответил на его потребность прорвать завесу молчания вокруг творимых преступлений. История написания этого замечательного «манифеста» запечатлена на страницах дневника с рядом выразительных деталей, раскрывающих удивительный облик писателя.

Как рассказывает Гусев, Толстой еще в начале 1908 года задумал художественное произведение о современности, со сценами расправы царизма с революционерами. Для этого он читает литературу, накапливает факты. Русская действительность этой поры — увы! — богата фактами этого рода, и замысел писателя, обогащаясь ими, все более вызревает. 22 апреля Гусев, специально ездивший в Москву за материалами, рассказывает ему о сарае в Хамовнических казармах, где тайно совершаются казни, и Толстой слушает об этом «с выражением ужаса на лице». Ужас Толстого достигает крайности, когда из письма художника Н. В. Орлова он узнает о существовании московского дворника Игната, выполняющего тайно, за плату, обязанности палача.

Одиннадцатого мая Толстой прочел в газете «Русь» сообщение о казни в Херсоне двадцати крестьян. Это известие ввергает его в полное смятение. «Да, — говорит он с горечью, — хорошо устроили жизнь... Я убежден, что нет в России такого жестокого человека, который бы убил двадцать человек. А здесь это делается

незаметно: один подписывает, другой читает, этот несчастный палач вешает...»

В дальнейших записях Гусев точно передает — и это очень важно для понимания личности Толстого — внутреннее состояние писателя, смену его душевных движений. Вначале Толстой всем услышанным крайне подавлен. «Нет, это невозможно! Нельзя так жить! Нельзя так жить! Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней: нынче пять, завтра семь, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть...» — со слезами в голосе произносит он в фонограф. И только замысел обличительного гласного выступления, как рассказывает Гусев, полностью преображает писателя. Перед нами уже не слабый, подавленный человек, а страстный борец, ринувшийся в бой против ненавистного врага. «Помню, — рассказывает Гусев, — с каким радостным выражением лица, едва сдерживая слезы, он в тот день, когда начал эту статью, молча показал мне исписанные его размашистым почерком листки бумаги, и, когда я спросил: «Это новое?», он с тем же значительным и радостным выражением лица и с теми же слезами на глазах, молча кивнул головой». По словам автора дневника, с того дня, когда Толстой начал писать статью, его подавленное состояние сменилось бодрым. «Помню, — пишет Н. Н. Гусев, — как через несколько дней за завтраком, на слова Софьи Андреевны о том, что ничем нельзя помочь тому, чтобы казни прекратились, он твердым и уверенным голосом возразил:

— Как нельзя? Очень можно».

Толстой снова уверовал в силу своего слова, он предвидит, какой резонанс оно получит в России и во всем мире, и это морально воскрешает его.

Темперамент бойца автора «Не могу молчать» сказался и в других его обличительных статьях — «Не убий никого» (1907), «Закон насилия и закон любви» (1908), «Смертная казнь и христианство» и других. Во всех них, наряду с проповедью «всеобщей любви», звучит призыв — не мириться с царизмом, не участвовать в его бесчеловечных делах. Этот круг идей должен был определить и задуманное Толстым большое художественное полотно, но оно не было написано. Созданные в эти годы рассказы «Кто убийцы? Павел Кудряш», «Нет в мире виноватых», как и ранее набросанные повести «За что?», «Божеское и человеческое», были только подступами к этой огромной теме.

Большое место в беседах Толстого этих лет занимает критика русского либерализма, «дарованной» царем Государствен-

ной думы. Толстой следит за происходящими там «прениями» и возмущается, насколько они далеки от народных нужд и интересов.

Толстой тщетно пытался убедить знакомых депутатов поставить в Думе вопрос об отмене частной собственности на землю. И это лишний раз убедило его в правоте слов тульского мужика, сказавшего: «У Думы просить земли, что у гуся — овса».

Протест Толстого, как это видно из дневника, вызывало единомыслие Думы с царским правительством в отношении так называемой столыпинской реформы.

Гусев рассказывает: «Льва Николаевича очень возмущает разрушение общины. Он всегда расспрашивает приезжающих к нему из разных мест крестьян и помещиков о применении у них закона 9 ноября. Вчера он сказал: «Это верх легкомыслия и наглости, с которым позволяют себе ворочать народные уставы, установленные веками... Ведь одно это чего стоит, что все дела решает мир — не один я, а мир — и какие дела! самые для них важные...»

Разрушая общину, содействуя ее классовому расслоению и территориальному разобщению (выселение на хутора), реформа сулила крестьянину быстрое обогащение. Собственный хутор, лучшая земля, независимое от общины существование — вот чем Столыпин завлекал «хозяйственного мужика». Толстой предвидел, что «право» мужика выделяться из общины и продавать свой надел приведет к массовой скупке земли кулаками и еще большему разорению беднейших слоев деревни. «Это отвратительное преступление правительства — уничтожение общины», — отмечал Толстой. Так оно и произошло. Уже в первые два года после реформы больше миллиона крестьян лишилось земли, а еще через несколько лет разорилось и голодало свыше тридцати миллионов крестьян.

Разгадал Толстой и политические цели, во имя которых правительство торопилось со столыпинской реформой. «Цель та, чтобы помещик мог сказать крестьянину: у меня тысяча десятин, а у тебя двадцать десятин; значит, мы с тобою одно и то же». Иными словами, цель — создать у крестьянина иллюзию общности с помещиком и этим ослабить аграрную революцию в деревне.

Отклики Толстого на современную ему действительность показывают, что актуальные жизненные проблемы, наряду с «вечными» вопросами философии и морали, составляли главное, чем он в эти годы жил.

## V

Дневник Гусева зримо передает интеллектуальную атмосферу, духовный климат дома Толстого, и это едва ли не самое интересное в его записях. Воочию видишь, что Толстой на склоне лет — все тот же живой, пытливый, необъятно многогранный художник, каким он был и в прежнее время. С годами не угасает его интерес к науке, литературе, искусству — ко всем сферам духовной жизни.

Годы, когда автор дневника общался с Толстым, — начало XX века, — были периодом больших сдвигов и перемен в искусстве. В отечественной литературе в то время творили такие крупные мастера, как Чехов, Короленко, Бунин, Мамин-Сибиряк, Куприн, Серафимович и особенно Горький, но заметное место занимали и писатели-модернисты.

Пестрое по своему составу русское декадентство, с его эстетством, мистицизмом и узким охватом явлений жизни, представляется Толстому все тем же «господским» искусством, против которого он выступал еще в трактате «Что такое искусство?».

Толстой, чье творчество знаменует собою целую эпоху в художественном развитии человечества, пристально вглядывается в причудливое сочетание новых направлений, течений, имен, стремясь определить, куда идет «новейшая» литература, каков ее эстетический уровень. И он предстает со страниц дневника как непримиримый сторонник подлинных художественных ценностей, высоконравственного, жизненно правдивого литературного творчества.

В дневнике Гусева мы находим многие беспощадные слова Толстого по адресу русских модернистов. Их поэзию, в частности, стихи Бальмонта, он воспринимает как «пересоленную карикатуру на глупость». Еще более резко он отзывается о «Санине» Арцыбашева: «Есть у него художественная способность, но нет ни чувства (сознания) истинного, ни истинного ума, так что нет описания ни одного истинного человеческого чувства, а описываются только самые низменные животные побуждения». Произведения декадентов Толстой сравнивает с «мусором», «тухлой пищей», с «помойной ямой».

В кругу русских модернистов было принято объяснять нападки Толстого на декадентство его «устарелостью», «старомодностью». На самом деле не потому Толстой отвергал «новейшее» искусство, что оно было новым, а потому, что находил его бездуховным, бессодержательным. «Это страшная ошибка — думать, что прекрасное может быть бессмысленным», — говорил он. Толстой видел в декадентстве гибельный упадок искусства — упа-

док, являющийся признаком деградации культуры. «Когда есть идеалы, — записал его слова Гусев, — то во имя этих идеалов производятся произведения искусства; когда же их нет, как теперь у нас, — нет произведений искусства! Есть игра — словами, игра — звуками, игра — образами».

Не приемля декадентской литературы, Толстой с пристальным вниманием следит за творчеством тех современных писателей, кто постигал реальную жизнь, открывал новые ее стороны. Отсюда его неугасающий интерес к Горькому, Чехову, Короленко, Куприну и другим. Он иногда порицает их за «перяшливость», «литературную невоспитанность», за кажущиеся ему отступления от художественной правды, но с увлечением читает их произведения, размышляет над ними. Даже о Леониде Андрееве, которого, как отмечает Гусев, Толстой упрекал в вычурности, отсутствии чувства меры, надуманности и т. п., он скажет: «Боюсь быть к нему обратно пристрастным», — и радуется, когда в новых рассказах Андреева находит серьезное отношение к жизни.

В дневнике Гусева широко показан круг чтения писателя, и мы видим, как вдумчиво он перечитывает творения старых мастеров и как высоко их ценит.

Поэзию Пушкина Толстой сравнивает с музыкой гениального Шопена и отмечает у него самое высокое «мастерство двумя-тремя штрихами обрисовать особенности быта того времени». Большое впечатление производит на него проза Гоголя, ее гуманный пафос, глубокое нравственное содержание. «Как я рад, что перечитываю Гоголя... Хочется написать о нем». И Толстой пишет статью, анализирующую творчество автора «Ревизора» и «Коляски». «Со слезами на глазах» Толстой перечитывает наиболее близкие его душе места из сочинений Герцена. «Перед Герценом, — говорит он, — я всегда преклонялся». Об Островском: «Он мне нравился своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием». И так же одобрительно — о писателях следующего поколения: Куприне, Эртеле, Семенове, Серафимовиче и других.

Наряду с подобными отзывами мы встречаем в дневнике Гусева и резко отрицательные суждения Толстого о Чернышевском, Некрасове, Тургеневе, Чехове, Горьком — несправедливые, противоречащие другим его отзывам. Сам Толстой предупреждал, что не всякое случайное, мимоходом сказанное им слово полностью отражает его истинное мнение или убеждение. «Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, — читаем мы в дневнике Толстого от 25 августа 1909 года, — не приписывать никакого значения тому, что мною

сознательно не отдано в печать... Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут, и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом» (*ПСС,* т. 57, с. 124).

И действительно, сказанное Толстым иногда относилось не ко всему творчеству писателя, а к какому-либо отдельному его произведению, к отдельной черте характера или к единичному эпизоду его жизни. Так, о Чернышевском Гусев записал следующие слова Толстого: «Он мне всегда был *очень* неприятен, и писания его неприятны». Но известно, что в молодые годы, встречаясь в редакции «Современника», Толстой с интересом беседовал с Чернышевским; после его посещения записал в дневнике: «Пришел Чернышевский, умен и горяч» (*ПСС,* т. 47 с. 110). Молодой Толстой не разделял революционно-демократических взглядов Чернышевского, но отдавал ему должное как литературному критику. Именно на суд Чернышевского Толстой отдал в 1862 году первый номер своего педагогического журнала «Ясная Поляна».

Неоднозначным было и восприятие Толстым личности и поэзии Некрасова. В дневнике Гусева рассказывается, как Толстой с большим чувством, по памяти, прочел конец стихотворения Некрасова «Рыцарь на час», притом в варианте, который он, вероятно, слышал от самого поэта. На всю жизнь запомнил он и стихотворение «Замолкни, Муза мести и печали», написанное Некрасовым незадолго до кончины. В 1905 году, перечитывая Некрасова, Толстой отозвался о нем с большой похвалой, отметив, что «Некрасов действительно любил русский народ» [1].

О Тургеневе Гусев записал услышанное от Толстого: «Самый пустой писатель... Содержания у него никакого не было...», и эти слова тоже скорее случайная реплика. Письма Толстого и воспоминания многих современников свидетельствуют о том, как высоко Толстой ценил автора «Записок охотника», как много он почерпнул от него. «Тургенева я всегда любил» [2], — записал его слова Д. П. Маковицкий. В письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года Толстой, подводя итоги творческой работы этого художника, заявил: «Главное в нем, — это его *правдивость...* Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное» (*ПСС,* т. 63, с. 149, 150).

Сталкиваясь со столь противоречивыми суждениями, следует иметь в виду идейно-творческую эволюцию писателя и связанную с ней переоценку многих явлений прошлого. После идейного

---

[1] Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, 27 мая 1905 г.

[2] Там же, 13 июля 1908 г.

перелома 1880-х годов Толстой часто упрекал своих современников в «безверии» в «ложном миросозерцании», в «отсутствии содержания», то есть в отсутствии в их творчестве того религиозно-нравственного миропонимания, без которого, по его мнению, невозможно подлинное высокое искусство. За это он порой также порицал Чехова и Горького.

В дневниках Толстого можно найти не одну положительную оценку Чехова, писателя и человека. Рассказ Чехова «Душечка» Толстой издал в «Посреднике» со своим предисловием, а рассказ «Беглец» поместил в «Круге чтения». Каждое новое произведение Чехова Толстой встречал с нескрываемым интересом и сочувствием. И наряду с этим в дневнике Гусева читаем: «Такой большой талант, и во имя чего он писал!» И те же упреки в «ложном» миросозерцании, и при этом: «Очень милый человек!»

Столь же противоречивы и суждения Толстого о Горьком. После их первой встречи Толстой записал в дневнике: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа» (*ПСС,* т. 54, с. 8). Через месяц Толстой писал Горькому: «Мне ваше писанье понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания» (*ПСС,* т. 72, с. 303). В 1901 году, хлопоча об освобождении Горького из тюрьмы, Толстой писал принцу П. А. Ольденбургскому: «...я его люблю и как человека и как писателя» (*ПСС,* т. 73, с. 71).

Известны и многие похвалы Горькому за его знание народной жизни, за умение рисовать босяков и другие. И наряду с этим: «Горький, Андреев... Я стараюсь найти в них хорошее, но прямо не могу их читать...»

В архиве Н. Н. Гусева сохранилась очень важная, еще не увидевшая света запись, объясняющая противоречивость суждений Толстого на литературные темы. Вот она:

«Если произведение в целом не удовлетворяло его по своей идее или композиции, то он отзывался об нем отрицательно, хотя бы в произведении этом и было много отдельных красот. Он мог сказать про поэмы Пушкина, что все они, за исключением «Цыган» и «Онегина», «ужасная дрянь», хотя сам же находил «необычайно типичным» описание охоты в «Графе Нулине», а «Руслана и Людмилу» в черновиках «Что такое искусство?» причислил даже к хорошему (в смысле чисто художественном) роду искусства.

Обратно: если Лев Николаевич находил даже небольшие сравнительно промахи в художественных произведениях большого мастерства, он их обычно указывал. Получалось таким образом, что его отзывы об отдельных художественных произведе-

ниях и даже о всем творчестве некоторых писателей и поэтов часто выражались им в более суровой форме, чем это соответствовало бы его действительному отношению к ним. Так было, например, с Некрасовым и Алексеем Толстым, о которых он дал такой уничтожающий отзыв в предисловии к переводу «Крестьянина» Поленца. Чтобы полностью определить его отношение к этим поэтам, недостаточно взять один только этот отзыв, а нужно принять в соображение и другие его отзывы о них, вносящие существенные исправления в сделанную им общую их характеристику».

В дневнике Гусева записаны также интереснейшие, характерные для писателя размышления о художественном творчестве, о таланте, о писательском труде.

Гусев как-то спросил Толстого: «Художник, следующий своему художественному чутью, не яснее ли может видеть истину, чем человек, который хочет познать истину умом?» И в ответ услышал: «Да, он в это время как дитя...» Иными словами, восприятие действительности художником более свежо, непосредственно, остро, чем у обычного человека. И в этом, по мнению Толстого, сила и преимущество искусства перед другими формами познания жизни.

Вдохновение и труд — в каком соотношении они находятся? Можно ли создавать высокохудожественные призведения без вдохновения? Толстой на это отвечает: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Вдохновение указывает идеал, к которому должно приблизиться. Если нет этого вдохновения, то лучше не начинать». Но тут же он предупреждает: «Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его выражения».

Необыкновенная взыскательность, требовательность проявляется и в других размышлениях Толстого о законах искусства, о писательской работе. «В искусстве главное чувство меры»; «Если не чувствуешь непреодолимой потребности, так и не нужно писать»; «От сокращения изложение всегда выигрывает. Я думаю, это во всех искусствах так же. Если читатель услышит болтовню, то он не отнесится со вниманием. Нужно сразу схватить читателя и не выпускать его, — не выпускать из того подъема, в который он поднялся», — записал Гусев. Эти и многие другие суждения Толстого — драгоценные крупицы его писательского опыта, которые не утратили значения и высокого смысла и по сей день.

Стремясь устранить вековое отчуждение культуры от народа, Толстой ратует за доступный, понятный разным категориям читателей язык и не приемлет как шаблонный, гладко обкатан-

ный или выспренный язык современной беллетристики, так и малопонятный, «птичий», псевдоученый язык газет и журналов. «Этот научный язык, — говорит он с иронией, — это — желание скрыть свое незнание... как литературный язык — желание скрыть то, что нечего сказать». Не признавал Толстой и искусственный, псевдонародный язык. «Простота, — говорит он, — сократить период, заменить иностранное слово... Но не подделываться искусственно под простой язык». Писатель обязан знать, «как важно каждое слово куда поставить, какое слово раньше, какое после».

Вот почему, рассказывает Гусев, Толстой после чтения своей статьи «Единая заповедь» в образованном кругу решает ее переписать заново, другим языком. «Я вчера читал эту статью им вслух, и, как это бывает, не умом, а всем существом понял, что писать надо не для этих испорченных людей, каковы все мы, а для этих миллионов, которые стоят голодные, с открытыми ртами... Не полемизировать с Петражицкими, а писать для этой огромной аудитории, которая жаждет... И статьи и художественное для них писать... Нам уже больше ничего не войдет...»

В этом убеждении Толстого укрепляют и письма, которые он получает от читателей из простого народа. «Вы, Лев Николаевич, — пишет ему ссыльный крестьянин Ф. А. Мишуровский из Тобольской губернии, — больше, чем кто другой, постигли истину — служить народу не эзоповским слогом, понятным лишь для избранной публики, а родным и возможно более понятным, что и доказывает, что вы служите просветителем не богатых и образованных, а бедных и малограмотных...» Толстого, как отметил Гусев, подобные письма радовали, утверждали в справедливости его выработанных всем опытом жизни критериев.

Многое мы узнаем в дневнике Гусева о творческой работе самого Толстого. За два года он создал рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш», написал более двадцати статей и предисловий, переделал произведения Гюго, Андерсена и Лескова для «Круга чтения», «пересказал» изречения Лабрюйера, Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье для книги «Путь жизни» и сделал ряд других работ.

Верный своей доктрине, Толстой в эти годы отдает предпочтение публицистике и недооценивает свои написанные в годы молодости художественные романы и повести.

Однако, как отмечает Гусев, потребность в художественном творчестве неистребимо живет в нем. Он во власти новых оригинальных замыслов, например, большого полотна о России в период революционного брожения, об образованном, ученом «римлянине времен упадка», который «представляет себе будущее,

лет через тысячу или более, — и ничего не сбылось так, как он ожидал». Он вынашивает замысел русского варианта «Хижины дяди Тома» — повести о крестьянском рабстве, безземелии, и другие.

Никогда не покидало Толстого «желание художественной работы... желание настоящее... с целью... заглянуть в душу людскую» (*ПСС,* т. 57, с. 52). Однако далеко не все творческие замыслы были им осуществлены.

## VI

А. М. Горький считал Толстого «самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия» [1]. Это в полной мере подтверждается дневником его секретаря.

Сколько чернил было пролито мнимыми друзьями писателя, чтобы изобразить его в последние годы витающим в небесах «мудрецом», отрешенным от жизни елейным старцем, для которого повседневные интересы и заботы людей уже ничего не значат! Сколько усилий было потрачено толстовцами, чтобы еще при жизни учителя причислить его к лику святых, изобразить его новым Христом, Буддой, Моисеем со скрижалями в руках! И, с другой стороны, сколько было врагами Толстого приложено стараний, чтобы изобразить его лицемером, фарисеем, у которого слова расходятся с делом!

Со страниц мемуаров Гусева и других близких писателю людей встает иной образ Толстого — человека исключительно деятельного, энергичного, сохранившего прежнюю интеллектуальную силу, живущего всеми радостями и горестями своего времени. Н. Гусев, как и В. Булгаков и Д. Маковицкий, наблюдал Толстого в последний, наиболее тяжелый период его жизни, но каким «матёрым человечищем» [2], какой одухотворенной личностью он предстает перед нами! Ни прожитые годы, ни напряженный труд, ни душевные страдания не сломили его, не отрешили от тех проблем, которые волновали современное общество.

Русские либералы, те, кто, по меткому слову Ленина, ни в толстовского бога не верят, ни толстовской критике существующего строя не сочувствуют [3], воздавая Толстому на словах хвалу, на деле поддерживали легенду о его физической и духов-

---

[1] М. Горький. Собр. соч., т. 14. М., Гослитиздат, 1952, с. 307.

[2] Слова В. И. Ленина, записанные М. Горьким. См.: М. Горький, Собр. соч., т. 17, с. 308.

[3] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 209.

ной немощи. «Пустынное монашество» — вот как определил бытие Толстого известный либеральный священник Г. С. Петров. И это писалось о мыслителе, который всеми корнями был связан с жизнью, откликался на ее самые острые нужды, — о человеке, мимо которого не проходило ни одно значительное событие его времени!

Толстого упрекали в узости, а он мыслил широко, масштабно. В дневнике Гусева мы находим его глубокие суждения о прошлом и будущем человечества, о современной ему культуре и цивилизации, о Западе и Востоке, о негритянском вопросе в США, о революции в Персии и Турции... И обо всем этом — с удивительным знанием дела и самобытным взглядом на вещи. Гусев рассказывает: «Вечером Лев Николаевич говорил об европейском презрении к Востоку. «В Индии сколько, — спросил он Д. П. Маковицкого, — триста миллионов? В Китае — четыреста. Но нам это все равно...» В другой раз Толстой озабоченно сказал: «О Южной Америке так же, как о Востоке, не думают. А ведь там живут люди — восемьдесят миллионов во всех этих республиках». Чтобы понять движение истории, утверждал он, «нужно брать не один народ и не за два, десять, двадцать лет, а все человечество во всем его движении». Все это свидетельствовало о громадном диапазоне мышления великого художника.

Осмысляя глубинные процессы, свершавшиеся в современном мире, Толстой не откликался на мелкие газетные распри, то и дело возникавшие в среде современной ему интеллигенции. Он видел, насколько эти никчемные баталии далеки от истинных чаяний народа, и порою, как, например, в своем отклике на ренегатский сборник «Вехи», громогласно произносил свое знаменитое «Стыдно!». За это ему платили клеветой и злобными нападками. «Дряблость характера, слабоволие, духовная трусость, боязнь жизни» — вот какие обидные слова пришлось Толстому, по словам Гусева, читать о себе в столичной газете. И это в то время, когда он, словно Голиаф, без устали сражался с реакцией, непримиримо обличал ее в своих статьях и памфлетах.

В Толстом, в этом, по слову Горького, человеке-оркестре, не все инструменты играли согласованно; на зовы жизни он зачастую откликался со своих противоречивых позиций. Но говорить о его «боязни жизни» столь же неверно, как и об «упадке духа», в котором его также упрекали. Именно Толстой осуждал в эти годы всякие проявления уныния, пессимизма, упадочнических настроений, особенно в философии и литературе. «Этот наивный напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется, — осуждающе сказал он о пьесах Леонида Андреева. —

Я много получаю писем таких, преимущественно от дам...» В свои восемьдесят лет по-молодому активный, горячий, неистовый, всегда занятый делом и окруженный людьми, — таким мы видим Толстого на страницах мемуаров Гусева. Прав был В. Г. Короленко, когда писал о неуемном темпераменте Толстого, о его способности заражаться боевыми настроениями эпохи. Пафос борьбы и жизнеутверждения не покидал его.

О неиссякаемой жизнеспособности Толстого свидетельствует весь его образ жизни, о котором мы узнаем из мемуаров Гусева. Ежедневный строгий режим дня, напряженная творческая работа, бесконечные встречи с людьми, неутомимая переписка со всем миром... И сверх того — чтение книг по разным отраслям знаний, занятия с деревенскими детьми, повседневные дальние прогулки, обязательно в незнакомых местах, в чащах и оврагах, откуда он, плутая, с трудом выбирается на дорогу. «Так ты и кончишь свою жизнь где-нибудь в овраге», — говорит ему с укоризной Софья Андреевна. «На земном шаре все равно, в овраге ли или на горе», — смеясь, отвечает он ей.

«В Толстом было очень сильно чувство жизни и чувство природы, — замечает наблюдавший его Н. Н. Гусев. — Он любил всякую перемену в природе — наступление осени, зимы и особенно весны и делился своими впечатлениями с окружающими. Его радовало разбухание почек на деревьях, наливание ржи; он любил собирать цветы, рвал их даже верхом, нагибаясь с лошади». В закатные годы Толстой как бы переживает «вторую молодость», заново открывает для себя русскую действительность, русский народ. Новое поколение — каково оно? Каковы его нравственные устои? Толстой пытливо всматривался в лица молодых людей, пытаясь разглядеть в них контуры будущего человека.

Заботит его опасность, угрожающая, с ростом городов, природе, и он говорит об этом с тревогой и сожалением. Прочитав где-то, что человечество делается преимущественно «городскими жителями», он с грустью замечает: «...если действительно таково будущее человечества, то жалко этого деревенского простора, полей, лугов...»

Свежо, эмоционально остро Толстой воспринимает все, что несет с собой новый век, в том числе новые достижения науки и техники. Разумеется, многое он со своих патриархально-крестьянских позиций отвергает, как ненужное народу, но в его подходе нет заведомой узости, старческой предвзятости. Так, он одобряет появление кинематографа, предвидя его огромное значение для просвещения народа. Радует его и появление воздухоплавания, хотя и опасается, что аэропланы будут использованы на войне. Толстой стремится вникнуть в сущность новых

идей и открытий, например, в круг научных изысканий посетившего его Мечникова. И хотя в новой статье «О науке. Ответ крестьянину» (1909) по-прежнему бичует пороки современной ему культуры, он искренне отдает должное честным ученым за их стремление к истине. С интересом и пристрастием читает он новейшие научные и философские труды. Трактат о технической революции в Англии соседствует на его рабочем столе с «Капиталом» Маркса, книга индийского философа — с «Оптимистическими этюдами» Мечникова, трактат Эльцбахера об анархизме — с описанием современной Африки... И на все прочитанное он откликается острыми замечаниями, глубокими умозаключениями.

Как и в молодости, Толстой не может жить без музыки. «Музыка, — признается он, — это единственное из мирского, что действует на меня». В Ясной Поляне часто устраиваются концерты, и они доставляют писателю огромное наслаждение. Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шопена он слушает «со слезами на глазах». «Я никогда, — пишет Гусев, — не видел человека, на которого бы музыка так сильно действовала, как на Льва Николаевича». И при этом у Толстого иногда вырывались слова осуждения, адресованные самому себе и своему кругу: «Музыка — это порождение нашей роскошной, богатой жизни».

Неравнодушен Толстой и к живописи. «Какое это удивительное искусство — живопись, и как мало им пользуются», — говорит он, просмотрев репродукции картин больших мастеров. Его любимый художник — Н. В. Орлов; на стенах его кабинета полотна художника, в которых он находит «весь трагизм жизни русского народа и его высокие душевные черты».

Несмотря на свой возраст, Толстой остался эмоциональным, страстно на все реагирующим человеком, — Гусев подтверждает это рядом выразительных сцен. Так, однажды Толстой был потрясен, узнав, что его зять М. С. Сухотин вызвал кого-то за оскорбление на дуэль. «Я увидал Льва Николаевича до такой степени взволнованным, — рассказывает Гусев, — до какой даже не предполагал, что он может взволноваться». Толстого обожгла мысль, что близкий ему человек готов по ничтожному поводу поднять руку на другого человека, и он «с волнением, чуть не крича», воскликнул: «Это подло, до последней степени подло...» Гусев воспроизвел сцену спора Толстого с изуверкой-монахиней, оправдывающей смертные казни именем Христа. «Никогда еще, — пишет автор дневника, — не видел я Льва Николаевича таким взволнованным». Апостол всепрощения, он никому не прощал глупости, тупости, а тем более подлости...

Ярок, остроумен и своеобразен обиходный язык Толстого, запечатленный Н. Н. Гусевым. О художнике Н. В. Орлове Тол-

стой говорит: «Человек, который думает сердцем», — и эти слова — самая меткая его характеристика. Столь же метки и разяще остры характеристики, которые Толстой дает Победоносцеву, Столыпину и другим деятелям реакции. «Думать, что Победоносцевы могут помешать движению человечества, — это все равно, что думать, что какая-нибудь утка может помешать падению Ниагарского водопада». Порою Толстой ироничен, шутлив, и тогда он рядом с заголовком только что завершенной статьи «Всему бывает конец» озорно пишет: «даже этой чепухе».

Автор дневника, показывая Толстого в повседневной жизни, создает правдивый образ живого человека. Этот бунтарь по натуре, борец, «задира», по словам Софьи Андреевны, иногда предстает на страницах книги Гусева и в своем «юродстве», в готовности «прощать обидчиков», «усмирять себя» во имя своей непротивленческой философии. Но, со всеми слабостями и противоречиями, перед нами действительно «безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества» [1].

## VII

На дневнике Гусева лежит отсвет толстовского оптимизма, жизнелюбия, и все же это грустная книга — книга об одиночестве писателя, о его семейной и духовной драме. Человек, который всегда жаждал гармонии, общности людей, на склоне лет оказался в трагическом разладе со временем, с семьей, а главное, с самим собой...

Истоки духовной драмы писателя в том, что его отвлеченная религиозно-нравственная доктрина находилась в неразрешимом противоречии с реальным процессом развития истории, с объективным ходом действительности. Уже в годы первой русской революции Толстой временами испытывал смятение перед событиями, идущими вразрез с его представлениями о них. Уже тогда в его дневниках встречались отдельные записи, в которых сквозило — если не сомнение, то удивление перед тем, как слабы и недейственны проповедуемые им принципы любви и непротивления. Теперь, в годы реакции, он еще в большей мере во власти драматических переживаний. «Нынче, лежа в постели, утром пережил давно не переживавшееся чувство сомнения во всем», — читаем мы в его дневнике от 28 апреля 1908 года (*ПСС*, т. 56, с. 116).

Толстой, разумеется, не легко отдается этим настроениям.

---

[1] М. Горький. Собр. соч., т. 14. М., Гослитиздат, с. 283.

Записи Гусева показывают, с какой настойчивостью он развивает перед посетителями свои излюбленные идеи. Но характерно одно признание Толстого в его дневнике: «Чем определеннее и решительнее решаются вопросы о неизвестном, о душе, о боге, о будущей жизни, тем неопределеннее и нерешительнее отношение к вопросам нравственным, к вопросам жизни» (*ПСС,* т. 58, с. 10). В приложении доктрины к «вопросам жизни» Толстой с наибольшей силой чувствует свою уязвимость. И он приходит к выводу: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России, с казнями, виселицами и пр.» (*ПСС,* т. 57, с. 200).

Толстой все глубже ощущает разрыв между своим учением, в которое он страстно верит, и «роком событий», движущихся по собственным, непостижимым для него законам. Его озабоченность судьбами мира сталкивается с мертвящим догматизмом его религиозно-нравственной философии, и это психологически определяет его тяжелое внутреннее состояние.

Дневник Гусева позволяет наглядно увидеть, как сложны в эти дни переживания Толстого, как он душевно одинок в окружающем его многолюдии... От аристократического общества, к которому принадлежит по рождению и воспитанию, он уже давно отошел, осудив его жизнь, как призрачную, преступную. «За чаем, — рассказывает Гусев, — Софья Андреевна заговорила о некоторых знакомых из «большого света». Лев Николаевич слушал и изредка спрашивал о том или другом лице и под конец разговора сказал: «Это так хорошо, что я все забываю. Мысли все сосредоточены на одном. Я думаю об этом и когда занимаюсь, и верхом на лошади, и в постели... Где же тут помнить, как зовут жену Столыпина и откуда она родом».

Нет у Толстого единства и с новыми людьми, участниками стачек и баррикад, хотя он знает, что они борются — пусть своими методами и средствами — за те же идеалы, которые и ему дороги. Толстой понимает, что это — лучшие люди России, он внутренне чувствует их правоту, тянется к ним, но сблизиться с ними не может: их революционные взгляды, несовместимые с его учением, чужды ему. Общий язык он находит с некоторыми своими единомышленниками, особенно с теми, кто, как, например, Иконников, Бодянский, Молочников, Гусев, готов, как и он сам, пойти во имя «учения» в тюрьму и ссылку. Толстому причиняют жестокие страдания их лишения, его мучает сознание, что они страдают за него. Что же касается некоторых других его последователей, то он не может не видеть их духовной нищеты, внутренней дряблости, шаткости убеждений, незначительности...

Остается народ, простой люд, крестьяне, рабочие, «мозолистые

руки», ради блага которых он живет, мыслит, борется, творит. Но — увы! — и от них Толстой во многих отношениях очень отдален. Он получает тысячи дружественных писем, в которых люди выражают ему сочувствие и одобрение. Многие из них, хоть и не до конца уяснили сущность его миропонимания, готовы согласиться с ним, что этот путь приведет к избавлению от господствующей неправды. И все же между Толстым и народом лежит непроходимая пропасть его «графства», его жизни в «роскошных» условиях, его нерешительности «сбросить с себя проклятое барство» и перейти «в сословие крестьянства», как к этому призывает его в своем письме крестьянин И. Лазарев. Наряду с одобрительными Толстой получает много писем, в которых сквозит непонимание, недоверие, а то и прямая неприязнь к нему, — письма не только от идейных противников, а порою и от сочувствующих ему людей, не могущих понять причин, по которым он не привел свою жизнь в соответствие с учением. И это глубоко ранит его.

«Сегодня, — записывает Гусев, — Лев Николаевич сказал мне по поводу полученного им письма с упреком за то, что он проповедует бедность, а сам продолжает владеть богатством: «Я сегодня ночью как раз думал: какая моя странная судьба. Я действительно отказался уже более двадцати лет и от земли, и от денег за сочинения, и, несмотря на это, никто этому не верит, а все считают меня миллионером». Толстого глубоко оскорбляло это недоверие, он еще и еще раз в письмах в газеты и к разным лицам разъяснял свое положение, но укоры, упреки, оскорбления не прекращались.

Особенно огорчало Толстого отчуждение, которое он иногда встречал среди знакомых крестьян Ясной Поляны, прорывавшаяся временами у них мужицкая неприязнь к нему как к барину. В связи с этим Гусев справедливо отмечал: «Какая трагичная судьба Льва Николаевича в его отношениях к рабочему народу! Он, который не только болеет всеми страданиями народа: его голодом, забитостью, невежеством, одурением его правящими классами, но и любит его душу... Он-то, благодаря видимости своего богатого, барского положения, лишен возможности простого, искреннего общения с рабочим народом. Вчера ему удалось с одним здешним крестьянином поговорить о важных вопросах жизни, и разговор этот был ему приятен...»

Страдания Толстого были безысходны, ибо истоки его духовной драмы заключались не только в сложном, противоречивом его сознании, но и в тех противоречивых социальных условиях, «которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в *по*реформенную, но *до*революционную

эпоху»[1]. Духовный кризис Толстого — отражение кризиса отходящей в прошлое старой, дореволюционной России, «слабость и бессилие которой выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального художника»[2].

Семейная драма Толстого неотделима от духовной — они тесно переплетены и взаимосвязаны. Придя в 1880-х годах к своему новому миропониманию, отвергнув неравенство и собственность, Толстой стремился и свою жизнь перестроить на новых, справедливых и гуманных началах, то есть отказаться от имения, от владения землей, от гонорара за сочинения. Однако семья, особенно жена и сыновья, не приняли ни его учения, ни вытекающих из него выводов. Мучительно ища выхода из создавшегося тупика, но опасаясь причинить боль своим близким, Толстой в 1882 году принял компромиссное решение и, отказавшись от собственности, передал свои имущественные права семье. И это, как вскоре выяснилось, было большой ошибкой. Половинчатое решение, шедшее вразрез с коренными убеждениями Толстого, в конечном счете никого не удовлетворило, а для него стало источником горьких переживаний.

В годы, описываемые Гусевым, семейный конфликт еще не принял того трагического характера, когда пребывание Толстого в семье станет совершенно невыносимым и он покинет Ясную Поляну. Но дневник Гусева полон предчувствия этого драматического события. Оно отражается в тех записях, где показано, как убеждения Толстого то и дело сталкиваются с сословно-аристократической психологией его близких. Это особенно видно в описаниях его острых конфликтов с Софьей Андреевной из-за преследований ею яснополянских крестьян.

В дневнике Гусева запечатлено множество жалоб Толстого на его тяжелое положение в семье. «Мне моя вот эта жизнь во сто тысяч раз отвратительнее, чем вам ваша, а я не могу от нее уйти», — говорит он одному посетителю. «...Я принужден вести такую жизнь, которая меня заставляет страдать с утра до ночи... а уйти из этой жизни я не могу: это огорчит тех, которые меня любят». Мысль об уходе из Ясной Поляны уже давно владела Толстым. Теперь она посещает его все чаще. Однако привязанность к близким и догма непротивления злу не дают ему осуществить эту заветную мечту. «Пишут мне, — говорит он Гусеву, — как было бы хорошо, если бы я жил в простых крестьянских условиях... Еще бы не хорошо! Да что же сделаешь...»

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22.
[2] Там же, с. 23.

Соблюдая необходимый такт, Гусев освещает семейную трагедию Толстого скупо, отдельными намеками. И все же нельзя без волнения читать те страницы, где писатель, на склоне лет, предстает в собственном доме чужим, одиноким, непо́нятым... «Я первый в тюрьме сижу...» — таково его постоянное самоощущение. «Да, — диктует он Гусеву, — тяжело жить в тех нелепых роскошных условиях, в которых мне пришлось прожить жизнь, и еще тяжелее умирать в этих условиях...» Как известно, Толстому и не довелось умереть в собственном доме. Испив чашу горечи до дна, он через год, темной октябрьской ночью, навсегда уйдет из Ясной Поляны — уйдет навстречу новой жизни, в «большой свет», к трудовому народу... Но силы его уже были на исходе, и, тяжело в пути заболев, он найдет последний приют на глухом безвестном полустанке Астапово...

Записи Гусева дают ясное представление о начале конца великой драмы, о кануне тех трагических дней, когда Россия лишилась своего гениального художника.

* * *

Каждый день жизни Льва Толстого был преисполнен высокого смысла, и каждый из них необычайно интересен и значителен. Будем же благодарны молодому Гусеву за то, что он с исключительной добросовестностью, тактом и точностью запечатлел для тех, кто не жил вблизи Толстого, два года его жизни, годы, когда он поражал мир своей энергией противления, когда писатель, сбрасывая груз прожитых лет и вопреки всем драматическим обстоятельствам, громогласно произносил свое «Не могу молчать».

*А. Шифман*

# ДВА ГОДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

---

ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИК
БЫВШЕГО СЕКРЕТАРЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО

1907–1909

# ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

## /К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ/



Выпуская в свет эту книгу, прошу читателей прежде всего иметь в виду следующее.

Хотя книга эта и составлена из тех записей, которые я вел, живя в Ясной Поляне с конца сентября 1907 по 4 августа 1909 года, когда я был арестован и отправлен в ссылку, тем не менее она не представляет из себя подробного дневника яснополянской жизни вообще или хотя бы в отношении к одному Льву Николаевичу, подобного тому интересному дневнику, который после меня вел В. Ф. Булгаков. Живя в близком общении со Львом Николаевичем, я записывал из того, что он говорил и делал, преимущественно то, что лично для меня представляло наибольший интерес и значение.

Я не имел сначала в виду печатать эти записки в их первоначальном виде, а хотел лишь воспользоваться ими как материалом для литературных работ; но, перечтя их после смерти того, о ком они говорят, когда каждая мелочь, каждая подробность его жизни, каждое сказанное им слово стали так дороги, я не только не решился делать какие-либо сокращения в своих записках, но очень пожалел, что так мало, кратко и сухо записывал.

Хочется думать, что и в таком несовершенном виде книга будет интересна, а может быть, и полезна тем людям, которые, понимая все великое значение Толстого как просветителя человечества, со вниманием прислушивались к тому, что он говорил, когда был с нами.

Очень буду благодарен тем из читателей моей книги, которые, по прочтении ее, поделятся со мною своими впечатлениями.

*И. Г.*

*Ясенки Тульской губ.*
*23 августа 1911 г.*

# ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

## /КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ/



С самого того времени, как я начал помогать Льву Николаевичу в его работе (сентябрь 1907 г.), и до того дня, когда я был арестован и сослан (4 августа 1909 г.), я ежедневно старался записывать все наиболее значительные слова и поступки Льва Николаевича. Краткость и немногочисленность моих записей давала мне одно несомненное преимущество: бóльшую точность. Выбирая из всего длинного разговора очень немногое, что мне казалось нужным записать, я все усилия употреблял на то, чтобы додержать в памяти эти немногие слова до того момента, как мне будет удобно записать их в том самом виде, в каком они были сказаны. Некоторые из более длинных разговоров были мною записаны стенографически.

Первое издание этой книги, вышедшее в свет в 1912 году, давно разошлось. Это второе издание отличается от первого, кроме редакционных исправлений, тем, что в него внесены многие записи, выпущенные в первом издании, проставлены во многих местах полностью фамилии, вместо которых в первом издании были одни инициалы, сделаны примечания к некоторым местам и, главное, напечатаны все те записи, которые в первом издании, по цензурным условиям, были или вовсе выпущены, или сокращены, или смягчены. Таких мест во всей книге насчитывается около ста восьмидесяти.

*25 октября 1927 г.* — *Н. Г.*

# ПЕРВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ



## 1

> Славнее господства над землей, прекраснее восхождения до небес, славнее владычества над мирами — святая радость первых ступеней освобождения.
>
> *Буддийская мудрость.*

Мне был двадцать один год, и я жил в Рязани, когда я 31 июля 1903 года написал Льву Николаевичу письмо, в котором писал, что уже два года, как я целиком разделяю его взгляды.

«Много, — писал я, — переживал я за это время сомнений, колебаний, падал духом и возвышался и теперь, как кажется, вполне тверд в главных основах истины. Кроме ваших сочинений и книг и статей о вас и вашем учении, я почти ничего не читал за это время, стараясь как можно отчетливее понять все ваши мысли, сличая мысли и общее настроение одного сочинения с другим, разбирая возражения, читанные и слышанные мною. И чем дальше я продолжал эту работу, тем яснее становилось мне ваше учение, тем больше уяснялся смысл жизни, тем яснее видел я работу в жизни — радостную, трудную и плодотворную. Всем этим я обязан вам, и как глубоко благодарен вам!..

С самого начала моего понимания вашего учения меня не оставляет мечта — увидать вас лично, побеседовать с вами — с человеком, благодаря которому жизнь моя так полна и осмысленна. Но я долго не решался этого сделать, так как не чувствовал себя к этому подготовленным, так как не чувствовал себя вполне твердым в вашем учении. Теперь же, мне кажется, пора эта наступила. И вот я прошу у вас позволения приехать к вам: есть много вопросов, о которых мне хотелось бы побеседовать с вами. Не скрою от вас, что очень сильно во мне и просто желание увидеть вас — самого близкого мне человека в мире. Если бы мне можно было остаться с вами на день или на два, я был бы невыразимо счастлив.

Итак, ответьте мне, могу ли я приехать к вам... С волнением буду ждать вашего ответа.

Если же почему-нибудь нам не удастся увидаться, то я еще раз выражаю вам глубочайшую благодарность за все то благо, за тот свет, который я получил от вас. Многое хотелось бы сказать об этом, но нет подходящих слов, но вы поймете и без слов... Еще раз спасибо вам за все» [1].

Прошло пять, десять дней... ответа не было. Я стал забывать про свое письмо. Я смотрел на Толстого, как евангельский слепой на того, кто открыл ему глаза, любил его так, как не любил никогда ни одного человека, и потому, получу ли или не получу от него ответ, — это не могло изменить моего отношения к нему.

Наконец 11 августа я получил следующее письмо:

*«8 августа.*

Николай Николаевич!

Отец просил меня сообщить вам, что он жалеет, что до сих пор не ответил вам, но письмо ваше затерялось, и он только сегодня прочел его.

Теперь ему неудобно принять вас, но он надеется, что позднее он будет иметь возможность увидать вас у себя. Тогда он и известит вас, когда ему удобнее вас принять.

*А. Толстая».*

Далее следовала приписка, сделанная жившим тогда в Ясной Поляне доктором Д. В. Никитиным:

«Лев Николаевич еще раз просил написать вам, что он теперь не может принять вас, потому что сюда съехалось много посетителей, с которыми он занят, а что он желал бы говорить с вами и просит вас написать ему, когда вам будет свободно приехать в другое время, а не теперь, и тогда он вас примет».

Почти через месяц после этого я совершенно неожиданно получил следующее письмо от самого Льва Николаевича:

«Мне очень жаль, что я не лично отвечал на ваше хорошее письмо. Пишу теперь, чтобы сказать вам, что, хотя и рад буду видеть вас, не советую вам приезжать.

Дорого и важно не личное, а духовное общение, а это как я думаю, есть между нами. Впрочем, если вы найдете, что вам *нужно* видеть меня, то я с радостью встречу вас.

*6 сент. 1903»* [2]. *Лев Толстой.*

Недели через две, во второй половине сентября, я поехал в Ясную Поляну.

Я приехал на станцию Засека в восемь часов утра. До десяти часов я просидел на станции, чтобы не беспокоить слишком рано Льва Николаевича. В десять часов вышел со станции, и так как (что так редко бывает в этом месяце) была метель, и приходилось идти по глубокому снегу, и, кроме того, я не знал дороги и спрашивал ее у встречных, я попал в Ясную Поляну только в двенадцать часов.

Старый лакей с расчесанными бакенбардами, встретивший меня, сказал, что нужно подождать до трех часов. Я готов был ждать хоть целый день. Около трех часов ко мне подошел доктор, писавший мне письмо, и стал расспрашивать меня, кто я и зачем приехал. Затем он ушел и минут через десять вернулся опять и повел меня в приемную, сказав, что Лев Николаевич сейчас придет ко мне.

Сейчас придет! Кажется, никогда еще в жизни не приходилось мне так волноваться, как в эти десять минут, проведенные мною в ожидании человека, написавшего те книги, которые вывели меня из состояния отчаяния и сознания пустоты жизни. Чтобы чем-нибудь развлечься, я рассматривал названия книг, стоявших за стеклянными дверцами в больших шкафах.

Вдруг, как-то неожиданно для меня, — потому что шагов не было слышно, — дверь отворилась, и в комнату быстрыми шагами вошел худенький сгорбленный старичок, одетый в желтый халат. Это был — *он!* Я бросился к нему и от волнения не мог ни разглядеть хорошенько его лица, ни даже разобрать и запомнить то, что он сказал мне. Я понял только, что он сказал, что писал мне, чтобы я не приезжал, зачем же я приехал?

Я ответил что-то вроде того, что у меня есть вопросы, которые я хотел у него спросить. Он усадил меня за стол, сам сел напротив меня и приготовился было слушать, но вдруг спросил:

— А вы, верно, есть хотите? Вы где ели?

— На станции.

— Я скажу, чтобы вам дали пообедать, — сказал Лев Николаевич.

— Лучше сначала поговорим, — попросил я.

— Ну хорошо, — согласился Лев Николаевич.

Он покорно сидел против меня, приготовившись слушать и отвечать. Я стал спрашивать то, что меня интересовало.

Во все время разговора я не сводил глаз со Льва Николаевича: ни у одного человека я не видал никогда такого выражения беспокойно, напряженно всматривающихся в собеседника глаз. Несколько раз лицо его вдруг озарялось светлой улыбкой, и он повторял:

— Ах, как это радостно!

Ответив на мои вопросы, Лев Николаевич, в свою очередь, спросил меня, сколько мне лет, каково мое семейное положение, чем я занимаюсь. Я сказал, что очень хотел бы заниматься литературным трудом.

— Литература! — сказал Лев Николаевич, — избави от нее бог; делиться мыслями и чувствами — это так.

Окончив разговор со мною, Лев Николаевич попросил дать мне чаю и обед, а затем прислал книжку Эльцбахера об анархизме во французском переводе, о которой он говорил мне [3], и несколько последних номеров газеты «Свободное слово», издававшейся тогда за границей В. Г. Чертковым [4]. Он обещал вечером еще раз прийти поговорить со мною.

Пообедав, я принялся за чтение, но мысль не могла сосредоточиться. Вечером зашел ко мне доктор и сказал, что Лев Николаевич не может ко мне прийти, потому что почувствовал себя плохо.

Ночевал я в той же комнате, в которой разговаривал со мной Лев Николаевич.

На другой день утром, отправляясь на прогулку, Лев Николаевич зашел ко мне и сказал, что вчера вечером вдруг почувствовал себя плохо и потому не мог прийти ко мне. Когда он вернулся с прогулки, он пригласил меня с собой в кабинет, где дал мне, по моей просьбе, несколько своих статей в заграничных изданиях и французских переводах, которые я, по прочтении, обещался вернуть ему, потому что они были у него в очень ограниченном числе экземпляров.

Узнав, что я еду в Москву, Лев Николаевич дал мне записку к И. И. Горбунову, в которой писал, что я че-

ловек вполне близкий по взглядам, которого хорошо было бы познакомить с московскими друзьями[5].

Уехал я из Ясной Поляны вечером вместе с доктором, который также ехал в Москву. Лев Николаевич попросил жившую тогда в Ясной Поляне Ю. И. Игумнову записать мой адрес. Помню, минут за десять до отъезда, я вдруг понял, что я последние минуты смотрю на лицо этого необыкновенного человека, и я стал с какой-то жадностью смотреть на него, как будто в лице его была какая-то сила, непреодолимо притягивавшая меня к нему.

Я возвратился домой, и долгое время не изглаживалось в моей душе впечатление необыкновенной силы, свободы и радостности, оставленное Толстым.

## 2

В ноябре того же 1903 года произошло важное событие в моей жизни, о котором я подробно написал Льву Николаевичу. Это был отказ от военной службы, кончившийся для меня очень благополучно: я был осужден только на четыре дня ареста при арестном доме. В ответ я получил от Льва Николаевича следующее короткое письмо от 11 декабря:

«Получил ваше письмо, дорогой Ник. Ник., и хочется хоть несколькими словами откликнуться. Хорошо или дурно вы поступили, зависит от того, насколько побуждение было божеское или человеческое. Во всяком случае, это меня трогает, пугает и умиляет. Помоги вам бог поступать только по его требованиям, тогда он с вами. А когда он с нами, все хорошо.

Любящий вас *Л. Толстой»*[6].

## 3

Второй раз я видел Льва Николаевича в самом начале февраля 1904 года, через несколько дней после объявления войны с Японией. Он был в несколько удрученном состоянии. Я передал ему те тяжелые впечатления, какие я вынес от Москвы, через которую проезжал, где в те дни происходили воинственные манифестации[7]. С одной из этих уличных манифестаций встретился и я; с товарища, бывшего со мной, сорвали шапку.

Из того, о чем мы говорили со Львом Николаевичем в этот раз, особенно важно для меня было то, что он ска-

зал мне о физическом труде. Я спросил его, не изменил ли он за последнее время своих прежних взглядов о необходимости для каждого человека собственным трудом удовлетворять своим первым потребностям.

— Нет, — ответил Лев Николаевич.

— Почему же, — спросил я, — в своих последних сочинениях по рабочему вопросу[8] вы не пишете об этом?

— Не знаю почему, — ответил Лев Николаевич. — Может быть, потому, что пишешь всегда о том, что самого волнует, а сам я не работаю... Мне приходится, — прибавил он, — пользоваться услугами прислуги, так это тяжело... хотя я давно махнул рукой на то, что в этом доме делается...

Хорошо запомнилось мне также то, что Лев Николаевич говорил о смерти и бессмертии. Разговор об этом начал он, а не я. Он сказал, что иногда он прямо чувствует бессмертие, и прибавил, что я, как молодой человек, не могу этого испытывать.

— Да, — подтвердил я, — у меня это только теоретическое убеждение.

Помолчав, Лев Николаевич сказал на эти мои слова:

— Вы говорите: теоретическое убеждение, но как важно его не терять...

Не забыл Лев Николаевич спросить о моей матери (меня удивила его памятливость). Когда я сказал, что мать моя — глубоко верующая православная, он сказал:

— Я уважаю таких людей.

Помню еще, как за чаем Софья Андреевна начала читать только что полученное ею письмо от В. В. Стасова[9], исполненное похвал Льву Николаевичу, которого он называл Львом Великим, пиша эти два слова огромными буквами. (Софья Андреевна показала нам это место письма.) Как только Софья Андреевна начала читать это письмо, Лев Николаевич сейчас же быстрыми шагами ушел к себе.

На этот раз я пробыл в Ясной только полдня. Когда после вечернего чаю стали расходиться спать, я, прощаясь со Львом Николаевичем, сказал ему, что завтра утром уезжаю. Неожиданно для меня он поцеловал меня и, когда я уходил, сказал мне вслед:

— Мы с вами хорошо поговорили.

## 4

В марте того же 1904 года я написал Льву Николаевичу письмо [10], в котором сообщал мысли, вызванные во мне чтением его книг, просил одолжить мне некоторые книги и приводил мнение моего приятеля А. Е. Маневича, бывшего перед тем у него [11] и написавшего мне потом, что он пришел к заключению, что такие люди, как Лев Николаевич и его друзья, — не какие-либо особенные люди, а такие же, как и все, только живущие тем светом разумения, который дан каждому человеку. Лев Николаевич ответил мне следующим письмом:

«Получил ваше письмо, дорогой Николай Николаевич, и, как всегда, рад был узнать про вас и вашу энергическую духовную работу. Сейчас у меня под рукой нет книг [12], о которых вы пишете, но они, вероятно, найдутся в библиотеке, и я вышлю их вам. То, что пишет Маневич, совершенно справедливо. Наше дело только не мешать проявлению в нас божественного начала. До свидания.

4 апреля» [13]. Любящий вас *Л. Толстой.*

## 5

Впечатление, произведенное на меня первыми свиданиями со Львом Николаевичем, было так сильно и благотворно, что желание видеть его еще и еще не оставляло меня. В июле того же года я опять написал ему письмо [14], в котором, излагая свои впечатления от прочитанных мною его книг, спрашивал также, могу ли приехать повидаться.

Лев Николаевич ответил мне следующими словами, помеченными 31 июля:

«Спасибо за ваше письмо. Хоть у нас и большая суета летом и особенно к концу его, буду очень рад повидаться с вами.

*Лев Толстой»* [15].

Я приехал ко Льву Николаевичу в сентябре. Из того, что на этот раз Лев Николаевич говорил мне, самое важное было — о смерти.

Не скажу — неясно, но сомнительно было для меня одно место из его книги «О жизни», в котором говорится о том, что каждый человек умирает только тогда, когда это нужно для его блага [16]. Не успел еще я, в разговоре

со Львом Николаевичем, как следует напомнить ему это место, как он воскликнул:

— Это моя фантазия!

И затем, в объяснение этой своей «фантазии», сказал:

— Мне казалось, что если телесная жизнь имеет свои законы, тем более должна иметь свои законы жизнь духовная.

Я сказал, что если взять не отдельные случаи, а массовые явления смертей, то причины их слишком человеческие, как, например, войны...

— Как сказать, — возразил Лев Николаевич. — Зачем нам было лезть в эту Маньчжурию...

Он сделал еще несколько пояснений своей мысли о зависимости смерти каждого человека от духовных, а не материальных причин, из чего я заключил, что он только по скромности назвал эту дорогую для него мысль «своей фантазией».

Запомнились мне еще следующие его слова:

— Что для одного — мрак, то для другого может быть просветлением *.

Когда Лев Николаевич спросил меня о моих занятиях, я ответил, что написал популярный очерк по истории христианства — от смерти Христа до уничтожения инквизиции [17], который появится в дешевом издании «Посредника» [18].

— А язык там какой? — спросил меня Лев Николаевич.

— Язык простой, — ответил я.

— Вот это напрасно! — неожиданно для меня воскликнул Лев Николаевич и сейчас же прибавил: — Но не искусственно простой? Простота, — сказал он, — сократить период, заменить иностранное слово... Но не подделываться искусственно под простой язык.

Я хотел передать Льву Николаевичу несколько экземпляров отпечатанных нами в Рязани на гектографе двух глав из «Воскресения» о богослужении, запрещенных цензурой [19], но Лев Николаевич сказал:

— Я едва ли буду их давать.

Я не понял тогда причины его отказа. Только много спустя я узнал, что Лев Николаевич избегает давать читать те свои сочинения, которые содержат только критику ложной веры, а не указывают, в чем состоит истинная.

---

* «Для одного» — для стоящего на более высокой ступени; «для другого» — на менее высокой. (*Прим. Н. Н. Гусева.*)

Помню еще, как на другой день, выйдя к завтраку, Лев Николаевич, занимавшийся тогда «Кругом чтения»[20], сказал:

— А я сегодня провел время в прекрасной компании: Сократ[21], Руссо[22], Кант[23], Амиель...[24]

Он прибавил, что удивляется, как могут люди пренебрегать этими великими мудрецами и вместо них читать бездарные и глупые книги модных писателей.

— Это все равно, — сказал Лев Николаевич, — как если бы человек, имея здоровую и питательную пищу, стал бы брать из помойной ямы очистки, мусор, тухлую пищу и есть их.

За этим же завтраком он сказал, что, по его мнению, на вопросы властей, преследующих христиан и допрашивающих их об их вере и делах, самое лучшее — только молчать.

Вечером Лев Николаевич прочел мне некоторые из своих переводов мыслей Канта для «Круга чтения».

— Очень трудно переводить его, — сказал он.

## 6

Летом 1905 года, приехав повидаться со Львом Николаевичем, я встретился у него с покойным А. И. Эртелем[25]. Помню, как Лев Николаевич спросил его:

— А что перо ваше?

— Перо, — ответил Эртель, — пишет векселя, счета, расписки... *

Лев Николаевич сначала как будто огорчился таким ответом, но потом сказал:

— Так и нужно; если не чувствуешь непреодолимой потребности, так и не нужно писать.

Помню еще сделанную Львом Николаевичем тогда характеристику Петра I. В ответ на мои слова, что я только что прочитал роман Мережковского «Петр и Алексей», где ярко обрисована жестокость Петра, Лев Николаевич сказал:

— По-моему, он был не то что жестокий, а просто пьяный дурак. Был он у немцев, понравилось ему, как там пьют...

---

* А. И. Эртель был тогда главноуправляющим имений Пашковых. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

Я читал Льву Николаевичу тогда стихотворения Ф. Е. Поступаева [26], некоторые из которых, особенно «Вы, поправшие жизнь...», очень ему понравились.

В том же 1905 году я видел Льва Николаевича еще два раза: 20 октября и в последних числах ноября. В октябрьский мой приезд Лев Николаевич давал мне читать только что им написанную статью «Конец века» [27], которой он был очень доволен. Когда я прочитал эту статью, он спросил меня:

— Как вы думаете, в ней ничего нет несправедливого по отношению к революционерам, что могло бы раздражить их?

Я жил тогда в Москве. Разговор не мог не коснуться тогдашнего всеобщего возбуждения в интеллигентных кругах. Лев Николаевич, между прочим, говорил, что нам невозможно предвидеть будущие события в жизни людей.

— У меня, — сказал Лев Николаевич, — была мысль написать, может быть, вы это напишете, — сказал он мне, — как римлянин, образованный, ученый, времен упадка, представляет себе будущее, лет через тысячу или более, — и ничего не сбылось так, как он ожидал. Он не мог предвидеть ни Реформации, ни революции... [28] Так и мы теперь никак не можем предвидеть форму будущего устройства жизни.

Помню, прочитав в «Конце века» слова о том, что «история не повторяется», я сказал Льву Николаевичу:

— А я вот слышал на митинге оратора социал-демократа, который начал свою речь словами: «История повторяется, и повторяется с замечательной правильностью».

Лев Николаевич засмеялся.

На другой день приехал из Калуги сын Льва Николаевича Илья Львович [29]. Он рассказывал, как в Калуге известие о манифесте 17 октября [30] и об объявлении конституции было прежде всего получено в клубе, поздно ночью, и как бывшие в клубе члены на радостях сейчас же потребовали шампанского.

— Разумеется! — насмешливо сказал Лев Николаевич. — Без этого какая же конституция...

В ноябре 1905 года я был у Льва Николаевича вместе с Ф. Е. Поступаевым, стихи которого я читал Льву Николаевичу летом. Зашел разговор о современных поэтах. Когда заговорили о Брюсове, Поступаев сказал:

«В нем что-то есть, Лев Николаевич...» — «В каждом есть *что-то*, — ответил Лев Николаевич, — и я даже знаю что: есть бог».

Поступаев прочел Льву Николаевичу два стихотворения Брюсова: «Каменщик» и «L'ennui de vivre» (с пропуском заключения и стихов о женщинах). Про первое Лев Николаевич сказал: «Сильное, но прозаическое стихотворение»; второе же нашел поэтическим [31].

## 7

Летом 1907 года, приехав на несколько дней к В. Г. Черткову, жившему тогда в пяти верстах от Ясной Поляны, я получил от него приглашение после его отъезда в Англию поселиться вблизи Ясной Поляны и помогать Льву Николаевичу в ответах на письма и в других работах, в каких я могу быть полезен. Я с величайшей радостью принял это предложение. Было решено, что я поселюсь в деревне Телятинки, в трех верстах от Ясной Поляны, в доме Александры Львовны [32].

В этот мой приезд к В. Г. Черткову мне случилось присутствовать на небольшом, устроенном им в своем доме собрании, на котором Лев Николаевич разговаривал с молодыми парнями деревни Ясенки о религиозных и общественных вопросах. Беседа эта происходила 29 июля 1907 года.

Разговор начался по поводу статьи Льва Николаевича «Как освободиться рабочему народу» [33]. В этой статье Лев Николаевич выражает мысль, что рабочий народ сам виноват в своем угнетении: сам он идет на службу к богачам и к правительству и этим закабаляет себя в рабство. Освободиться от рабства рабочий народ, по мысли Льва Николаевича, может только тогда, когда примет христианское учение в его чистом виде, перестанет жить дурной жизнью и главные свои усилия направит на исполнение закона бога, закона любви. Тогда само собой исчезнет и угнетение рабочего народа.

Против главной мысли этой статьи: что народ сам создает свое рабство, В. Г. Чертков возразил:

— Вы говорите, что народ сам влез в хомут — это неверно: народ оседлали разными обманами.

— Я говорю, — ответил Лев Николаевич, — что народ сам влез, в том смысле, что причина угнетения находится

в самом народе, а не вне его; сам народ поставил себя в такое положение, отступив от истинной веры. А в отступлении народа от истинной веры, разумеется, вина не народа, а вина тех, которые его обманывали, которые вместо евангельской веры поставили мощи святых и разные таинства.

Воцарилось молчание. Первый заговорил Лев Николаевич, обратившись к крестьянам с вопросом:

— Как вы думаете о теперешнем положении России, о том, что мы называем революцией? Ожидаете вы от нее успеха, улучшения положения народа, и если ожидаете, то какого улучшения?

Собеседники не сразу ответили на этот вопрос. Наконец один из них сказал:

— Наши все взоры устремлены на революцию, и мы ждем от нее успеха и улучшения. Это — единственный выход. По крайней мере, мое мнение такое.

На возражение Льва Николаевича, что «орудие революции есть насилие, точно такое же, как насилие правительства», тот же парень ответил:

— Клин клином выгонять надо.

— Клин клином выгоняют, — сказал Лев Николаевич, — а в этом деле это только, напротив, усиливает то, с чем люди хотят бороться. Этим способом революционерам не удастся свергнуть правительство и добиться своих целей, а только в этой борьбе сделают много греха и много несчастья. И совершенно точно так же я того мнения, что правительство старается насилием подавить революцию, — оно ничего не успеет.

— Да ведь вот правительство, оно не признает никакого греха, — заметил один из парней.

— Правительство более всего виновато, — согласился Лев Николаевич, — потому что оно приучает народ к тому, что убийство возможно. Народ научился от них: если убийство возможно, то и вас можно убить. И учителя нехороши, и ученики напрасно этому учению поддались.

— Жизнь учит людей, а не учителя, — возразил первый, революционно настроенный парень. — Условия жизни заставляют взять револьвер и убить.

— Нет, — возразил Лев Николаевич, — люди живут вместе, и учат непременно лучшие, мудрейшие люди, которые жили и оставили нам свои поучения, и мы можем пользоваться ими. А то, что вы называете жизнью, — жизнь животная. А жизнь человеческая — разумная.

— Народ скорее примет революционную пропаганду, — продолжал возражать тот же парень и иронически прибавил: — Если бы у меня были деньги, то я бы был вашим последователем.

Мне не видно было лица Льва Николаевича, но показалось, что я вижу на нем выражение горечи. Однако он сдержался и, немного помолчав, совершенно спокойно ответил:

— Напротив, в Евангелии сказано обратное: блаженны нищие, а богатые несчастны.

— Это старая песня! — с жаром возразил парень. — Нам давно уж попы это говорят. Мы в нищенстве и невежестве погибли. В бедности царит невежество.

— Нет, — ответил Лев Николаевич, — это ложный взгляд, что богатство может дать образование. Сплошь да рядом, напротив, среди богатых невежество; среди людей, более близких к нищете, я скорее нахожу образование. Почему богатство даст образование? Богатство может дать вино и разные удовольствия, которые, напротив, затуманивают людей.

— О многом богатстве не нужно говорить, — возразил другой парень, — а лишь бы для поддержания семьи хватало. А то некогда подумать о хорошем деле.

— Большинство теперешнего населения российского никакого у себя идеала не имеет, а только стремится выбиться из несчастной лачуги, — сказал один из парней, — ему не остается времени подумать о душе.

— Да, это вы так думаете, — возразил Лев Николаевич, — а я не думаю, чтобы все русское население было в таком ужасном положении — ужасном духовно. Если бы я поверил вам, это было бы ужасно. Человек может питаться одним хлебом и может быть довольным, и может человек обедать в шесть блюд и ничего не работать и быть недовольным своей судьбой.

Беседа кончилась. Лев Николаевич простился и уехал. Разошлись и мы, унося воспоминание об одном из лучших часов нашей жизни.

# 1907 год



*27 сентября*

Вчера утром я приехал в Телятинки и в двенадцать часов пошел в Ясную. Лев Николаевич встретил меня словами:

— А я пишу Черткову, и пишу ему: Гусев все еще не приезжал. А теперь припишу: Гусев приехал.

Софья Андреевна встретила меня очень радушно.

— Я очень рада, — сказала она, — что вы здесь будете жить. Чувствуется в вас близкий друг.

Она пожаловалась мне на то, что последователи Льва Николаевича ее игнорируют, считают ни за что.

— Они хотят, — сказала Софья Андреевна, — чтобы я восприняла принципы Льва Николаевича. Но что же делать, если я не могу!

...Вечером гостящий в Ясной И. Е. Репин [1] попросил Льва Николаевича что-либо почитать вслух. Лев Николаевич выбрал два рассказа Куприна: «Ночная смена» и «Allez!». Оба эти рассказа, особенно последний, ему очень нравятся. «Allez!» Лев Николаевич даже не мог дочитать от слез — так трогает его этот рассказ. По окончании чтения он сказал:

— В искусстве главное — чувство меры. В живописи после девяти верных штрихов один фальшивый портит все. Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего [2].

Перечтя некоторые места и указав в них на те художественные образы, которые ему особенно нравятся, Лев Николаевич прибавил:

— Ни у какого Горького [3], ни у какого Андреева [4] вы ничего подобного не встретите. Я был в военной службе, вы не были, — продолжал Лев Николаевич, обращаясь

к Репину, — женщины совсем ее не знают, но все чувствуют, что это правда.

(Это замечание относилось к рассказу «Ночная смена».)

Я никогда не слыхал такого удивительного чтеца художественных произведений, как Лев Николаевич.

*29 сентября*

Восьмого сентября в столичных газетах появилась с большими пропусками статья Льва Николаевича «Не убий никого»[5]. Основная мысль этой статьи выражена в следующих словах:

«В каждом теле человека живет одно и то же божественное начало, и поэтому ни один человек, ни собрание людей не может иметь права нарушить это установленное соединение божественного начала с человеческим телом».

Статья эта, как Лев Николаевич и ожидал, была встречена очень несочувственно руководителями общественного мнения. Особенно враждебно отнеслись к ней революционные органы. Сегодня я рассказал Льву Николаевичу содержание статьи против него Плеханова, напечатанной в газете «Товарищ»[6] и содержащей оправдание террора политическими соображениями. Он с недоумением и жалостью сказал:

— Решать вопрос об убийстве на основании политических соображений! Этот основной вопрос нравственности, который стоял перед Моисеем, Буддой!..

*30 сентября*

Вчера, разговаривая с И. И. Горбуновым о женщинах, Лев Николаевич серьезным тоном сказал:

— Они все почти полусумасшедшие.

В ответ на выраженное Иваном Ивановичем недоумение Лев Николаевич пояснил, что он хотел сказать этими словами:

— Совершенная неспособность руководствоваться разумом, одно только сердце. Если сердце хорошо...

Он не докончил.

*2 октября*

Вечером Лев Николаевич рассказывал М. В. Булыгину содержание нового «Круга чтения», над которым он теперь работает. Труд этот составляется им из

систематически расположенных мыслей его самого и других мудрецов всех времен и народов. Был разговор о том, что некоторые чужие мысли Лев Николаевич включает в «Круг чтения» не буквально, а с некоторыми изменениями. Лев Николаевич сказал об этом:

— Прежде я не решался поправлять Христа, Конфуция, Будду, а теперь думаю: да, я *обязан* их поправлять, потому что они жили три — пять тысяч лет тому назад!

*3 октября*

В «Новом времени» и «Русских ведомостях» от 20 сентября было напечатано письмо Льва Николаевича в ответ на получаемые им ежедневно в большом количестве письма с просьбами о денежной помощи. Если не ошибаюсь, Лев Николаевич сам выбрал именно эти две газеты, как самые распространенные двух противоположных направлений. В этом письме Лев Николаевич говорит:

«Более двадцати лет тому назад я, по некоторым личным соображениям, отказался от владения собственностью. Недвижимое имущество, принадлежащее мне, я передал своим наследникам так, как будто я умер. Отказался я также от права собственности на мои сочинения, и написанные с 1881 года стали общественным достоянием... Ввиду этого я и считаю нужным теперь просить всех нуждающихся в денежной помощи лиц обращаться не ко мне, так как я не имею в своем распоряжении для этой цели решительно никакого имущества. Я менее, чем кто-либо из людей, могу удовлетворить подобным просьбам, так как если я действительно поступил, как я заявляю, то есть перестал владеть собственностью, то не могу помогать деньгами обращающимся ко мне лицам; если же я обманываю людей, говоря, что отказался от собственности, а продолжаю владеть ею, то еще менее возможно ожидать помощи от такого человека» [7].

Это письмо, неожиданно для Льва Николаевича, вызвало против него целый поток брани в печати и в письмах. В газете «Утро России» (№ 10, 27 сентября) появилась отвратительная карикатура, которую какой-то добрый человек прислал Льву Николаевичу. Изображен жирный мужчина с лицом, похожим на Льва Николаевича, сидящий за столом и придвигающий к себе вазу с фрук-

тами, бутылку с надписью «птичье молоко» и другие яства. На вазе, на фруктах, на столе и на стуле, на котором он сидит, везде дощечки с надписью: «Собственность жены». Под карикатурой подпись: «Почтенный Тит Титыч, прочитав последнее письмо Л. Н. Толстого, немедленно объявил себя толстовцем».

Вероятно, под впечатлением подобного рода карикатур и ругательных статей в печати, неизвестные лица стали присылать Льву Николаевичу и письма такого же содержания. Самое бесстыдное из них было полученное недавно следующего содержания:

«Последним вашим письмом вы перед всеми расписались в том, что вы подлец. Места не хватит для подписей».

*4 октября*

Вечером Т. А. Кузминская пела под аккомпанемент Сергея Львовича[8]. Лев Николаевич слушал с большим удовольствием, потом вдруг встал и ушел к себе. Когда я вскоре после этого зашел к нему, он показался мне очень растроганным.

— Музыка, — сказал он мне, — это единственное из мирского, что действует на меня... Я объясняю это так, что подобно тому, как я радуюсь, смотря на природу...

И затем прибавил (музыка и пение все еще продолжались):

— Как бы хорошо так же торжественно жить, как умирать!..

*5 октября*

Вчера вечером Лев Николаевич сказал Софье Андреевне, которая долго и раздраженно что-то говорила:

— Хорошо, если человек говорит для того, чтобы передать свои мысли; но если он хочет говорить для того, чтобы передать свое волнение, то лучше не говорить.

*6 октября*

Утром, забирая свою особенно обильную почту, Лев Николаевич сказал мне:

— Когда получишь этакую гору бумаг, то, право, думаешь, что изобретение книгопечатания было бедствием, подобным изобретению пороха. Все болтают, болтают...

На полученное сегодня письмо с вопросом о том, советует ли Лев Николаевич переселиться к духоборам, он поручил мне ответить, что не советует, потому что везде жить можно [9].

*7 октября*

Недавно за обедом Лев Николаевич сказал:

— Почему богатым хуже, чем бедным? Потому что бедные удовлетворяют своим потребностям, а богатые — удовольствиям. Первое радостнее, чем второе.

И этой радости Лев Николаевич лишен. За последнее время давно уже тяжелая ему жизнь в Ясной Поляне стала еще тяжелее. Вчера во время своей обычной предобеденной прогулки, проезжая мимо двух мужиков, из которых один был пьян, Лев Николаевич услышал, как тот, который был пьян, крикнул ему:

— Ваше сиятельство! дай бог тебе поскорей околеть! — следовало матерное ругательство.

— Я, — рассказывал Лев Николаевич, — подъехал к ним, спрашиваю: за что ты меня? что я тебе сделал? Тот, который ругался, молчит, а другой стал говорить: «Да мы ничего, мы ничего и не говорили». Да как же, говорю, ничего не говорили, ведь я слышал. Тогда тот, пьяный, который ругался, закричал: «Да что ты ко мне пристал? Что ты, в меня из ружья выстрелишь, что ли? Ступай ты!..» — и опять загнул...

Это озлобление некоторых местных крестьян против Льва Николаевича вызвано главным образом тем, что теперь, по вызову Софьи Андреевны, в усадьбе живут двое стражников, которые делают разные неприятности крестьянам. Стражники были вызваны Софьей Андреевной после какого-то странного нападения на яснополянского садовника крестьянских парней, будто бы сделавших даже несколько выстрелов из револьверов, причем несколько пуль попало в стены риги. Указанные садовником парни были арестованы и посажены на один месяц при полиции *.

Это происшествие было в начале сентября [10]. Оно дало повод газетам напечатать сенсационные статьи под за-

* Впоследствии, когда я был арестован, я видел одного из этих парней в Крапивенском полицейском управлении. Он уверял меня, что с их стороны не было никаких выстрелов, они только полезли за овощами, а стрелял садовник, который и оговорил их. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

главием «Обстрел дома Л. Н. Толстого», в которых не было почти ни одного слова правды.

Враждебные же Льву Николаевичу церковные и консервативные издания напечатали по этому поводу статьи, в которых с злорадством объявляли, что вот-де проповедник непротивления, когда дело коснулось его шкуры, сам закричал «караул» и позвал полицию.

Какую нужно иметь силу духа, чтобы терпеливо нести этот крест всеобщего озлобления, клевет и насмешек!

*8 октября*

На днях был разговор о безумии правительственных репрессий.

— Сажая в острог, — сказал Лев Николаевич, — они создают себе злейших врагов из тех же самых людей, кого сажают; убивая — из новых.

Лев Николаевич получил письмо с вопросом о том, почему он никогда не возражал на то, что писал о религии Владимир Соловьев. Он продиктовал мне на это письмо следующий ответ:

«Лев Николаевич просит вам написать, что, когда он писал свои сочинения, он имел в виду все то, что говорят защитники православия, но не находил нужным возражать, не находит и теперь» [11].

*9 октября*

За завтраком Лев Николаевич старался вспомнить что-то и не мог и по этому поводу сказал:

— Кто-то сказал, что для того, чтобы бог взошел в тебя, надо опорожнить место. Уж я, кажется, так опорожнил: ничего не помню.

После этого заговорили о том, что одна деревенская старуха, ужасаясь перед теперешними грабежами и насилиями, видит спасение в том, чтобы вернуть крепостное право. Лев Николаевич сказал на это:

— Раньше страдал больше низший класс, а теперь страдания дошли до нас: вот убьют, отнимут... И это хорошо. Все чувствуют, что так жить нельзя. И вот одни предлагают крепостное право вернуть, другие — социализм, но люди думают, — это не стадо баранов.

Был еще разговор о школе. Лев Николаевич сказал:

— Я теперь просто страдаю, когда думаю о школе. Вот я езжу гулять, каждый день вижу, как дети выходят

из школы. Чему они там, бедные, научатся?.. При виде такой ужасной тьмы...

— Приходишь в отчаяние, что ничего нельзя сделать? — спросила Т. А. Кузминская.

— Нет, не приходишь в отчаяние, — возразил Лев Николаевич, — а чувствуешь свою обязанность сколько-нибудь содействовать просвещению людей...

*10 октября*

Вечером я, по просьбе Льва Николаевича, читал вслух полученное недавно письмо Антона Ивановича Иконникова, сидящего в Скерневицкой крепости за отказ от военной службы.

Иконников — из мещан Рязанской губернии. Призывался он в 1904 году в Скопине. После отказа его арестовали, и с тех пор он сидит в разных крепостях и на гауптвахтах.

Суда над ним еще не было, и неизвестно, когда кончится его заключение. Духом он всегда бодр и спокоен; все письма его производят всегда очень радостное впечатление. Таково и последнее письмо. В нем он пишет, между прочим, о том, как раньше его заедали в тюрьме огромные, лохматые вши.

Лев Николаевич прослезился, слушая это письмо, и сказал, что завидует положению Иконникова.

— Ну уж хорошо, — сказала Софья Андреевна, — грязь, вши...

— Это вши святые, — ответил Лев Николаевич. — Кабы у нас таких побольше было...

— Вшей святых никогда не бывает, — продолжала стоять на своем Софья Андреевна.

*11 октября*

Утром, когда мы были с ним одни в кабинете, Лев Николаевич вспомнил опять вчерашнее письмо Иконникова. По поводу тех лишений, которые ему приходится терпеть, Т. А. Кузминская сказала: «Я бы от всего отреклась: от всех принципов, от всех идей, лишь бы не жить так».

— А ведь у нее сын был на войне, — сказал Лев Николаевич, — на том пароходе, который тонул [12]. Это она одобряет. Положительно, эти люди, которые не живут духовной жизнью, действуют только под влиянием внушения.

*12 октября*

Один псаломщик прислал Льву Николаевичу письмо, в котором пишет: «Пока существует духовная каста, она должна же жить. Как, по-вашему, она должна поступать, чтобы не ошибиться в движении наравне с остальным мыслящим человечеством?» Лев Николаевич поручил мне ответить на это письмо. Я ответил, что Лев Николаевич считает деятельность духовной касты вредной потому-то и потому-то, а более подробно его взгляды об этом предмете вы узнаете из его книжки «Обращение к духовенству», которую посылаем вам одновременно с этим письмом. Вероятно, для того, чтобы смягчить резкость моего ответа, Лев Николаевич приписал к моему письму: *«Посылаю вам эту книгу и письмо, любя, и прошу, надеюсь, что вы примете их так же»* [13].

Другое важное письмо, на которое Лев Николаевич просил меня ответить, от сына торговца, который пишет о том, что он желает учиться, и из-за этого у него происходят неприятности с отцом, который не хочет отпустить его. На конверте этого письма Лев Николаевич написал следующий ответ: «Н. Н. ответить и послать книгу. Дело жизни — работать над собой нравственно, а работа эта везде возможна и включает любовь с теми, с кем связан» [14].

*14 октября*

П. И. Бирюков прислал Льву Николаевичу книгу Е. Лозинского «Что же такое, наконец, интеллигенция?» [15], полагая, что Льву Николаевичу будет интересно познакомиться со взглядами автора, в известной степени близкими к его собственным. Лев Николаевич прочел эту книгу и вполне согласился с ее основной мыслью: что интеллигенция есть новый, слагающийся эксплуататорский класс, борющийся за власть над трудовым народом с ранее сложившимися классами хищников.

*15 октября*

После завтрака был разговор о писательстве. Лев Николаевич привел известные слова Бюффона: «Le génie c'est la patience» (гений — это терпение) — и в пояснение их добавил:

— И не в том смысле, что дай я буду терпелив, а в том, чтобы не выпускать из своих рук вещь, пока не вложишь в нее все, что можешь.

Через несколько минут после этого разговора я увидел Льва Николаевича до такой степени взволнованным, до какой даже не предполагал, что он может взволноваться. Оказалось, что М. С. Сухотин за какое-то оскорбление вызвал своего обидчика на дуэль [16].

— А ведь он осуждает революционеров, которые хотели убить Голицына [17], — громким, взволнованным голосом, в котором слышались слезы, чуть не кричал Лев Николаевич. — У революционеров есть оправдание, что они стоят за народ, и они действительно стоят отчасти за народ, они рискуют, а ведь это просто нелепость!

Софья Андреевна и Т. А. Кузминская пробовали оправдать М. С. Сухотина. Лев Николаевич с таким же волнением, чуть не крича, отвечал им:

— Нет, это подло, до последней степени подло!.. Революционер может быть беден, ему нужны деньги... Стóит только оглянуться, чтобы понять, в каком вертепе разврата мы живем!..

В таком взволнованном состоянии Лев Николаевич и уехал на прогулку.

За обедом по поводу книги Лозинского был разговор о громадном влиянии, каким пользуется в наше время интеллигенция.

— Этим объясняется, — сказал Лев Николаевич, — что так много молодежи стремится к образованию: образование дает как бы особый чин, и они инстинктивно чувствуют это.

За вечерним чаем был интересный общий разговор. Татьяна Андреевна, которая скоро уезжает, сказала Льву Николаевичу, что еще увидится с ним, если не здесь, то на том свете.

— Мы на том свете не узнаем друг друга, — возразил Лев Николаевич.

— Почему?

— Да ведь мы здесь никого не узнаём.

— А ты веришь, что на Марсе есть жители? — спросила Татьяна Андреевна.

— Для этого вовсе не нужно Марса, — отвечал Лев Николаевич, — они могут быть в песчинке, в капле воды. Для этого вовсе не нужно больших расстояний. Это дети

интересуются большими расстояниями: миллионы миллионов...

Еще Лев Николаевич сказал:

— В одиночестве человек бывает выше, чем с людьми; нужно, чтобы, сходясь с людьми, видеть в них бога.

Недавно была угрожающая телеграмма из Подольска: «Ждите, Гончаров». Это уже вторая от того же неизвестного человека; первая была: «Ждите гостя, Гончаров» [18].

Софья Андреевна беспокоится, а Лев Николаевич относится к этой угрозе совершенно равнодушно.

— Я бы рад был такому концу, — сказал он. — Чем хрипеть и мучиться... Это смерть хорошая.

По какому-то поводу Лев Николаевич вспомнил жившего в Ясной Поляне лет тридцать назад студента Вас. Ив. Алексеева, учителя Сергея Львовича. Лев Николаевич говорил о нем с большой любовью и уважением. Особенно нравилось Льву Николаевичу в Алексееве то, что, живя во флигеле (так называемом «Кузминском доме»), он старался как можно меньше пользоваться услугами других и как можно больше делать для себя сам, даже сам чистил ретирады, что он делал ночью.

— Разумеется, этого никто не знал, что он чистил, — прибавил Лев Николаевич.

Опять вспоминал Лев Николаевич о том, как его обругал пьяный мужик, и, рассказав об этом тем, кто не слыхал, прибавил:

— Мало нас ругают, мы много больше сто́им...

Мне же, один на один, перед сном, Лев Николаевич сказал:

— Эти два дня я потерял радость... Не то, чтобы недовольство какое, а нет того, что было раньше: чувства благодарности...

*16 октября*

Приехали с юга единомышленники Льва Николаевича: С. А. Заболотнюк и Н. Г. Сутковой. У Льва Николаевича был с ними очень интересный разговор. Между прочим, о себе самом и о «толстовстве» Лев Николаевич сказал:

— Толстовства никакого не существует; есть вечные истины; если что сделал Толстой, так только то, что применил эти вечные истины к современной жизни.

Н. Г. Сутковой, говоря о своей внутренней жизни, сказал, что он создает себе идеальные представления о том,

чем он желал бы быть, и эти представления помогают ему двигаться вперед.

— Не думаю, — возразил Лев Николаевич. — А мне на мои восемьдесят лет кажется так: шажок — и подвинулся вперед. Делать над собой маленькое усилие, — например, сказать себе, что и в мыслях не буду осуждать людей...

Передавал Лев Николаевич своим собеседникам содержание своей теперешней работы — нового «Круга чтения». В нем есть отдел «Гордость», за которым следует отдел «Ложь». Передавая содержание этих двух следующих один за другим отделов, Лев Николаевич сказал:

— Гордость и ложь связаны между собой; гордость заставляет нас лгать.

Заболотнюку предстоит нынешнюю осень призыв, и он намерен отказываться, хотя и полагает, что по телесным недостаткам его не возьмут на службу. Лев Николаевич советовал ему отказываться лишь в том случае, если его не освободят. Об отказе же вообще сказал:

— Чтобы не было в этом желании удивить, научить кого-нибудь; чтобы не обращаться так, что ты — человек низшего жизнепонимания, а я — человек высшего жизнепонимания. Самое лучшее обратиться с такими словами: «Я этого не могу, для меня это унизительно, оскорбительно, пожалуйста, увольте меня...» Обратиться к его человеческим чувствам. Если при всех, то это может раздражить, озлобить...

На днях ко Льву Николаевичу приходил крестьянский парень Лисицын, приговоренный на один год крепости за то, что назвал царя «Николка-пьяница, рыжий дурак, синие штаны». На него донесла его мать, с которой он разошелся из-за того, что она живет распутно и дочь склоняет к тому же. Лев Николаевич просил Т. А. Кузминскую через мужа-сенатора и знакомых сделать, что можно, для облегчения его судьбы.

*17 октября*

Вечером, когда я зашел ко Льву Николаевичу, чтобы передать написанные мною письма, я застал его сидящим в кресле и не занятым никакой работой. Когда я положил письма на стол и сказал ему об этом, он сказал мне:

— Я сейчас занимался одним из самых серьезных дел в мире, которое и вам советую.

Он остановился. Я приготовился внимательно слушать. Он продолжал:

— Перебирать в мыслях людей, к которым имеешь недоброе чувство, и думать о них с любовью, стараться вникнуть в их душу. Ну, Иван Кронштадтский, думаешь о том, как он был к этому приведен...[19]

*18 октября*

Перед завтраком Лев Николаевич говорил со мной о книге «The crime of crimes» bu Clar Olds Keeler — о наказаниях преступников в Западной Европе и Америке, которую он только что прочитал[20].

— Это ужасно! — в волнении воскликнул он. — В Америке преступников продают компаниям, которые употребляют их на работы и наживают при этом до ста процентов прибыли, и их там секут!.. Кажется, что теперь это изменено, но это было в тысяча девятьсот четвертом году, и никто этого не знал...

Затем был разговор о насилиях и грабежах экспроприаторов[21].

— Вот, — сказал Лев Николаевич, — Софья Андреевна, Михаил Сергеевич боятся за себя, а я просто жалею этих людей, что они губят себя, губят свои души, — с глубокой скорбью в голосе, прижимая сложенную в кулак левую руку к груди, сказал Лев Николаевич.

*22 октября — 20 декабря*

Я прожил в Телятинках, помогая Льву Николаевичу, только двадцать шесть дней. 22 октября ко мне явился становой пристав со стражниками, сделал у меня обыск, забрал некоторые бумаги и арестовал.

Поводом к моему аресту послужило, кроме некоторых найденных у меня бумаг, также и то, что у меня не было с собой паспорта, а главное, то, что кто-то донес, что у меня происходят собрания крестьянской молодежи, на которых я будто бы ругаю царя.

На третий день моего ареста, когда я находился еще на становой квартире, меня навестил Лев Николаевич. Он заехал сначала к помещице А. Е. Звегинцевой, в усадьбе которой помещалась становая квартира. Когда Лев Николаевич заговорил с ней обо мне, она сказала:

— Помилуйте, как же его было не арестовать: крестьяне показывают, что он ругал царя.

Лев Николаевич ответил ей:

— Я так же не могу поверить тому, что Гусев ругал

царя, как если бы мне про вас сказали, что вы ругаетесь матерными словами.

Узнав, что одной из причин моего ареста служило то, что у меня не было с собой паспорта, Лев Николаевич написал удостоверение моей личности. В заголовке этой бумаги Лев Николаевич написал:

«Господину Становому Приставу 2 стана Крапивенского уезда».

— Тут можно и графа пустить, — сказал он мне с усмешкой.

«...графа Льва Николаевича Толстого заявление».

— Как же нам написать? Ну, говорите ваши чины и ордена, — сказал он мне.

— Рязанский цеховой, — ответил я.

«Рязанский цеховой Николай Николаевич Гусев, — продолжал писать Лев Николаевич, — мне лично известен, и потому заявляю, что он и есть то самое лицо, которым он себя называет.

Граф *Лев Толстой*.

24 октября 1907».

— Я думаю, что это подействует, — сказал мне Лев Николаевич.

Станового не было, когда Лев Николаевич приезжал навестить меня. Когда он приехал и узнал, что у меня был «граф», он переменил свое обращение со мной.

Вопреки ожиданию Льва Николаевича, меня не отпустили, а продержали на становой квартире еще два дня и затем объявили, что завтра отправят в уездное полицейское управление в Крапивну.

На пятый день моего пребывания на становой квартире, накануне отправления в Крапивну, Лев Николаевич еще раз приехал навестить меня. Он удивился, что я все еще под арестом.

— Неужели та моя бумажка не подействовала? — сказал он.

Узнав, что меня решили отправить в Крапивну, Лев Николаевич сказал:

— Я всех прошу, чтобы меня водили в Крапивну, и никто этого не хочет.

На этот раз становой был дома. Как доказательство того, что я действительно, как на меня донесли, ругал царя, становой показал Льву Николаевичу сделанные

мною карандашом заметки на полях его книжки «Единое на потребу». Когда Лев Николаевич сказал мне об этом, я сказал ему, что заметки эти — не что иное, как выписки выпущенных в русском подцензурном издании мест этой статьи, сделанные мною из полного заграничного издания (это были очень резкие характеристики Александра III и Николая II)[22]. Услышав это, Лев Николаевич очень взволновался и огорчился. Ему всегда бывало в высшей степени тяжело, когда за его книги преследовали близких ему людей в то время, как сам он оставался в безопасности.

На другой день меня перевезли в Крапивну, — сначала в полицейское управление, а потом — в тюрьму.

Четвертого ноября, на восьмой день моего сиденья в тюрьме, я получил письмо от яснополянского врача Д. П. Маковицкого, в котором он писал мне:

«Дорогой друг! Если у тебя есть возможность, напиши о себе Льву Николаевичу. Твоя участь очень близка его сердцу. Очень грустно ему за тебя.

Мне не так. Я больше жалею Льва Николаевича, что страдает за тебя и лишен твоей столь нужной ему помощи, чем тебя. Жалею же тебя больше из-за внешней обстановки, не зависящей от тебя... Из-за душевного твоего состояния не беспокоюсь. Везде бог, везде жизнь. Надеюсь, что ты теперь его яснее сознаешь, чем раньше.

Уже десять дней, как тебя у нас не бывает. В это время было как-то тихо и торжественно.

Желал бы повидать тебя. Если санный путь установится, надеюсь в скором времени заехать к тебе.

*Душан П. Маковицкий.*

31 октября 1907».

В этот же самый день, чего я никак не ожидал, приехал ко мне на свидание Лев Николаевич с М. В. Булыгиным. Он привез мне теплую куртку и несколько пар теплых чулок.

Лев Николаевич сообщил мне, что он был по моему делу у губернатора, которому рассказал и о том недоразумении, по которому меня обвиняли в том, что я ругал царя. Потом он рассказал мне, что у него проездом из Онеги был наш единомышленник Антонов, бывший там в ссылке. Он рассказывал Льву Николаевичу, какая дисциплина существует среди тамошних политических ссыль-

ных: в известные дни выходят все с флагами, с песнями и пр.

— И все это мальчишки, — сказал Лев Николаевич, — а когда им говорят о христианстве, то они говорят, что это хорошо для овец. А они хотят быть волками... А вот *они* овец-то и берут... Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, — закончил Лев Николаевич, полными слез глазами глядя на меня и улыбаясь страдальческой улыбкой.

М. В. Булыгин сказал, что теперешняя интеллигенция вся почти относится к христианству отрицательно, потому что считает христианское учение не *научным*.

— Да, это обычное возражение интеллигентов: *научно не обосновано и исторически не доказано*, — улыбаясь, сказал Лев Николаевич.

Приехав в тюрьму, Льву Николаевичу пришлось некоторое время ожидать меня в конторе, потому что начальника не было дома. Разговорившись со старшим надзирателем, Лев Николаевич сказал ему, что служба его нехорошая.

— Да, хорошего мало, — согласился надзиратель.

Лев Николаевич указал на револьвер, торчавший у надзирателя за поясом, и сказал:

— А ведь Христос не велел убивать, а еще раньше Христа Моисей то же говорил...

Этот разговор передал мне потом сам надзиратель.

Лев Николаевич написал мне в тюрьму два письма. Ни одного из них я в тюрьме не получил; первое получил при освобождении, а второго не получил совсем. Копию с него я достал потом в Ясной Поляне.

Первое письмо помечено 27 октября 1907 года:

«Милый, милый, дорогой друг Николай Николаевич.

Как ни близки вы мне были до того испытания, которому вы подпали, вы мне теперь еще ближе и дороже: не только потому, что я чувствую свою вину, что все, что вы испытываете, по всей справедливости должен бы был испытывать я, но просто потому, что вы переносите — и так хорошо переносите — посланное вам испытание.

Не могу не чувствовать себя виноватым перед вами, так как те слова, которые ставятся вам в обвинение, — мои слова и мне надо отвечать за них. Знаю, что вы не укоряете меня, но все-таки не могу не просить вас про-

стить меня и не изменять ко мне вашего дорогого мне доброго чувства.

Помогай вам бог перенести ваше испытание, не изменив самого драгоценного для вас вашего любовного отношения к людям, которые по каким бы то ни было мотивам делают или стараются делать больно своему любящему их брату.

Помогай вам бог.

Всегда любивший вас, а теперь, как сознающий свою вину перед вами, особенно нежно любящий вас друг и брат.

*Лев Толстой.*

Думаю, что не нужно писать вам о том, что исполнить всякое поручение, желание ваше будет для меня успокоением и радостью.

*Л. Т.»* [23].

Второе письмо написано уже после свидания Льва Николаевича со мной в Крапивне. Оно помечено 8 ноября:

«Милый Николай Николаевич, не переставая с большой любовью и сознанием своей виноватости думаю о вас. Пользуюсь случаем поездки стражника в Крапивну, чтобы на всякий случай послать эту записку. Сейчас написал о вас письмо Олсуфьеву, приятелю Столыпина, описывая то недоразумение, по которому вас преследовали и держат, прося о прекращении его (недоразумения)[24]. Посылаю письмо нарочно незапечатанным, чтобы ему легче было дойти до вас. Если можно, напишите мне о себе. Не только надеюсь, но уверен, что скоро свидимся. Все наши вас помнят и любят и шлют вам привет. От Чертковых еще не имел об вас известий и жду с волнением, зная, как это огорчит его.

Писали ли вы домашним и не нужно ли чего сообщить им? Вообще поручайте нам, требуйте от нас хоть чего-нибудь. Служить вам — нам потребность и радость.

Любящий вас *Л. Толстой»* [25].

Это письмо, которое Лев Николаевич послал незапечатанным, чтобы скорее дошло, как я уже сказал, вовсе не дошло до меня.

Я просидел в крапивенской тюрьме до 20 декабря. В этот день в тюрьму приехали товарищ прокурора и

жандармский офицер и, спешно сделав мне допрос, объявили мне, что я свободен.

По освобождении, я поселился уже не в Телятинках, а в самой Ясной Поляне, где и прожил до нового ареста.

С первого же дня после освобождения я опять приступил к ежедневным записям казавшихся мне более значительными слов и поступков Льва Николаевича.

*21 декабря*

Вчера в десять часов вечера я был освобожден и сейчас же уехал из Крапивны в Ясенки. Там ночевал на постоялом дворе, а утром, побывав на почте, направился в Телятинки, а затем и в Ясную Поляну. Лев Николаевич, узнав, что я приехал, сошел вниз меня встретить. Все были мне рады.

Вечером сначала Лев Николаевич, а потом я читали вслух воспоминания дочери жены Пушкина от второго брака А. П. Араповой о Пушкине и его жене (из «Нового времени» 12, 16 и 19 декабря). Автор старается снять с жены Пушкина обычно взводимые на нее обвинения в легкомыслии, ветрености и кокетстве и доказать, что, напротив, муж ее и после женитьбы изменял ей. Статья производит сильное впечатление картиной разврата так называемой интеллигенции того времени[26].

— В наше время уже этого нет, — сказал Лев Николаевич, — я еще застал остатки этого.

По поводу моего освобождения Лев Николаевич сказал:

— Я рад. А не следовало бы радоваться: сидит — и пусть сидит. А рад.

А М. В. Булыгину Лев Николаевич сказал:

— Я тем более рад, что его выпустили, что я чувствую себя виноватым в этом деле. Хоть он царь-распроцарь, а ругаться все-таки не следует.

— А что, тоскливо было последнее время? — спросил меня Лев Николаевич. — Только правду говорите.

Я сказал, что, напротив, трудно было первое время, а потом привык.

*22 декабря*

Утром приехало из Москвы музыкальное трио: Б. О. Сибор (скрипка), А. Б. Гольденвейзер (фортепиано) и М. Е. Букиник (виолончель). Вечером играли Моцарта,

Гайдна, Бетховена, Аренского. Лев Николаевич был растроган, плакал и повторял: «Чудо, чудо!» Я никогда не видал человека, на которого бы музыка так сильно действовала, как на Льва Николаевича.

Для меня эта музыка была особенным наслаждением после двухмесячного почти полного отсутствия всяких внешних впечатлений.

— Николай Николаевич, — сказал Лев Николаевич, с улыбкой глядя на меня, — после тюрьмы попал в самую антитюремную обстановку.

За вечерним чаем разговор зашел о пьяницах и их душевном состоянии. Лев Николаевич сказал:

— Я, грешный человек, хотя сам не пью, а пьяниц люблю. Таких, которые не храбрятся этим. Если сравнить их нравственное состояние с состоянием людей воздержанных, трезвых, стремящихся к богатству или честолюбивых...

*24 декабря*

Играет Ванда Ландовска на привезенном с собой инструменте — клавесине и на фортепиано. Из всего, что она играла, Льву Николаевичу более всего понравились старинные французские народные танцы и восточные народные песни.

— Это — настоящее искусство, — сказал он, — на котором воспитались эти Вагнеры и Бетховены и исказили его. Настоящее искусство, созданное рабочим народом, понятно всякому: персиянин поймет русского, русский — персиянина. У меня были в Самаре башкиры, отец с мальчиком, они пели очень похоже на это [персидскую народную песню]. А господское вранье никто не поймет, — они и сами-то не понимают.

Уходя спать, Лев Николаевич на прощанье сказал Ландовской (по-французски):

— Я вас благодарю не только за удовольствие, которое мне доставила ваша музыка, но и за подтверждение моих взглядов на искусство.

Игра Ландовской с технической стороны безукоризненна. Это дало повод Льву Николаевичу вспомнить мысль Лабрюйера о том, что «музыка, скульптура, поэзия, живопись и ораторство не терпят посредственности» [27].

*25 декабря*

В. П. Свентицкий, член московского религиозно-философского общества, прислал Льву Николаевичу свою новую книгу «Антихрист»[28]. Я рассказал Льву Николаевичу, что прошлой зимой автор этой книги прочитал о нем в Москве пять лекций, основной мыслью которых было то, что сам Толстой — человек в высшей степени религиозный и нравственно-чуткий, учение же его — нерелигиозно, безжизненно и призывает к ничегонеделанию. Среди слушателей преобладали женщины. По взглядам своим Свентицкий — последователь Соловьева.

Сегодня утром Лев Николаевич сказал мне:

— Я сегодня ночью думал о Соловьеве: как это можно что-нибудь находить в нем? Православие? Ну, хорошо: православие мы знаем; православию я буду учиться не у него, а у бабы; она, я чувствую, верит в православие, а он не верит... Длинные волосы, эрудиция...

Разговор опять коснулся автора книги «Антихрист». Я передал Льву Николаевичу, насколько они сохранились в моей памяти, некоторые места его лекций, в которых он особенно резко отзывался об учении Льва Николаевича.

— А сколько ему лет? — спросил Лев Николаевич.

— Мне говорили, что он кончающий студент.

— Ну, тогда что же говорить...

И, помолчав немного, Лев Николаевич прибавил:

— Если мальчик ходит по скверным местам и кутит, то больше шансов, что он выберется, чем если он берется рассуждать о боге — да как рассуждать! *

— Все-таки хорошо было бы, если бы вы, Лев Николаевич, ответили ему, — сказал я.

— Нет, столько важной работы! — ответил Лев Николаевич и вспомнил об Александре Варнавском, недавно, под влиянием Иконникова, отказавшемся от военной службы и сидящем в херсонской тюрьме. — Это не то, что читать лекции перед дамами, а сидеть в тюрьме! — закончил он.

Говоря о полученных сегодня письмах, Лев Николаевич упомянул о письме одного близкого друга, не соглашающегося с его отношением к революционерам, и сказал:

---

* То есть очень самоуверенно. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

— Мне отвратительна моя жизнь, мне отвратительны эти люди, спокойно наслаждающиеся, но как же можно убивать?! Столыпин казнит, это отвратительно, но за ним предания веков и практика всего человечества. Это — большое смягчающее обстоятельство. А за ними — ничего!..

Но как-то недавно, за обедом, когда зашел разговор о революционерах, Лев Николаевич сказал:

— Сколько за последние годы было совершено дел самоотвержения революционерами. Как бы это восхвалялось, если бы было в патриотическом духе!

*26 декабря*

Был близкий по взглядам московский крестьянин Иван Гусаров, который рассказывал, что он решил уйти из своей деревни в екатеринославскую общину В. А. Шейрмана [29], главное, из-за того, что односельчане притесняют и преследуют его за его убеждения.

Лев Николаевич не советовал ему уходить, а советовал прощать и терпеть. Он сказал:

— Это очень неприлично... говорить о себе... но я все-таки скажу. Мне моя вот эта жизнь во сто тысяч раз отвратительнее, чем вам ваша, а я не могу от нее уйти.

Лев Николаевич не стал объяснять, почему он не может уйти от «отвратительной» ему жизни в Ясной Поляне, и думаю, что его собеседник, склонный, как и большинство людей, не развязывать, а разрубать гордиевы узлы в отношениях с людьми, не только не понял, но даже и представить себе не мог те причины, которые удерживают Льва Николаевича в противной ему барской обстановке жизни.

*27 декабря*

Вечером Сергей Львович приводил из исследования К. Кочаровского «Русская община» (2-е изд., 1906) данные о том, где, как и когда возникла в России община, где она укоренилась и где исчезла и какие причины способствовали ее развитию или ослаблению. Лев Николаевич слушал с видимым раздражением и нетерпением и, не дослушав до конца, воскликнул:

— Это отвратительно! Как может взрослый человек серьезно интересоваться этим? Важно то, почему люди соединялись в общины! Двигатель был духовный: у меня земли много, а у него мало, нужно сравнять. При чем тут

Восток, Запад? Это все равно, что сказать, что Толстой оставил писать романы потому, что родился на северо-востоке. Вот уж правду сказал Лао-тсе, что умные не бывают учены, ученые не бывают умны. Как прежде губила церковь, так теперь губит наука. Горшок за ним выносят, его кормят, все у него есть, вот он и пишет исследования о пустяках. Думает, что если он знает, какие на солнце пятна, то он все знает, а он не знает самого главного: чем движется жизнь.

Чем дальше, тем больше волновался Лев Николаевич, говоря это. Последние слова он говорил уже с плачем в голосе, быстро ушел к себе и затворил дверь.

*28 декабря*

Сегодня за завтраком Льва Николаевича мы были с ним вдвоем.

— Так бы и ушел в монастырь, — вдруг сказал он мне. — Право, если бы не было жены, ушел бы в монастырь. Дали бы мне там келью, в церковь бы ходить они меня не заставляли, все ждали бы, что я исправлюсь...

На днях Лев Николаевич получил следующее письмо из Омска:

«Лев Николаевич!

Спасибо вам. Как я ни крепился, чтобы вам не писать, но... не мог выдержать, хоть что-нибудь да скажу. Чувство мое или состояние сейчас такое, что мне хочется плакать, кричать, прыгать, кинуться вам на грудь или в ноги, ну, прямо сделать что-нибудь такое, чтобы хоть как-нибудь излить свою благодарность, нет, мало... ну, прямо не могу найти подходящего слова...

Пишет вам это двадцатилетний человек, которого знакомые считают: «мудрит, но потом обтешется», — не дай бог!

Мне иногда хочется сказать вам, как Петр: ты еси Христос, сын бога живаго.

Путь, приведший меня к этому, довольно странный. У меня горячо любимая сестра — невеста. Я никак не мог переварить, что она выйдет замуж... Надо мной смеялись, говоря: «Закон природы!» Я соглашался, но стоило вообразить, что она замужем... нет, гадость!

И вот (благословляю этот день) мне попалась «Крейцерова соната». Я почти обезумел от радости, но другие

мне говорили: «Ты еще мало жил, молод», — и... странно! мне становилось их жалко. Как же это они не понимают? или я... но нет, нет! Я всем существом чувствую, что я прав. Я жадно кинулся на ваши сочинения и, спасибо «Всемирному вестнику» *, познал.

Я чуть было не попался в сети сочинения Евгении де Турже-Туржановской [30], где говорится: венец счастья на земле — в физическом соединении с лицом другого пола, вытекающем из духовного соединения (любви). У вас, наоборот, всякое физическое соединение гадко! Я мучился полгода (раньше тоже, но слабее). И, наконец, — ваши «Мысли о половом вопросе», собранные Чертковым [31]. Моим сомнениям конец. Спасибо. Писал прямо, что вылилось, простите, что не так. Буду счастлив, если ответите: да, получил».

Отдавая мне это письмо, в числе других, для ответа, Лев Николаевич поручил ответить на него: «Получил, вполне сочувствую и понимаю» [32].

*29 декабря*

Недавно Лев Николаевич сказал про то, что происходит теперь в русском народе:

— Совершается что-то важное, какой-то духовный процесс, — как всегда, что-то новое, небывалое...

Несколько времени тому назад Лев Николаевич упал с лошади и повредил себе руку. На днях за вечерним чаем он сказал:

— Рука у меня почти уже прошла, и я об этом пожалел... Право! Бывало, каждый день утром я делал ею движения и радовался, что могу делать новые движения. А теперь нет этой радости. Это доказывает, как вообще необходимы усилия для жизни. Моя рука зажила, а ведь та-то рука никогда не заживет... **

*31 декабря*

Приезжали на один день единомышленники Льва Николаевича: С. Д. Николаев и В. А. Молочников.

О С. Д. Николаеве Лев Николаевич писал в своем письме Столыпину от 26 июля нынешнего года. В письме

* При журнале «Всемирный вестник» за 1906 г. давались в приложении сочинения Толстого. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

** То есть духовное совершенствование бесконечно. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

этом Лев Николаевич предлагал министру содействовать уничтожению главной, по его мнению, неправды нашего времени — частной земельной собственности, воспользовавшись при осуществлении этого уничтожения проектом «Единого налога» Генри Джорджа [33]. «Если бы вам хотелось, — пишет Лев Николаевич, — более живым способом познакомиться с этим делом, я бы посоветовал вам пригласить к себе моего приятеля, великого знатока, едва ли не лучшего в Европе, всего сделанного Генри Джорджем, Николаева. Он, я уверен, не откажется съездить к вам для того, чтобы по мере сил содействовать этому великому делу» [34].

С. Д. Николаев приезжал вчера, между прочим, и для того, чтобы спросить мнение Льва Николаевича о том, следует ли ему, в случае приглашения, ехать к Столыпину.

— Поезжайте, непременно поезжайте, — ответил Лев Николаевич. — После письма Молочникова это тем более кстати.

В. А. Молочников на этих днях написал Столыпину письмо об его деятельности, копию с которого он прислал Льву Николаевичу. Вчера мы читали это письмо вслух, и всем, и Льву Николаевичу в том числе, оно очень понравилось своею искренностью и серьезностью [35].

За утренним чаем между Николаевым и Молочниковым зашел разговор об обучении детей. Оба они — люди семейные и отрицательно относятся к существующим учебным заведениям. Возвратившись с прогулки, Лев Николаевич, прежде чем начать заниматься, прошел к нам в столовую и, узнав, о чем мы разговаривали, сказал:

— Во всяком случае, лучше не посылать детей в теперешнюю школу. Школа вредна не только тем, что там преподаются зловредные предметы, но общим духом своим, тем, что приписывается важность тому, что не имеет важности, как орфография. Считается, что орфография важно, а знать, что грех, — неважно.

Перед своей обычной предобеденной прогулкой Лев Николаевич опять говорил с В. А. Молочниковым. Про себя он сказал ему:

— Я никогда не думал, что старость так привлекательна: чем ближе к смерти, тем лучше.

# 1908 ГОД



*1 января*

За вечерним чаем говорили о «Круге чтения».

— «Круг чтения» незаменим в тюрьме, — сказал я. — Некоторые места прямо подходят к положению.

— Мы все в таком положении, — возразил Лев Николаевич. — Я первый в тюрьме сижу.

Когда Лев Николаевич, уже простившись со всеми, намерен был уходить к себе, затеялся небольшой общий разговор. Мало-помалу все вышли из-за стола и окружили Льва Николаевича. Образовался круг, вроде хоровода.

— Ну, запевайте, что же вы? — сказал Лев Николаевич.

— «Как по-о-о-о мо-о-рю...» — завел Андрей Львович [1].

Все взяли друг друга за руки и обошли круг. Всех нас, людей различных общественных положений и различных взглядов на жизнь, на несколько минут Толстой объединил в одном чувстве беззаботного веселья.

*2 января*

Сегодня Душан Петрович Маковицкий, как это часто с ним бывает, уехал в дальнюю деревню к больному. Возвращаясь с предобеденной прогулки, около пяти часов, Лев Николаевич, всходя по лестнице, спросил меня (я был внизу, в передней):

— А Душан еще не возвращался?

— Нет.

— Завидная его участь, — сказал Лев Николаевич.

*3 января*

Не раз я слышал от Льва Николаевича, что когда он получает письма и видит на конверте правильно и четко написанный адрес, то такие письма менее его интересуют, чем письма с безграмотным и непривычной к письму рукой написанным адресом («Толстову», как пишут многие). Письма рабочих людей более интересны Льву Николаевичу, чем письма интеллигенции. Вот одно из таких безграмотных писем, полученное недавно (привожу с сохранением орфографии):

«Его превосходительству Льву Николаевичу Г-ну Толстому! Левъ Николаевич! обращаемся мы к вам за помочью как вы великий и всемирный писатель, в особенности религиозный указатель, то мы и решили обратиться к вам Левъ Николаевич фабричные рабочие ярцевской мануфактуры. А в особенности к вам обращаемся великий всемирный писатель, извините пожалуста нас, что мы малограмотны и необразованны тёмны и решили обратиться как к великому учителю разрешить нам тяжелые вопросы, в особенности «религия». Так как мы не знаем откуда нам найти истинный путь к спасению то и решили обратиться к вам. Пожалуста Левъ Николаевич разрешите нам тяжелые вопросы о церковных таинствах: крещение, миропомазание, елеосвящение, священство, брак, причащение. Мы и решили обратиться к вам разрешить нам эти таинства в особенности брак и крещение; просим пожалуста написать нам ответ, чем иным заменить эти таинства, и как их принимать в действиях.

А еще обращаемся к вам пришлите переведенное Евангелие, а что стоимость его, то мы немедленно деньги вышлим.

А еще мы тоже не можем и опять, хотя и попадается в Евангелие истина, но мы ничего решительно не поймем, то мы тоже обращаемся к вам, скажите как нужно молиться богу, нужно принимать какие действия или нет, пожалуйста Левъ Николаевич разъясните нам ети тайны, и пришлите ответ. А еще просим вас прислать если можно какия поучительныя книги в особенности религиозныя. До свидания Левъ Николаевич!.. Извините нас за то что мы невежливо обращаемся к вашему превосходительству, а потому губит наша темнота за тем подписуемся Филипп Семенов» [2].

Как радостно бывает Льву Николаевичу получать такие письма!

*4 января*

Приезжал священник Троицкий из Тулы. До завтрака мы с ним немного поговорили один на один. Оказывается, он не раз уже бывал у Льва Николаевича. «После отлучения, — сказал он мне, — про меня писали, что меня посылал архиерей для увещания Льва Николаевича. А я приезжал доброхотно. Мы с ним приятели» [3].

Я спросил священника, остается ли теперь в силе изданное в 1900 году постановление синода не отпевать Льва Николаевича по православному обряду в случае его смерти [4]. Он ответил уклончиво: «Прежде смерти о похоронах не говорят. Тот, под чьим влиянием это распоряжение было издано, сам умер». (Это был намек на Победоносцева.)

За завтраком Льва Николаевича священнику удалось побеседовать с ним.

— Я читал вашу книжку «Христианское учение» [5], — сказал священник. — У вас все похоже на наше учение. Мы с вами во многом сходимся.

— Да, у вас есть истина, — отвечал Лев Николаевич. — Если бы у вас не было истины, вы бы давно погибли. Но вместе с истиной у вас и много лжи. Вас гордыня дьявольская обуяла, что вы знаете истину. Мне вот восемьдесят лет, и я до сих пор только ищу истину... И эта ваша уверенность в том, что вы знаете несомненную истину, разъединяет вас со мною, с китайцем... А я соединяюсь с ними.

Продолжения и конца их разговора я не слыхал: он происходил один на один. Видимо, этот посетитель был очень тяжел Льву Николаевичу. Сужу так по тому, что сам Лев Николаевич рассказывал за обедом. По его словам, священник сказал ему, что церковные обряды — это как скорлупа на яйце. Если прежде времени сколупнуть скорлупу, то цыпленок не выведется.

— Я сказал ему, — продолжал Лев Николаевич, — что скорлупа — это тело, цыпленок — это дух, а ваше учение — это дерьмо на скорлупе. Он очень обиделся. Я еще резче сказал, — не на «д», а на «г».

Софье Андреевне очень не понравился ответ Льва Николаевича священнику.

— Я не люблю дурных, нечистоплотных слов, — сказала она.

— Это отвратительно, папа, что ты сказал, — проговорил Андрей Львович.

Сергей Львович заметил, что, по его мнению, Софья Андреевна должна бы была сказать священнику, чтобы он не приезжал.

— Зачем же я буду это говорить? — возразила Софья Андреевна. — Человек приезжает с добрыми чувствами. Мало ли мне кто из «темных» * не нравится, я бы их вышвырнула из дома, а я всех принимаю. Я священников всегда привыкла уважать.

Эти резкие слова близких людей, видимо, ударили Льва Николаевича по больному месту. Как бы в оправдание свое он, волнуясь и со слезами в голосе, проговорил:

— Он меня пытается убеждать в том, чем я двадцать лет живу, а сам *играет* религиозными вопросами!.. Я пытался вызвать в нем религиозное чувство, но ничего не мог!.. Вот он, — сказал Лев Николаевич, указывая на меня, — знает мои письма: я с величайшим уважением отношусь к искренно верующим...

*6 января*

Многие из получаемых писем бывают тяжелы Льву Николаевичу тем тяжелым душевным состоянием их писавших, которое в них отразилось.

Таковы большинство писем о денежной помощи, пишущие которые по большей части так душевно слабы и беспомощны, что не могут сами себе помочь и надеются только на других. Таковы же и те довольно многочисленные письма людей, недовольных современными порядками, о которых Лев Николаевич недавно сказал:

— Видно, что у людей ничего нет, никаких нравственных основ, одно только раздражение. И люди думают, что и не нужно никаких основ, что достаточно одного раздражения.

*8 января*

По поводу ругательных писем, в которых его упрекают в том, что он проповедует бедность, а сам живет в богатстве, Лев Николаевич сказал мне сегодня:

— Это так хорошо, что есть повод меня бранить.

Для меня было вполне понятно, почему Лев Николаевич находит это хорошим. Это потому, что он считает не-

---

* «Темными» назывались в Ясной Поляне последователи Толстого. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

заслуженное осуждение «баней для души», очищающей от забот о людском мнении. В той молитве, которую он ежедневно произносит по утрам, есть слова: «Радуйся, когда тебя ругают и срамят».

Вот одно из этих ругательных писем, самое, казалось бы, обидное. Оно прислано без марки; почтовый штемпель: Ростов 21/XII.

«Лев Николаевич! — неужели это правда, что вы порете людей за каждый пустяк? Мы имели о вас совсем другое понятие. Если это ложь, то вы обязаны в газетах это сообщить, опровергнуть; но если у вас нет смелости опровергать истину этого сообщения, то вы достойны всякого порицания».

К письму была приложена следующая вырезка из радикальной газеты, кажется, «Наш понедельник»:

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В «ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ»

*(Письмо крестьянина)*

Обыкновенное мужицкое письмо с поклонами на первом плане и с обычными деревенскими новостями. Далее: «Первым долгом опишу тебе деятельность Ясной Поляны. Граф лозину бедных * поставил на военном положении. Под нею стоят стражники и ловят проходящих, и у которых не окажется паспортов, провожают на конюшню и порют нагайками и отправляют в стан [6].

Во время обеда кто-то украл канат, которым таскали солому, длиною в 75 аршин. Бедного старика сторожа били жестоко нагайками. К нам, в деревню, граф вызывал исправника и дал знать губернатору, и явилось с полсотни стражников. И здесь арестовали за найденный у реки лес Житкова Митрия, Василия Матвеева, Алеху и Андреяна, Абаковых Мишку — эти по приказу графини. И осуждены на три месяца. И Алеха и Иван Максимовы не осуждены. Фоканычев Пашка, Сергей Макаров, Антон Макаров, Андреян Курносенков и я и еще много других выпущены, так как они могли представить счеты, когда и у каких лесопромышленников был ими куплен лес. Тем и опра-

* Здесь разумеется тенистое дерево (вяз) перед крыльцом яснополянского дома, под которым сделана скамейка, куда обыкновенно летом садились приходившие за подаянием нищие и прохожие. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

вились. А у кого не было счетов, тех засадили. Бугров Андрей сидит.

Коморя Ивана стражники повели в стан, свели его в Кочак и избили его нагайками и без сознания его бросили. В Ясной Поляне ни крестьяне, ни ихний скот ни ногой на графские угодья. Андреян Абаков попался с песком. Стражники его поймали и потащили в Крапивну со всем, и с песком и с лошадью. Да насилу его баба упросила графиню, его с дороги вернули. Просила графа, а он говорит: «Я не хозяин, проси графиню».

Головенские мужики ехали с дубами из Головенской рощи. Стражники поймали их, привели на барский двор и держали по два дня.

Вот какие штучки Толстой разрабатывает».

Сообщаемые в письме сведения об арестах среди крестьян за порубку леса «по приказу графини» — верны; что же касается того, что «граф вызывал исправника и дал знать губернатору» и «лозину бедных поставил на военное положение», — то это, разумеется, выдумка самая нелепая. Но Лев Николаевич, по своему обыкновению, не стал возражать против напечатанной о нем клеветы.

*11 января*

Во время предобеденной прогулки Лев Николаевич заблудился в лесу в какой-то лощине.

— Так ты и кончишь свою жизнь где-нибудь в овраге, — сказала Софья Андреевна, когда Лев Николаевич за вечерним чаем рассказал об этом.

— На земном шаре все равно, в овраге ли или на горе, — смеясь, ответил Лев Николаевич.

Заговорили о болезнях Софьи Андреевны, которая сказала, что у нее инфлуэнца.

— Жили мы, жили, никакой инфлуэнцы не знали, а теперь вдруг откуда-то инфлуэнца появилась, — смеясь, сказал Лев Николаевич.

Ю. И. Игумнова не поняла его слов и сказала:

— Да, эта болезнь совсем недавно появилась.

— Вот еще катар тоже недавно появился, — в тон Льву Николаевичу сказал Душан Петрович.

— Да, теперь даже мужики говорят: *катар,* — сказал Лев Николаевич. — Недавно мне баба сказала про мужа:

«У него *катар* завелся», — и я уверен, что она под этим подразумевала какое-нибудь живое существо.

На днях Лев Николаевич получил следующее письмо:

*«Высокопочтенному*
*Графу Льву Николаевичу*
*16-го декабря 1907 года.*

ПРОШЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, крестьянская молодежь села Малая Толкая Толкаевской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии, обращаемся к Вам покорнейшею прозьбою, дайте нам совет и помощь образовать в кружок молодых людей частную маленькую библиотечку для бесплатного чтения. В настоящее время мы не имеем ни книг, ни газет, была у нас народная библиотека, и пока существовала, мы ничего пользы не получали, а пользовался большею частию наш сельский священник, теперь и эта почему-то закрыта. Будьте внимательны к нам, не оставьте нас в погибели, теперь только все надежды возлагаем на Вас, мы люди, как живые мертвецы, ходим во свете, а света не видим, помогите к нашему делу, чем имеете возможность, ждем с нетерпением Вашего ответа.

С почтением к Вам» (12 подписей) [7].

Другое краткое, но выразительное письмо:

«1907 года, 13-го декабря.

Благдорью вас Лев Николаевич, вы открыли мне глоза что, от рождения моего я смотрел и не видал. Теперь я много вижу.

Андрей Хайнов. Машков
переулок, булочная Меркулова» [8].

*12 января*

Э. Р. Стамо прислала Льву Николаевичу письмо, в котором спрашивает о недавно появившейся в печати заметке И. Тенеромо «Толстой о евреях». (В этой статейке дурным, фельетонным языком, так непохожим на сильный, сжатый и образный язык Толстого, излагаются мысли, которые Лев Николаевич будто бы говорил автору двадцать пять лет назад.) Получив письмо с копией этого фельетона, Лев Николаевич просил меня ответить г-же Стамо, что, «разумеется, Лев Николаевич не говорил ничего подобного» [9]. Ответ был мною написан и послан еще третьего дня.

Сегодня за вечерним чаем вспомнили об этом письме, и Лев Николаевич сказал:

— Ненависть к евреям вытекает из народной гордости, из признания, что мой народ избранный, а тот народ проклятый.

Душан Петрович возразил на это, что в евреях ненавидят их дурные свойства: их лживость, эгоизм, бессердечие...

— Вот я и не знаю, — сказал Лев Николаевич, — как это можно сказать про целый народ. Давайте я вам из ста пятидесяти миллионов русских наберу пять миллионов самых распроевреев.

Под свежим впечатлением этого разговора Лев Николаевич ушел к себе и через несколько минут вынес мне только что написанное им письмо г-же Стамо. В этом письме он пишет:

«... Хотя вы и очень ядовито подсмеялись надо мной, о моем в восемьдесят лет старании любить евреев, я остаюсь при моем мнении о том, что надо всеми силами воздерживаться от всякого недоброжелательства к людям, а в особенности от недоброжелательства сословного, народного, от которых так много зол. Воздерживаться надо особенно потому, что недоброжелательство, ненависть к целому народу нарушает главную основу христианского мировоззрения — любовь к ближнему без всякого различия (самарянина или иудея)... Очень желал бы вам освободиться от тяжелого чувства нелюбви к целому народу, желаю потому, что желаю вам искренно всего хорошего. А любовь ко всем — это самое лучшее» [10].

Сегодня Лев Николаевич отвечал на письмо крестьянина И. В. Кудрина, сын которого сидит в арестантских ротах в Киеве за отказ от военной службы. Вот письмо отца (с сохранением орфографии):

«Многоуважаемый Лев Николаевич, давно я желал отблагодарить тебя письмом, передаю тебе Мое Сердечное Глубочаишии Благодарность и великое спасибо тебе зато что я вижу что вы любитя Моего Сына Андрия, уведомляитя его писмами, тоисть который находится в арестанских ротах в Городи Киеви. Я Отец его и Мать его ився симейство его, испытываим Эту Горю, и печяль Переполняить Сердца наши. Так как он немох Паступить иначе Против Совисти Своей, и любви котороя внём, и против Евангильскова ученья.

Пусть укрепить его Бог Милостию своею испить Этаю чашу скорбей доконца, и чтобы болий болий содеиствовала любовь в нас ковсему Чиловечиству, и живущему. О боже, Что такое, Что Происходить Между Миром, везде Горе ипечяли оскорбление и убиства и кражи, и когда же это все прикротится, и когда же, Просветить Свет Христов всё тимнату земнуя.

Еще рас благодарю тебя Сирдечно Лев николаевичь не магу я по своей Малограмитности из я вить Тебе Сирдечнаю благодарность, спасибо тебе, и тех каторои его посещяли и Посещают. Я вижу что есть искриния любовь Человеколюбия в вас, конечно желал бы я посетить его ну моя бедная нужда и денежноя средство Мне Пока Припятствуить так как Мы с пиреселением в Сибирь Очинь нуждаимси Потому Что урожай унас был неособино, и посев Малинький, а симеинное Потребности есть. Хозяиство унас послучяю неуражаив упало. Еще Совреминп отца нашего умершаго, Василья Константинова Кудрина каторый был вам знаком.

Лев николаивичь, Мне очинь желательно Получить от вас Писмо обратно, и некоторой интиресной и Пользный Сочинений для нас, с искриним уважениим и любовию склоняюсь к стопам нох ваших, и желаю вам всего хорошего. Заочно целую вас, а дальши пусть все Мысли наши и дела наши будут направленны к дабру один другому. адрис наш Гор. Омск Черлановская станица Соменовский Посёлок Хутор. Ивану васильеву Кудрину» [11].

*13 января*

В Ясной Поляне гостит внучка сестры Льва Николаевича — Н. Л. Абрикосова с мужем и маленькой дочкой. Сегодня за обедом Лев Николаевич сказал ей:

— Как это трудно с детьми! Если предоставить ребенку возможность делать все, что ему хочется, то выйдет то, что называют «балованными детьми». Нужно, чтобы в ребенке началась внутренняя борьба, чтобы он сам привыкал бороться с собой; и чем раньше начнется эта борьба, тем лучше. Я потому говорю: трудно, что очень легко дать шлепка, чтобы он перестал кричать, но этого-то — насилия — и не должно быть.

За вечерним чаем был, между прочим, разговор о географии.

— Это христианнейший предмет, — сказал Лев Нико-

лаевич, — узнавать о том, как живут люди: и их экономическую жизнь, и политическое устройство, и религию — все, что мы можем знать. Также и история. Только начинать их не так, как начинают у нас, с самых отдаленных стран и времен, а, напротив, с самых ближайших: с Ясной Поляны, с Тулы, затем с Москвы и т. д.

По поводу полученного письма со стихами Лев Николаевич сказал:

— Писать стихи — это все равно, что пахать и за сохой танцевать. Это прямо неуважение к слову.

Зная, что Льву Николаевичу нравятся некоторые рассказы Куприна, приехавший сегодня вечером П. А. Сергеенко предложил прочесть вслух новый его рассказ «Изумруд», помещенный в сборнике «Шиповник»[12], который он привез с собою. Прочли шесть страниц, чтение прервал сам П. А. Сергеенко, сказав, что рассказ длинен, может быть, утомит Льва Николаевича, и Лев Николаевич действительно сказал, что много слишком осталось. Очевидно, рассказ не заинтересовал его.

*14 января*

Сегодня утром, возвращаясь с прогулки, Лев Николаевич сказал мне:

— Вчера я слушал этого «Изумруда» и ясно увидал, как мне неинтересны уже стали художественные произведения, эти выдуманные, ненужные... Точно так же и музыка. Это такое суеверие — видеть в этом что-то серьезное, важное... И прямым последствием этого взгляда явилось декадентство.

За обедом П. А. Сергеенко заговорил о Герцене.

— Он был религиозный человек, — сказал Лев Николаевич.

Вечером был очень интересный разговор. По поводу полученного Львом Николаевичем письма одного духобора Сергеенко выразил сочувствие отказу духоборов от пользования животными в работе.

— Ну, это уж после, — возразил Лев Николаевич. — У нас столько грехов по отношению к людям. Мы все, сидящие в этой комнате, пользуемся тем, что сами не сделали. Этот керосин, вот эти сапоги (указывая на свои), вот это (трогая пиджак своего соседа), все это сделано не нами, а мы спокойно пользуемся этим.

За чаем опять возвращались к вопросу о пользовании трудом животных. Лев Николаевич сказал:

— Нужно соблюдать постепенность в делах: сначала делать то, что самое важное.

И. А. Беневский рассказывал о своей сестре Марье Аркадьевне, осужденной на каторгу за покушение на убийство московского генерал-губернатора. Читали вслух ее очень интересное письмо к брату, в котором она излагает свои взгляды на жизнь. Судя по письму, в ней происходит перелом [13].

По поводу этого письма говорили о разнице религиозного и общественного жизнепонимания. Лев Николаевич сказал:

— Есть два взгляда. Один тот, что существую я, мое сознание, и весь мир существует в моем сознании. Это — взгляд религиозный. Другой взгляд, что существует мир, и в мире я существую, — это взгляд нерелигиозный. По этому взгляду нужно заботиться о судьбах мира, государства, народа и прочее. А по первому взгляду нужно заботиться только о себе, о своей внутренней жизни.

О людях, пытающихся насилием изменить существующее устройство жизни, Лев Николаевич употребил следующее сравнение:

— Мне представляется так. Перед нами тысячепудовая тяжесть; мы все сидим здесь; вот этот стол — эта тяжесть. И у каждого из нас есть рычаг, проведенный к этой тяжести. Если мы все каждый из нас на свой рычаг налегнем, то мы, несомненно, поднимем эту тяжесть. А мы, вместо того чтобы поднимать каждый свой рычаг, вскакиваем на этот стол и начинаем ногтем ковырять его, — и увеличиваем тяжесть своей тяжестью. Конечно, это лучшие люди, — те, которые вскакивают, которые хотят сбросить эту тяжесть. Другие просто сидят спокойно: тяжесть — и пусть тяжесть, а я буду пить чай и есть пирожное.

И. А. Беневский спросил мнение Льва Николаевича о недавно присланной ему книге В. Свентицкого «Антихрист». Лев Николаевич выразил свое общее мнение о религиозном и нравственном учении Соловьева и его последователей в следующих словах:

— Если человек признает нечто, перед чем он преклоняется, чувствует свое ничтожество, то у него есть религия; но если человек сам выдумывает себе догмат и начинает перед ним благоговеть, то это не религия, а пустяки.

— Истина, нравственная истина, — продолжал Лев Ни-

колаевич, — всегда проста. Когда я вижу, что о нравственных вопросах рассуждают не просто, я чувствую отвращение, какую-то гадливость к книге, которые не в силах преодолеть... Истина всегда проста, истина не может не быть простою. Если бы для того, чтобы узнать истину, я должен был прочитать Маркса, Сен-Симона, Оуэна, то это была бы ужасная несправедливость, хуже той, какая есть сейчас, что один владеет миллионами, а другой по такой метели ходит без сапог. Как же полуграмотный мужик? Значит, ему нет доступа к истине?

*15 января*

Лев Николаевич ответил мне на мой вопрос о жене N:

— Она, как и все женщины, полагает, что религия, религиозные рассуждения — это хорошо, но все это годится для разговоров, а настоящая жизнь — это то, какой сварить обед и где достать денег для этого.

Вот одно из интересных писем, на которое Лев Николаевич поручил мне ответить:

«...Глубокое уважение к вам, как к учителю, и в молодости моей и в зрелом возрасте будившему мою мысль и чувство, заставляет меня спросить вас, Лев Николаевич: если бы последние тридцать лет вы ничего не писали, а только копили бы все в себе и стали бы писать только теперь, — все то же ли бы вы сказали? Ваш облик теперь мне не представляется спокойным. Мне кажется, что ваша мысль — невольница и томится теперь тем кругом, в который вы ее заранее замкнули, что она заглядывает теперь за этот круг и мучит вас. Если да, то не откажите написать мне это да».

Лев Николаевич написал на конверте этого письма:

«Умираю и думаю и пишу все в том же направлении и все более и более чувствую себя счастливым» [14].

*17 января*

После завтрака Лев Николаевич излагал В. Г. Черткову, приехавшему на несколько дней по своим делам из Англии, содержание нового «Круга чтения». Излагая отдел об «усилии», Лев Николаевич сказал:

— Как верно сказал Джемс, нужно обходиться с человеком так, как будто ты имеешь к нему то чувство, какое хочешь иметь, и тогда это чувство появится [15]. В Евангелии говорится об усилии, но мы привыкли это пропу-

скать мимо ушей, — я, по крайней мере, пропускал это мимо ушей, — а между тем в этом вся жизнь.

Очень важным Лев Николаевич считает и усилие воздержания в поступках и словах. Об этом он сказал так:

— Усилие *действия* не нужно: жизнь наша сама собой проявляется; но нужно усилие *неделания*, чтобы не сделать или не сказать чего-либо, противного истине.

*18 января*

После завтрака Лев Николаевич сказал мне о новой книге И. Ф. Наживина «В долине скорби»: [16]

— У него везде видно автора, он все подсказывает читателю: вот этого надо осудить, над этим посмеяться, а читатель этого не любит, читатель любит сам разбираться.

Это же самое мнение Лев Николаевич потом повторил В. Г. Черткову и по этому поводу вспомнил изречение английского писателя: «У кого большой ум, тому надо еще больше ума, чтобы управлять умом».

Недели полторы тому назад Лев Николаевич получил подарок Эдисона — фонограф [17], чтобы говорить в него ответы на письма. Над приведением его в должный порядок работают П. И. Бирюков и В. Г. Чертков.

*28 января*

Сегодня, разбирая старые письма к Льву Николаевичу, я нашел между ними следующее письмо гр. Д. А. Олсуфьева от 19 ноября 1907 года:

«Глубокоуважаемый Лев Николаевич!

Только вчера мог хорошо повидать П. А. Столыпина, то есть я обедал у него и после обеда имел более или менее продолжительный tête-à-tête *, передал ему вашу книжечку с надписью, говорил и читал ваше письмо о Гусеве [18], передал прошение на имя государя от Лисицына (то, что я получил от Кузминского) [19]. Видимо, ему было очень приятно получить ваши строки, в особенности в те дни, когда Столыпин находится под угнетающим впечатлением оскорбления Родичева (в Думе) [20]. Он обещал сделать, что возможно, для обоих. Так и поручил мне вам написать. В моей оценке тона его речи и слов это значит, что оба обвиняемые будут освобождены. Думаю, что я не ошибаюсь. О Гусеве Столыпин уже ранее был уведомлен тульским губернатором. Узнав из донесения губер-

* Разговор наедине, один на один *(франц.)*.

натора, что дело Гусева связано в известном отношении с вашим именем, Столыпин *тогда же* написал губернатору[21], чтобы дело это «затушить», так что Столыпин думает, что Гусев в настоящее время уже освобожден»[22].

*29 января*

Приехал М. А. Стахович. За обедом он рассказывал о новых направлениях в искусстве.

— Для меня это новое искусство, — сказал Лев Николаевич, — новая поэзия, как стихи Бальмонта, — какая-то пересоленная карикатура на глупость. Я в них ничего не понимаю.

За вечерним чаем М. А. Стахович вспоминал о том, как Лев Николаевич посетил орловскую тюрьму. Это было в то время, когда он писал «Воскресение». Тульская администрация не дала ему разрешения осмотреть тульскую тюрьму, и он просил М. А. Стаховича, бывшего тогда орловским губернским предводителем дворянства, устроить ему посещение орловской тюрьмы, что тому и удалось сделать[23].

— Вы виделись тогда с орловским губернатором, — сказал М. А. Стахович, — которого после изобразили в «Воскресении» под именем Масленникова.

— Да неужели я такую гадость сделал? — смеясь, спросил Лев Николаевич.

*30 января*

После завтрака зашел разговор о священнике Г. С. Петрове. На днях мы читали вслух его последнее «Письмо митрополиту Антонию», в котором он излагает свои религиозные взгляды[24]. Лев Николаевич стал припоминать, почему он остался чужд этому письму. Просмотрев брошюру, он вспомнил:

— Он говорит о церкви, о какой-то истинной церкви, в отличие от церквей существующих. Для меня всякая церковь есть ложь, потому что человек не может быть непогрешимым. Из-за этого, из того, что были люди, признававшие себя непогрешимыми, были войны, пролито столько крови...

За обедом М. А. Стахович заговорил о статьях Столыпина в «Новом времени»[25]. Лев Николаевич сказал:

— Мне на старости лет стала отвратительна шутка. Ну, хорошо шутить так, чтобы на сто слов умных приходилась одна шутка, но всегда шутить... В старости, когда на жизнь смотришь серьезно...

*31 января*

Я был в Туле, справлялся о своем «деле», а главное, ездил исполнить просьбу Льва Николаевича.

Скоро будут судить военным судом пятерых молодых людей, сделавших прошлым летом «экспроприацию» в Ясенковском почтовом отделении [26]. Сделав ограбление, они в ближнем лесу были пойманы полицией и крестьянами и избиты. Все они сейчас сидят в Туле, и скоро им предстоит суд. У Льва Николаевича явилась мысль выступить на суде их защитником. Об их деле он и просил меня навести справку.

— Разумеется, — сказал он мне, — не говорите, что я сам буду их защищать, но скажите, что Лев Николаевич Толстой очень интересуется этим делом и желал бы выставить защитника.

У товарища прокурора, который ведет мое дело, мне удалось узнать имена обвиняемых и приблизительно время разбора их дела. Никто из домашних не знает об этом намерении Льва Николаевича *.

*1 февраля*

За завтраком мы были вдвоем со Львом Николаевичем. Я заговорил о его художественных произведениях.

— Вы не подумайте, — сказал Лев Николаевич, — что это я из ложной скромности говорю: я свои художественные произведения — те, за которые меня хвалят, — так низко ставлю... Так же как и стихи... Слов не хватает, чтобы выразить глубокую мысль, а тут надо подчиняться рифме, размеру... Это какое-то кощунственное отношение к слову.

Я ничего не возразил, но на лице моем, вероятно, отразилось мое несогласие с моим учителем в такой оценке его художественных произведений. Очевидно, заметив это, он прибавил:

— Вам, молодым, трудно понять то, что мы, старики, пережили. Некоторые выводы из этого доступны, без сомнения, всем.

Я напомнил Льву Николаевичу его же, выраженную им в «Послесловии» к рассказу Чехова «Душечка» мысль

---

* Осуществить это намерение Льву Николаевичу не удалось: дело этих молодых людей было разобрано гораздо раньше того срока, который определил мне товарищ прокурора, о чем мы узнали из газет. Смертных приговоров, к радости Льва Николаевича, не было произнесено. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

о том, что бог поэзии предохранил Чехова от тех ошибок, к каким его влекло в этом рассказе рассуждение[27], и спросил Льва Николаевича: художник, следующий своему художественному чутью, не яснее ли может видеть истину, чем человек, который хочет познать истину умом? Лев Николаевич на это ответил:

— Да, он в это время — как дитя...

Я заговорил об одном женском письме, на днях полученном.

— Когда я читаю письмо, вижу подпись женщины, меня уже оно не интересует, — заметил Лев Николаевич.

За обедом по поводу прочитанной им в английской книге мысли о том, что «мы делаемся городскими жителями», Лев Николаевич сказал:

— Да, может быть, такое будущее предстоит человечеству. Все, что делается в больших размерах, обходится дешевле: дешевле стóит построить громадное здание, чем каждому строить себе избу. Но если действительно таково будущее человечества, то жалко этого деревенского простора, полей, лугов...

*2 февраля*

Сегодня за утренним чаем, когда Лев Николаевич заходил к нам в столовую, В. В. Плюснин сообщил ему, что в сегодняшней газете напечатано известие о тринадцати смертных приговорах в Варшаве[28].

— Жалкие люди! — с выражением отвращения сказал Лев Николаевич. — Мне прямо жалко их! Ведь умереть каждый из нас может каждую секунду; но принимать участие в этом — это даром не проходит.

На этих днях Лев Николаевич начал пользоваться присланным ему Эдисоном фонографом для диктования писем. Он находит в этом большое удобство и облегчение, потому что часто, как он сказал недавно, ему хочется, прочтя письмо, сейчас же, под свежим впечатлением, ответить на него, а сказать ответ в фонограф легче и скорее, чем писать его на бумаге.

В. Г. Чертков пригласил из Москвы мастера для правильной установки фонографа. Вечером мы с В. В. Плюсниным разговаривали с этим мастером о самосовершенствовании. Он делал обычное возражение, что совершенствование есть забота о себе, а не о других, и потому эгоистично.

Подойдя к нам и узнав предмет разговора, Лев Николаевич сразу же выяснил лежащее в основе этого возражения недоразумение.

— Совершенствование, — сказал он, — в том и состоит, чтобы забывать себя и помнить другого.

*3 февраля*

Был разговор о современной насильственной системе образования.

— Я сегодня думал, — сказал Лев Николаевич, — есть, когда не хочется, вредно; еще более вредно иметь половое общение, когда нет потребности; не гораздо ли более вредно заставлять мозг работать, когда он этого не хочет? Я помню из своего детства: это — мучительнейшее чувство, когда меня заставляли учиться, а мне хотелось или свое что-нибудь думать, или отдохнуть. Ведь это преступление — насиловать этот важнейший орган, как бы посредник между духом и телом.

Очень интересно было для меня то, что Лев Николаевич сказал о насилии в отношениях родителей к детям:

— Когда баба целый день занята, — сказал он, — и когда она устала, а мальчишка пристает к ней, и она даст ему шлепка, это не будет насилием, и он, если поймет, не будет сердиться; это все равно, как ветка ударит меня по лицу, если я не поостерегся. Насилие будет тогда, когда это возводится в систему, когда сознательно наказывают за проступки, и это очень дурно и развивает жестокость.

*4 февраля*

И. А. Беневский прислал письмо, в котором благодарит Льва Николаевича за написанное им в прошлом месяце письмо его сестре-революционерке [29].

— Я никогда не видал таких женщин, — сказал Лев Николаевич.

— Мне кажется, что когда мужчина совершает такие поступки, то всегда к ним примешивается доля тщеславия. А у женщин, я думаю, этого нет. Женщина действует более самоотверженно; самоотвержение вообще свойственно натуре женщины.

— И она бывает особенно жестока, — заметила Софья Андреевна.

— Какая же тут жестокость, — возразил Лев Николаевич, — когда человек идет на верную смерть...

Вечером с С. Д. Николаевым Лев Николаевич разговаривал о детях.

— В детях главная добродетель — правдивость, — сказал Лев Николаевич и прибавил: — Для меня неразрешенный вопрос: может ли в детях происходить внутренняя борьба? Может ли ребенок удержаться от того, чтобы не обидеть? Мне представляется, что ваш Валек так непосредственен, что раз его обидели, он не может удержаться от того, чтобы самому не обидеть. Для меня это нерешенный вопрос, — повторил Лев Николаевич.

За чаем Софья Андреевна заговорила о некоторых знакомых из «большого света». Лев Николаевич слушал и изредка спрашивал о том или другом лице, и под конец разговора сказал:

— Это так хорошо, что я все забываю. Мысли все сосредоточены на одном. Я думаю об этом и когда занимаюсь, и верхом на лошади, и в постели... Где же тут помнить, как зовут жену Столыпина и откуда она родом.

*5 февраля*

Вчера за завтраком Лев Николаевич сказал:

— Вся жизнь наша в компромиссах; святыми мы никогда не будем. Бирюков говорил мне, что у него явилась мысль написать грехи Христа: обругал змеями, мечами велел запасаться, торговцев выгнал и прочее. Это было бы очень полезно — именно для того, чтобы показать, что человек не может быть свят.

За обедом кто-то заговорил о Некрасове. Я спросил Льва Николаевича, знал ли он писателей некрасовского «Современника»: [30] Добролюбова, Чернышевского?

— Чернышевского знал, — ответил Лев Николаевич.— Он мне всегда был *очень* неприятен, и писания его неприятны [31]. А сам Некрасов был, скорее, приятен. Я помню, я раз зашел к нему вечером, — он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, — и он тогда написал стихотворение «Замолкни, Муза мести и печали», и я сразу запомнил его наизусть.

Вечером, после чая, Лев Николаевич опять вспомнил про Некрасова. Я прочитал любимый мною конец «Рыцаря на час» от слов «Повидайся со мною, родимая» до «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Эти стихи понравились Льву Николаевичу (он не помнил этого стихотворения), за исключением последних строк (выражение «стан погибающих» ему не понравилось).

— Мое лучше, — сказал он и прочитал начало того стихотворения, о котором говорил:

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали —
Один я умираю и молчу *.

Дальше Лев Николаевич не мог вспомнить[33].

* Стихотворение это было написано 8 декабря 1855 г., как писал Тургенев Анненкову 9 декабря 1855 г.: «Некрасов уже более трех месяцев не выходит — он слаб и хандрит по временам — но ему лучше — а как он весь просветлел и умягчился под влиянием болезни, что́ из него вышло — какой прелестный, оригинальный ум у него выработался — это надобно видеть, описать этого нельзя. — Прилагаю вам стихотворение, — написанное им вчера и еще далеко не обделанное. — Посмотрите-ка».

Приводимая Тургеневым первоначальная редакция стихотворения, — очевидно, та самая, которую запомнил Лев Николаевич, — значительно отличается от окончательной:

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали —
Один я умираю и молчу.
Довольно нам оплакивать потери,
Хандрить, грустить и больше ничего...
Мне самому, как скрып тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.
Увы! Зачем, ненастьем и грозою
Мои младые годы омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча!
Зачем в тюрьму с тяжелыми замками
Не постучится ласково любовь —
Где мысль моя, пробитая гвоздями,
Закованная в цепи, точит кровь?
Когда б мои угомонились муки
И на душу сошел желанный мир —
Нашел бы я тогда другие звуки,
Другую Музу позвал бы на пир...
Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя во сне и наяву —
В труде, борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя... но больше не зову...
Той бездны сам я не хотел бы видеть —
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...

«Последние восемь стихов поразительны», — прибавляет от себя Тургенев. *(Прим. Н. Н. Гусева.)* [32]

*6 февраля*

За обедом, продолжая вчерашний разговор о писателях, я спросил Льва Николаевича, какое впечатление производил на него Михайловский.

— Он неинтересный был человек, — ответил Лев Николаевич. — Я в нем ничего не видел оригинального, самобытного. Такой казенный либерализм [34].

Рассказывая о своей предобеденной прогулке, Лев Николаевич сказал:

— Это такая ошибка — беречь себя. Я вчера чувствовал стеснение в груди, сегодня пошел гулять, прошелся несколько верст, и все прошло.

Вчера Лев Николаевич читал в газете заметку о последнем рассказе Леонида Андреева «Тьма». Мысль рассказа ему понравилась. Сегодня он прочитал самый рассказ и был очень разочарован [35].

— Его хвалят, — сказал Лев Николаевич, — и он позволяет себе писать бог знает как. Полное отсутствие чувства меры, а в искусстве во всяком — в поэзии, в музыке, в скульптуре — это главное. Как только художник перехватил через край, я сейчас же замечаю: а! он хочет меня поймать, и настораживаюсь против него.

Вечером все сидели в зале за круглым столом. Лев Николаевич раскладывал пасьянс, Софья Андреевна шила. М. А. Шмидт рассказывала, как трудно от глубокого снега разъезжаться со встречными и как груб стал народ. «Когда я еду на моем Воронке, — сказала она, — мне никто не посторонится».

— Никакого почтения к вам не чувствуют, — шутя, заметила Ю. И. Игумнова.

— Так и нужно, — заметил Лев Николаевич, не поднимая головы от карт.

— Почему так нужно? — возразила Софья Андреевна.

— Потому что в розвальнях человек является в естественном виде, а когда он едет в коляске, он в неестественном виде.

— Ну, уж этого никогда не будет, чтобы все были равны, — всегда будут и сильные и слабые.

— Да как же всегда будут...

— От начала мира были богатые и бедные.

— Да вот, от начала мира было рабство, крепостное право, теперь их нет...

— Всегда будут слабые и сильные. Ты вот отдал оборванцу свою блузу и валенки и денег дал, а он все пропил.

Лев Николаевич (волнуется, голос дрожит):

— Андрюша тоже все пропил[36], а у него есть, Стахович тоже все пропил, а у него есть!

Софья Андреевна после короткого молчания:

— Я не понимаю, к чему этот разговор.

— К тому, что ты так говоришь, что как будто неравенство происходит оттого, что есть люди, которые пропивают. А я тебе говорю, что Андрюша все пропил, Стахович все пропил, а у них есть.

Молчание.

— Человечество совсем не идет вперед.

— Да как же не идет...

— Вот двадцать пять лет назад, когда повесили Желябова, Перовскую, как все возмущались, а теперь каждый день вешают по пять человек, и никто не возмущается.

— Да нужно брать не один народ, и не за два, десять, двадцать лет, а все человечество, во всем его движении...

«Оборванец», которым Софья Андреевна попрекнула Льва Николаевича, приходил на этих днях, в числе других, за подаянием. Он был с женой и ребенком; был большой мороз, а они были почти голые. Вернувшись с утренней прогулки, Лев Николаевич зашел в столовую, где были в то время М. А. Шмидт, М. А. Стахович и я, и с большим волнением стал рассказывать об этом жалком человеке и закончил словами: «Давайте, что у кого есть». Марья Александровна отдала женщине свою юбку, М. А. Стахович дал два рубля, а сам Лев Николаевич — блузу и валенки.

После кто-то рассказывал, что этого человека видели на деревне пьяным.

*7 февраля*

Приехал толстовец Анатолий Степанович Буткевич с молодым юношей, бывшим народным учителем в Черниговской губернии, уволенным за «агитацию». За обедом и вечером говорили о многих важных предметах.

— В какое важное и серьезное время мы живем! — с торжественностью в голосе произнес Лев Николаевич.

А. С. Буткевич заговорил о вышедшем недавно «Письме к митрополиту Антонию» Г. С. Петрова и сказал, что, по его мнению, Петров сам должен бы, не дожидаясь расстрижения, поправить ту свою ошибку, что он сделался священником.

— Какую же он ошибку сделал? — возразил Лев Николаевич. — Его отдали учиться, когда он еще ничего не понимал...

Говоря о своей жизни в тюрьме, юноша рассказал, как он однажды не снял шапку перед начальником, и, когда тот начал ругать его, он не ответил ему ругательствами.

— В этих случаях, — сказал Лев Николаевич, — нужно всегда помнить, что я — человек, сын божий, и он — человек, а главное свойство человека — доброта и вместе с тем сознание своего достоинства, и что обоим нам предстоит смерть. И, помня это, уже решать, встать мне или не встать, снять шапку или не снимать.

Как всех почти молодых людей, приезжающих к нему, Лев Николаевич спросил юношу об его отношениях с родителями. Помолчав немного, молодой человек ответил:

— Мы с ними чужие люди. Я им чужой, они мне чужие.

— Ну, это слишком легкое разрешение вопроса, — возразил Лев Николаевич. — Я думаю, мы с вами согласны: что нужно стараться жить в любви со всеми, а тем более с теми, кто были виновниками моего рождения, кто воспитывал меня в детстве. Нужно все силы употребить, чтобы жить в согласии с ними.

*8 февраля*

Сегодня я говорил со Львом Николаевичем о наследственности, когда он возвращался с утренней прогулки.

— Мне кажется, — сказал я, — наследственности не существует. Вот у N (я назвал одного близкого мне человека) отец был пьяница, а он говорит, что не чувствует никакого тяготения к водке.

— Я признаю наследственность, — возразил Лев Николаевич. — Но то, что отца N заставляло пить, у N может выразиться совсем в другом.

*9 февраля*

Несмотря на то, что для самого Льва Николаевича художественное творчество давно уже не является главным делом жизни, современное вырождение искусства глубоко его печалит. Сегодня я списал с фонографа сказанную им мысль об искусстве, по всей вероятности, взятую им из своей записной книжки:

«Упадок искусства есть вернейший признак упадка цивилизации. Когда есть идеалы, то во имя этих идеа-

лов производятся произведения искусства; когда же их нет, как теперь у нас, — нет произведений искусства! Есть игра — словами, игра — звуками, игра — образами».

*10 февраля*

Получив почту (часов около девяти утра), я обыкновенно отбираю и откладываю все письма на имя Льва Николаевича, освобождаю от бандеролей получаемые книги, распечатываю посылки, а из газет откладываю Льву Николаевичу только ту одну, которую он постоянно читает. До сих пор при мне такой газетой было «Новое время». Но сегодня, взяв письма, Лев Николаевич отложил приготовленное мною для него «Новое время» и сказал:

— Нет, «Новое время» я совсем не могу читать. Все одно и то же, с одной и той же стороны... Меньшикова статьи отвратительные... [37]

Вместо «Нового времени» Лев Николаевич взял «Русь». Про эту газету он как-то выразился, что у нее два достоинства: печатает наверху на первой странице текущие события и там же объявляет о смертных приговорах и казнях за день.

К тому, что я записал на днях о впечатлении, произведенном на Льва Николаевича рассказом Леонида Андреева «Тьма», нужно еще прибавить, что, кажется, на другой день после этого он за обедом заговорил об этом рассказе. Когда его спросили, в чем содержание рассказа, он сказал:

— Неприлично рассказывать. Дурного ничего нет.

В тот же день за вечерним чаем он опять вернулся к этому рассказу и подробно передал его содержание. За столом были только Софья Андреевна, Ю. И. Игумнова и я.

— Я при Саше не хотел рассказывать, — объяснил Лев Николаевич свой отказ за обедом передавать содержание этого рассказа.

Другой раз, тоже как-то за обедом, Лев Николаевич сказал:

— Сегодня в «Руси» я прочитал отвратительную статью. Какой-то гимназист пишет про заповеди: «Мне говорят: почитай отца и мать, а я прибавляю: если они этого достойны». И про другую заповедь еще хуже.

— Не прелюбы сотвори? — спросила Софья Андреевна.

Лев Николаевич молчал, как будто не слыша.

— Не прелюбы сотвори? — повторила Софья Андреевна.

Лев Николаевич опять ничего не ответил.

Сегодня Лев Николаевич получил письмо от незнакомого ему юноши-еврея из Киева, который пишет, что, стремясь «всем своим существом к внутреннему совершенствованию», он нашел в герое романа Арцыбашева «Санин»[38] свой идеал, узнав который нельзя не стараться сделаться таким же, как он. Но после того он познакомился с сочинениями Толстого, и теперь он не знает: «что лучше: санинство или христианское учение?»[39]

Написанное, по-видимому, с полной искренностью, трогательное своей наивностью, с которой автор полагает, что Толстой, живущий вечными религиозными истинами, должен так же живо, как он сам, интересоваться всеми быстро сменяющимися умственными течениями той крошечной части человечества, которая называется русской интеллигенцией, — письмо это вызвало у Льва Николаевича желание помочь его юному корреспонденту в его исканиях, и он скорбным и волнующимся голосом сказал в фонограф следующий ответ на это письмо:

«Письмо ваше я получил и очень удивился вашему упоминанию о каком-то Санине, о котором я не имел ни малейшего понятия. Случай сделал то, что в доме был один человек, читавший этот роман. Я взял те номера журнала, в которых он помещался, и прочел все рассуждения самого Санина, и ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующей этим двум свойствам автора. Хотя я и хотел в душе пожалеть автора, но никак не мог подавить недоброго чувства к нему за то зло, которое он сделал многим людям — в том числе и вам.

Автор, очевидно, не только не знает, но не имеет ни малейшего понятия о всей работе лучших душ и умов человечества по разрешению вопросов жизни, которых он не только не решает, но не имеет даже понятия о их разрешении. Не имеет понятия ни о восточных, китайских мудрецах: Конфуции, Лао-тсе, ни об индийских, греческих, римских мудрецах, ни об истинном христианстве, ни о более близких нам мыслителях: Руссо, Вольтере, Канте, Лихтенберге, Шопенгауэре, Эмерсоне и других. Есть у него художественная способность, но нет ни чувства (сознания) истинного, ни истинного ума, так что нет описания ни одного истинного человеческого чувства, а описы-

ваются только самые низменные, животные побуждения; и нет ни одной своей новой мысли, а есть только то, что Тургенев называет «обратными общими местами»:[40] человек говорит обратное тому, что всеми считается истиной, например, что вода сухая, что уголь белый, что кровосмешение хорошо, что драться хорошо и т. п. Стараюсь жалеть бедного и заблудшего автора, но самоуверенность его мешает этому. Вас же от всей души жалею за ту путаницу, которую произвело в вашей душе чтение книг. И потому — простите меня — не посылаю вам своих, а посылаю составленный мною из мыслей разных писателей «Круг чтения»...

Пишите — и я буду отвечать вам, если вопросы ваши будут серьезны. Сколько вам лет?»

*11 февраля*

Вчера вечером был тульский крестьянин М. П. Новиков, старый знакомый Льва Николаевича.

Он привез с собой свою новую статью «Старая вера» — о том, как и во что верит русский народ[41]. По его мнению, у нашего народа нет никакой веры, есть только множество всяких суеверий, сковывающих его мысль и мешающих ему жить. Лев Николаевич не согласился с этим мнением.

— У нас в деревне, — сказал он, — жила одна женщина, вела самую распутную жизнь. Тут стояли солдаты, и она связалась с ними, блудила, потом бежала с ними. Муж поймал ее и, по тогдашнему обыкновению, жестоко с нею расправился: привязал к хвосту лошади. И вот я раз иду вечером по деревне часу в одиннадцатом; везде уж темно, а у нее в окне огонек светится. Что такое? Я подошел к окну, смотрю — эта самая баба стоит на коленях и молится. Я отошел к стороне, постоял, думаю: что она теперь делает? Подхожу — она все молится. Я опять отошел, походил, ну теперь, думаю, она наверное перестала. Подхожу — а она все молится. И никого кругом нет, она одна, и есть *кто-то*, с кем она разговаривает.

— Вот отношения к этому *кому-то*, — закончил Лев Николаевич свой рассказ, — и составляют религию. И в каждой вере, как бы она ни была груба, на наш взгляд, есть это отношение.

*12 февраля*

Вчера за вечерним чаем сидели: Лев Николаевич, Александра Львовна, Ю. И. Игумнова, тульская знакомая

Толстых Н. П. Иванова, В. В. Плюснин и я (Софья Андреевна уехала в Москву).

От десяти до одиннадцати шел общий разговор. И было в этом нашем, молодых людей, разговоре со старым мудрецом что-то трогательное, напоминающее отношение детей к отцу.

Говорили о М. П. Новикове, о революционерах и консерваторах, о ругательном письме, полученном Львом Николаевичем в тот день, и пр.

У Александры Львовны кашель. Н. П. Иванова советует ей обратиться к доктору. Александра Львовна спросила мнение Льва Николаевича, нужно ли ей советоваться с доктором.

— Нет, не нужно, — совершенно уверенно ответил Лев Николаевич.

— Не нужно? — переспросила Александра Львовна.

— Конечно, нет. Или это все пройдет, или — на что есть один шанс из десяти тысяч — что начинается чахотка или еще что, то доктор скажет, что начинается чахотка, и больше ничего, помочь он ничем не может.

Когда разговор зашел о женщинах, Лев Николаевич привел прочитанную им недавно мысль Амиеля о том, что напрасно женщину считают коварной и хитрой: она только сама не знает себя.

— Действительно, — сказал Лев Николаевич, — очень мало женщин знают самих себя.

Вспоминали полученное третьего дня письмо с вопросом о том, что лучше: санинство или христианство. Лев Николаевич сказал:

— Я полагаю, что этот роман впервые разбудил его, так что у него осталось такое впечатление.

*13 февраля*

Вчера за завтраком (мы были вдвоем с ним) Лев Николаевич спросил меня, читал ли я «Круг чтения» на вчерашний день, и прибавил:

— Почти чувствую возможность радостно умереть. Даже чувствую эту возможность.

(«Круг чтения» на вчерашний день начинается мыслью: «Нет предмета более несомненного, чем та смерть, которая ожидает каждого из нас, а между тем все живут так, как будто ее нет».)

За вечерним чаем говорили о современных поэтах. Лев Николаевич сказал:

— Да у них прямо плохие стихи. Мне Стахович говорил, что у Бальмонта мастерство техники. Никакого мастерства техники незаметно, а видно, как человек пыжится. А уж когда видишь это, то конец [42]. Вон у Пушкина: его читаешь и видишь, что форма стиха ему не мешает.

Старый знакомый и в некоторой степени единомышленник Льва Николаевича, А. М. Бодянский, прислал ему написанную им драму из жизни Христа («Драма мира»), прося высказать о ней свое мнение [43]. Сегодня я спросил Льва Николаевича, хороша ли драма Бодянского.

— Нет, — ответил Лев Николаевич. — Не веришь ему совсем.

— В чем не веришь?

— Что это было так, как он описывает.

На конверте одного письма, на которое он меня просил ответить, Лев Николаевич написал: «В матерьяльных делах не могу советовать, зная, что чем лучше живешь духом, тем лучше складывается и матерьяльная жизнь» [44].

*14 февраля*

За завтраком Лев Николаевич сказал мне:

— У «Руси» тоже есть свои недостатки. В ней есть отдел писем молодежи, и чего там только не печатают! Что молодежь должна сказать какое-то новое слово, хотя они и сами не знают какое...

Уже несколько дней стоит метель с сильным ветром.

— На меня эта погода действует подавляюще, — сказал мне Лев Николаевич. То же говорил он и за обедом:

— Я сегодня и ночью все просыпался; проснусь и думаю: вот я лежу здесь в тепле, а каково-то теперь несчастным в поле...

По вечерам после обеда, часов с семи, ко Льву Николаевичу приходят яснополянские мальчики, с которыми он занимается. Он читает с ними Евангелие в своем новом, самом упрощенном изложении и составляемый им «Круг чтения для детей» [45] и рассказывает по географии. На занятиях этих я ни разу не присутствовал, потому что присутствие посторонних стесняло бы Льва Николаевича.

Сегодня за обедом Лев Николаевич говорил о своих планах преподавания географии. Он хочет сначала дать понятие о странах света, затем сделать кругосветное путешествие по данной параллели, потом еще два путешествия на север и на юг.

Когда Лев Николаевич окончил занятия с детьми, я зашел к нему за справками о некоторых письмах. Лев Николаевич читал книгу. Он коротко ответил на мои вопросы и прибавил:

— Я сегодня в подавленном состоянии, но это тоже хорошо.

— Подавленное состояние? — переспросил я.

— Да; тем, что есть с чем бороться.

— А как бороться: более отрицательным путем, чем положительным?

— Да, разумеется, неделанием; и, кроме того, когда встречаешься с людьми, всегда помнить, что все они — сыны божии... Сегодня я шел по аллее, подходил уже к дому и загадал: что до дома будет двести шагов или нет? и начал считать. И вижу, что выйдет меньше, и чувствую, что мне хочется, чтобы было двести, я поймал себя на этом. Так можно усилием мысли изменить самое свое желание.

*15 февраля*

После завтрака, приготовившись идти на прогулку, Лев Николаевич, уже одетый, вернулся к нам в столовую и сказал:

— Сегодня читал речь государя в Думе о том, что собственность священна [46], и как там один депутат упал, он его милостиво приподнял... Так отвратительна эта ложь!.. Трудно удержаться, чтобы не осуждать этих людей.

Вечером Лев Николаевич рассказывал свой сон в прошлую ночь. Я спросил его, случалось ли с ним, чтобы во сне ему приходили серьезные мысли.

— Нет, кажется, нет, — ответил Лев Николаевич. — Во сне часто бывает, что то, что видишь, кажется серьезным, а наяву рассудишь и видишь, что пустяки.

Я напомнил Льву Николаевичу о его сне, который он рассказывает в заключении своей «Исповеди» [47]. В этом сне ему представилось в образной форме все то, что он переживал во время происходившего в нем перелома, — начиная от первых сомнений и кончая тем светлым и радостным выходом из тяжелого и мучительного положения, который он нашел после долгих и тревожных исканий. Сон этот самому Льву Николаевичу представился таким значительным, что он сделал описание его заключением всей статьи.

— Это я действительно видел, это я не выдумал, — ответил он на мой вопрос.

О снах вообще Лев Николаевич думает, что они слагаются в момент пробуждения.

*16 февраля*

За обедом был разговор о форме и содержании литературных произведений.

— В серьезных произведениях, — сказал Лев Николаевич, — как вот в «Круге чтения», которым я сейчас занят, как важно каждое слово куда поставить, какое слово раньше, какое после. В пустяковых же произведениях, как в художественных, этого нет. Там если... (он замялся) концепция, выражаясь по-русски, — рассмеявшись, продолжал он, найдя нужное слово, — хороша, то и все хорошо.

*17 февраля*

За утренним чаем Лев Николаевич говорил мне и В. В. Плюснину о том, что́ он думает ответить на письмо американца Болтон Холла о земле [48].

— Мне хотелось, — сказал Лев Николаевич, — для русских людей выставить, что земельный вопрос теперь то же, что вопрос об освобождении крестьян сорок лет назад. И совершенно такое же отношение. Я не знаю, — скажите, пожалуйста, какой взгляд у кадетов на земельный вопрос? [49]

Плюснин рассказал. Выслушав его, Лев Николаевич помолчал и сказал:

— Вам, молодым, нельзя этого делать; а я старик, я стараюсь развивать в себе к этим людям — страшно сказать — не презрение, а полное равнодушие к тому, что они говорят, точно так же, как и к тому, что говорит Столыпин.

Были два крестьянина из Богородицкого уезда Тульской губернии, один двадцати трех лет, другой двадцати одного года, учитель. Они принесли с собой для передачи Льву Николаевичу рукопись своего товарища, который был у него в январе и произвел на него хорошее впечатление [50].

— Напрасно он этим занимается, — сказал им Лев Николаевич, — ваше дело — самое хорошее дело. Я это знаю потому, — прибавил Лев Николаевич, как бы желая смягчить резкость своего суждения, — что сам, к сожалению, этим занимался прежде.

Лев Николаевич расспрашивал их о количестве земли у крестьян в их местности, говорил об огромном значении, которое имеет в наше время разрешение земельного

вопроса, о проекте Генри Джорджа об освобождении земли от частной собственности, о законе 9 ноября[51], разрушающем общину, о речи царя депутатам об охране священной собственности и пр. Затем расспрашивал о настроении крестьян, о том, имеет ли среди них успех революционная литература. Учитель ответил, что крестьян отталкивает от агитационных революционных книг то, что в них отвергается бог.

— Этого, — сказал он, — крестьяне никак не хотят принять; они чувствуют, что есть какая-то высшая сила.

Затем Лев Николаевич рассказывал про своих учеников и особенно похвалил одного из них за его способности и интерес к знанию.

— Он не хочет, — сказал Лев Николаевич, — как другие, отличиться, вперед не говорит, но когда его спрашиваешь, то очень хорошо отвечает, и особенно о религии.

Вчера вечером мальчики, окончив занятия и выйдя из дому, через несколько минут вернулись назад и сказали Льву Николаевичу, что не нашли Полярной звезды. Лев Николаевич накинул шубу и вышел с ними наружу, указал эту звезду и еще раз повторил то, что говорил о ней.

По окончании занятий Лев Николаевич дает для прочтения некоторым мальчикам (не всем) дешевые книжечки «Посредника».

*18 февраля*

Вчера вечером разговор зашел об одном друге Льва Николаевича. Из гостей были М. В. Булыгин и С. А. Стахович. Софья Андреевна сказала, что ей говорили, что все зло этому человеку сделала его жена.

— Вот и тебе все зло сделала я одна, — сказала она Льву Николаевичу.

— Нет, мне все делают только хорошее *, — как бы про себя, тихо сказал Лев Николаевич, прощаясь и уходя к себе.

Сегодня был тот товарищ вчерашних крестьян, чью рукопись они передали Льву Николаевичу.

— Милый, славный человек, — сказал мне про него Лев Николаевич за завтраком, — но весь поглощенный тщеславием. Он сам мне признался в этом.

---

* Слова эти означали не то, что Льву Николаевичу никто не делал неприятностей, а то, что все то тяжелое, что ему приходилось переживать от людей, он внутренним усилием перерабатывал в добро для своей души. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

Я сказал Льву Николаевичу, что этот юноша говорил мне, что он хочет проповедовать. Во время разговора с ним у меня родилась и уяснилась мне мысль, что желание проповедовать, поучать людей появляется главным образом тогда, когда человек признает что-либо абсолютной истиной, которую он познал и дальше которой идти некуда. При стремлении же к бесконечному совершенствованию не может быть такого состояния, когда бы человек, не думая о своем духовном росте, все свое внимание обращал бы исключительно на заботу о росте других.

Лев Николаевич вполне согласился с этим и указал на N, который, по его словам, так стремится проповедовать именно потому, что в нем прекратился духовный рост.

*19 февраля*

Вчера вечером, по поводу присланного известным переводчиком Фидлером перевода Тютчева на немецкий язык [52], Лев Николаевич вспомнил об этом поэте, которого из русских поэтов он ставит на первое место после Пушкина.

С. А. Стахович прочла несколько стихотворений Тютчева: «На смерть Пушкина», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа», которые все понравились Льву Николаевичу.

К числу достоинств Тютчева Лев Николаевич относит то, что он везде выдерживает раз взятый тон. По словам Льва Николаевича, Тютчев хотя и был придворным, но презирал придворную жизнь.

Одно из прочитанных С. А. Стахович стихотворений Тютчева, «Последняя любовь», Лев Николаевич не одобрил.

— В нем самое низменное чувство представляется возвышенным, — сказал он.

— Вот! — заметила Софья Андреевна, не поднимая головы от шитья. — Я всегда говорила, что он любви не понимает и никого никогда не любил.

И несколько раз возвращалась она к этим словам.

— Нет, каково же мне было прожить с ним сорок шесть лет, когда он считает, что любовь — низменное чувство!.. Самое лучшее в жизни есть любовь, не будь любви, я бы давно повесилась с тоски.

Лев Николаевич молча перелистывал Тютчева, нашел стихотворение «Декабристы» и прочел вслух. Оно не понравилось ему первой и второй строфой.

— Низменное чувство! — тихо с негодованием произнесла Софья Андреевна.

— Ты что? — переспросил Лев Николаевич.

— Я все о твоих словах, что любовь — низменное чувство. Вот Чертков свою жену как любит, как бережет, она давно уже и не жена его; что же, это тоже — низменное чувство?

— Да я ничего не говорю... Ничего нет дурного, а дурно то, когда возвеличивают.

С. А. Стахович соглашалась с Софьей Андреевной.

— Да, во Льве Николаевиче этот есть недостаток. Ну, нельзя же человеку иметь все, — говорила она.

— Отпели они меня тут! — добродушно смеясь, сказал мне Лев Николаевич, уходя к себе.

Сегодня за завтраком Софья Андреевна сказала мне:

— А мне Лев Николаевич про вас сказал: «Мне Гусев так прекрасно помогает, так быстро делает; только скажешь ему, а у него уже и готово». Я очень довольна, что вы тут живете. Я Льву Николаевичу несколько раз предлагала: возьми себе какого-нибудь помощника из близких людей, — он не соглашался, а вот Чертков устроил — он согласился. Это даже ему здоровье сохраняет.

Сегодня был молодой крестьянин из села Дедилова Тульской губернии, бывший учитель. Разговаривая со Львом Николаевичем о своей жизни, он рассказывал, что разошелся со своими семейными из-за веры.

— Ну, это вы сами виноваты, — решительно сказал Лев Николаевич.

— Может быть, я и сам виноват.

— Да не может быть, а наверное, — еще более настойчиво повторил Лев Николаевич. — Я так говорю потому, что если я сам с кем-нибудь расхожусь, то я всегда думаю, что я сам виноват.

Юноша рассказал, что семейные требуют от него, чтобы он крестился на иконы и т. п.

— А вы бы попробовали мягко объяснить им, дать понять, почему вы этого не делаете, — посоветовал Лев Николаевич.

Юноша сказал, что семейные осыпают его насмешками, остротами, колкостями...

— А вы крестьянскую работу можете работать? — спросил Лев Николаевич.

— Да, я, когда летом живу, всегда работаю.

— Я все-таки думаю, — сказал Лев Николаевич, — что можно установить хорошие отношения: не отвечать на насмешки, покорно работать.

— Да, я думаю, что можно. Я все-таки не отрекаюсь совсем от семьи, — поспешил добавить молодой человек.

— В этом главная задача вашей жизни. А то это очень легко сказать: родители мне не нравятся, уйду от них, поселюсь в другом месте, а там не понравится — и оттуда уйду. Я всегда говорю, что нужно не внешние условия жизни изменять, а внутреннюю свою жизнь.

За обедом Софья Андреевна рассказала, что видела сон, что Лев Николаевич упал с лошади и умер.

— А я думаю: живи ты, как хочешь, делай, что хочешь, я все буду молчать, только живи.

— Напрасно ты это сказала, — смеясь, сказал Лев Николаевич, — я теперь этим могу воспользоваться.

Сегодня после занятий один из мальчиков, выходя из комнаты, открыл незапертый шкаф с книгами и взял одну книжку. Лакей заметил и закричал на него. Мальчик бросил книжку на пол (это была брошюра Льва Николаевича «Христианство и патриотизм»). Лев Николаевич, который в то время уже вышел из комнаты, услышав окрик лакея, подошел, спросил, в чем дело, посмотрел книжку, расспросил мальчика, чей он, кто его родители, и больше ничего не сказал ему, а когда все стали уходить, он спокойно, но настойчиво сказал оробевшему мальчугану:

— А ты, Орехов, ходи, только больше этого не делай.

*20 февраля*

Вчера вечером Лев Николаевич прочитал гостям начало рассказа Серафимовича «Пески», который понравился ему художественностью положений и обрисовки личности одного из действующих лиц — мельника [53].

Сегодня приезжал ко Льву Николаевичу Д. М. Сехин, войсковой старшина одного из казачьих полков, стоящего теперь в Тамбове, «внук дяди Ерошки», как он отрекомендовал себя, — в действительности внук его брата. Дядя Ерошка в «Казаках» (я спросил об этом Льва Николаевича) — точный снимок с действительного лица — дяди Епишки, умершего лет сорок тому назад.

— Когда появилась повесть «Казаки», — рассказывал нам «внук дяди Ерошки», когда Лев Николаевич еще не выходил в столовую, — то до тех, про кого она была напи-

сана, она не дошла: народ там был все безграмотный. Только много спустя, когда уже молодые поколения подросли, прочли эту повесть и говорят: да это про нас написано! И удивительно: мы все жили там и не видали ничего, а тут вдруг человек приехал откуда-то — и все описал.

Лев Николаевич с интересом расспрашивал казака о тех местах и о том народе, в среде которого он жил пятьдесят с лишком лет назад. Казак попросил Льва Николаевича подарить станице его портрет с надписью, что Лев Николаевич охотно исполнил.

Прощаясь с казаком, Лев Николаевич сказал ему:

— Сейчас только что получил письмо от одного мне близкого человека, музыканта [54]. Пишет, что часто думает о смерти, и как хорошо, когда что-нибудь делаешь, спросить себя: что я буду делать, если буду знать, что через два часа умру?..

Сегодня Лев Николаевич получил объявление о какой-то английской книге, излагающее ее содержание, и, прочитав его, сказал мне:

— Это совершенно верно, что здесь сказано: что побеждает в борьбе не сильнейший физически, а сильнейший нравственно, то есть à la longue; * сейчас, разумеется, тот победит.

Затем сказал мне:

— А я вам хочу комплимент сказать: как вы хорошо читаете. У вас есть несомненная литературная жилка. Берегите ее, дайте ей созреть, и тогда, наверное, что-нибудь получится.

*21 февраля*

Вчера вечером Лев Николаевич прочитал нам вслух выдержку из английского журнала «The Light of India» (который он очень одобряет) о том, как один человек, возвышаясь духом, настолько переместил центр тяжести своей жизни из материального в духовное, что забыл почти все, относящееся к материальной жизни. Он получил письмо от Лизы и спрашивает: — Кто такое Лиза? — Кажется, она жена. Чья жена? — Моя жена. — А кто такое я? [55]

Издатель этого журнала, брамин Baba-Bharati, напечатал в нем статью «Белая опасность», в которой говорит о

* С течением времени *(франц.)*.

пагубном влиянии европейской цивилизации на восточные народы [56].

Сегодня утром, когда Лев Николаевич возвратился с прогулки, я вышел к нему в переднюю, чтобы спросить его указаний насчет теперешней моей работы над «Кругом чтения», и хотел взять снятую им с себя шубу.

— Сам, сам, — сказал Лев Николаевич, не давая мне шубу и вешая ее на вешалку, — что можешь сделать сам, не заставляй делать другого. Мне особенно нравится, как это сказано про Магомета, что он сам обслуживает себя.

Приехал из Москвы старый знакомый Толстых С. И. Танеев [57]. После обеда, когда разговор зашел о совершающемся теперь духовном пробуждении народа, Лев Николаевич сказал ему:

— Ко мне приходят крестьяне — недавно было таких четверо — пишут прекрасно, — об этом нечего и говорить, — все читали, суеверий никаких... В какое интересное время мы живем!

Вечером Лев Николаевич рассказывал С. И. Танееву о письме, полученном им недавно от кадета, в котором тот спрашивает о декадентстве, есть ли оно упадок или прогресс? [58]

— Я думаю, разумеется, что упадок, — сказал Лев Николаевич.

— Почему вы так думаете? — спросил С. И. Танеев.

— Потому, — ответил Лев Николаевич, — что цель произведений искусства — заражать своим настроением читателя, слушателя, зрителя. Чем выше чувство, которым заражаются, тем выше и искусство. Можно заразить самым низменным чувством, например, грубым сладострастием, каким-нибудь чувством исключительности, например, своего кружка. В произведениях декадентов я не вижу высоких чувств. Кроме того, заражение должно быть всеобщим; нужно, чтобы и в Китае могли заразиться этим чувством...

— А декаденты, — сказал С. И. Танеев, — напротив, гордятся, что их немногие понимают.

— Да! — ответил Лев Николаевич. — Я едва могу догадаться... нет, неправду сказал: совершенно не могу догадаться, в чем видят особенную красоту этого искусства. В живописи тоже есть такое течение; а в вашей отрасли, в музыке, наблюдается что-нибудь подобное?

С. И. Танеев назвал несколько фамилий.

При свою статью «Всему бывает конец»[59], над которой он теперь работает, Лев Николаевич сказал мне сегодня:

— Я там так напутал... Вот вы имейте это в виду, когда будете писать.

— Что?

— Я вчера был в дурном расположении духа — и все-таки начал писать, и все перемарал и испортил.

Лев Николаевич просил меня ответить на письмо старика старообрядца из Самары, торговца старым платьем, который мягко и любовно укоряет его за то, что он «смущает народ». На конверте этого письма Лев Николаевич написал: «Не смущать хочу народ, а освобождать от вредного обмана»[60].

Другое интересное письмо, на которое Лев Николаевич просил меня ответить, вызвано тем местом его статьи «Обращение к духовенству», где сказано о «продолжающемся веками мошенничестве зажигаемого в Иерусалиме огня в день воскресения, которое никто из церковных людей не опровергает». Автор письма спрашивает Льва Николаевича, как это свечи сами зажигаются? Лев Николаевич написал на конверте этого письма: «Не знаю, но знаю, что сами не зажигаются, да и незачем им зажигаться. Если убедить, то надо всех везде»[61].

Вчера вечером Лев Николаевич исполнил давно уже данное им мальчикам, с которыми он занимался, обещание позабавить их фонографом. После занятий фонограф снесли в переднюю, и мальчики услышали, как широкая труба голосом, похожим на Льва Николаевича, сказала им:

— Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шалите, а то есть такие, что не слушают, а только сами шалят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы вспомните, когда уж меня не будет, что старик говорил вам добро. Прощайте, будет[62].

*23 февраля*

Вчера за обедом С. И. Танеев, Софья Андреевна и С. А. Стахович вели разговор о концертах. «Завтра не будет никаких концертов».

— Завтра в церквах концерт будет, — сказал я.

— Какой? — спросил Лев Николаевич.

— «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакохом».

Софья Андреевна сказала несколько мест из этого псалма в русском переводе.

— Давид был декадент, — сказал Лев Николаевич, улыбаясь. — Я никогда его не понимал.

— Чудные красоты! — сказала С. А. Стахович.

— К чему это богу его восхваления: ты такой да ты этакий. Это вроде моих просительных писем *. Не имеет смысла. Это страшная ошибка — думать, что прекрасное может быть бессмысленным, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к С. И. Танееву.

По поводу присланного Татьяной Львовной письма с выдержкой из статьи Меньшикова [63] был разговор об этом журналисте.

— Ведь он когда-то, кажется, был вашим последователем? — спросил С. И. Танеев.

— Не знаю, — ответил Лев Николаевич. — Я, по крайней мере, никогда не считал его близким человеком.

Сегодня мы встретились со Львом Николаевичем на утренней прогулке, когда он уже возвращался обратно и был недалеко от дома. Он сказал мне, что хочет продиктовать мне кое-что из записной книжки в дневник. (У Льва Николаевича есть карманная записная книжка, в которую он начерно записывает свои мысли; после он переписывает их, исправляя, в свой дневник.) Я спросил, когда он хочет это сделать.

— Не теперь, — ответил Лев Николаевич, — теперь я буду свою чепуху кончать (это он сказал про статью, которую теперь пишет, — «Всему бывает конец»). Хотя она и чепуха, но она так захватила меня, что не могу ничем другим заниматься.

После завтрака Лев Николаевич зашел ко мне.

— Я очень доволен своей работой, — сказал он. — Наконец удалось выразить то, что хотел. Положительно, есть что-то предопределенное в писании. Иногда хочешь выразить какую-нибудь мысль, вертишься около нее, никак не ухватишь.

После этих слов Льва Николаевича я понял, что давеча он назвал свою статью «чепухой» именно потому, что ему долгое время, несмотря на все усилия мысли, не удавалось выразить то, что он хотел, с достаточной ясно-

---

* «Просительными письмами» Лев Николаевич называл получавшиеся им в большом количестве письма с просьбами о денежной помощи. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

стью и определенностью. (Он недавно даже приписал на обложке статьи, после заглавия «Всему бывает конец»: «даже и этой чепухе».)

*24 февраля*

Вчера вечером С. И. Танеев много играл, между прочим, Бетховена. Льву Николаевичу понравился и Бетховен. Танеев напомнил ему его неодобрительный отзыв о Бетховене в «Что такое искусство?» [64].

— Я и теперь думаю, — оговорился Лев Николаевич, — что Бетховен внес в музыку несвойственный ей драматизм. Он еще, с его огромным талантом, справлялся с этим; но его последователи довели это до уродливости.

По поводу воспоминаний Араповой в «Новом времени» и критики на них в «Руси» [65] зашел разговор о Пушкине, потом перешли на Жуковского.

— Хуже всякого разврата, — сказал Лев Николаевич, — хуже разврата самых скверных мест — это разврат придворной жизни. Вы знаете, Жуковский, этот добрый человек, пишет статью о смертной казни, где предлагает, чтобы казнь совершалась в церкви! В церкви, под пение молитвы! Это что-то ужасное!.. [66]

Сегодня Лев Николаевич получил письмо из Омска от того юноши Самсонова, который писал ему о целомудрии. В сегодняшнем письме он, между прочим, пишет о том, что сочинения Льва Николаевича по религиозным вопросам были для него откровением, а художественные произведения не имели значения. Лев Николаевич остался очень доволен его письмом, давал его читать гостям и сказал, что сам он так же относится к своим художественным произведениям [67].

Вечером приехал бывший священник Г. С. Петров. За чаем был разговор о современных писателях. Петров и Софья Андреевна много говорили о Леониде Андрееве. Лев Николаевич долго слушал молча, не вмешиваясь в разговор. Наконец он сказал:

— Главная его беда в том, что его превознесли, — и вот он тужится написать что-нибудь необыкновенное.

К слову я вспомнил об одном нравящемся мне рассказе Лескова.

— Надо бы посмотреть Лескова, — сказал Лев Николаевич, — у него много хорошего. У него слог тяжелый, запутанность, растянутость; поэтому его совсем забыли. Но по мыслям очень много хорошего [68].

*26 февраля*

Я не забыл, что Лев Николаевич третьего дня сказал, что «надо бы посмотреть Лескова». Хотя он и не просил меня об этом, я вчера утром достал из библиотеки полное собрание сочинений Лескова и, в то время как Лев Николаевич был на прогулке, положил ему на стол. Вернувшись с прогулки, он прошел к себе, потом зашел ко мне в столовую и сказал:

— Какая гора Лескова! Я буду по вечерам просматривать его.

Сегодня он действительно весь вечер просматривал Лескова.

— Я все для мальчиков хочу что-нибудь выбрать, — сказал он мне (то есть, воспользовавшись сюжетом какого-нибудь рассказа, пересказать его мальчикам в фонограф в своем изложении).

*27 февраля*

После утренней прогулки Льва Николаевича я прошел вместе с ним в его кабинет за работой для меня.

— Я сейчас был на деревне у мужика, — сказал он мне. — Какая там беднота!.. Как стыдно жить так!..

С самого начала января в печати идут толки о необходимости празднования исполняющегося 28 августа нынешнего года восьмидесятилетия Льва Николаевича. В Петербурге образовался особый «Комитет почина», как назвала себя группа, взявшая инициативу в деле этого празднования [69]. В печати всех направлений появляется много статей, посвященных «80-летнему юбилею Л. Н. Толстого». Льву Николаевичу тяжелы эти приготовления к его восхвалению.

Однако до нынешнего дня он не протестовал против них. Но сегодня Софья Андреевна получила письмо от престарелой княгини Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, кажется, ровесницы Льва Николаевича, в котором она пишет о том, как оскорбит всех верующих православных это чествование человека, нарушившего их верования. Льва Николаевича очень тронуло это письмо, и он дрожащим от слез голосом продиктовал в фонограф ответ на него. Он вполне соглашается с тем, что пишет княгиня, и говорит: «Постараюсь избавиться от этого дурного дела, от участия моего в нем, от оскорбления тех людей, которые, как вы, гораздо, несравненно ближе мне тех

неверующих людей, которые бог знает для чего, для каких целей будут восхвалять меня и говорить эти пошлые, никому не нужные слова».

Кончается письмо словами: «Так вот, прощайте, милая Мария Михайловна. Спасибо вам, что вспомнили обо мне. Общение с вами мне очень радостно. Если бы я был с вами, я бы попросил позволения просто поцеловать вас (здесь Лев Николаевич не мог уже сдержать все время подступавших ему к горлу слез и запнулся), как брат сестру... Теперь же прощайте...» [70]

Вслед за этим письмом, как бы обрадовавшись тому, что есть теперь вполне достаточный повод просить о прекращении приготовлений к его чествованию, Лев Николаевич продиктовал в фонограф письмо М. А. Стаховичу, одному из членов «Комитета почина», в котором просил его сделать все, что от него зависит, для содействия прекращению празднования его юбилея. «Навеки вам буду очень, очень благодарен», — заканчивает Лев Николаевич свое письмо [71].

Четыре дня назад, 23 февраля, Софья Андреевна вечером говорила С. И. Танееву и мне, какую ответную речь предполагает она сказать депутатам в день юбилея. Она намерена была сказать в таком духе: «Я всю жизнь преклонялась перед силой таланта и ума Льва Николаевича и старалась понять его. И если мне не удалось возвыситься до него, то, по крайней мере, я старалась скрашивать его жизнь любовью».

На другой день она говорила, что ей было бы очень приятно, если бы перед ней преклонялись, засыпали ее цветами и пр.

*29 февраля*

Вчера вечером у Льва Николаевича был разговор с А. М. Бодянским о деятельности правительства. Бодянский высказал мысль, что такие люди, как Победоносцев, мешают движению человечества вперед. Лев Николаевич не согласился с этим.

— Если в одном человеке,— сказал Лев Николаевич,— под влиянием преследований уменьшается добро, которое в нем было, скажем, на три градуса, то у другого на двадцать градусов увеличивается. Как это учесть?

Бодянский. Вы верите в то, что человечество обязательно придет к добру?

Лев Николаевич. Да, несомненно!

Бодянский. А у меня такой веры нет! Значит, вы верите в предопределение?

Лев Николаевич. Не в предопределение, а в то, что закон добра, в который я верю, есть вечный закон. Думать, что Победоносцевы могут помешать движению человечества, — это все равно, что думать, что какая-нибудь утка может помешать падению Ниагарского водопада.

Бодянский. Я бы так тоже верил, как верите вы, но у меня есть множество фактов, которые доказывают обратное: что правительство действительно препятствует прогрессу человечества, мешает людям воспринять истину.

Лев Николаевич (с жаром). Да разве вы не знаете много таких людей, которым никто не мешает, и все-таки они не двигаются, все равно, как в этот стакан (он взял со столика стакан и перевернул его) лейте воду сверху, она никак не проникнет внутрь; нужно, чтобы стакан перевернулся. А почему он переворачивается, это тайна.

Бодянский. Никакой тут тайны нет, просто должны явиться благоприятные условия.

Лев Николаевич должен был идти брать ванну, он несколько раз уходил, но возвращался опять и продолжал разговор, который, видимо, очень захватил его.

— Меня поражает такое презрение к человеческому духу, унижение его, — сказал он.

*2 марта*

Лев Николаевич нездоров. Утром я вошел к нему в кабинет за новым «Кругом чтения», над которым я, по его поручению, работаю, и предложил одну вставку о военной службе. Он согласился и сказал:

— Я чувствую, что «Круг чтения» будет ваше произведение.

На днях он дал мне записочку о том, чтó он поручает мне делать с «Кругом чтения».

«Прошу заметить:

1) краткость дня;

2) излишество;

3) несоответствие общей мысли;

4) неточность, неловкость выражений;

5) повторения;

6) буду благодарен за предложения внести новые;

7) прошу замечаний на недельные чтения».

Сегодня был обморок с Львом Николаевичем. Это случилось часа в четыре дня. Перед этим он продиктовал мне

свой перевод рассказа Виктора Гюго «Un athée» [72]. Рассказ этот, кажется, неизвестный ранее Льву Николаевичу и впервые прочитанный им теперь, произвел на него очень сильное впечатление. Содержание рассказа в том, что молодой человек, вышедший из священников потому, что пришел к атеистическому миросозерцанию, подробно излагает своему собеседнику свои материалистические взгляды, по которым нет бога, нет души, нет идеала; цель жизни — в том, чтобы жить для одного себя. Но когда, пять месяцев спустя после этого разговора, произошло крушение того корабля, на котором он ехал, он, забыв о всех своих рассуждениях, по которым выходило, что наслаждение — единственная цель жизни, бросается в море спасать погибающих женщин и сам погибает. На последних словах этого рассказа Лев Николаевич заплакал и, окончив, громко всхлипывал *. Вот конец этого рассказа в переводе Льва Николаевича:

«В этой мрачной суете кораблекрушения, где ужасы людей отвечают хаосу волн и где всякий думает только о себе, наполовину разбитая лодка носилась по волнам, то показываясь, то исчезая. Три женщины отчаянно держались за нее. Море еще было страшно бурно. Ни один пловец из самых смелых матросов не решался прийти им на помощь... Анатолий Лерэ бросился в эту пену и, после напряженной борьбы, имел счастье привезти одну из женщин на берег. Он бросился и во второй раз и спас другую, усталый, растерзанный и окровавленный. Ему кричали: «Довольно! довольно!» «Как? — сказал он. — Там еще одна!» — и бросился в третий раз в море и уже не показывался».

По окончании записи я не ушел сейчас же, а стал приводить в порядок фонограф. Лев Николаевич прошелся несколько раз по комнате. Вдруг мне перестали быть слышны его шаги. Я инстинктивно взглянул в его сторону и вижу — он медленно-медленно опускается на спину. Я подбежал к нему, поддержал его за спину, но не в силах был остановить падение его тела, и на моих руках он медленно опустился на пол. На мой крик прибежала Софья Андреевна, бывшая в столовой, стала целовать Льва Ни-

* Лев Николаевич и после не мог без умиления и волнения говорить об этом рассказе. Он жалел, что не поместил этого рассказа, как самого сильного, в первое «недельное чтение» 2-го издания «Круга чтения», которое тогда печаталось. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

колаевича в лоб, позвала лакея, мы подняли его; он сел на полу, но, видимо, еще не приходил в себя и говорил: «Оставьте меня! Я сейчас засну... Тут где-то подушка была... Оставь, оставь...»

Мы уложили его на диван. Минут через пять он пришел в себя и ничего не помнил, что с ним было.

Вечером Лев Николаевич встал, вышел в столовую и попросил обедать, но ел очень мало. Он как будто забыл все — забыл, как зовут его близких родственников, и самые хорошо ему известные места. Не мог вспомнить, где Хамовники... Что это значит?..

Приехали из Москвы вызванные телеграммами врачи Д. В. Никитин и Г. М. Беркенгейм.

*3 марта*

Льву Николаевичу гораздо лучше. Приехал из Англии на несколько дней по своим делам В. Г. Чертков.

Утром В. Г. Чертков сказал мне, что Лев Николаевич сказал ему: «Я все думаю о Гусеве, что он разбирает мои бумаги, делает за меня, и я думаю, что я совсем выжил из ума».

— И смеется, — прибавил Владимир Григорьевич, — и я тоже смеюсь.

Часов в одиннадцать Лев Николаевич позвал меня. Когда я спросил его про здоровье, он ответил: «Ничего, духовно очень хорошо». Передал мне письмо для ответа, расспрашивал о своем падении, как оно произошло, вспомнил о рассказе, который диктовал, и о том, как я записывал. Потом сказал:

— Как это странно! Я чувствую себя слабым, но духовно очень хорошо. В моей статье то, что мне не удавалось, теперь вдруг прояснилось, я диктовал и сам писал, и я думаю, если бог даст сил, закончу ее.

Вечером я зашел ко Льву Николаевичу. Он был очень бодр. Рассказывал о докторах, как они осматривали его и требовали: «Дышите! Еще раз!»

— Не знаю, не обидел ли я их, — сказал Лев Николаевич. — Я говорю им: когда какой-нибудь ревностный православный начнет меня кропить святой водой и класть икону на грудь, то я буду терпеть, но когда он велит мне креститься, я буду протестовать.

— Что же они? — спросил В. Г. Чертков.

— Смеются оба, — улыбаясь, ответил Лев Николаевич.

Я рассказал о письме женщины-старообрядки М. И. Ер-

шовой, полученном мною недавно[73]. Лев Николаевич сказал:

— Это так приятно встретить женщину религиозную, с которой можно разговаривать. Никитин рассказывал мне, какое громадное теперь стремление женщин стать врачами. Разумеется, на это дело они так же способны, как и мужчины, но ведь три четверти, девять десятых их станут матерями. Мужчине половое общение не мешает заниматься своим делом, а женщина, если она хорошая, непременно должна будет на год — на полтора оторваться.

Заговорили о «Круге чтения» по поводу того, что Андрей Львович попросил у меня для себя экземпляр этой книги.

— Да! — сказал Лев Николаевич, — мне пишет моя свояченица, что она говорила с одной сенаторшей об этой книге и говорит: «Жаль, что она никому не известна». А та говорит: «Как, никому не известна! Это мое второе Евангелие».

Льву Николаевичу было очень радостно это сообщение.

За вечерним чаем Льва Николаевича не было. Сидели: Софья Андреевна, М. А. Шмидт, Г. М. Беркенгейм и я. Говорили о болезни Льва Николаевича.

— Как он ни кривлялся всю жизнь, все-таки барин барином и остался, — говорила Софья Андреевна.

Всеобщее осудительное молчание.

— Я говорю в смысле нежности, он неженка страшный.

Всеобщее молчание.

*5 марта*

С. Т. Семенов прислал Льву Николаевичу свой новый рассказ «Из жизни Макарки» с просьбой переслать его со своей рекомендацией в журнал «Вестник Европы»[74]. Рассказ описывает жизнь крестьянского мальчика на фабрике, правдиво изображая тяжелые условия скучного, подневольного, нездорового, оторванного от природы фабричного труда.

Сегодня за обедом Лев Николаевич сравнивал этот рассказ с пьесой Л. Андреева «Царь-голод», которую он прочитал недавно, и находил, что простое, естественное изображение Семенова гораздо трогательнее и производит более сильное впечатление, чем нагромождение ужасов и эффектов у Андреева. Лев Николаевич находил даже, что в рассказе Семенова лишнее — смерть мальчика под ко-

лесом машины на фабрике; и без этого исключительного случая простое и правдивое изображение обычной обстановки фабричного труда дает верное представление о тяжелых условиях жизни рабочих.

— Когда я вырасту большой, — начал Лев Николаевич в шутливом тоне, сейчас же переходя на серьезный, — то возьму первое попавшееся судебное дело о революционерах и опишу, что он переживал, когда решил убить провокатора, что переживал этот провокатор, когда он его убивал, что переживал судья, который постановлял приговор, что переживал палач, который его вешал... [75]

Заговорив о казнях, Лев Николаевич вспомнил бывшего у него сегодня посетителя, молодого человека, революционера, который ужасался деятельности Столыпина.

— Только он ошибается, — сказал Лев Николаевич, — когда думает, что он [то есть Столыпин] — один: тут целая артель, и быть в этой артели не дай бог...

*8 марта*

Александра Львовна собирается в Москву по разным своим делам, между прочим, к дантисту. Сегодня выписывали ветеринара для лошадей. Эти два обстоятельства дали Льву Николаевичу повод за обедом заговорить о медицине.

— Душан Петрович меня извинит, — сказал Лев Николаевич, — и доктора ничего не знают, а ветеринары тем более не знают. Доктор хоть может спросить. Я вот думаю про свою болезнь — про желудок. Все эти средства, которые я принимал, какое ничтожное они имеют влияние сравнительно с естественным ходом процесса. Если выразить в цифрах это отношение, то, может быть, будет одна десятая к ста.

Вечером Лев Николаевич читал книгу Наживина «Голоса народов» и восхищался помещенной в ней статьей индуса Вивекананды «Бог и человек» [76].

*9 марта*

Вечером Лев Николаевич просматривал только что полученный «Наш журнал» и прочитал в нем рассказ Л. Андреева «Иван Иванович» [77].

— Как всегда у Андреева, — сказал он мне, выйдя в столовую к вечернему чаю с книжкой в руке, — отсутствие чувства меры. Удивительна слава этого человека! Вот все эти: Куприн, Серафимович, Арцыбашев — гораздо талантливее его. А вот о чем пишут теперь, — прибавил Лев

Николаевич и показал мне на последней странице журнала рецензию на книгу Кузьмина об однополой любви.

— Он не согласен, опровергает, но он серьезно говорит об этом. Вы не думайте, — шутя, извинился Лев Николаевич, — что я это читал, это я только просмотрел; я читал книжку Бернарда Шоу об анархизме[78]. Очень интересно. Его все вещи — драмы — очень талантливы.

*10 марта*

Мы встретились с Львом Николаевичем в передней, когда он шел на утреннюю прогулку. Я заговорил о последнем рассказе Андреева «Иван Иванович», который вчера читал Лев Николаевич.

— Нехудожественно все это, — сказал Лев Николаевич. — Ведь должны же быть у него * жена, дети... Я очень боюсь быть к нему обратно пристрастным, я сегодня об этом думал. Я даже очень хотел бы, чтобы он приехал — побеседовать с ним.

*11 марта*

После завтрака Лев Николаевич говорил со мною в своем кабинете о сказанных им в фонограф письмах.

— Да! — вспомнил Лев Николаевич, — сегодня Меньшикова фельетон обо мне. Как он ловко пишет! Приводит выдержки из моего письма к нему и добросовестно делает примечание, что теперешним его статьям я не сочувствую...[79]

— Бывало, раньше, — сказал затем Лев Николаевич, — увидишь статью в газете о себе — непременно заглянешь; а теперь невольно переворачиваю. Даже письма — раньше мне были приятны, а теперь больше в тягость.

Вечером по поводу присланной ему для отзыва рукописи Лев Николаевич сказал мне:

— Как бы хорошо было, чтобы ни за какие сочинения не платили денег!

— Тогда бы многие писать перестали, — сказал я.

---

* Лев Николаевич говорил про героя рассказа Андреева, Ивана Ивановича — околоточного надзирателя, захваченного революционерами-дружинниками, которые хотели было его расстрелять, но, по предложению молодого, веселого, доброго революционера Василия, помиловали и заставили строить баррикаду. Василий и двое дружинников ведут Ивана Ивановича в плен, на квартиру. Дорогой на них налетает отряд драгун, Василий попадает к ним. Иван Иванович выставляет его главным виновником своего захвата и нападения, и Василия расстреливают. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

— Да! — подтвердил Лев Николаевич.— Тут действует еще честолюбие, но оно все-таки больше имеет оправдания, как желание найти поддержку в других. А деньги — это уж прямо осквернение.

В московской черносотенной газете «Вече» 6 марта напечатана карикатура на юбилей Льва Николаевича, и под ней стихи:

У подножья Толстого — кумира
Собралась почитателей рать:
Все безбожники «нового» мира,
И бомбист, и сознательный тать.
Ни колен не жалея, ни платья
И на все пресмыкаясь лады,
Бьет челом ему красная братия
И поют величанье... жиды!

*12 марта*

Софья Андреевна получила письмо от Антония Храповицкого, епископа Волынского, с предложением приехать для того, чтобы воздействовать на Льва Николаевича и спасти душу его от вечной погибели. За завтраком зашел разговор об этом письме (мы были втроем: Софья Андреевна, Ю. И. Игумнова и я). Юлия Ивановна заподозрила честолюбивые намерения в его авторе. Я назвал письмо неделикатным. Софья Андреевна не согласилась с нами. «Вы живете в доме Толстого, — сказала она, — и это сузило вашу точку зрения. Всегда все люди нуждались в церкви».

Я получил от А. М. Бодянского письмо, в котором он пишет:

«Написал свое мнение, как надо праздновать юбилей Льва Николаевича. Но газеты не поместили. Написал, что, согласно с законами, а потому и принятой правдой, Льва Николаевича следовало бы посадить в тюрьму ко дню юбилея, что дало бы ему глубокое нравственное удовлетворение. Эту мысль я несколько развил и подкрепил доказательствами».

Пока Лев Николаевич был на прогулке, я положил это письмо вместе с полученными на его имя к нему на стол, полагая, что оно будет ему интересно. Действительно, за завтраком Лев Николаевич сказал мне:

— Как меня восхитил Бодянский! Действительно, это дало бы удовлетворение. Я на днях думал: чего я желаю? и ответил: ничего не желаю, кроме того, чтоб меня посадили... Я ему сказал в фонограф ответ.

Как трогательно это ответное письмо Льва Николаевича! Он говорит в нем (и надо слышать, с каким глубоким страданием это сказано): «Действительно, ничего так вполне не удовлетворило бы меня и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, *в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную...»* [80]

За обедом был разговор о письме епископа Антония.

— Я думаю, — шутливым тоном начал Лев Николаевич, — что я очень умен... (он остановился), что я никогда никого не обращал. Какое это неуважение к человеку! Мне восемьдесят лет; что он может мне сказать нового, чего бы я не думал? Точно так же и я ничего не могу сказать ему нового: он все это читал, все знает, но благодаря устройству его психики все это соскакивает с него.

— Что я ему буду отвечать? — спросила Софья Андреевна.

— Я тебе скажу что... Я сегодня шел и думал об этом... Вот и забыл... Что Лев Николаевич чувствует себя так хорошо физически и нравственно, что не имеет нужды в изменении...

— На Козловку никто не ездил сегодня? — спросил Лев Николаевич. — Я вчера шел туда, и на снегу — там обыкновенно чертят матерные слова — я начертил из послания Иоанна: братья, будем любить друг друга. И очень хорошо вышло.

— Чем же вы чертили?

— Палкой. Вижу, Андреян всматривается, я ему ничего не сказал.

— Меньшикова статью вы не читали? — спросил меня Лев Николаевич. — Очень интересно. Интересно тем, что он приводит неизданное письмо Чехова, которое показывает, что он был человек совсем неверующий [81]. Он всегда как-то сторонился христианства. Я знал таких людей. Они так дорожат своим внутренним спокойствием и боятся, что христианство лишит их его.

*13 марта*

Лев Николаевич читал в газете сообщение о состоянии Рокфеллера. Заметка эта произвела на него удручающее впечатление. Уходя спать и прощаясь со всеми, он на минуту остановился и спросил Душана Петровича, у которого хорошая память на цифры:

— Сколько у Рокфеллера? Двадцать миллиардов? Ведь это представить себе! Это сразу показывает всю извращенность нашего строя, чтобы один человек владел такими деньгами...

*14 марта*

За обедом Лев Николаевич, рассказывая о своей прогулке, сказал:

— Шопенгауэр говорит, что если есть в доме певчие птицы, то это признак того, что хозяева не занимаются умственной работой. Я это испытываю по отношению к собакам. Для меня это прямо бедствие; всю дорогу: гав-гав-гав! Только задумаешься над чем-нибудь...

На конверте одного письма, на которое он просил меня ответить, Лев Николаевич написал:

«Прежде всего вам нужно перестать видеть все дурное в людях, а для этого увидать в себе дурное и постараться уменьшить его. Начните только делать это, и найдете и смысл жизни, и ее радость» [82].

Вечером, просматривая газету и увидав карикатуру, Лев Николаевич сказал:

— Не могу смотреть карикатуры... Читаешь: три, четыре смертных приговора, и рядом такая карикатура... Какое-то кощунство.

*15 марта*

В полученном сегодня номере «Русского слова» от 14 марта напечатан фельетон В. Курбского (Г. С. Петрова) о Льве Николаевиче. Вот его общая оценка учения Толстого:

«Основная мысль всего «Круга чтения» все та же обычная толстовская: внутреннее самоусовершенствование, и только одно оно. Внешние условия жизни, их ужас и неправда, как бы не существуют для автора «Круга чтения»... Он выхватывает личность человека из общества и государства и совершенствует ее, а совершенствование общества как-то проскальзывает между рук. Чувствуется оторванность от жизни, замкнутость в себе. Это — в измененном виде пустынное монашество... По существу, это — дряблость характера, слабоволие, духовная трусость, боязнь жизни... И Л. Толстой, как ни великий гений, но это гений старой, отживающей России. Гений России рабской, России крепостнической, России опекаемой».

Когда я после завтрака зашел ко Льву Николаевичу, он сказал мне:

— А каков наш посетитель-то?

— Какой, вчерашний? — спросил я, не поняв, о ком он говорит.

— Нет, Петров... Нежелание не только войти в душу человека, но даже быть добросовестным перед собой, перед своей совестью. Он революционер, и все, кто не согласен с ним, все ничего не знают...

Затем Лев Николаевич сказал мне, что прочел во французской газете перепечатку сообщения «Руси» о том, что он занимается переводом Гюго.

— А они не верят этому и пишут, что если я занимаюсь им, то с той целью, чтобы раскритиковать, как Шекспира [83]. И мне даже хочется написать письмо об этом, — сказал Лев Николаевич [84]. (Он очень высоко ценит Виктора Гюго.)

За обедом опять говорили о Петрове и его статье.

— Это нам практика, — сказал Лев Николаевич после всех наших пересудов.

*17 марта*

За обедом Лев Николаевич рассказывал о приходившей к нему с просьбой о помощи женщине, муж которой продал надельную землю, истратил вырученные деньги, уехал на сторону и там бедствует.

— Это результат столыпинских стараний об уничтожении общины, — сказал Лев Николаевич. — Я сегодня в «Новом времени» читал статью профессора об общине [85]. В Думе образовалось течение, которое стоит за общину. А профессор от большого ума решает, что община должна быть уничтожена, потому что она мешает сельскохозяйственному прогрессу. А что уничтожение ее увеличит бедность, до этого ему нет дела.

(Последнее предложение записано не вполне точно.)

Когда я вечером зашел ко Льву Николаевичу, он сказал мне:

— Вам Саша говорила, что я отдал ей бумаги от Николая Михайловича? Вот, надо будет отвечать ему [86]. Я обещался не показывать, но рассказать можно. Письма Николая Павловича о декабристах. На плохом французском языке, с орфографическими ошибками, называет их мерзавцами, волнуется и успокаивается, когда они казне-

ны. Я хочу ему написать, что это не только интересно, но и ужасно по тому мраку, который... (Дальше я не запомнил.)

*18 марта*

Вчера вечером я пришел в столовую около одиннадцати часов. Лев Николаевич был вдвоем с Софьей Андреевной.

— А я ничего сегодня не сделал, — сказал он мне (ему нужно было читать корректуру 2-го издания «Круга чтения»), — весь вечер читал «Свободное слово». Как много там хорошего! Статью поляка о власти вы не читали? Очень хорошая... [87]

Слова Льва Николаевича из дальнейшего разговора:

— Я сегодня разговаривал с бывшим старшиной о земле, и у меня явилась мысль: написать самым простым языком самое короткое изложение проекта Генри Джорджа. В одну страничку... [88]

Сегодня опять думал: как бы хорошо было, если бы общественное мнение единодушно восстало против того, чтобы брать деньги за писательство! Сразу бы исчезли все газеты...

*19 марта*

Вчера Лев Николаевич был, по его выражению, кислым, чувствовал какую-то подавленность. Несколько раз и за обедом и вечером заговаривал о бедности народа. Его поразил старик, больной куриной слепотой, которая бывает от недоедания.

— Ах, нищета, нищета! — повторял он.

Сегодня приехал Андрей Львович. Он очень волнуется предстоящим юбилеем Льва Николаевича, опасаясь, что депутация и поздравления так его утомят и взволнуют, что он заболеет. После всех наших разговоров за завтраком на эту тему Лев Николаевич сказал:

— Главное, тут не надо ничего самим делать; нужно отстраниться. Если с чем-нибудь выступишь, то все это перетолкуют, переиначат... [89]

Лев Николаевич просил меня ответить на одно письмо с просьбой прислать денег для образования, на конверте которого написал: «Неужели мир так нелепо устроен, что человек, не получивший обучения, для которого нужно столько-то рублей, не может исполнить свое высшее назначение жизни?» [90]

*20 марта*

За завтраком Лев Николаевич сказал мне:

— Письмо было одно хорошее, ругательное.

— Православный?

— Православный, — ответил Лев Николаевич. — Я чувствую, как это мое новое переложение Евангелия * оскорбит многих.

За обедом М. В. Булыгин рассказал, что у них в Хатунке удавилась старуха восьмидесяти лет, удрученная семейными неприятностями и нищетой. «И невольно чувствуешь, — сказал он, — что есть часть и твоей вины в этом». Рассказ произвел на всех гнетущее впечатление.

Разговор перешел на статью И. Ф. Наживина о духоборах — свободниках [91].

— Мне особенно понравилось, — сказал Лев Николаевич, — вероятно, это шутка, — что пишет один из них: что у англичан есть свинятни, где музыканты играют, чтобы свиньям было весело. Вот и наши Гольденвейзеры играют; чтобы нам, свиньям, было весело обедать, — смеясь, сказал Лев Николаевич.

Говорили о часто происходящих теперь убийствах из-за нескольких рублей.

— Я, — сказал Лев Николаевич, — прямо приписываю это действиям правительства. Как же, каждый день пять-шесть смертных приговоров.

О предстоящем своем юбилее Лев Николаевич сказал:

— Как богатый не дорожит богатством, здоровый не дорожит здоровьем, так и на меня действуют эти восхваления. Неискренно, неестественно, искусственно, пошло... Если у меня было тяготение к славе людской, то теперь все сгладилось. Бывало, читаешь газету, увидишь «Л. Н. Т.» — и обратишь внимание; а теперь увидишь — и перевернешь.

Вечером Лев Николаевич говорил об европейском презрении к Востоку.

— В Индии сколько, — спросил он Д. П. Маковицкого, — триста миллионов? В Китае — четыреста. Но нам это все равно. Хотя бы с внешней стороны посмотреть:

---

* Лев Николаевич говорил о том самом упрощенном изложении Евангелия, которым он был тогда занят. Оно было напечатано в изд. «Посредника» в 1908 г. под названием «Учение Христа для детей». *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

вот мне пишет японец, превосходно пишет по-английски; всю европейскую культуру, все изобретения они усвоили. Значит, у них есть теперь все, что есть у нас; но зато у нас нет того, что есть у них [92].

*21 марта*

Утром было много просителей. Возвратившись с прогулки, Лев Николаевич сказал мне:

— Какая ужасная жизнь! Бедность, развращенность... Поскорей уйти отсюда, а вы, — со страдальческой улыбкой сказал он мне, — как хотите устраивайтесь. «Бывший студент» просит книжечек, «литературы нет ли нелегальной»... Что у него в голове?..

В. А. Шейрман прислал Льву Николаевичу письмо относительно готовящегося ему юбилейного чествования [93]. По поводу этого письма Лев Николаевич сказал, что ему нравится то, что Шейрман так редко ему пишет.

— Раз написал, — сказал Лев Николаевич, — и с тех пор ни слова. А между тем я знаю, что у него идет работа и что он очень близок — не ко мне, а к тому, к чему мы оба близки.

После обеда Лев Николаевич показывал нам полученную сегодня книжку об Южной Америке [94].

— Книжка сама по себе малосодержательная, — сказал он, — но хороша тем, что напоминает об этой стране. О Южной Америке, так же как о Востоке, не думают. А ведь там живут люди — восемьдесят миллионов во всех этих республиках...

Вечером был разговор о «темных». Софья Андреевна жаловалась, что они первые суют руку.

— Рука грязная, корявая, иногда потная — фу, какая гадость!

*23 марта*

Ю. И. Игумнова привезла из Москвы много открыток со снимками картин разных художников. Лев Николаевич с большим интересом рассматривал их.

— Какое это удивительное искусство — живопись, и как мало им пользуются! — сказал он.

В числе других был снимок с картины любимого художника Льва Николаевича — Николая Васильевича Орлова, «Монополия», изображающая освящение священником казенной винной лавки.

— Даровитый, даровитый человек! — сказал Лев Ни-

колаевич про Орлова [95]. — И человек, который думает сердцем. Он знает народ и любит его, и ему тяжело такое поругание.

*27 марта*

Приезжала монахиня, «матушка Анна» [96]. Лев Николаевич долго разговаривал с нею, затем ушел гулять. После чаю монахиня хотела было уезжать, но затем решила дождаться Льва Николаевича, чтобы проститься с ним. Минут через десять после возвращения Льва Николаевича я из своей комнаты услышал громкий и взволнованный голос Льва Николаевича, говорившего с монахиней в столовой. Выйдя из комнаты, я услыхал, как Лев Николаевич громко говорил:

— Каждый день десять казней!.. И это все сделала церковь!.. А Христос велел не противиться злу!..

Монахиня возразила, что нельзя слова Христа о непротивлении злому понимать буквально, так же как нельзя понимать буквально слова о том, что надо вырвать глаз, если он тебя соблазняет.

— Это — сравнение, — так же возбужденно, как и прежде, ответил Лев Николаевич, — и им ничего нельзя доказать, а в заповедях Христос прямо говорит: вам сказано — око за око, а я говорю — не противься злому; вам сказано — соблюдай клятвы, а я говорю — не клянись; вам сказано — люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю — любите врагов ваших... Церковь все извратила!.. Вы поправляете Христа!..

Монахиня начала говорить о том, что нельзя же оставлять безнаказанными зверские преступления. Лев Николаевич не дал ей договорить.

— Ну так, так и сказать, что Христос говорил глупости, а мы умнее его, — обессилевшим от волнения голосом крикнул он. — Это ужасно!

Никогда еще не видел я Льва Николаевича таким взволнованным.

После обеда я прочитал Льву Николаевичу напечатанное во владивостокской газете известие о том, будто бы Лев Николаевич собирается приехать в Японию. «Лев Николаевич, — пишет газета, — посетит, вероятно, и Корею, где *высокая доктрина проповеди непротивления злу* найдет самую благодарную почву» [97]. Льву Николаевичу было приятно это сочувственное упоминание о главнейшем практическом приложении учения о любви.

*28 марта*

За вечерним чаем вспоминали вчерашнюю монахиню. «Она верит в спиритизм», — сказала Александра Львовна.

— Нет, у нее есть худшие недостатки, — возразил Лев Николаевич, — она хочет учреждать, устраивать, обращать, заниматься революционной деятельностью в своем смысле... Есть и доля тщеславия.

Все же, по словам Льва Николаевича, монахиня была ему скорее приятна. Вспомнили еще другого бывшего несколько дней назад посетителя. Александра Львовна сказала, что он ей не понравился.

— А ты ему не понравилась, — шутя, заметил Лев Николаевич. Так неприятно бывает Льву Николаевичу всякое недоброе о ком-либо суждение.

Перед сном, простившись со всеми и уйдя к себе, Лев Николаевич еще раз вернулся в столовую и сказал:

— Я каждый раз у себя прохожу и останавливаюсь около картин Орлова. Какой это талант! И художественный талант, и высокое понимание. Где-то он теперь? Его картина — священник собирает новину — помните? Нищий приходит, его прогоняют: ступай, некогда, после... Здесь весь трагизм жизни русского народа и его высокие душевные черты: кроткость, смирение...[98]

*30 марта*

Приехал П. А. Сергеенко. Он много рассказывал о петербургских бюрократах. Льву Николаевичу были тяжелы эти рассказы[99].

В полученном сегодня номере «Русских ведомостей» напечатано постановление «Комитета почина» по устройству чествования Льва Николаевича о том, что, согласно воле Льва Николаевича, комитет прекращает свою деятельность[100]. Когда я сообщил об этом Льву Николаевичу, он сказал мне:

— Как это мне приятно, что юбилей так легко расстроился.

Сегодня я написал следующее письмо, которое понравилось Льву Николаевичу и с которого он велел мне оставить копию:

«Лев Николаевич поручил мне ответить на ваше письмо.

Вы, наверное, читали в газетах постановление петербургского «Комитета почина» о прекращении своей деятельности, вызванное просьбой Льва Николаевича к од-

зому из его членов о прекращении всех приготовлений к юбилею. Основная причина отрицательного отношения Льва Николаевича к этому юбилею — его нежелание в каком бы то ни было отношении выделяться, выдаваться, играть роль.

Все учение Льва Николаевича в том, чтобы усилиями духа освобождаться от личности; то, что предполагалось устраивать — как раз имело целью обратить внимание на его *личность*. Учение, провозглашаемое им, может быть усвоено людьми только после того, как они своим разумом убедятся в его истинности. И те, кто убедится в этом, те чувствуют любовь и благодарность ко Льву Николаевичу и 29 августа, и 30 марта, и всегда.

По случаю же приготовлений к юбилею всплыло и обнаружилось в печати одно недавно сравнительно образовавшееся отношение ко Льву Николаевичу. Из множества статей, написанных по поводу юбилея, резко выделяются своим последовательно враждебным, грубым и злобным отношением статьи приверженцев церкви и государства; большинство же журналистов повторяют с чужого голоса слова о «величии», «гениальности», «мудрости» «великого писателя земли русской», но совершенно ясно видно, что авторы этих статей не прочли внимательно и серьезно ни одной книжки Льва Николаевича.

Скажу вам откровенно, что лично мне, обязанному Льву Николаевичу очень и очень многим в своей духовной жизни, такое отношение к его учению более всего обидно. Я понимаю озлобление и раздражение против него людей, воспитанных в суевериях церкви и государства; понимаю (хотя гораздо меньше) отрицательное отношение революционеров, борющихся насилием против насилия; но крики «осанна!», так легко обращающиеся в «распни его!», представляются мне чем-то оскорбительным. В той или иной форме эту же самую мысль, с большей или меньшей степенью отрицательного отношения к предполагавшемуся юбилею, высказывали многие и многие из учеников и друзей Льва Николаевича.

С нашей точки зрения, лучшим способом чествования Льва Николаевича было бы для всех, кто пожелает принять в этом участие, включая сюда, как с горькой иронией выразился Джордж, и те мудрые существа, которые занимаются изданием газет, было бы то, чтобы хоть на короткое время оставить свою шумную, суетливую деятельность и в уединении, с полной серьезностью, внима-

тельно прочесть и вдуматься хотя бы в одну самую маленькую книжечку Льва Николаевича и спросить себя: верно ли то, что здесь написано, и нет ли здесь чего-либо поучительного для меня.

Что же касается всех тех особенных дел и учреждений, к которым призывают людей по поводу будущего исполнения Льву Николаевичу восьмидесяти лет, то или то, что проектируется, прямо отрицается Львом Николаевичем (как благотворительные учреждения, современные школы, даже общества мира, которые, как показал опыт, не имели серьезного значения), или же настолько хорошо и верно само по себе (как то, что вы предлагаете: обратить каждому внимание на свое нравственное совершенствование), что кажется странным самая мысль о приурочении этого к какому-то дню и числу. Если нравственное совершенствование есть сущность жизни, то как же я могу откладывать его до 28 августа? Даже на завтра отложить его страшно, потому что может случиться, что завтра меня уже не будет здесь.

Несмотря на это, я все-таки не думаю, чтобы напечатание вашей статьи о предлагаемом вами способе чествования Льва Николаевича было бы бесполезно, потому что совершенно независимо от того или другого числа полезно напомнить о сущности его взглядов»[101].

*31 марта*

Приехал Илья Львович. За обедом он рассказывал об увлечении некоторых знакомых ему дам теософией. Лев Николаевич сказал, что он не понимает этого.

Илья Львович (он служит в банке) рассказывал еще о деятельности крестьянских банков, направленной к тому, чтобы продавать землю предпочтительно хуторам перед общинами и товариществами крестьян. Он рассказывал, как крестьяне стараются обойти этот порядок, устраивая так, что в конце концов владельцем купленной земли делается все-таки община.

— Как это трогательно! — сказал Лев Николаевич. — Это отвратительное преступление правительства — уничтожение общины.

Сегодня получено следующее недописанное письмо из Харькова:

«Лев Николаевич, благодаря вам, я нашла счастье и покой. Да будет имя ваше благословенно во веки веков».

Письмо это тронуло Льва Николаевича[102].

*1 апреля*

Приехал П. И. Бирюков. После завтрака он предложил Льву Николаевичу прочесть вслух отрывок из автобиографии Шопенгауэра, напечатанный в костромской газете. Лев Николаевич обратил внимание на то, как Шопенгауэр уважал Канта.

С чувством возмущения передавал Бирюкову Лев Николаевич то, что рассказывал вчера Илья Львович про крестьянский банк и старания правительства уничтожить общину.

— И кто же ее уничтожает? Легкомысленные, поверхностные люди, не имевшие никогда ни одной серьезной мысли в голове, — с негодованием сказал Лев Николаевич.

Вечером был разговор об огромных гонорарах, получаемых в наше время наиболее известными писателями. Я сказал, что в распространенных газетах некоторые журналисты получают по пятьдесят копеек за строчку.

— Пятьдесят копеек! — с удивлением и возмущением сказал Лев Николаевич. — Я пятьдесят копеек даю только изредка некоторым вдовам-старухам, и они после этого месяц не приходят. А тут — пятьдесят копеек за строчку!..

Я только недавно узнал, что деньги, из которых Лев Николаевич подает просителям и помогает нуждающимся крестьянам и которые он в шутку называет своей «пенсией», получаются им с императорских театров за представления «Власти тьмы» и «Плодов просвещения». Когда Лев Николаевич отказался от гонорара за эти пьесы, как и за все написанное им за последние тридцать лет, ему сообщили, что в таком случае деньги эти, по существующему порядку, будут употреблены на улучшение балета, и Лев Николаевич решил на этот раз отступить от принятого решения и употреблять эти деньги на благотворительные цели. Это — единственные деньги, которыми Лев Николаевич считает, что может свободно располагать. Из этих же денег он помогает сидящим в тюрьмах за отказ от воинской повинности.

*2 апреля*

Вечером перед чаем, когда все бывшие в столовой домашние и гости разбились на несколько кучек, в каждой из которых шел свой разговор, Лев Николаевич тихо сказал мне и П. И. Бирюкову:

— Дудченко мне пишет, что он прочитал мое письмо к Бодянскому, и он и друзья его пишут мне, как было бы хорошо, если бы я жил в простых, крестьянских условиях... Еще бы не хорошо! Да что же сделаешь...[103]

— Хорошо, Лев Николаевич, и так, как есть, — сказал я, — и даже, может быть, лучше.

— Да, но тяжесть-то остается... Это хорошо, что вы сказали.

*3 апреля*

Приехал П. А. Сергеенко. Лев Николаевич просил его «при случае» напечатать следующее (записано мною дословно):

«1). Определенное мое и сильное желание избавиться от всей несвойственной мне затеи этого юбилея. И желательно бы было, чтобы никто в этом вопросе не руководился ничем иным, как тем, что мною лично ясно выражено.

2). Огромное количество писем составляет для меня большую тяжесть тем, что и совестно и больно не отвечать, а вместе и отвечать на все письма нет никакой возможности. Большая часть этих писем — просительные, которые, несмотря на мое заявление о том, что я не могу помогать денежно[104], приходят все в бо́льшем и бо́льшем количестве, — в таком количестве, что я, примерно, прикидывал minimum пятьсот рублей в день. По крайней мере, три четверти на продолжение образования с тем, чтобы быть полезным народу.

И третье — смесь. А смесь это то, что сведения, сообщаемые в газетах, — самые не только неверные и преувеличенные, но часто не имеющие никаких оснований, и даже на те из них, которые доходят до него, Лев Николаевич не в состоянии и не желает отвечать, восстановлять справедливость факта. Как образец этого, вот эти сведения, которые мне попались: 1) о том, что я перевожу Виктора Гюго, вызвавшие во французской печати почему-то замечание о том, что я не люблю Гюго, тогда как я — великий поклонник его, а переводил из «Postscriptum de ma vie» рассказ «Un athée»;[105] 2) упоминание о «новой» повести «Отец Сергий» (по поводу которой я получил также письмо, упрекающее меня в подражании Андрееву), содержание которой мне так чуждо, что я должен был просить напомнить его мне»[106].

Лев Николаевич продиктовал мне следующий ответ переводчику на грузинский язык «Власти тьмы», приславшему ему письмо и перевод:

«Лев Николаевич благодарит вас за перевод и присылку книги. Что же касается до положения Грузии, то Лев Николаевич просил передать вам, что он последнее время особенно ясно видит зло, происходящее от угнетения большими государствами мелких народностей, и занят этим и пишет об этом» [107].

*4 апреля*

Вчера за обедом был разговор об упрощении жизни. Лев Николаевич спросил П. И. Бирюкова, который пишет его биографию:

— А про халат у вас нет?

— Какой халат?

— Я сшил себе халат такой, чтобы в нем можно было и спать и ходить. Он заменял постель и одеяло. У него были такие длинные полы, которые на день пристегивались пуговицами внутрь.

— Когда же это было?

— Да в самой первой молодости, когда мне было лет семнадцать...

— Что же, и долго вы им пользовались?

— Нет, недолго, — смеясь, ответил Лев Николаевич.

Я не слышал повода, по которому П. И. Бирюков заговорил о Кропоткине.

— Как странно, что я его не знаю лично, — сказал Лев Николаевич. — Мне его сочинения не нравятся, — не потому, что я не согласен с ними, а просто потому, что дурно написаны: слабо, бледно... Разве сравнить с каким-нибудь Прудоном.

*5 апреля*

— Я сегодня только, — сказал мне вчера вечером Лев Николаевич, — думал о том, как нам невозможно предвидеть последствия того или другого общественного устройства — монархического или республиканского. Разве Французская революция могла предвидеть Наполеона? Это нам теперь все это кажется ясно, а тогда люди совсем не предвидели этого.

О социализме Лев Николаевич высказал такое мнение:

— Социализм, — сказал он, — это—осуществление идей христианства в экономической области.

За чаем приехавший из Петербурга Лев Львович [108] рассказывал о предлагавшихся разными лицами проектах чествования Льва Николавича в день его восьмидесятилетия. Лев Николаевич сказал на это:

— До какой степени эти приготовления избавили меня от тщеславия и честолюбия: все дотла сгладили. Я думаю, что потом эти люди сами поймут: какие мы глупости говорили. Какой гений, какой великий человек! Человек как человек, ничего особенного не написал...

— Поша просил меня, — сказал после Лев Николаевич, вспоминая уехавшего П. И. Бирюкова, пишущего его биографию, — написать что-нибудь ему во второй том. Мне хочется написать о студентах, с которыми я вместе занимался. Какой это был народ! Чистые, самоотверженные... О распущенности и речи не могло быть; что он будет жить в Бабурине — об этом и вопроса не поднималось... Какая разница с современной молодежью!.. [109]

Вчера Лев Николаевич спрашивал меня, увлекался ли я писательским честолюбием, и затем прибавил:

— Вы можете прекрасно писать — ясно, точно и убедительно.

*6 апреля*

— Я теперь все думаю о том, — сказал вчера за вечерним чаем Лев Николаевич, разговаривая со Львом Львовичем, — какое это безумие думать, что я могу устраивать жизнь других людей. Я только свою жизнь могу устраивать.

— Но нужно же сближение с людьми, — возразил Лев Львович.

— Вот такая-то жизнь, — ответил Лев Николаевич, — и дает возможность сближения; а действительность, направленная на устройство жизни других, напротив, разобщает меня со всеми.

*7 апреля*

За обедом Лев Николаевич сказал, что П. И. Бирюков в прочитанной им в Костроме лекции по астрономии упомянул о том, что, по вычислениям астрономов, свет проходит в секунду двести восемьдесят тысяч верст — а с некоторых звезд свет доходит до нас через двести тысяч лет.

— Какое же расстояние! — сказал Лев Николаевич. — Это доказывает, что в этой области ничего нельзя знать, можно только забавляться *.

— Это очень интересно, — сказал Лев Львович.

— Что ж тут интересного, — возразил Лев Николаевич. — Так же, как шахматная игра...

За вечерним чаем высчитывали, сколько кому лет. Льву Львовичу оказалось тридцать девять.

— Да, старость приходит. Скверно, — сказал он.

Лев Николаевич сидел поодаль от стола в кресле и на слова Льва Львовича тихим голосом сказал:

— Я чем дольше живу, тем все лучше и лучше. Если бы мне сейчас предложили: хочешь, чтобы тебе было двадцать пять лет? Боже сохрани! и сорок лет не хочу, а вот семьдесят девять — это хорошо.

Мне Лев Николаевич сказал:

— Читал все о буддизме[110]. Какое это странное учение! И как оно было извращено! Этакое отвлеченное учение, нирвана, и вдруг там появилось то же обоготворение, поклонение идолам, рай и ад... Совершенно те же суеверия, как в христианстве. А Будда определенно учил, что нет загробной жизни... А нравственное учение — очень возвышенное: кротость, оплата добром за зло... У китайцев это вкоренилось: про них все рассказывают, какой это добрый, кроткий народ...

*8 апреля*

Сегодня после обеда Лев Николаевич сказал мне:

— «Русь» мне дала несколько материала; а я бы еще хотел таких сведений.

— О чем, Лев Николаевич? — спросил я.

— О казнях, — с каким-то ужасом выговаривая это слово, ответил Лев Николаевич.

Я достал Льву Николаевичу из библиотеки номера «Былого» со статьями о казнях, а Д. П. Маковицкий —

---

* Эти слова Льва Николаевича напомнили мне следующую мысль Канта, помещенную в «Круге чтения»: «Наблюдения и вычисления астрономов научили нас многому, достойному удивления; но самый важный результат их исследований, пожалуй, тот, что они обнаружили перед нами бездну нашего невежества; без этих знаний человеческий разум никогда не мог бы представить себе всю огромность этой бездны. *Размышление об этом может произвести большую перемену в определении конечных целей деятельности нашего разума. (Прим. Н. Н. Гусева.)*

вырезки статей Владимирова из «Руси» 1906 года о действиях Семеновского полка на станциях Московско-Казанской железной дороги в декабре 1905 года [111]. Лев Николаевич весь вечер читал эти книги. Статьи Владимирова не понравились ему.

— Дурно написаны, — сказал он мне. — Такие ужасные факты излагает со своими эпитетами, пояснениями, выводами. Они только ослабляют впечатление. Надо читателю самому предоставить делать эти выводы.

По-видимому, Лев Николаевич задумал художественное произведение о смертной казни [112]. Несколько дней назад он написал письмо своему старому знакомому Н. В. Давыдову, председателю московского окружного суда, прося его достать самые подробные, какие он может, сведения о том, как и при какой обстановке производятся смертные казни [113].

За вечерним чаем Лев Львович рассказывал о больших зданиях в Петербурге.

— Вот это искусство, — сказал Лев Николаевич, — на меня никогда не производило никакого впечатления. Какая-нибудь избушка в лесу гораздо красивее всех Исакиевских соборов.

По поводу того, что подходит пасха, Лев Николаевич сказал:

— Вот София Александровна Стахович — умная женщина, а пишет мне, выписывает стихи Хомякова о воскресении Лазаря [114]. Он и не воскресал никогда, и не мог воскреснуть, и незачем ему было воскресать, да если бы он и воскрес, то нам никакого дела нет до этого.

*9 апреля*

Приехали Сухотины и С. Д. Николаев.

С. Д. Николаев рассказывал о художнике Н. В. Орлове, который, имея на руках большую семью, сильно нуждается; его прекрасные картины не обеспечивают ему достаточных средств к существованию.

— Да, уж так мир построен, — сказал Лев Николаевич, — что за хорошее дело никто копейки не дает, а за дурное сыплют, сколько хочешь.

М. С. Сухотин, приехавший из-за границы, много рассказывал о русских революционерах-эмигрантах. Лев Николаевич слушал с большим интересом. Михаил Сергеевич передавал, что революционеры-эмигранты думают, что в России все уже готово для вооруженного восстания, нужна

только организация, а настроение готово. Лев Николаевич сказал на это:

— Ведь правительства вырабатывали эту организацию веками. Как же можно думать, что из русских мужиков явится Риман с Семеновским полком [115]. Это так же невозможно, как то, чтобы Танечка подняла этот самовар. Это могут думать только такие люди, которые совершенно не знают жизни.

— Конечно, — сказал далее Лев Николаевич, — вся эта ложь и все насилие должны быть уничтожены, но дурно то, что ничего нет, что заменило бы эту ложь и насилие.

За завтраком Лев Николаевич сказал Николаеву:

— Я вчера читал в «Руси» о карательном отряде Семеновского полка, и... хотя это не следует говорить... но самые жестокие дела делались людьми с немецкими фамилиями: Риман...

— ...Мин, — напомнил я.

— ...Мин... Русский не мог бы этого делать. Этакие шоры на глазах; человек глядит в упор и больше ничего не видит.

*10 апреля*

Лев Николаевич получил от В. А. Молочникова из Новгорода письмо и обвинительный акт по обвинению его в распространении запрещенных сочинений Толстого, за что его будет судить судебная палата. Рассказав мне об этом, Лев Николаевич сказал:

— Я, грешный человек, хочу поехать в Петербург и явиться на суд и сказать: вот он, обвиняемый!

Я сказал, что число преследований наших единомышленников все увеличивается.

— И я думаю, что это в связи с юбилеем, — сказал Лев Николаевич.

Когда Лев Николаевич шел на предобеденную прогулку, я встретился с ним в передней.

— Прочли обвинительный акт? — спросил он меня. — Как составлен! Это прямо для распространения. Я хочу ему написать, чтобы он выставил меня защитником; это уже должно подействовать [116].

Вечером вернулся с тяги Лев Львович и говорит мне (мы с ним соседи по комнате):

— Нет ничего хуже, как быть сыном великого человека. Я предпочел бы быть сыном какого-нибудь хулигана, чем великого человека. Всякий смотрит на тебя не просто

как на человека, а как на что-то особенное. И, кроме того, вымещают на тебе свою злобу: а, мол, ты сын великого человека, а сам не великий человек... Это мне говорила дочь Д.[117] в минуту откровенности... Это психологически вполне понятно...

*11 апреля*

За обедом Лев Николаевич рассказывал про бывшего у него сегодня старообрядческого учителя, которого его единоверцы считают «толстовцем». Он приехал для того, чтобы пожить около Льва Николаевича и не быть вынужденным в наступающие праздники ходить в церковь, чего он не мог бы избежать, живя дома. Он поселился в Телятинках.

— Он спрашивал у меня, — сказал Лев Николаевич, — как ему вести занятия в школе. Я сказал, что главное в школе — это полная свобода.

*12 апреля*

Сегодня Лев Николаевич не спал всю ночь от изжоги.

За обедом он вдруг побледнел, и с ним повторилась бывшая полтора месяца назад забывчивость.

— Это кто там сидит с Варварой Михайловной?[118]

— Анночка?[119] Когда ж ты приехала?

(Анна Ильинична живет здесь уже несколько дней.)

— А ты, Лева, куда поедешь?

— В Петербург.

— Один или с женой?

— Да ведь она там.

— Я так крепко спал перед обедом, что я все забыл. Что, это мне во сне снилось или это правда было, что Митя-брат приехал?

(Дмитрий Николаевич, брат Льва Николаевича, умер в 1856 г.)

Всем тяжело. Я с трудом сдерживал слезы. Льву Николаевичу посоветовали пойти к себе, на что он согласился. Послали телеграммы врачам Никитину и Беркенгейму.

Вечером перед чаем Лев Николаевич вышел в столовую. Ему было лучше, но забывчивость продолжалась. Он сел в кресло около дверей в гостиную и сидел, сам не начиная говорить ни о чем, но прислушиваясь к тому, что говорили другие, и изредка задавая вопросы, относящиеся к разговору. Вдруг он спросил:

— А где Сережа?

Ему ответили. Через некоторое время он опять спросил:

— А где Илья?

Всем было тяжело. Насильно заставляли себя разговаривать.

— Ну, Таня, — сказал Лев Николаевич дочери, — расскажи что-нибудь, займи все общество.

Софья Андреевна что-то предложила Льву Николаевичу.

— Что вы все так суетитесь? — спокойным, вялым и не совсем внятным голосом отозвался Лев Николаевич. — Здоров — здоров, нездоров — нездоров, умер — умер, мне безразлично. А вот, что вы все тут, это хорошо.

Лев Львович предполагает, что он и о сыновьях справлялся потому, что ему хотелось, чтобы все были здесь.

*13 апреля*

Ночь Лев Николаевич спал хорошо. Утром, как обыкновенно, ходил гулять. Когда он возвращался с прогулки, я встретился с ним у дома и спросил:

— Как здоровье, Лев Николаевич?

— Ничего, слабость, все к развязке ближе. Это хорошо, и это совсем не жалкие слова. Ночью так хорошо думал светло.

В столовой Лев Николаевич поздоровался со всеми и сел на вчерашнем месте в кресле, налево от дверей в гостиную.

— Как чувствуешь себя, папа? — спросила Александра Львовна.

— Ничего, в голове хорошо, а в поганом теле нехорошо; ну, оно на то и погано, чтобы скорее разрушиться.

Через несколько минут общего разговора Лев Николаевич, сидя на том же месте, сказал:

— А я все думаю: Христос воскрес. Лучше бы ему не воскресать, чем говорить такие глупости, какие он говорил после воскресения. Ни одного умного слова. И вот люди обрадовались и звонят. Когда это кончится? Он бы должен был сказать что-нибудь, исчерпывающее его учение... Ты не думай, Аля, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к юноше Алексею Михайловичу Сухотину, — что я хочу сказать, что Христос говорил глупости. Христос, настоящий Христос, говорил величайшие истины; а то, что к нему придумали, — величайшая глупость.

— Я не помню, — сказал затем Лев Николаевич, — что же я вчера такого делал?.. Я ничего не помню. Это очень хорошее состояние.

— Папа! — сказала Александра Львовна. — А я вчера твоему мальчику* отдала поддевку и шапку. Он был очень доволен.

— Вот хорошо. Я о нем думал ночью.

К обеду Лев Николаевич вышел вполне здоровым. За обедом расспрашивал о том, что было с ним вчера.

— Только изжога неприятна, остальное все очень хорошо, — сказал он про только что перенесенное им болезненное состояние.

После обеда говорили об уехавшем Льве Львовиче.

— Я ему сказал кое-что про женщин, — сказал Лев Николаевич, — что вам не скажу. (Были: Татьяна Львовна, Александра Львовна, Душан Петрович, кажется, Ю. И. Игумнова и я.) Пожалуй, скажу по секрету. Я ему сказал, что если бы мужчины знали всех женщин так же, как мужья знают своих жен, то они никогда с ними ни о чем серьезно не разговаривали бы... (Всеобщее молчание.) Но у женщин есть другое — это их самоотверженность.

*14 апреля*

После завтрака, когда Лев Николаевич сошел вниз одеваться и ехать на прогулку, я спросил его:

— Как работали, Лев Николаевич?

— Хорошо, очень хорошо! Мне кажется, что я кончил статью, так что если бы я пропал, то ее можно бы напечатать[120].

Сходит Софья Андреевна.

— Куда ты, Левочка?

— Я хочу верхом поехать.

— Ах, Левочка!

— Мне это легче, чем идти пешком.

— Ты уж, Левочка, будь осторожней. А то случится с тобой опять припадок, упадешь и разобьешься совсем.

— Да ведь окончательного припадка не миновать.

— Да, но зачем же нарочно приближать его?

— Это уж как бог захочет, — ответил Лев Николаевич, быстро выходя из дома.

---

* Любимый ученик Льва Николаевича Паша Резунов, из бедной семьи. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

За обедом был разговор о пьянстве в России и за границей.

— Я русское пьянство люблю, — сказал Лев Николаевич. — У нас пьянство осуждается общественным мнением; всякий пожилой мужик, всякая баба всегда скажут, что пьянствовать нехорошо. А там пьют по одной рюмке перед обедом, и это не считается дурным.

*22 апреля*

Утром, когда Лев Николаевич вышел на прогулку, к нему подошел бедно одетый старик и сказал:

— Ваше сиятельство! вот меня сын избил; как мне быть?

— Простить надо, что же еще нам, старикам, делать? Так и Христос велел, — волнуясь, ответил Лев Николаевич.

Я привез Льву Николаевичу все книги о смертной казни, какие я мог достать в Москве в магазинах и у знакомых. Когда Лев Николаевич вернулся с прогулки, я рассказал ему то, что нашим друзьям удалось узнать о смертных казнях в Москве.

Место, где казнят, находится в Хамовнических казармах. Это что-то вроде старого каретного сарая.

Дверь этого помещения выходит в Несвижский переулок. Она выделяется в старом пожелтевшем каменном здании своей недавней светло-серой окраской. У двери нет снаружи никаких скобок или ручек, видны только большие петли. Заметны следы какой-то сделанной мелом и потом стертой надписи; ниже — другая надпись, также стертая, от которой уцелели только три буквы:

*ве* *а* (вешалка).

Эту надпись сделал, вероятно, кто-нибудь из обывателей, знающих о назначении этого помещения.

Лев Николаевич слушал меня молча, смотря на меня с выражением ужаса на лице и барабаня пальцами по столу [121].

Вчера приезжал ко Льву Николаевичу, по приглашению Софьи Андреевны, известный московский врач Щуровский. Лев Николаевич, улыбаясь, сказал мне про него:

— Лечили меня вчера... Он был мне скорее приятен...

Исповедоваться я еще могу, а причащаться — нет *. Он там йод прописал...

За обедом я сказал, что мне понравились два рассказа Наживина: «Где человек?» и «В дни безумия» (в сборнике «В долине скорби»). Лев Николаевич прочитал и нашел в них в каждой строчке и в целом художественные промахи.

— Вот первый рассказ его, — сказал он, — «Золотая рота» — не читали? — этот хорош [122]. И о монастыре хорош вначале, где он описывает монастырскую жизнь, то, что знает; а дальше — нагайки — преувеличения... [123] Он не знает этого языка художественного...

*23 апреля*

Сегодня утром, возвратясь с прогулки и проходя через столовую, Лев Николаевич сказал мне и Душану Петровичу:

— Столько просителей!.. Так это тяжело отказывать!.. Не говоря о письмах, сюда является какой-нибудь оборванный, ему нужно окончить курс, просит двести рублей... Впрочем, что я вам об этом говорю... Не надо жаловаться. Все хорошо, — закончил он и улыбнулся страдальческой улыбкой.

Вечером А. Б. Гольденвейзер играл на фортепиано. Говорили о музыке. Софья Андреевна высказала сожаление о том, что ее сыновья не получили правильного музыкального образования.

— Вот Миша, — сказала она, — у него есть способности.

— Я думаю, — возразил Лев Николаевич, — что Миша так бы и остался с своей гитарой. Есть такие таланты, которые только до известного предела, дальше они идти не могут. Это во всех искусствах так. Нет высоких требований к себе. Вот мы, — обратился Лев Николаевич ко мне, — вчера говорили про Наживина. У него местами хорошо, местами кое-как, а человек с художественным чувством видит это... с более высокими требованиями, — поправился Лев Николаевич.

— Хочешь послушать, как тебя хвалят? — вдруг спросила Софья Андреевна, не поднимая головы от какой-то книги.

---

* С исповедью Лев Николаевич сравнивал докторский осмотр, с причащением — принятие лекарств. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

— Нет, не хочу. Серьезно не хочу. Это так неприятно, — ответил Лев Николаевич.

— А я очень люблю, когда меня хвалят, — возразила Софья Андреевна.

— Нет, нет! Дорого серьезное отношение к человеку, когда он знает тебя, замечает твои недостатки... (Последнее предложение записано не вполне точно.)

А. А. Гольденвейзер читала вечером последнюю статью Льва Николаевича «Всему бывает конец», или «Закон насилия и закон любви», как она теперь называется. На вопрос Льва Николаевича, какие она находит в ней недостатки, она ответила, что недостатков не находит никаких, только жалеет о выкинутых главах. Лев Николаевич сказал:

— От сокращения изложение всегда выигрывает. Я думаю, это и во всех искусствах так же. Если читатель услышит болтовню, то он не относится со вниманием. Нужно сразу схватить читателя и не выпускать его, — не выпускать из того подъема, в который он поднялся.

За вечерним чаем говорили об уехавшем Алексее Михайловиче Сухотине, короткое время прогостившем в Ясной Поляне. Он жаловался своей мачехе, Татьяне Львовне, что его сестра развращает его маленького брата, внушая ему, что он должен отказаться от военной службы.

— Да уж, кажется, что хорошего этих лохматых-то кормить, — сказала Софья Андреевна.

(Лев Николаевич только что перед этим вспоминал старое письмо отказавшегося от военной службы А. И. Иконникова о том, как его в тюрьме заедали лохматые вши.)

— Уж не знаю, с кем лучше, с этими лохматыми или с лохматыми шведскими королями, — смеясь, сказал Лев Николаевич. (Газеты пишут о приезде шведского короля в Петербург.)

— Конечно, с королями... Хорошо быть царицей! — воскликнула Софья Андреевна.

— Хорошо?.. — укоризненно спросил Лев Николаевич. — Нами быть нехорошо, а уж ими...

— Да, это постоянное сознание, что их ненавидят... Мне ужасно жалко всегда было царскую фамилию, — сказала Татьяна Львовна.

— Не думаю, — с выражением сомнения возразил Лев Николаевич, — не думаю, чтобы у них было это сознание. Они окружены такой атмосферой лести. А умственно они очень неразвиты.

*24 апреля*

Когда Лев Николаевич вернулся с утренней прогулки, я спросил его:

— Как здоровье, Лев Николаевич?

— Ничего, лучше вчерашнего. А вот мое горе: гимназист внизу сидит. Уж я на вас это возлагаю, а? Какое-то у него есть сочинение о непротивлении, своя система, он все знает... Ужасно — этот огромный знаменатель...

*25 апреля*

Лев Николаевич не совсем здоров. Возвратившись с утренней прогулки и проходя через столовую, он поздоровался со всеми и сказал:

— Сейчас иду вдоль кустов, слышу, пашет кто-то и все время понукает лошадь самыми скверными ругательствами. Только и слышно что: мать, мать, мать... Я подошел ближе, смотрю — молодой парень, в пиджаке, говорю: «Зачем это ты так? разве от этого легче ей будет?» Тут и другие, при мне, подошли, стали говорить: «Он всегда так...» Все это мы сделали... Мы и церковь с ее мощами, угодниками...

— Ваш рассказ о пятнадцати рублях, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к М. С. Сухотину, — не выходит у меня из головы.

(М. С. Сухотин вчера вечером рассказывал, что в Орле несколько месяцев тому назад к полицмейстеру пришел человек и предложил себя в палачи, соглашаясь брать по пятнадцати рублей с каждого повешенного вместо семидесяти пяти рублей, которые раньше платились там палачу за каждого казненного.)[124]

Вечером М. С. Сухотин рассказывал Льву Николаевичу содержание новых пьес Л. Андреева «Царь-голод» и «Жизнь человека». Льву Николаевичу не понравилась ни та, ни другая. Про «Жизнь человека» он сказал:

— Этот наивный, напускной пессимизм, что не так идет жизнь, как мне хочется... Я много получаю писем таких, преимущественно от дам. Ни новой мысли, ни художественных образов.

*26 апреля*

Вчера был Михаил Львович. В разговоре с ним Лев Николаевич вспомнил о крестьянине из ближней деревни, с которым он вчера разговаривал. Этот крестьянин жаловался ему на то, что земли нет: «Должно, и Дума

ничего не сделает», — сказал он. Говорил о том, сколько людей погибло за народ.

— Совсем другой, совсем другой народ стал, — сказал Лев Николаевич. — Все недовольны своим положением. Раньше этого не было.

— Недовольство-то и раньше было, только они не высказывали его, — сказал Михаил Львович.

— Не сознавали своего положения, — поправил Лев Николаевич, — а теперь сознают, что их положение несправедливое. Слово можно удержать, а сознание не уйдет назад.

*27 апреля*

Сегодня был М. Н. Оптовцев, который занят вопросом о воспитании воли, о чем он был в переписке с Львом Николаевичем [125]. (Лев Николаевич сказал мне про его взгляды: «Какое-то одностороннее совершенствование».) Он придает особое значение практическим приемам, облегчающим борьбу с дурными привычками и страстями. На это Лев Николаевич сказал ему, что таких приемов — бесчисленное количество, у каждого свои.

Перед завтраком и после завтрака Лев Николаевич опять беседовал с Оптовцевым. Из последнего разговора я слышал только конец, именно следующие слова Льва Николаевича:

— Да совсем не нужно соединяться в семью. Соединение в семью — это источник величайшего зла. Вы мне про свою семейную жизнь рассказываете, а я могу сказать про свою семейную жизнь, что меня семья так связала, что я принужден вести такую жизнь, которая меня заставляет страдать с утра до ночи. И прачка, которая стирает мое грязное белье, и старик, который пашет в то время, как я гуляю... А уйти из этой жизни я не могу: это огорчит тех, которые меня любят.

*30 апреля*

Сейчас только (одиннадцать часов ночи) уехала З. М. Гагина, владелица небольшого имения в Рязанской губернии. В своем доме она устроила школу для крестьянских детей, сама учит и всю душу вкладывает в свою школу. Она приехала во время обеда и очень волновалась и плакала в ожидании Льва Николаевича. Поговоривши наедине со Львом Николаевичем, она читала вслух в столовой днев-

ник своих школьных занятий [126], из которого видно, что она, между прочим, внушает детям вред водки и табака и отвращение к войне.

Лев Николаевич посоветовал ей читать «Круг чтения» и выбирать из него то, что может быть доступно детям, а также познакомиться с учением Генри Джорджа о земле.

— Хорошо детям про него рассказывать, чтобы они имели опору, — сказал Лев Николаевич об учении Джорджа.

Про себя Лев Николаевич сказал З. М. Гагиной:

— Я чувствую слабость эти дни. Меня лечат, я, подчиняясь требованиям жены, все исполняю, и, слава богу, все хорошо — к смерти ближе.

Сегодня утром Лев Николаевич был в подавленном состоянии. За завтраком, когда Татьяна Львовна сказала про М. А. Шмидт, что она очень плоха, Лев Николаевич сказал:

— Вот счастливая, скоро умрет!

Потом говорил о том, как удручают его просители и просительные письма.

— Положительно, — сказал он, — хорошо бы уехать отсюда куда-нибудь инкогнито, так, чтобы никто не знал.

За обедом Лев Николаевич говорил о полученной им английской книге о социализме [127], которая была ему интересна потому, что касается того самого вопроса о переустройстве жизни, которому посвящена заканчиваемая им статья «Закон насилия и закон любви».

— Этот научный язык, — сказал Лев Николаевич об этой книге, — это — желание скрыть свое незнание, точно так же, как литературный язык — желание скрыть то, что нечего сказать.

*1 мая*

Вчера за обедом Лев Николаевич сказал, что встретил в английской книге о социализме упоминание о Бернштейне [128] и ему интересно было бы узнать, в чем состоит его критика теории Маркса. Сегодня утром я нашел в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза статью о Бернштейне и, раскрывши книгу на этой статье, положил ее Льву Николаевичу на стол.

Когда я, по возвращении Льва Николаевича с прогулки, принес ему почту, я застал его за чтением этой статьи.

— Я все ищу, — сказал он мне, — не сказал ли кто-нибудь о социализме того, что я говорю. Нет! Даже не подходят к вопросу с этой стороны. Главное, что социализм пользуется теми же самыми средствами, которые хочет уничтожить [129].

Сегодня Лев Николаевич диктовал мне для составляемой П. И. Бирюковым его биографии воспоминания о своей защите в 1866 году в военном суде солдата, приговоренного за удар офицеру к смертной казни [130]. Три раза плакал Лев Николаевич во время диктования: первый раз при упоминании о том, что общение с офицером Стасюлевичем, принимавшим участие в этом суде, «было приятно и вызывало смешанное чувство сострадания и уважения»; второй раз после слов: «Я прочел свою слабую, жалкую речь, которую мне — не скажу странно, но просто стыдно читать теперь. Я тут ссылаюсь на законы, статьи такие-то, такого-то тома, когда речь идет о жизни и смерти человека»; и третий раз после слов: «Да, не бойтесь тех, кто губит тело, а тех, кто губит тело и душу. И душу эту убили и убивают все больше и больше».

*2 мая*

Лев Николаевич ездил гулять по Тульскому шоссе.

— Проезжал мимо мужиков, — рассказывал он за обедом, — которые разбивают камень. Какая трудная работа! Минимум двенадцать часов. Встают в четыре часа, работают до одиннадцати, потом с одиннадцати до двух отдых, потом от двух и до темноты. Ужасно трудная работа. Они рассказывают, первое время спать не могут, руки, ноги так болят, что нельзя заснуть. Вот гильзы делать есть машина, а такой машины нет. Кажется, чего бы проще. Мне кажется, я бы сам мог придумать: молоток, который бы ходил сверху вниз и разбивал.

*3 мая*

Приехал П. И. Бирюков, который привез Льву Николаевичу от Н. В. Давыдова некоторые материалы о смертной казни. Когда он рассказал их содержание, Лев Николаевич сказал ему:

— Какая ужасная стала жизнь! Вы до этого не дожили, а я дожил, — что прямо хочется уйти. Рад буду, когда отпустят.

Потом Лев Николаевич сказал П. И. Бирюкову, что задумал написать художественное о смертной казни,

П. И. Бирюков вспомнил о том, что рассказывал о смертных казнях Сухотин. Я сказал, что мне его рассказы казались преувеличенными. Лев Николаевич согласился с этим и прибавил:

— Я именно хочу, чтобы у меня не было ничего необыкновенного, а все самое обыкновенное.

После обеда Лев Николаевич сказал мне:

— Надо мне на некоторые письма ответить. Вот об евреях. Пишет, что евреи завладеют нами. Я ему хочу написать, что если мы христиане, то никто нами не может завладеть. Завладеть нами могут только тогда, когда мы сами хотим завладеть другими, да нам не удается.

*4 мая*

Вчера приехал М. М. Клечковский. Первый вопрос ему со стороны Льва Николаевича был об его детях. М. М. Клечковский сказал, что он старается обучить своих детей производительному труду и видит в этом главное дело воспитания.

Клечковский пояснил, что, живя той жизнью, которою он живет и которую отрицает, и идя в ней все дальше и дальше, он боится, что если он захочет систематически внушать детям то, как они должны жить, то рассуждения эти не подействуют на них, потому что они будут видеть противоречие его слов и его жизни.

Лев Николаевич согласился с этим, но прибавил:

— Пользоваться каждым случаем... Вот, например, если отец сделает ошибку и признается в своей ошибке перед детьми, что он сделал дурно, то этот пример будет полезнее сотен нравоучений.

Клечковский сказал, что он внутренно чувствует, что вся его жизнь идет не так, как должно, что он должен бы был отказаться от всякого имущества, оставить все и жить по Евангелию, но не может этого.

Лев Николаевич возразил, что это было бы возможно, если бы он был один.

— А то вы, — сказал он, — связали свою жизнь с жизнью женщины, она отдалась вам, вы нарожали с ней детей, а после хотите оставить ее...

— Но как же понимать слова Спасителя: оставь жену, детей и все имущество? — спросил Клечковский.

— Я понимаю так, — ответил Лев Николаевич: — *Оставь заботу о них, как о своих*. Если же в буквальном смысле оставить, бросить на произвол судьбы, то это

будет противоречить тем самым основам любви, во имя которых это производится. Ведь любовь — не отвлеченная, а действительная, настоящая любовь — она проявляется к тому человеку, с кем я сейчас прихожу в соприкосновение: к той жене, которая приедет завтра, которую вы оставили в Орле...

Затем Лев Николаевич сказал, что не может быть такой внешней формы жизни, которая бы вполне удовлетворяла нравственным требованиям.

— Никогда, — сказал он, — нельзя сказать: теперь я все исполнил, я чист. Это можно тому генералу, который председательствует в военном суде, приговаривает к смерти, можно купцу, который аккуратно платит жалованье, а нам с вами этого нельзя. Так вся жизнь и пройдет — в том, чтобы работать над переменой своей жизни — не внешне, а внутренно, то есть сделать для себя возможной хорошую жизнь во всяком положении.

*5 мая*

Вчера вечером Клечковский играл на фортепиано. За чаем был разговор о музыке.

— Музыка, — сказал Лев Николаевич, — из всех искусств особенно отличается тем, что к ней нельзя ничего подмешать, — ничего идейного. Создайте политическую музыку!

— А «Марсельеза»? — возразил Клечковский.

— Там слова, — ответил Лев Николаевич. — На меня это соединение двух искусств никогда не действовало. Всегда слушаешь только музыку, а на слова не обращаешь внимания. Музыка невыразима словами, и оттого-то она так сильно действует. Она легче всего запоминается, как музыка.

Сегодня вечером Лев Николаевич позвал меня к себе и сказал о двух письмах, которые я написал по его поручению:

— Этому сапожнику я приписал [131], а насчет второго письма [132] я в первый раз не согласен с вами.

В этом письме я писал:

«На вопрос ребенка, приводимый вами: «Откуда взялись люди?» — родители затрудняются ответом потому, что им совестно объяснить ребенку, как он появился на свет. Отчего это? Отчего деление протоплазмы можно объяснить, а зачатие и рождение человека, «царя природы», нельзя? Причина ясна. В нашей половой жизни столь-

ко грязи и гадости, что мы не смеем ребенку раскрыть глаза на самих себя. Чем чище и целомудреннее жизнь родителей, тем это затруднение все более и более исчезает».

— Я думаю, — сказал Лев Николаевич, — что она не о том спрашивает, а о сотворении мира... Наверное... А если уж того касаться, о чем вы пишете, то надо коснуться этого основательно. Что человек выходит из чрева матери, это бы я сказал ребенку, если бы он меня спросил, а что он происходит от совокупления — этого бы я не сказал.

Лев Николаевич сказал это тоном искреннего и глубокого убеждения *.

*6 мая*

За обедом гостящая в Ясной Поляне Е. Ф. Юнге, троюродная сестра Льва Николаевича, говоря об умственных интересах теперешней русской интеллигенции, упомянула о теософии.

— В этом учении есть и истина, — сказал Лев Николаевич, — то, что они хотят найти общее во всех религиях; но портит это учение примесь чудесного. Это всегда так бывает, что к разумному и естественному в религиозных учениях примешивается неразумное и неестественное.

Вечером, разбирая со мной письма, Лев Николаевич сказал мне:

— Я сегодня только, когда гулял, ясно почувствовал, как это хорошо, когда тебя ругают. Это загоняет внутрь... если, разумеется, есть та горенка, в которую можно загнать.

За вечерним чаем был разговор о молодых писателях, в том числе о Л. Андрееве.

— Я не могу читать Андреева, — сказал Лев Николаевич. — Прочту одну страницу, и мне скучно. Я вижу, что все фальшиво. Это все равно, как в музыке: если играющий через каждые три ноты берет одну ноту фальшиво, я не могу слушать, я уйду или заткну себе уши.

Е. Ф. Юнге вспоминала, как ее учитель живописи го-

* Уже много после этого разговора мне случилось прочесть письмо Льва Николаевича к Е. И. Попову от 9 июня 1907 г. в котором он пишет об этом же предмете следующее: «Я занят очень этим вопросом и никак не могу прийти к решению: следует или не следует *всё* сообщать детям. Непосредственное чувство говорит мне, что не надо. И не могу сделать этого с моими ребятами. Но не решаю этого вопроса». (*Прим. Н. Н. Гусева.*) [133]

ворил своим ученикам: «Вот вы нарисовали здесь травку; может быть, это так было в натуре, с которой вы срисовали, может быть, у вас рука так провела этот штрих, но вы должны разобрать, нужна ли эта травка, и каждый камешек разобрать, нужен ли он».

Лев Николаевич вполне согласился с этим. Молодой Юнге возразил:

— Но таким мелочным анализом не уничтожается ли вдохновение?

— Нисколько! — с жаром возразил Лев Николаевич. — Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Вдохновение указывает идеал, к которому должно приблизиться. Если нет этого вдохновения, то лучше не начинать.

Перед этим был разговор о смертной казни. Лев Николаевич сказал:

— Мне вот именно, если бог приведет, хотелось бы показать в моей работе, что виноватых нет. Как этот председатель суда, который подписывает приговор, как этот палач, который вешает, как они естественно были приведены к этому положению, так же естественно, как мы теперь тут сидим и пьем чай, в то время как многие зябнут и мокнут [134].

*7 мая*

За обедом Лев Николаевич сказал молодому Юнге:

— Я все возвращаюсь к тому, о чем мы вчера с вами говорили. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его выражения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко *.

Эти слова Льва Николаевича дали Е. Ф. Юнге повод вспомнить то, что сказал один художник, когда его кар-

* Интересно подтверждение этих слов Льва Николаевича на примере его любимого композитора Шопена. Вот что рассказывает о работе Шопена бывшая одно время ему близкой Жорж Занд: «Главная тема всегда внезапно возникала в его душе уже в совсем законченном виде. Часто она звучала вокруг него во время какой-нибудь прогулки, и он спешил домой, чтобы поскорее сыграть ее себе. Но потом — начиналась самая ужасная, мучительная, напряженная работа, какую я когда-либо видела. Ему стоило бесконечных усилий разработать эту тему, охватить все ее оттенки и восстановить ее в том виде в каком она первоначально прозвучала в его душе. Он на целые дни запирал-

тину хвалили за ее простоту, то есть общепонятность: «Будет просто, когда переделаешь раз со сто», — сказал он[135].

Уехала Татьяна Львовна. За обедом, пока Льва Николаевича еще не было, Софья Андреевна сказала по поводу ее отъезда:

— Я всегда ужасно скучаю, когда кто уезжает. Конечно, из своих; когда кто-нибудь из «темных» от Льва Николаевича уезжает, я благодарю бога.

Утром получена телеграмма от жены Молочникова: «Муж осужден год крепости уже посажен».

Лев Николаевич очень огорчился этим известием. Узнав от меня содержание телеграммы и прочитав ее сам, он быстрым шагом ушел к себе, но вскоре опять вернулся в столовую и сказал:

— Во мне в восемьдесят лет, слыша о таких приговорах, поднимается злоба и ненависть, что же молодежь, как же им не быть революционерами?..

Тотчас же Лев Николаевич написал письмо Н. В. Давыдову, спрашивая его совета о том, что можно сделать теперь для облегчения участи Молочникова. Письмо, под первым впечатлением тяжелого известия, вышло очень резким. М. А. Шмидт не советует мне пока отсылать этого письма, полагая, что Лев Николаевич, когда успокоится, напишет вместо него другое[136].

Перед завтраком Лев Николаевич сказал мне:

— Кажется, я кончил статью. Еще две главы выпустил[137].

Я взял у Льва Николаевича статью и дал ее прочитать М. А. Шмидт. Софья Андреевна, которая была тут же, в столовой, сказала:

— Мне эта статья не нравится, она слишком революционна.

Я возразил, что Лев Николаевич высказывается в ней и против революционеров.

— Но все-таки, — сказала Софья Андреевна, — чув-

---

ся в своей комнате, рыдал, как ребенок, ломал перья, тысячу раз писал и перечеркивал какой-нибудь один такт, и на другое утро снова принимался за то же самое. Иногда он бился в течение нескольких недель над одной страницей и в конце концов писал ее так, как она была у него первоначально набросана» (А. Н. Давыдова. Фр. Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность. Биографический очерк. Изд. Павленкова. П., 1892, с. 55—56). Гоголь в одном из своих писем советовал переделывать написанное восемь раз, чтобы получился настоящий «перл создания». *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

ствуется, что он гораздо более на стороне революционеров. Этот задор, это осуждение, к чему оно? Ему бы нужно, как Иоанн, повторять одно: братья, любите друг друга. А он ругает правительство. Он как в молодости был задира, так и остался.

Я сказал, что нельзя же не сочувствовать некоторым идеалам революционеров, например, чтобы не было бедных.

— Ну, уж этого никогда не будет, чтобы не было богатых и бедных.

Проходивший мимо Лев Николаевич вскользь кинул:

— Да мне-то тяжело быть богатым, если у меня есть совесть.

И опять ушел.

— Ничуть не тяжело, — сказала Софья Андреевна. — Мне гораздо приятнее, чтобы Танюшка была тепло одета, а не была в лохмотьях. Кому тяжело, тот пусть уходит. Вот Марья Александровна ушла [138]. Однако никто не уходит: Чертков строит себе дом на сорок тысяч, Лев Николаевич имеет верховых лошадей, пользуется двумя лучшими комнатами в доме... Все любят вкусную пищу...

Опять стал подходить Лев Николаевич.

— Не надо об этом говорить, — шепнула М. А. Шмидт.

— Я сама знаю, что не надо, — сказала Софья Андреевна и замолчала.

Вечером, по совету М. А. Шмидт, Лев Николаевич написал другое письмо Давыдову, менее резкое [139].

*9 мая*

Третьего дня Лев Николаевич сказал мне:

— Вам приходится отвечать на письма о желании изменить жизнь и заняться земледельческим трудом. Я бы отвечал так, что надо изменить жизнь только тогда, когда *не можешь* оставаться в прежнем положении. Тогда, разумеется, не будешь и спрашивать.

Вчера вечером, в разговоре с Е. Ф. Юнге о музыке, Лев Николаевич, не соглашаясь с ее мнением, сказал:

— У меня есть свои определенные взгляды на искусство. Искусство развивалось, все усовершенствуясь по форме и ослабевая по содержанию, и дошло до того, что обратилось в пустышку.

*10 мая*

Вчера вечером И. И. Горбунов заговорил со Львом Николаевичем о молодых писателях (мы с ним вдвоем были у него в кабинете). Лев Николаевич сказал:

— Мне Михаил Сергеевич рассказывал содержание этой пьесы Андреева «Царь-голод», и еще другая... как она? «Судьба»?

— «Жизнь человека»...

— Я думал об этом нынче ночью, — продолжал Лев Николаевич. — Как бы существует такой один мешок, в который положены две вещи разные: одна — познание внешнее и другая — сознание внутреннее. Вот Михаил Сергеевич, все мои сыновья, да и много людей есть таких, у которых очень развито познание внешнее, но совершенно отсутствует сознание внутреннее. То есть нельзя сказать, совершенно отсутствует: оно есть, но оно вытесняется познанием внешним. И это познание внешнее особенно ценится. Удивляются человеку, как он много знает, и на этом основании заключают, что он очень умный. А в этой области — в области внутреннего сознания — тоже существует преемственность; как в области внешнего познания существует преемственность, так и тут существует преемственность.

Я сказал, что мне особенно трогательны те люди из интеллигенции, которые имели возможность углубляться в дебри познания внешнего, но отказались от этого и перенесли центр своей жизни в сознание внутреннее, как, например, Леонид Семенов, который недавно был у Льва Николаевича [140]. Мое упоминание о Семенове напомнило Льву Николаевичу о присланном им его новом рассказе о смертной казни «Отрывки». Лев Николаевич предложил прочесть этот рассказ вслух.

Начали читать. Первыми главами Лев Николаевич остался недоволен.

— Нехудожественно, — сказал он. — Я должен видеть этих людей, раз это художественное произведение, а я их не представляю.

Но в следующих главах начался сильный, серьезный, правдивый, образный рассказ о революционерах, сидящих в тюрьме в ожидании смерти, и о казни их.

— Превосходно! — вырывалось не раз у Льва Николаевича.

Когда мы вышли в столовую, Лев Николаевич не мог без слез рассказать домашним некоторые места этого рассказа.

Особенно тронуло Льва Николаевича следующее место, описывающее душевное состояние одного из революционеров (инженера) в конторе тюрьмы, в ожидании казни:

«...Всех страшнее был гимназист. Он, полный, нежнотелый юноша с чуть заметным пушком на щеках, сжимал брови и кусал губы, видимо, напрягая все усилия на то, чтобы не выдать себя звуком и не расплакаться. Инженеру, который нечаянно взглянул на него в эту минуту, вдруг стало так страшно за него, что точно волна крови откуда-то снизу подступила к горлу и навернула слезы на глаза. Мучительно захотелось, чтобы этот мальчик не так страдал в эту минуту. «Это уж слишком, еще что-нибудь выкинет, — мелькнуло в голове. — Не подойти ли и не попросить ли начальника, чтобы он гимназиста повесил первым, а я подожду. Все-таки ему легче будет», — вертелось в голове...»

Тронуло Льва Николаевича так же то, что в рассказе этом нет обычной в рассказах такого содержания либерально-революционной тенденциозности. Доктор, присутствующий при казни, представлен пьяным, а священник сознает весь ужас совершающегося и мучится этим сознанием [141].

*11 мая*

В полученном сегодня номере «Руси», на верху первой страницы, в перечне событий минувшего дня напечатано:

«20 казней в Херсоне»

— Вот оно, — сказал мне Лев Николаевич, прочитав вслух это известие. — Да, хорошо устроили жизнь... Я убежден, что нет в России такого жестокого человека, который бы убил двадцать человек. А здесь это делается незаметно: один подписывает, другой читает, этот несчастный палач вешает...

Вот полный текст этого сообщения:

«Сегодня, 9 мая, в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешенье двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елизаветградском уезде».

Лев Николаевич еще вчера читал такое сообщение в «Русских ведомостях».

*12 мая*

Вчера Лев Николаевич все утро был в подавленном состоянии, удрученный прочитанным в газетах известием о двадцати казнях в Херсоне. Кажется, никогда еще я не

видел его таким добрым, кротким, участливым, смиренным. Видно, что ему хочется умереть. Когда мы перед завтраком прогуливались с ним по парку около дома, я рассказал ему об одном письме, полученном мною на имя В. Г. Черткова, автор которого благодарит за то, что его отыскали и поддержали, и говорит о добром влиянии на него книг Льва Николаевича. Лев Николаевич ответил мне:

— Да!.. вот я теперь пишу статью, и кажется это таким слабым лепетом в сравнении с тем, что делается.

И заплакал...[142]

А после, вернувшись к себе, сказал в фонограф:

— Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней; нынче пять, завтра семь, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей.... А в Думе продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть...

*13 мая*

Вчера приезжал часто выступающий по политическим делам присяжный поверенный Н. К. Муравьев. Он много рассказывал Льву Николаевичу о казнях[143]. После завтрака мы втроем: Лев Николаевич, Н. К. Муравьев и я пошли пешком в Козловку. Муравьев продолжал рассказывать о казнях. После одного его рассказа Лев Николаевич сказал ему:

— Признаюсь, мне раньше были противны эти легкомысленные революционеры, устраивающие убийства, но теперь я вижу, что они святые в сравнении с теми.

После обеда Лев Николаевич, задумчиво смотря в окно, сказал:

— Сегодня погода как раз такая, в какую я, бывало, ходил на тягу. Теперь я совершенно не могу себе представить, как я мог этим заниматься. Вальдшнепы устраивают любовные свиданья, а я прицелюсь в них и убью, хотя мне это совсем не нужно.

Вечером Муравьев продолжал рассказывать о казнях. Взволнованный всем тем, что ему пришлось услышать, Лев Николаевич сказал ему:

— Я думаю, если мне бог приведет написать это, какие бы мерзости я ни писал на них, все будет правда, потому что ужаснее этого ничего нельзя себе представить[144].

*15 мая*

Вчера была телятинская молодежь. Разговор зашел о предполагаемом устройстве в Телятинках земледельческой общины.

— Боюсь, боюсь я этого, — сказал Лев Николаевич. — Это опасно потому, что дает человеку повод выделять себя из других, считать, что он чист, что он совершенен.

В. В. Плюснин сказал, что он думает, что община полезна тем, что создает такую обстановку, в которой человеку легче работать над собой.

— Нет, это самообман, — сказал Лев Николаевич. — Если человек знает, что́ он такое, знает, что в нем есть божественное начало, какая ему еще нужна поддержка? То, что он может получить от других, относится к тому, что он имеет в себе, как одна миллионная, как одна стомиллионная.

— У меня был один человек, который отправился в общину. И вот недавно я получил от него письмо, где он вспоминает свой разговор со мной и пишет, что после этого разговора ему пришло в голову: «Брешет, старый». И раза три он повторяет эту милую фразу. Вот, в общину он переселился, а того, что не нужно человеку без всякой надобности делать больно, — этого он не признает, потому что он живет в общине.

— Как же мы будем чисты? Вот все мы, сидящие здесь, все мы сыты, у всех у нас есть чем одеться, есть куда укрыться от дождя, а сколько теперь ходит голодных, раздетых, разутых. Разве мы можем, зная это, быть спокойными, что мы живем в общине? Значит, в нашем мире что-то неладно,—все неладно, и надо бороться с этим, бороться всеми возможными способами, а не одним какимлибо. И способы эти бесконечно разнообразны.

*16 мая*

Вчера Лев Николаевич сказал мне:

— Я не понимаю, как это люди не пользуются «Кругом чтения»? Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира?..

*17 мая*

Сегодня приехал В. А. Молочников, которого выпустили под залог до «вступления приговора в законную силу». Лев Николаевич был ему очень рад. Обжаловать приговор Молочников не думает.

Вечером был И. И. Горбунов и телятинская молодежь. Разговор коснулся самых важных предметов. Записываю то, что осталось у меня в памяти.

В. В. Плюснин сказал Льву Николаевичу, что едет на родину, в Сибирь. Лев Николаевич стал расспрашивать его об условиях жизни в его родном городе и затем, улыбаясь, спросил:

— А вы не женитесь там?

— Нет, Лев Николаевич. Я только сегодня думал об этом, что женитьба для людей с нашими взглядами есть падение.

— Да! — отвечал Лев Николаевич, — совершенно согласен. Не желаю никому из вас жениться... Падение в том случае, если человек смотрит на женитьбу, как на новый источник блага. Благо одно — духовная жизнь. Разумеется, семейная жизнь несет с собой свои обязанности, свои трудности, и в преодолении этих трудностей и заключается благо семейной жизни.

В. В. Плюснин сказал, что он думает, что жениться простительно только в том случае, когда это неизбежно.

— Да! — согласился Лев Николаевич, — как выразился один крестьянин, который у меня на днях был. Он семь лет жил в хлыстах и не жил с женой. «А потом, говорит, поскользнулся». Если поскользнулся — что же делать; но нарочно падать лицом в грязь не следует.

*18 мая*

Приходили четверо мальчиков из Тулы за книжками. Лев Николаевич накормил их, завел для них фонограф, поставив переложенный им для детей и им самим сказанный в фонограф рассказ Лескова «Под праздник обидели» [145], и дал им книжек. Уже собираясь уходить, они пожаловались Льву Николаевичу на то, что их даром не сажают на поезд, а денег на билет у них нет, и приходится идти пешком.

Лев Николаевич, видимо, огорчился их словами, поняв их в смысле просьбы денег, и, помолчав немного, сказал мальчикам серьезным и внушительным голосом:

— Насчет денег — я всегда всем советую никогда не просить денег...

— Мы не просим, — перебил один из мальчиков.

— Да я так говорю, — продолжал Лев Николаевич. — Потому что из-за денег большие несогласия между людьми.

Вечером Лев Николаевич читал книгу В. В...ва «Русские женщины на эшафоте» (М., 1907) [146].

— Эта деятельность не проходит бесследно, — сказал он мне. — Я думаю, что Софья Андреевна, если бы она была революционеркой, была бы страшной революционеркой. Для этого нужна некоторая узость и страшная энергия, которая обыкновенно у женщин направляется на материнство.

Выйдя к вечернему чаю в столовую, Лев Николаевич прочел вслух выдержку из напечатанного в той же книге прощального письма Перовской к матери, — о том, что она просит прислать ей ко дню суда белых воротничков.

— Вот женская черта! — сказал Лев Николаевич. — Это пишет умирающая женщина! Ни один художник не решился бы написать это...

*19 мая*

Сегодня в разговоре со Львом Николаевичем я похвалил стихотворение Александра Добролюбова [147] «По пути из Нижнего в Балахну», напечатанное в его сборнике «Из книги невидимой» (М., 1905). Вот первые строки этого стихотворения:

Горы, холмы земли — братцы, сестры мои,
Даже камни дорог — други верны мои,
Неба своды, лучи — как отцы мои...

Льву Николаевичу это стихотворение не понравилось.

— «Своды», — сказал он, — какие же это своды? Свод один. «Горы, холмы» — горы и холмы — одно и то же. «Горы, холмы земли» — конечно, земли, на воде холмов не бывает. «Братцы, сестры» — уж тогда сказать: братцы, сестрицы... Набор слов.

*20 мая*

Сегодня, окончив свои занятия, Лев Николаевич позвал меня к себе разбирать письма. Когда мы кончили, он сказал:

— Я сегодня так ясно почувствовал, как хорошо умереть. Не то чтобы хотелось избавиться от чего-нибудь, а просто потому, что лучше.

И он улыбнулся ласковой, спокойной улыбкой.

Лев Николаевич продолжает читать «Русские женщины на эшафоте».

*21 мая*

Вчера в пятом часу дня были из Тулы сто двадцать человек детей, учеников железнодорожного училища, с шестью учителями. Все они были с букетами цветов в руках. Уходя домой, человек шесть-семь из них, когда Льва Николаевича уже не было, предложили нам (М. А. Шмидт и мне) свои букеты. Лев Николаевич роздал всем книжки: младшим — «Малым ребятам», старшим — свои народные рассказы, а учителям — свои «Мысли о просвещении и воспитании» [148]. Завел для них фонограф, поставив переложение рассказа Лескова.

Сегодня Лев Николаевич получил письмо, автор которого пишет, что он один знает истину, и просит позволения приехать ко Льву Николаевичу для того, чтобы совместно с ним выработать «план действий» для проповеди этой истины всем людям. Лев Николаевич продиктовал ответ на это письмо:

«Я никогда не решусь сказать, что я обладаю такой правдой, которую я всеми силами стараюсь передать другим, и устраивать для этого какой-то план действий считаю совершенно неправильным. Поэтому думаю, что если мы можем сообщаться письменно, это очень хорошо, а приезжать не нужно» [149].

В «Русских ведомостях» от 20 мая появилась следующая моя корреспонденция «Из Ясной Поляны», одобренная Львом Николаевичем:

«Л. Н. Толстым только что получено известие о том, что его единомышленник и знакомый В. А. Молочников, живущий в Новгороде, осужден петербургской судебной палатой на один год заключения в крепости за распространение некоторых сочинений Л. Н. Толстого. В числе сочинений, распространение которых было поставлено Молочникову в вину, значились и некоторые из тех, которые свободно продаются в магазинах.

Известие это очень огорчило и расстроило Льва Николаевича. Еще в 1896 году, по поводу ареста одной тульской учительницы, у которой нашли при обыске «В чем моя вера», Лев Николаевич писал письмо министрам внутренних дел и юстиции, прося их все преследования за его сочинения направлять против него самого, а не против тех, у кого случайно будут найдены те или другие из них. Письмо это осталось без ответа. По слухам, один из министров, получив это письмо, счел невозможным после такого решительного заявления Льва Николаевича

оставлять его на свободе; другой же признал неудобным всякую попытку насилия над Толстым и предлагал усилить преследования против его единомышленников, высказав уверенность, что это и для него самого будет чувствительным наказанием [150]. Министр был прав. Действительно, трудно придумать что-либо более чувствительное для Льва Николаевича, чем эта политика перенесения ответственности за содержание его сочинений с него самого, их автора, на тех, кто их имеет и распространяет.

За последнее время, с усилением правительственных репрессий, участились и случаи преследования единомышленников Л. Н. Толстого. Один из таких случаев вызвал, как известно, два месяца тому назад со стороны Льва Николаевича письмо к осужденному за распространение его сочинений А. М. Бодянскому, в котором он так трогательно и искренно выражает желание самому быть заключенным за то, что он пишет, в тюрьму, «в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, голодную, холодную» [151]. Теперешний случай осуждения Молочникова еще больше поразил Льва Николаевича» [152].

*22 мая*

П. И. Бирюков торопит Льва Николаевича с его воспоминаниями о защите солдата в 1866 году, которые должны войти в составляемый ими второй том биографии Льва Николаевича [153].

— Я думаю, что я это кончил, — сказал мне Лев Николаевич. — Мой главный судья, Мария Александровна, одобрила это.

По рекомендации П. А. Сергеенко, Лев Николаевич перед обедом начал читать «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева [154]. К обеду он вышел с этой книгой в руках и с негодованием сказал:

— Отвратительно! Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком предмете, как смерть, повешение, и так фальшиво!.. Отвратительно!.. Я потрудился, с левой стороны отметил то, в чем есть признак таланта, а с правой — то, что отвратительно.

Вечером Лев Николаевич опять читал этот рассказ и сказал:

— Ему надо было бы начать писать, как молодому, начинающему писателю, с самыми строгими к себе требованиями, забыть о своей популярности, и тогда из него могло бы выйти что-нибудь, — у него есть кое-что.

*23 мая*

Сегодня приезжал из Петербурга баптистский пастор, молодой англичанин, увещевавший Льва Николаевича покаяться перед смертью, то есть уверовать в спасение через кровъ Иисуса воскресшего[155]. После разговора с ним в парке во время прогулки Лев Николаевич сказал мне:

— В нем и признака нет религиозного чувства... Я сказал ему, что, если бы мне сказали, что я сейчас здесь, на этой аллее, увижу воскресшего Христа, я бы не поинтересовался... Я заговорил о непротивлении — обычные возражения: «Как же, вы имеете револьвер, к вам в дом войдут грабители, зарежут ваших детей» и т. д.

Простившись со Львом Николаевичем, проповедник отправился на черный двор сказать извозчику, с которым приехал, чтобы подавал лошадей. Я пошел проводить его. Дорогой встретился добродушный простоватый конюх Филипп. Проповедник остановил его.

— Вот что, слушай, — сказал он. — Ты в бога веруешь?

— Да, — отвечал добродушный Филя с полной готовностью поддержать разговор.

— И в Иисуса Христа веруешь?

— Верую.

— Веруешь в то, что он — сын божий?

— Да.

— Что он умер за нас?

— Да.

— Так вот кровь его спасет нас от всех грехов. Кто верует в него, тот не будет осужден, тот будет прощен.

Филипп с изумлением смотрел на человека, говорившего такие непонятные ему слова. Проповедник оставил его и пошел дальше.

— Если его не обратил, — сказал он мне, — хотя бы мне слуг его обратить.

Вечером пришел С. Д. Николаев. Он рассказал Льву Николаевичу, что удалось узнать о московских палачах — дворнике и купце.

— Я думаю, — сказал Лев Николаевич, — что палач невольно увлекается техникой дела, потому что оно очень сложное: нужно так, чтобы веревка не сорвалась с блока, чтобы он не висел слишком высоко, потому что доктор будет щупать ноги, или слишком низко, чтобы не достал до земли. Он хочет сделать это как можно лучше, так что ему труднее увидать ужас этого. Зрителю легче увидать.

По поводу бывших сегодня у Льва Николаевича американцев С. Д. Николаев напомнил о кандидате в президенты Соединенных Штатов Брайане, бывшем у Льва Николаевича в декабре 1903 года[156]. Он напомнил, что Брайан уклонился от прямого ответа на сделанный ему вопрос о том, каково его отношение к негрскому вопросу.

— Да, это уж всегда так, — сказал Лев Николаевич, — где политическая деятельность, там всегда ложь, хитрости, обманы.

То же самое Лев Николаевич несколько месяцев назад сказал о Столыпине:

— В его положении нельзя быть правдивым.

*25 мая*

Последние дни было очень много гостей и посетителей. Сегодня утром было трое рабочих из Тулы. Поговорив с ними немного, Лев Николаевич ушел заниматься. Окончив занятия, он зашел ко мне и спросил:

— Они уже ушли? Жаль, что я им не сказал про вино. Такая уж стариковская манера делать наставления.

После обеда было еще трое служащих из Тулы. Когда они ушли, Лев Николаевич сказал мне:

— Я теперь новую манеру изобрел разговаривать: я их всех умоляю не пить вино. Один сознался, что пьет понемногу, а другой, — толстый, аптекарь,—говорит: «А я пью мертвую», — смеясь, рассказал Лев Николаевич.

*27 мая*

Вчера за обедом гостящая в Ясной Поляне теософка А. В. Унковская рассказывала, что ей случилось один раз видеть на дороге пьяного мужика, который лежал, растопырив руки, и повторял: «Господи, какой ты хороший! Господи, как я тебя люблю! Спасибо тебе, господи!»

— Да, — сказал Лев Николаевич, — я признаюсь, чем больше живу, тем больше испытываю это чувство благодарности, даже и без водки, в трезвом состоянии.

Сегодня явился А. П. Иванов * после нескольких не-

---

* Александр Петрович Иванов, бывший офицер; Лев Николаевич в начале 80-х годов нашел его в одном из притонов Москвы и пытался поставить на ноги, давая ему у себя работу переписки. Но это не удалось: Иванов оказался неспособным к постоянной работе и не мог отстать от водки. Обыкновенно, прожив некоторое время в Ясной Поляне, он уходил странствовать, иногда пил запоем, потом опять появлялся на короткое время. Умер в 1911 г. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

дель пьянства и скитаний, трезвый и совестливый. Поговоривши с ним один на один, Лев Николаевич после сказал нам:

— Да! Старый человек, и может так опускаться... Тут есть и хорошая черта: пренебрежение к материальным благам; он знает, что он всего этого лишится.

*28 мая*

Вчера Лев Николаевич писал письмо одному крестьянину в ответ на его вопрос о том, скоро ли земля станет свободной [157]. Лев Николаевич начал излагать ему проект освобождения земли Генри Джорджа, но, по его словам, запутался в нем.

— Это сложнее, чем я думал, — сказал он мне.

Главное затруднение представилось ему в том, что теперь, когда выкупные платежи прекратились, прямых налогов крестьяне платят сравнительно мало, а при осуществлении проекта Генри Джорджа, может быть, пришлось бы увеличить налог с земли.

Приехала из Бессарабии Э. Р. Стамо. Она говорила со Львом Николаевичем о том, как следует относиться к евреям. Лев Николаевич сказал:

— Я признаю только одно отношение к евреям: отношение религиозное — как к людям-братьям. Всякое рассуждение, которое нарушает это отношение, вот как Чамберлена — я его боюсь.

Э. Р. Стамо возразила, что подобно тому как Лев Николаевич не щадит правительства и высших классов, так же не надобно щадить и евреев. Лев Николаевич ответил:

— Я только сегодня разговаривал об этом с Марьей Александровной. Когда вы видите, что человек делает зло братьям-людям и люди от этого страдают, то никак это не может вызвать насилия над ним — для меня это вопрос решенный, но не может не вызвать слов обличения. Обличение неизбежно, и обличение простительно. Это смягчающее мою вину обстоятельство — обличение, когда оно имеет в виду прекращение того зла, которое вы видите. Ну, человек душит другого человека. Ну, думаю, что я не могу не сказать ему: перестань душить его! за что ты его душишь? — опомнись!

Э. Р. Стамо возразила, что Лев Николаевич в своих сочинениях не только обличает тех, кто душит, но он объясняет тем, кого душат, что их душат.

— Я объясняю, — согласился Лев Николаевич, — но с тем, чтобы они употребляли для освобождения себя средства, — я думаю, что это так в большинстве моих писаний, — чтобы они употребляли средства разумные, которые действительно могут их освободить: средства исполнения христианского закона.

— Вот и нужно, — возразила Стамо, — указывать людям на то зло, которое производят евреи.

— Для меня зло, которое они производят, не так ясно, как, например, зло правительства, зло больших землевладельцев, зло капиталистов, — сказал Лев Николаевич.

Стамо стала говорить о том, в чем она видит зло, производимое евреями.

— Я думаю, — сказал Лев Николаевич, — эту мысль я сколько раз сам для себя объяснял и теперь готов повторить, — что строй нашей жизни неправилен, что в этом неправильном строе жизни люди наименее совестливые всегда будут властвовать, как властвуют теперь наименее совестливые в правительстве: те, которые душат, подписывают смертные приговоры, сейчас же делают карьеру. В промышленности, думаю, то же самое. Потому что таков строй; значит, нужно, чтобы строй изменился, а при этом строе так и должно быть, чтобы наименее совестливые властвовали над более совестливыми.

На дальнейшие обличения г-жой Стамо евреев Лев Николаевич ответил:

— Я все настаиваю принципиально на том, что всякие могут быть повсюду, что нельзя делать исключений для целых народов.

И Лев Николаевич вспомнил Молочникова, жену И. Ф. Наживина...

— А Тенеромо? — спросила Стамо. — Что вы о нем знаете?

— Насколько я знаю, — ответил Лев Николаевич, — он живет литературой. А это, по-моему, вроде проституции.

— Кажется, другого народа нет такого, который бы не имел никакого места жительства своего? — спросил затем Лев Николаевич.

Разговор перешел на земледельческие общины.

— Очень трогательны те усилия, — сказал Лев Николаевич, — которые они употребляют. Но очень трудно им. Ну, вот собрались десять, двадцать, вообще икс количества людей более или менее одинаковых взглядов. Во-первых,

уж «более или менее» — очень широкое понятие; а потом сейчас же возникает соприкосновение со всеми людьми совсем других взглядов: как к ним относиться? Почему же этот человек, который приходит голодный, оборванный, не может жить здесь? Если все общее, то прогнать его нельзя, а принять — значит погубить все дело. Тут невозможно выделить.

Стамо снова заговорила об евреях. Лев Николаевич с видимым неудовольствием сказал:

— Да что судить других? Я думаю, что зло побеждать можно только добром. Это такой труизм, так это кажется скучно и пошло, а между тем это единственное средство. Вот вы разговариваете про эти запрещения. Они очень много делают для того, чтобы развивать в них дурные свойства — те самые, которые нам неприятны, потому что невольно он скажет: вот мне землю запрещено иметь, запрещено жить там-то. Причина этих дурных свойств — вот эти гонения, и нам, для того чтобы избавиться от них, нужно бороться с гонениями, а не с ними.

*29 мая*

Вчера приезжал, придравшись к небольшому делу, бывшему до него у Софьи Андреевны, скромный, угасающий старик, директор Публичной библиотеки Кобеко, отец тульского губернатора. После его отъезда Лев Николаевич сказал мне:

— Я молодых уговариваю вино не пить, а старикам советую думать о смерти. Он признался, что совсем не думает. Вероятно, он ни во что не верит.

Вечером были С. Д. Николаев и Э. Р. Стамо с сыном-студентом. Лев Николаевич сказал С. Д. Николаеву:

— Я начал писать одному крестьянину о Генри Джордже, и меня совсем это смутило. Ну, хорошо, я беру вот ясенковских мужиков, у него три десятины на двор, у другого и больше. Цена здесь, по Генри Джорджу, которую пришлось бы наложить, — как вы думаете? Я думаю, что должно быть minimum восемь рублей на десятину, а то и десять, около этого, от двадцати пяти до тридцати рублей на двор. Ну, а какие же у него будут преимущества? Податей, косвенных и прямых, с него сойдет рублей пятьдесят, стало быть, он был бы в барышах на двадцать пять рублей, но главная часть косвенных налогов берется с водки, которой ложится почти тридцать пять рублей на двор. Он скажет: я водки не пью, какой же мне барыш?..

Я написал большое письмо, но когда я пришел к этому, я увидал, что это для них совсем не заманчиво. У них представление, что земля должна быть даровой, что за землю не нужно ничего платить.

С. Д. Николаев объяснил, в чем он видит благодетельность для крестьян осуществления проекта Генри Джорджа.

Лев Николаевич. Для меня гораздо проще представляется. Для того чтобы крестьянин мог пользоваться землею, нужно, чтобы помещичья земля была бы так обложена, чтобы помещикам было бы трудно ее держать наемным трудом; потому что если вы обложите ее по полтора рубля с десятины, то они и будут держать ее вечно. А надобно найти такую середину, чтобы крестьянину было не трудно, а помещику трудно. В этом главная штука. Я представляю себе: я, вы — крестьянин, мне желательно работать на земле, у меня мало земли, — у каждого из нас мало земли. Откуда нам взять ее? Весь вопрос для меня состоит в том, каким образом сделать то, чтобы доступ к земле был свободен для всех людей, чтобы был свободен доступ к земле для рабочего человека, чтобы рабочий человек мог себе сказать: вместо того, чтобы мне идти на фабрику делать гильзы, я останусь здесь и буду работать на земле. И тут Генри Джорджа налог, мне кажется, недостаточен для этого.

С. Д. Николаев. Рабочий народ страдает оттого, что не вся земля использована. Если будет введен единый налог, то землевладельцы будут вынуждены использовать все те земли, которые они имеют. Уничтожится земельная спекуляция — устранится главная причина недоступности земли.

Лев Николаевич. Я вот начал об этом писать, думать, и я убедился, что этот вопрос более сложен, чем его разрешает Генри Джордж. Тут так много запутанного. Для меня, например, у нас одно из главных препятствий это есть то, что тридцать пять рублей на двор падает налога с водки. Это одна из главных вещей, которая затрудняет. Не падай эти тридцать пять рублей, у нас, в Тульской губернии, помещики, большинство, не выдержали бы, а крестьяне платили бы эту сумму и были бы в барышах.

Студент Стамо сделал еще возражение, что предлагаемый Джорджем единый налог с земли, если бы он был введен, мог бы расходоваться правительством на то, что

не нужно или вредно народу. Лев Николаевич согласился с этим.

— Это было бы справедливо, — сказал он, — только при идеальном государственном устройстве. Я нынче в газетах читал: на Думу определяется два с половиною миллиона. Я думаю, крестьяне очень этому мало сочувствуют. Я и говорю с самого начала, что наше государственное устройство так все запутано, так все связано, что таким простым средством далеко не разрешается. Для меня вопрос основной: что земля не может, не должна быть предметом собственности, совершенно ясен; это и Генри Джордж и многие говорили, что это — такое же насилие, как и крепостное право; но как избавиться от этого рабства, — вот вопрос, который трудно решить...

— Что для меня особенно трогательно, — продолжал Лев Николаевич, — это то, что в русском народе есть это сознание, что земля не может быть предметом собственности, — в старом русском народе. Он живет здесь, в Ясной Поляне, он не считает, что земля его, а он передаст ее сыну, внуку, а вымрет этот дом, — они соберутся и решат, кому ее отдать.

Разговор перешел на поземельную общину. Стамо и Николаев высказывали свои соображения о том, какое хозяйство выгоднее — общинное или хуторное. Лев Николаевич сказал:

— Все вопросы эти, когда они рассматриваются только с материальной точки зрения, с точки зрения материального благосостояния, богатства, тогда их очень трудно разрешить, отделив их от вопросов нравственных. Потому что община стоит за вопрос нравственности и во имя этой справедливости готова жертвовать выгодами материальными.

— Теперь, — продолжал Лев Николаевич, — что они делают с землей, новые-то комиссии разные! Как развращают крестьян! Крестьянам я бы очень желал, желательно бы было, — поправился Лев Николаевич, — чтобы они поняли, что вопрос не в том, чтобы отобрать землю у того, у кого много, а вопрос в том, что никто не имеет права владеть землею, стало быть, и его владение землей незаконно, и он не имеет на нее права, и тот дворовый или рабочий голый, у которого ничего нет, точно так же имеет право на него указывать. А вот теперь, что делает министерство земледелия: оно старается образовать маленьких собственников, чтобы владелец десяти

тысяч десятин мог ему указать: ты такой же помещик, как и я.

Разговор вернулся опять к проекту Генри Джорджа.

— Я только в одном убедился, — сказал Лев Николаевич, — что я, по крайней мере, в этом вопросе не компетентен. А мне-то это особенно дорого и важно — представлялся вопрос земельный всегда, потому что особенно возмутительно смотреть на эти парки, цветы рядом с отсутствием клочка земли для того, чтобы посадить картошку... И это лишение человека естественного, прирожденного ему — не скажу права, а свойства такого же, как свойство — я не знаю — птицы летать и вить гнезда на деревьях, чтобы пользоваться той землей, на которой он родился... Земельный вопрос мне всегда представлялся корнем всего социального вопроса, потому что, как только разрешен был бы тот вопрос, то совсем другой характер получил бы вопрос борьбы пролетариата с капиталом, потому что тогда и пролетариата бы не было, потому что и пролетариат возник только от лишения земли.

С. Д. Николаев сказал, что вся сущность учения Джорджа сводится к двум положениям: 1) земля не может быть предметом частной собственности; 2) предметом собственности могут быть только произведения труда.

— Главные, основные положения, — сказал Лев Николаевич, — совершенно верны и неопровержимы, но, видите ли, решение Джорджа — для его решения необходимо допущение государства с его насилием, с его законами, которые приводятся в действие насилием. Ведь вот в чем и трудность. Я даже и стараюсь себе представить воображаемое общество в хорошем смысле анархистов, которые согласились и между собою хотят ввести в известной местности те основы, которыми руководится Джордж. Это я могу представить. Но при тех запутанных условиях, в которых живут теперь народы, это страшные трудности. Даже в теории — попробуй это приложить — бесконечное количество препятствий представляется. Я никак не отрицаю, я только ищу, каким образом найти это приложение. Но я чувствую себя в этом бессильным.

О самом Генри Джордже Лев Николаевич сказал:

— Его миросозерцание высоконравственное. Мне ужасно жалко, что он баллотировался в Нью-Йорке. И он, бедный, погубил себя этим [158].

— А скажите, каковы земельные программы наших партий? — спросил Лев Николаевич Николаева.

С. Д. Николаев рассказал.

— Да, — сказал Лев Николаевич, выслушав его, — признаюсь, как ни трудно мне кажется осуществление Джорджа, но если сравнить со всеми этими кадетами, эсдеками — насколько он разумнее, приложимее к жизни, чем их проекты.

— Говорят о свободе, — сказал затем Лев Николаевич, — что они там, в Думе, посредством представительства или посредством революции достигнут свободы. Какая же это может быть свобода, которая может быть нарушена Николаем Вторым или Столыпиным или в Думе решена большинством голосов Пуришкевича или Милюкова. Это не свобода. А свобода та, которую имеет Иконников, — тот человек, которого ничто не может заставить поступить противно тому, что он считает должным. Вот этот человек свободен, а человек, который *получит* свободу, вот хотя бы евреи — переезжать с одного места на другое или платить или не платить подати — это не свобода.

Вышли в столовую пить чай. Разговор продолжался вполголоса, потому что Софья Андреевна протестовала против всех этих «праздных разговоров». Я сидел около нее и не имел возможности не только записывать, но и слушать.

*30 мая*

Вчера за обедом И. И. Горбунов рассказывал об ужасном случае изнасилования старым мужиком своей внучки.

— Да! — сказал Лев Николаевич. — Я все больше и больше думаю об этом и все больше и больше чувствую... Сегодня я ехал и встречал детей — такие милые, славные дети. И все они будут развращены этими попами, — со слезами в голосе сказал Лев Николаевич.

*31 мая*

Вчера за завтраком Лев Николаевич рассказал, что у него был молодой человек с очень плохой повестью, подражанием Андрееву.

— Отчего это критиков нет? — сказал Лев Николаевич. — Не решаются дотронуться: «А может быть, там что-нибудь есть?»

За обедом, когда Льву Николаевичу рассказали о том, что утром пьяная старуха нищенка унесла с забора юбку и, когда у нее отняли взятое, сказала: «Ну что ж! ведите

меня в тюрьму!» — Лев Николаевич вспомнил включенный им в «Круг чтения» рассказ Анатоля Франса «Кренкебиль» [159], в котором разоренный тюрьмою старик торговец нарочно оскорбляет городового, чтобы опять попасть в тюрьму, и сказал:

— Вот кого из литераторов я хотел бы видеть: Франса.

*1 июня*

Вчера, 31 мая, Лев Николаевич закончил статью о смертных казнях под названием «Не могу молчать». Статья эта была начата им под впечатлением известия о казни двадцати крестьян в Херсоне [160]. Помню, с каким радостным выражением лица, едва сдерживая слезы, он в тот день, когда начал эту статью, молча показал мне исписанные его размашистым почерком листки бумаги, и когда я спросил: «Это новое?» — он, с тем же значительным и радостным выражением лица и с теми же слезами на глазах, молча кивнул головою. Как только Лев Николаевич начал писать эту статью, с первого же дня то безнадежное, подавленное состояние, в котором он находился до этого, сменилось бодрым, уверенным. Помню, как через несколько дней, за завтраком, на слова Софьи Андреевны о том, что ничем нельзя помочь тому, чтобы казни прекратились, он твердым и уверенным голосом возразил:

— Как нельзя? Очень можно.

Три дня назад он сказал мне:

— Мне прямо хочется ее поскорее напечатать, прямо хочется свалить ее с себя. Там будь что будет, а я свое исполнил [161].

Вчера вечером у Льва Николаевича повторилась та же слабость и забывчивость, какая была с ним полтора месяца назад. Сегодня слаб, утром не занимался, читал Пушкина [162]. Но мысль работает так же напряженно и плодотворно, как и в здоровом состоянии. С Душаном Петровичем говорил о нереальности всего материального.

*2 июня*

Вчера приехал князь Д. Н. Цертелев, автор вышедшей в 1889 году книжки «Нравственная философия Л. Толстого», противник его взглядов. За обедом был разговор о непротивлении злу насилием. Цертелев приводил в защиту насилия уже не раз высказывавшиеся соображения: разбойник, убивающий ребенка, нас побили японцы, революционеры делают такое ужасное зло и т. д.

— Этого я ничего не знаю, — отвечал Лев Николаевич. — Я знаю только то, что если я хочу быть христианином, то я никак не могу насиловать.

Цертелев. Это другое дело. Но *что выйдет* из этого?

Лев Николаевич. Этого я не знаю. Но, думаю, что если я буду исполнять закон Христа, то будет, во всяком случае, лучше, чем если я буду исполнять закон Николая Второго или Столыпина.

Цертелев. При такой точке зрения Столыпину надо уйти из своего положения?

Лев Николаевич. Этого я не знаю, но знаю, что Столыпиным он может перестать быть, а человеком, душою — никогда — не может перестать.

За вечерним чаем Софья Андреевна рассказывала некоторые случаи из жизни Льва Николаевича в 1890 году. Лев Николаевич слушал с интересом, как новое для себя, и сказал:

— Как мне интересно это, что Лев Николаевич делал. Я все забыл.

Немного погодя он сказал, обращаясь к Д. П. Маковицкому:

— Нет, Душан Петрович, как вы ни хлопочите, а вы все-таки меня не вылечите. Слава богу, все слабею. Надо готовиться к путешествию.

Получено известие о высылке из Харьковской губернии И. А. Беневского.

— Как часты стали случаи преследования наших единомышленников, — сказал я Льву Николаевичу.

— Это отчасти хороший признак, — сказал он. — Это показывает, что движение это распространяется. Вот Молочников нам урок, как следует относиться к этому. Христианину никак нельзя ничего сделать. Повесить? Сделайте одолжение, вешайте поскорее. В тюрьму? Сделайте одолжение, пожалуйста, посадите. Выслать в Вологодскую губернию? Пожалуйста, я давно хотел жить в Вологодской губернии. Признаюсь вам, я отчасти в этом положении, — закончил Лев Николаевич.

*3 июня*

После завтрака, когда я был в комнате Александры Львовны, она, услышав на балконе шаги Льва Николаевича, высунулась в окно, поздоровалась с отцом и спросила:

— А как ты себя чувствуешь, папа?

— Ничего, только грустно отчего-то.

— Отчего?

— Не знаю... Грустно и совестно...[163]

Вечером, разговаривая с С. Д. Николаевым и М. А. Шмидт, Лев Николаевич сказал:

— Да! буддисты хорошо говорят, что старикам надо уходить в пустыню. Это немного эгоистично, конечно, но хорошо.

— Лев Николаевич! — сказал С. Д. Николаев, — а как вы относитесь к такому способу ухода в пустыню: пойти бродяжничать?.. Просить милостыню, ночевать где придется?..

Лев Николаевич. Хорошо!..

С. Д. Николаев. Где можно работать, не иметь своего угла?..

Лев Николаевич. Хорошо!.. Особенно в моем возрасте. Молодым могут сказать: отчего ты не работаешь? а мне этого уж не скажут. Я сегодня ездил, встретил женщину с сумкой и с палкой, такое хорошее, кроткое у нее лицо, верно, богу идет молиться. Я остановился, дал ей. И я думаю, что к таким нищим большинство народа относится хорошо.

*4 июня*

Вернувшись с утренней прогулки, Лев Николаевич говорил с дожидавшимся его посетителем — литератором. Выходя от него и встретившись со мною в передней, Лев Николаевич сказал мне:

— Ах, какой тяжелый господин!

— Почему, Лев Николаевич?

— Денег, денег просит!.. Сегодня у меня такой тяжелый день. Вышел в таком радостном настроении. На дороге женщины из Тулы, на коленях просят... стражник поймал мужика на песке, тот просит его освободить...

Лев Николаевич получил письмо от сестры нашего единомышленника Романа Юшко, которого высылают в Вологодскую губернию[164].

— Вы, будьте добры, напишите ей, — сказал мне Лев Николаевич, — что прямые мои отношения с властями таковы, что я не могу просить их непосредственно, посредственно же могу просить через других влиятельных лиц, как Кони, Стахович. Но я уже столько ими злоупотреблял... Мне всегда бывает тяжело просить, чтобы не поставить в неловкое положение: или отказать мне, или причинить себе неприятность...

*5 июня*

Лев Николаевич получил письмо из Перми с вопросом о том, почему он, как сказано в письме, «отдал имение именно жене и сам остался жить в том же имении». Лев Николаевич просил меня ответить на это письмо следующее:

«Я поступил, давно уже, так, как бы я умер, и потому не отказывал исключительно жене ничего, а просто отказался от имения, как бы я умер».

Вечером, когда ответ на это письмо был уже написан, Лев Николаевич сказал мне:

— Не отправляйте этого письма обо мне. Не нужно.

Очевидно, он и тут решил последовать своему любимому правилу: «Никогда не оправдывайся».

*6 июня*

За обедом был разговор о снах.

— Паскаль говорит, — сказал Лев Николаевич, — что если бы мы видели себя во сне всегда в одном положении, а наяву — в различных, то мы сон считали бы вполне жизнью. Это не совсем верно. Главное отличие сна от действительности — в том, что во сне невозможно нравственное усилие: сознаешь, что поступаешь дурно, но не можешь удержаться. Это кажется мелочь, но в этом сущность жизни человека.

*8 июня*

Сестра Р. В. Юшко приехала сама хлопотать о брате. По ее словам, высылка его зависит от московского градоначальника. Лев Николаевич дал ей следующее письмо к нему:

«М. г.! Простите, что не пишу вашего имени и отчества, что дает моему письму совершенно мне нежелательный характер официальной холодности. Письмо это передаст вам г-жа Сербашева, обратившаяся ко мне по делу своего брата Юшко. Будьте так добры принять и выслушать ее, и я почти уверен, что ваше доброе сердце подскажет вам то, что нужно и можно сделать. Все, что я знаю о Юшко, говорит за то, что он человек хороший и противник насилия. С надеждой на вашу доброту остаюсь уважающий вас

*Лев Толстой»* [165].

За обедом Лев Николаевич сказал:

— Я сегодня был слаб, не мог заснуть и все время читал — никто не догадается что... «Евгения Онегина»! И всем советую его перечесть. Удивительное мастерство двумя-тремя штрихами обрисовать особенности быта того времени. Не говорю уже о таких chef d'oeuvr'ах, как письмо Татьяны...

Как-то недавно Лев Николаевич сказал, что лучше всего у Пушкина — его проза.

*9 июня*

— Сегодня утром, — рассказывал Лев Николаевич за обедом, — были два старика, такие характерные типы, мне хотелось снять с них фотографию; я Сашу кликнул — она еще спала, Соня — и говорить нечего. Идут на Старый Афон богу молиться. Одному семьдесят пять лет, он уже там был, хочет совсем там остаться. Ноги крепкие, читает без очков. Лет через двадцать пять — тридцать этот тип совсем уничтожится.

*10 июня*

Вечером теща Сергея Львовича, графиня Зубова, заговорила о царе. Лев Николаевич сказал:

— Признаться, мне государя гораздо более жалко, чем Столыпина. Он против воли поставлен в это положение, а те делают карьеру. Если б он захотел уйти, то все эти Пуришкевичи — да и тысячи порядочных людей — все бы закричали, что этого нельзя.

Утром я прочитал Льву Николаевичу выдержку из Герцена, приведенную в недавно присланной ему книге об этом писателе:

«Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют и пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтобы не слыхать речей, раздающихся внутри. Ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает себе занятие; от ненависти к одиночеству он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, женится на скорую руку. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается всем на свете: вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, благодеяниями, ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, чем какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его.

В этой боязни исследовать, чтобы не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепостей и пустяков, не пришедши в себя».

Приведя эту цитату, автор прибавляет от себя:

«Ко скольким страницам Льва Толстого эти строки подошли бы в качестве самого выразительного эпиграфа!» [166]

У Льва Николаевича блестели слезы на глазах, когда я, кончив чтение, взглянул на него, и он сказал:

— Я помню, я это читал, но когда это вместе со всем остальным, с его рассуждениями о своей жизни, это не производит такого впечатления; а нужно взять ее отдельно, как брильянт...

*11 июня*

Вчера Лев Николаевич получил письмо от татарина, спрашивает о Коране. Лев Николаевич вечером взялся вновь просмотреть Коран и потом сказал мне:

— Нет, Коран очень ничтожная вещь: чувственность, войны...

*12 июня*

Приехал Н. Г. Молоствов, пишущий биографию Льва Николаевича [167].

Вечером мы с И. И. Горбуновым были в кабинете у Льва Николаевича. Он раскладывал пасьянс. Заговорили о Молоствове. Лев Николаевич сказал:

— Пожалуйста, не подумайте, что это ложная скромность. Я думаю, что если бы так, как они пишут мою биографию, писать биографию каждого человека, то жизнь каждого человека будет так же интересна. У одного в одну сторону дарования, у другого в другую...

Потом Лев Николаевич вспомнил двух бывших у него сегодня одесских студентов, увлекающихся Соловьевым, и сказал:

— Людям нужно пройти известные этапы мысли, которых они не могут миновать. Разумеется, какой-нибудь Герцен не проходит их: он скачет стремглав, он даже перескочит то место, где ему нужно остановиться.

Лев Николаевич упомянул о Герцене потому, что читает книгу о нем Ч. Ветринского, которую находит очень умно и интересно написанной.

Сегодня Лев Николаевич получил тронувшее его письмо от московского градоначальника в ответ на свое письмо с просьбой об отмене высылки Юшко. Вот это письмо:

«Многоуважаемый Лев Николаевич,

Ваше доброе письмо, переданное мне г-жой Сербашевой, глубоко тронуло меня, и я возбудил ходатайство об отмене высылки г-на Юшко в Вологодскую губернию, сделав необходимые распоряжения, чтобы его не тронули до получения ответа на мою просьбу. Дай бог вам сил и здоровья. Почитающий вас А. Адрианов».

*13 июня*

Вечером Н. Г. Молоствов расспрашивал Льва Николаевича об его старых знакомых литераторах. Лев Николаевич, между прочим, сказал, что с одним только Островским он был на «ты».

— Он мне нравился, — сказал Лев Николаевич об Островском, — своей простотой, русским складом жизни, серьезностью и большим дарованием. Он был самобытный, оригинальный человек, ни у кого не заискивал, даже и в литературном мире.

Лев Николаевич вспомнил, что еще в 1860 или 1861 году он написал комедию «Зараженное семейство», в которой осмеивались так называемые «нигилисты».

— Помню, она была недурна, — сказал Лев Николаевич. — Я хотел все поскорее ее напечатать, и Островский мне говорит: «Боишься, поумнеют?»

Комедия эта так и не была напечатана, и где теперь рукопись и цела ли она, Лев Николаевич не знает [168].

— Достоевского вы, Лев Николаевич, высоко ставите? — спросил Молоствов.

— Да, я его очень ценю, — ответил Лев Николаевич. — В его произведениях тот недостаток, что он сразу высказывает все, а дальше размазывает. Может быть, это потому, что ему деньги были нужны...

На вопрос Н. Г. Молоствова о Некрасове Лев Николаевич ответил:

— Он мне был приятен. Он был сильный человек, но холодный и жестокий, нравственного уровня очень низкого [169].

*16 июня*

Вчера после обеда Лев Николаевич сказал мне:

— Я сегодня в статье сделал кой-какие поправки. Одну главу я думаю совсем выпустить.

— Какую, Лев Николаевич?

— Третью, — если помните, о русской революции. Она нарушает стройность изложения. Я еще, вероятно, над ней (то есть над статьей) поработаю: это для меня такой важный вопрос — непротивления, хочется его выяснить основательнее [170].

*22 июня*

За обедом вчера был разговор о писательстве.

— Ничего нет, — сказал Лев Николаевич, — сильнее поощряющего соблазн славы людской, как писательство.

*23 июня*

Утром по поводу рассказа Чехова «Беглец», помещенного в «Круге чтения» [171], Лев Николаевич сказал мне про Чехова:

— Такой большой талант, и во имя чего он писал! Не то что отсутствие миросозерцания, но прямо ложное миросозерцание, низменное, материалистическое, самодовольное... Очень милый человек...

Сегодня Лев Николаевич продиктовал в фонограф письмо к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, предлагая ему напечатать в своем журнале рассказ Леонида Семенова «Смертная казнь» [172]. Я напомнил ему, что он хотел предложить А. М. Хирьякову поместить этот рассказ в газетах. Лев Николаевич, подумав немного, сказал:

— Нет, это такой грязный мир газетный...

*30 июня*

Несколько вечеров была музыка. Лев Николаевич высказывал свое мнение о композиторах, пьесы которых были играны:

— Моцарт не боится пошлости. А Венявский — тот все хочет изобразить что-то особенное.

— Шопен в музыке — это то же, что Пушкин в поэзии...

*1 июля*

На днях Лев Николаевич сказал:

— Во мне в детстве развивали ненависть к полякам. И теперь я отношусь к ним с особенной нежностью, отплачиваю за прежнюю ненависть.

Сегодня за обедом был разговор об осуждении. Лев Николаевич сказал:

— Как только почувствовал, что дурные свойства человека воспроизводишь с удовольствием, сейчас же сказать себе: тпру!

*2 июля*

Вчера вечером Лев Николаевич сказал:

— Чертков строится возле меня [173], а мое жительство скоро будет очень отдаленное.

— Да, — сказала Софья Андреевна, — я ему тоже говорила: как же вы строитесь, рассчитывая на долголетие восьмидесятилетнего старика?

Я сказал, что В. Г. Чертков не раз рассказывал мне свое убеждение в возможности того, что Лев Николаевич его переживет. Лев Николаевич помолчал и потом сказал:

— Да, как важно это — помнить о смерти. Скажут: зачем это помнить? Затем, что все предметы получают совсем другое освещение.

*3 июля*

Вчера Лев Николаевич прочитал вслух сделанное Шопенгауэром определение искусства, приведенное во вчерашнем дне «Круга чтения» («Мы только тогда бываем вполне удовлетворены произведением искусства, когда оно оставляет после себя нечто такое, чего мы, при всем усилии мысли, не можем довести до полной ясности») [174], и сказал:

— Как это верно! Область мысли — это совсем другая область, и потому мысль ничего не может здесь помочь.

В газетах появляются отрывки статьи Льва Николаевича о смертных казнях («Не могу молчать») [175]. Написание и обнародование этой статьи Лев Николаевич считал своим нравственным долгом. Когда В. Г. Чертков, который взял на себя печатание этой статьи, прислал в начале июня из Петербурга письмо с предложением некоторых поправок, Лев Николаевич ответил ему телеграм-

мой: «Изменения вполне одобряю, издавайте скорее»[176]. С самого того дня, как статья была закончена, Лев Николаевич выражал желание, чтобы она как можно скорее была напечатана.

*7 июля*

Лев Николаевич грустный, расстроенный[177]. После обеда сказал Александре Львовне:

— Хорошо бы тебе сено косить с утра до вечера; а то ишь какая гладкая, а они какие все худые. Я сидел над черным двором, — это очень полезно, я оттуда все слышу: * «Ишь, у них всегда масленица». А вы, Душан Петрович, хотите меня лечить. Тут одно только утешение от этого, что смерть близко. Так что если давать, так что-нибудь такое, чтобы поскорее это случилось.

Приезжали фотографы из «Нового времени», сделали очень много снимков[178]. В том угнетенном состоянии, в котором он чувствует себя сегодня, Льву Николаевичу было это, по-видимому, неприятно. Он ничем не выразил своего неудовольствия, но когда снимали всех за столом, с выдержкой в десять секунд, и все в торжественной неподвижности застыли над кушаньями, торжественность эта, очевидно, показалась Льву Николаевичу до такой степени комичной, что он не выдержал и громко фыркнул от смеха и тем испортил снимок. Стали снимать вторично — Лев Николаевич опять не выдержал и фыркнул еще раньше, чем в первый раз.

*9 июля*

Вчера вечером М. С. Сухотин очень живо, образно и подробно рассказывал о бывшей недавно «экспроприации» в их ближайшем почтовом отделении. Лев Николаевич слушал с большим интересом и под конец сказал:

— Все это последствия изменившегося сознания народа, сознания давнишней неправды. Если поступать по закону, око за око, то они еще очень милостивы. А правительство хочет остановить это тем, что приучает народ к мысли, что убивать очень хорошо.

---

* Сегодня Лев Николаевич занимался не в своем кабинете, а в проходной комнате наверху, окна которой выходят на двор (там прохладнее). Оттуда ему слышны были разговоры прислуги. (*Прим. Н. Н. Гусева.*)

*10 июля*

Был молоденький гимназист из Суздаля. В числе других вопросов, он спросил Льва Николаевича о том, что он думает о «Санине».

— Я спросил его, — рассказывал Лев Николаевич за обедом, — в чем основная мысль этого романа? Он сказал: «Веселись вовсю, живи как вздумается, никакой нравственности нет». Какое невежество! Наверное, Эпикур это гораздо лучше выражал, и двадцать раз опровергнуто это [179].

*11 июля*

«Русские ведомости» оштрафованы на три тысячи рублей за напечатание отрывков из «Не могу молчать». Провинциальные газеты, перепечатавшие отрывки этой статьи из столичных, также штрафуются [180].

Приезжала соседка, помещица весьма консервативного духа, А. Е. Звегинцева. Она приехала с браунингом, который положила в передней на подзеркальник. Уезжая, увидел это В. Г. Чертков и с возмущением говорит:

— Какое это нахальство — ко Льву Николаевичу приезжать с револьвером! У тебя есть «Не убий»? — обратился он ко мне. — Принеси, пожалуйста.

Я принес, и Дима Чертков торжественно вложил эту книжку в ручку браунинга. Мне это понравилось, и через пять минут, с помощью молодого лакея Вани, все карманы важной гостьи оказались наполненными агитационными брошюрами Толстого против государства.

Лакей Ваня после рассказывал мне, что, когда А. Е. Звегинцева уезжала, Софья Андреевна вышла ее проводить. Звегинцева увидела «нелегальщину» и сказала Софье Андреевне:

— Это, верно, граф положил?

— Нет, граф этого не станет делать. Это, верно, Чертков или Гусев.

— Ты не видал, кто это положил? — допытывалась барыня у лакея.

*12 июля*

— Я чем дальше, тем больше убеждаюсь, — сказал Лев Николаевич вчера за вечерним чаем, — что большая эрудиция не уживается с самобытностью мысли.

— Да, но невежество также,— заметил М. С. Сухотин,

— Совершенно верно, — согласился Лев Николаевич. — Невежественный человек прямо рубит сплеча все, что ему взбредет в голову; средний, но скромный человек всегда постарается узнать, что́ другие об этом думали, а ученый человек знает множество чужих мнений, которые он не проверяет своим умом.

В полученном сегодня номере «Слова» от 10 июля напечатано следующее письмо в редакцию И. Е. Репина:

«Лев Толстой в своей статье о смертной казни высказал то, что у всех нас, русских, накипело на душе и что мы по малодушию или неумению не высказали до сих пор. Прав Лев Толстой — лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину, и этим молчанием как бы сочувствовать им.

Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души. Прошу редакцию присоединить мое имя к этому списку».

*13 июля*

Вчера за вечерним чаем Лев Николаевич рассказывал о встретившихся ему на прогулке милых крестьянских детях. Говоря о том, какие есть в детях хорошие качества, Лев Николаевич сказал:

— Одного только нет в детях: самоотречения. Это главное свойство вырабатывается с годами.

А. С. Бутурлин рассказывал Льву Николаевичу содержание некоторых новейших литературных произведений. Лев Николаевич сказал:

— Я боюсь, что это во мне стариковское брюзжание и непонимание... мне кажется, что литература кончилась. И в вашей области, — продолжал Лев Николаевич, обращаясь к А. Б. Гольденвейзеру, — это так. И это вполне естественно. Наша цивилизация так же идет к своему упадку, как и древняя цивилизация, и потому вырождение литературы. И эта погоня за новой формой потому, что нет содержания. Если есть что сказать, так не станешь отыскивать форму: тут как-нибудь, поскорее вылить это.

Сегодня я прочитал в «Русском слове», что в Севастополе издатель газеты напечатал «Не могу молчать» и

расклеил номера газеты по городу. Его арестовали[181]. Я рассказал об этом Льву Николаевичу и прибавил:

— Как хорошо, Лев Николаевич, что вы написали эту статью!

Лев Николаевич, помолчав, сказал:

— Это для меня подтверждает мысль, что делай то, что тебе велит совесть, не заботясь о последствиях.

— Да, — сказал я. — Вы, наверное, не думали, когда писали эту статью, что она получит такое распространение?

— Нисколько! — ответил Лев Николаевич. — А о других статьях, напротив, думаешь, какое они произведут действие, и никакого не производят.

По поводу этой статьи Лев Николаевич получает много сочувственных писем[182]. Самое трогательное было из Калуги, от бывшей у Льва Николаевича в июне теософки А. А. Каменской. Она писала:

«Ник. Вас. Писарев, уже почти старый человек, в своем глубоком волнении написал вам несколько слов о своем впечатлении. Нам он рассказал, как, встретив своего знакомого, он его спросил, читал ли он вашу статью? И на утвердительный ответ невольно сказал: «Знаете что, ведь я почувствовал, что я также хочу, чтобы мне надели на шею намыленную веревку...» «И я также этого хочу», — ответил знакомый»[183].

Это письмо Лев Николаевич начал рассказывать своим гостям, но от слез не мог договорить до конца.

*14 июля*

Вчера был высланный из Харькова И. А. Беневский, с проходным свидетельством до Томска, в котором ему ставится в обязанность проходить по двадцать пять верст в день и нигде не останавливаться в пути, кроме как для ночлега. С ним вместе приезжал расстриженный священник Иона Брехничев, который много рассказывал Льву Николаевичу про все то, что перенес сам и чего был свидетелем в тех тюрьмах, где сидел. Рассказы его произвели удручающее впечатление на Льва Николаевича. Он советовал Брехничеву описать все им пережитое, но только без преувеличения, писать только правду и только то, что сам видел, а не слышал от других.

Брехничев говорил о неприспособленности к жизни духовенства вообще и себя лично в частности.

— Всякий священник, — говорил он, — так воспитан, что он ничего другого делать не умеет, как только быть

священником. Оставь он эту должность — ему нечем будет кормиться, потому что он ничего другого не умеет делать.

Лев Николаевич спросил Брехничева, не думает ли он поселиться в общине. Потом рассказал ему про Леонида Семенова, который живет у мужика и работает всю мужицкую работу.

— По-моему, — сказал Лев Николаевич, — для неженатого человека это лучший выход.

Брехничев рассказал о своем семейном положении. Он сказал, что его жена «не приспособлена» к трудовой жизни и могла бы быть только учительницей. Лев Николаевич не одобрил этого.

— Это, — сказал он, — то же самое разделение труда, какое привело нас к тому, что сейчас есть. Вот сейчас у меня гостит невестка с детьми[184]. Премилые дети, такого прекрасного характера. Но я ей прямо сказал: как скверно воспитаны твои дети, — они целый день ничего не делают. А в крестьянстве — вам нечего это говорить, вы это знаете — такой вот клоп, а уж он работает *.

По поводу этой обычной отговорки: «Я не могу работать», — Лев Николаевич как-то сказал мне:

---

* В виде иллюстрации к этим словам Л. Н. Толстого приведу из статьи С. Т. Шацкого «Деревенские дети и работа с ними» («На путях к новой школе», 1923, № 1, с. 78) любопытный ответ одного из школьников на анкету: «В каких видах труда я зимой участвовал»: «Сапоги чиню, картошку набираю, самовар ставлю, печку затопляю, лошадь запрягаю, поросятам стелю, гнезда курам плету, сено скидываю, картошку тру, учальники делаю, лампу зажигаю, поросятам свечу, дрова таскаю, жеребенку картошку режу, лоханку корове выношу, снег со двора скидываю, рожь с печки ссыпаю, картошку чищу, полы мету, к ухвату ручку делаю, трепалку делаю, к топору ручку делаю, салазки, лыжи делаю, дрова пилю, ножи точу, солому рублю, лошадь пою, закуту делаю, силки ставлю, кур на двор сгоняю, за водой хожу, коров на двор сгоняю, с окон стираю, кровать делаю, толкач делаю, лопатку делаю, черпила развожу, полку делаю, часы завожу, сапоги мажу, цветы поливаю, нитки сматываю, колодки делаю, к молотку ручку делаю, гвозди вытаскиваю, дратву сучу, стуло делаю, окна замазываю, на кадку обруч делаю, вешалки прибиваю, к двери петлю прибиваю, к самопрялке валик делаю, от двери снег откидываю, сарай запираю, крюки делаю, обруч делаю, трусов кормлю, рукомойник привязываю, навоз скидываю, морковь режу, окна протираю, лампады зажигаю, соли насыпаю, лещетки вяжу, колодки для сапог делаю, толкушку для картошки делаю, крючки для шуб делаю, к самопрялке струну делаю, нашест курам устраиваю, стол чищу, печку растопляю». *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

— Не можешь работать, значит — урод, потому что человеку свойственно работать...

*15 июля*

По поводу революционного движения в Турции и Персии Лев Николаевич сказал вчера:

— Чувствуется, что это кризис всемирный.

*16 июля*

Вчера за обедом был разговор о музыке. А. С. Бутурлин сказал, что он «ничего не понимает» в музыке. «А должно быть, это великое наслаждение», — прибавил он.

— Наслаждение — это слово сюда не подходит, — сказал Лев Николаевич. — Музыка производит сильное действие, но только не наслаждение. Как это выразить?.. Никак не подберешь такого слова...

Был с визитом тульский вице-губернатор Лопухин, приехавший вместе с Михаилом Львовичем. Лев Николаевич разговаривал с ним о земельном вопросе и деятельности Столыпина. Лопухин считает Столыпина великим человеком.

— Эта узость кругозора! — сказал Лев Николаевич о вице-губернаторе, когда он уехал. — Он ничего не видит, ничего не знает. Ему не с кем сравнивать, он все время живет в этой среде.

*18 июля*

Утром Лев Николаевич сказал мне:

— Вы — мой помощник, я на вас возлагаю надежды насчет «Круга чтения».

— Что, Лев Николаевич?

— Если я умру, то вы это закончите.

На одно письмо с выражением намерения заняться литературной деятельностью Лев Николаевич продиктовал мне следующий ответ:

«Лев Николаевич не советует вам заниматься литературой, потому что это очень опасно тем, что вызывает тщеславие самое сильное» [186].

*20 июля*

Вчера был художник Николай Васильевич Орлов. За завтраком он рассказал сестре Льва Николаевича, Марии Николаевне, монахине, приехавшей погостить в Ясной Поляне, о том, как его «обидел» покойный старец Оптиной

пустыни Амвросий, пропустив прежде него к себе в келью «какого-то богатенького». Лев Николаевич сказал:

— Если иметь в виду, чтобы меньше огорчать людей, то так и надо сначала пропускать богатых. Потому что бедный не обидится, если ему придется ждать, а богатый обидится. Я сегодня только писал, что человек едет в коляске, богато одетый, и ему самому кажется, что оттого что у него коляска и богатая одежда, он имеет право на уважение. Они, несчастные, искренно это думают.

*24 июля*

У Льва Николаевича болит нога. Домашние хотят пригласить хирурга. По этому поводу Лев Николаевич сказал вчера:

— Я недавно говорил с доктором, с Григорием Моисеевичем, и очень рад, что он согласился со мной... То, что мы знаем об организме, это одна тысячная того, что мы можем знать.

Сегодня Лев Николаевич сказал мне по поводу полученного им письма с упреком за то, что он проповедует бедность, а сам продолжает владеть богатством:

— Я сегодня ночью как раз думал: какая моя странная судьба. Я действительно отказался уже более двадцати лет и от земли, и от денег за сочинения, и, несмотря на это, никто этому не верит, а все считают меня миллионером.

*25 июля*

Сегодня в обычные часы утренних занятий Льва Николаевича я читал ему, по его просьбе, выбранные из всех его сочинений и собранные в «Своде» его мысли о государстве[187]. Лев Николаевич выбирал лучшие из них для помещения в новый «Круг чтения», над которым он теперь работает.

— Когда читаешь это все подряд, — сказал мне Лев Николаевич, — то это так ясно, что кажется труизмом.

Для той же цели я перечитал ему уже отмеченные им на днях места из книги П. Эльцбахера «Сущность анархизма», содержащие выдержки из сочинений Годвина, Прудона, Бакунина и Кропоткина. Лев Николаевич очень одобрил некоторые из них и включил в новый «Круг чтения».

— И здесь так же, — сказал Лев Николаевич про писателей анархического направления, — как везде в литературе: чем дальше шло, тем все хуже и хуже.

За обедом г-жа Ферре, жена смоленского вице-губернатора, сказала Льву Николаевичу, что ее отец, сенатор Зиновьев, бывший тульский губернатор, каждый день читает «Круг чтения». Льва Николаевича это очень тронуло. Он сказал, что переделывает «Круг чтения», и прибавил:

— Бог мне дал такого помощника чудесного, как Николай Николаевич.

Переписываю продиктованный мне Львом Николаевичем ответ на письмо с вопросом о том, следует ли заниматься изучением истории:

«История хороша бы была только совершенно истинная. Слишком многообразны условия, которые определяют жизнь человечества, и историки берут одну какую-либо сторону: государственную, экономическую; а тут и религия, и бесчисленное количество сторон. И потому истории, те, которые теперь существуют, представляют какую-нибудь 0,01 того содержания, которое, собственно, представляет действительную историю народа. При существующем взгляде на историю всегда выставляются события политические, как самые главные, а забываются явления духовные, внутренние, которые, в сущности, определяют все» [188].

Вчера приезжал старый (еще с 60-х годов) знакомый Толстых, князь Д. Д. Оболенский. Из Ясной Поляны он хотел проехать к издателю «Нового времени». Прощаясь с ним, Лев Николаевич, улыбаясь, сказал ему:

— Так поедете к Суворину?.. Газета его скверная, я раньше ее читал, теперь бросил. Вы ему этого не говорите.

*26 июля*

Лев Николаевич получил письмо от теософки Е. П. Писаревой о том, как близко теософическое учение ко взглядам Льва Николаевича и что это учение, так же как и его учение, ставит своей целью «стремление к единству и братству людей».

— Не понимаю, — сказал Лев Николаевич по поводу этого письма, — при чем же тут теософия? Всячески хочешь избегать того, что разъединило бы меня с индусом, магометанином... а это как раз разъединяет...

*27 июля*

У Льва Николаевича все больше и больше разбаливается нога. Весь день он сидит в подвижном кресле, вытянув больную ногу.

Разговаривая вчера вечером с гостями о музыкантах, Софья Андреевна сказала о Рубинштейне, что он не скучал целыми вечерами аккомпанировать детям, и прибавила: «Все гении так просты». Я привел еще Пушкина, как пример скромности и простоты выдающихся людей. Лев Николаевич услыхал наш разговор и сказал:

— Главное тут то, что все выдающиеся люди всегда смиренны, низкого о себе мнения, им кажется, что они ничто. Это оттого, что они видят всегда идеал, и в сравнении с идеалом то, что они имеют, им кажется ничтожным.

Так как Лев Николаевич, вследствие болезни ноги, вынужден целый день сидеть в кресле, вытянув больную ногу, то ему трудно писать, и теперь каждое утро он, вместо того чтобы писать самому, диктует мне в течение всех своих обычных часов занятий (приблизительно от девяти до одного-двух часов). Я записываю стенографически и затем диктую Александре Львовне, которая переписывает на ремингтоне.

Лев Николаевич все работает над новым «Кругом чтения», который должен представлять из себя систематическое изложение всего его миросозерцания. По числу дней месяца, новый «Круг чтения» будет состоять из тридцати одного отдела, последовательно излагающих основы миросозерцания Толстого. Одна и та же последовательность повторяется каждый месяц.

Начерно эта работа уже закончена, материал подобран по всем отделам, но Лев Николаевич далеко не считает этот труд доведенным до конца. Теперь занятия наши над новым «Кругом чтения» начинаются с того, что я читаю вслух весь подобранный материал известного, следующего по порядку занятий, отдела; Лев Николаевич диктует исправления и добавления. Если число мыслей какого-либо дня кажется Льву Николаевичу недостаточным, я читаю ему вслух его же мысли по данному вопросу из «Свода», из которых он и выбирает подходящие для «Круга чтения».

*28 июля*

Е. И. Попов записал для себя несколько вопросов из областей религии и философии, по которым он хотел бы побеседовать со Львом Николаевичем. Лев Николаевич

продиктовал мне ответы на эти вопросы. Вот наиболее интересные из них:

«Может ли изучение философии Канта быть полезно для уяснения религии?»

— В высшей степени.

«Доступна ли философия Канта заурядному человеку и возможно ли популярное изложение ее?»

— Популярное изложение ее было бы величайшим делом. Интересно узнать, есть ли попытки такие в Европе. Во всяком случае, это было бы в высшей степени желательно.

«Что думать о тех темных свойствах души: предвидении и ясновидении, телепатии, развитию которых теософы и добролюбовцы придают такое значение?»

— Всем этим явлениям не придаю никакого значения, и если бы мне сказали, что сейчас кто-нибудь может мне предсказать всю мою судьбу и судьбу близких мне людей, я бы менее заинтересовался этим, чем сонатой Шопена [189].

*29 июля*

Вчера за обедом Андрей Львович рассказывал о своей встрече с генералом, председателем военного суда в Риге. Генерал сказал Андрею Львовичу, что он читал статью Льва Николаевича о смертных казнях и согласен с ней. «Бывают,— сказал он,— минуты неприятные, когда смотришь им в лицо, но я должен исполнить свой долг, я недавно подписал семнадцать смертных приговоров и, если нужно будет, еще семнадцать подпишу».

Лев Николаевич ничего не сказал.

Софья Андреевна стала рассказывать о том, что у нее недавно украли некоторые вещи из флигеля. Она послала стражника и лакея в Тулу разыскивать вора. Это был мужик из ближайшей деревни, уже раньше попадавшийся в кражах. Софья Андреевна рассказывала о произведенном у нее воровстве с возмущением.

Лев Николаевич выслушал до конца рассказ Софьи Андреевны и немного повышенным, но твердым голосом сказал:

— У этого профессия воровать, а у того убивать. Какая хуже? Этот продал за бесценок вещи, а тот продает то, чему цены нет: жизнь человеческую...

И заплакал...

Вчера вечером говорили о какой-то даме, хронически больной и всегда лечащейся. Лев Николаевич сказал:

— Эта вечная забота о себе стоит всякой болезни. Постоянно следить за этой мерзостью — своим телом...

*31 июля*

Сегодня, прочитав привезенные из Тулы письма, Лев Николаевич сказал мне:

— Прочитал письма, большинство — ругательные [190].

— А ведь этого не должно быть! — с жаром возразила Софья Андреевна. — Любовь не может вызвать злобу. Это доказывает, что ты не так написал.

Лев Николаевич долго, с усилием доказывал Софье Андреевне, что она не права, что всегда гнали всех тех, кто выступал против того, что признавалось всеми, и в заключение сказал:

— Довольно и так осуждают, чтобы еще в семье было осуждение.

— Христа народ любил, это книжники и фарисеи его распяли, — продолжала возражать Софья Андреевна.

— Вот они-то и руководили народом, — ответил Лев Николаевич.

В отношении ко Льву Николаевичу я замечаю как раз такое же влияние книжников и фарисеев на простой народ. Получаемые им ругательные письма, хотя и пишутся людьми малограмотными, в огромном большинстве не что иное, как отголоски газетных статей, помещаемых против него во враждебных ему церковных и консервативных органах печати, из которых пишущими нередко заимствуются целые фразы.

*1 августа*

Сегодня, как и все последние дни, я все утро занимался со Львом Николаевичем «Кругом чтения». В сегодняшнем отделе встретилось несколько мыслей Канта. Лев Николаевич прослушал их с большим вниманием и уважением к автору и сказал:

— Какая умница Кант! Он меня всегда очень трогает. То, что я говорю, это все то же, что говорит Кант.

В особенную заслугу Канту Лев Николаевич ставит то, что он, при его огромных знаниях, все-таки утверждал, что главное в жизни — не в науке, а в религии. Лев Николае-

вич не причисляет его к тому очень многочисленному разряду ученых, о которых он любит повторять слова Монтескье: «J'aime les paysans: ils ne sont pas assez savant pour raisonner de travers» *.

*3 августа*

— Вчера вечером играли Б. О. Сибор (скрипка) и А. Б. Гольденвейзер (фортепиано) [191]. Сегодня за обедом Лев Николаевич сказал:

— А я предпочитаю фортепиано скрипке: в игре на скрипке — более прямое воздействие на нервы. Так же и в пении.

*6 августа*

Вчера Лев Николаевич продиктовал мне ответ индусу, приславшему ему письмо и несколько номеров журнала «The Free Hindustan» («Свободный Индостан»), призывающего индусов к борьбе против англичан [192].

*7 августа*

Лев Николаевич получил письмо от крестьянина, которому он в мае, в ответ на его вопрос о том, скоро ли земля станет свободной, изложил учение о земле Генри Джорджа и послал несколько его книжек. Крестьянин пишет, что он не согласен с учением Джорджа, и высказывает взгляды, близкие к учению социалистов-революционеров. Льва Николаевича огорчило это письмо [193].

— Мне кажется, — сказал он, — эти люди сами не знают, что им делать с землей. Ну, отобрать ее у помещиков, а потом что?

Е. В. Молоствова прислала Льву Николаевичу мистический журнал 1806 года «Сионский вестник», с которым Лев Николаевич выразил желание познакомиться, когда г-жа Молоствова была в Ясной Поляне. Это дало Льву Николаевичу повод вспомнить о масонах.

— Масоны были люди высокого религиозного подъема, — сказал он.

*9 августа*

Льву Николаевичу все хуже и хуже. К боли ноги присоединилось, уже несколько дней, общее недомогание. Теперь он уже не встает с постели.

---

* Я люблю мужиков: они недостаточно учены, чтобы рассуждать неверно *(франц.)*.

Сегодня во время обеда он позвонил, позвал меня и продиктовал следующую мысль для детского «Круга чтения», в отдел о страданиях:

«Ничто лучше не показывает того, как можно из телесных страданий и унижений сделать радость *(плачет)*, как те слова, которые сказал Франциск Ассизский, с своим учеником подходя к монастырю, усталые и мокрые. Он сказал, что когда они останутся под дождем у ворот монастыря и привратник скажет им недоброе слово, что, если они не нарушат в сердце своем любовь ко всем людям и к этому привратнику, только тогда будет радость совершенная» [194].

Лев Николаевич был в жару, когда диктовал это.

*10 августа*

Лев Николаевич очень слаб. Сегодня в первый раз за все время болезни не занимался со мной «Кругом чтения», а только продиктовал три письма.

Первое письмо — тому самому крестьянину, который писал ему о своем несогласии с Джорджем в решении земельного вопроса [195].

Другое письмо, продиктованное сегодня больным и слабым Львом Николаевичем, — ответ на письмо человека, который год тому назад написал ему письмо, на которое не получил ответа, и недавно прислал другое, в котором упрекает его за то, что он ему не ответил. Вот что ответил теперь Лев Николаевич этому человеку:

«Присланное вами год тому назад большое письмо показалось мне таким, что не требовало ответа, при тех условиях, в которых я нахожусь, получая большое количество писем, требующих ответа. То, что я не отвечал вам, не означало никакого недоброго чувства, которое бы я имел к вам; молчание же мое произошло от моей старости, слабости и недосуга. В последнем же письме вашем чувствуется очень недоброе, даже враждебное чувство ко мне, и это мне было больно. В мои годы, когда стоишь одной ногой в гробу, и при моих взглядах на жизнь, желаешь более всего быть в любви со всеми людьми. Если я чем-нибудь, разумеется, не желая этого, огорчил или оскорбил вас, то, пожалуйста, простите меня и постарайтесь вызвать в себе то же самое чувство братского доброжелательства, которые я желаю испытывать ко всем людям» [196].

Третье письмо, на которое отвечал сегодня Лев Николаевич, содержит в себе просьбу о позволении приехать к

нему для того, чтобы поговорить по делу, которое, как сказано в письме, «имеет значение не только для вас не менее, чем для меня, но и общечеловеческое». На это письмо Лев Николаевич просил меня ответить от моего имени следующее:

«Лев Николаевич думает что, благодаря учению Христа и всех мудрецов мира, он, как и все думающие люди, знает, что нужно для блага человечества. Дело только в том, что люди не исполняют того, что могут знать, и потому не интересуется тем, что вы имеете сообщить ему, и просит вас не приезжать к нему» [197].

*11 августа*

Сегодня утром Лев Николаевич позвонил мне и продиктовал следующее:

*«Дневник. 11 августа. Ясная Поляна*

«Тяжело, больно. Последние дни неперестающий жар и плохо, с трудом переношу. Должно быть, умираю. Отношение к смерти никак не страх, но напряженное любопытство *(плачет)*. Об этом, впрочем, после, если успею.

Хотя и пустяшное, но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уж не это, то непременно все народное, как-то: «Азбуки», «Книги для чтения» [198]. Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и, кто хочет, снесет или свезет в Заказ против оврага, на место «зеленой палочки» [199] *(плачет)*. По крайней мере, есть повод выбрать то, а не другое место. Вот и все. По старой привычке, от которой все-таки не освободился, думается, что еще сделал бы то бы да это, странно — преимущественно один художественный замысел [200]. Разумеется, это пустяки, я бы и не в силах был его исполнить хорошо.

Да, «всё в табе и всё сейчас», как говорил Сютаев [201], и всё вне времени. Так что же может случиться с тем, что во мне и что вне времени, кроме блага.

Затем Лев Николаевич продиктовал еще следующую вставку после слов: «должно быть, умираю»:

«Да, тяжело жить в тех нелепых, роскошных условиях, в которых мне пришлось прожить жизнь, и еще тяжелее умирать в этих условиях: суеты, медицины, мнимого облегчения, исцеления, тогда как ни того, ни другого не мо-

жет быть, да и не нужно, а может быть только ухудшение душевного состояния»[202].

Окончив, Лев Николаевич сказал мне:

— Я чувствую, что это скоро, — если не теперь, то через несколько дней.

Возбужденный и взволнованный тем, что услышал от Льва Николаевича о том, что он ожидает так скоро своей смерти, что было бы для меня таким страшным и неожиданным ударом, я кое-как крепился в то время, как он диктовал, но после последних его слов не мог уже более удерживаться: рыдания заклокотали в груди, и слезы градом полились из глаз. Я бросился к нему и стал целовать его руки... Лев Николаевич тоже заплакал, но, как бы стыдясь сам своих слез, поспешил сказать мне:

— Это не от жалости, а оттого, что я стал очень слаб, так что все заставляет плакать... Ступайте... Спасибо вам за любовь вашу... Ступайте...

Я вышел и прошел в свою комнату. Прошло около часу, когда Лев Николаевич опять позвонил мне. Я вошел к нему. Он сказал, что хочет заняться «Кругом чтения».

Я принес нужные материалы. Как нарочно, отдел, следовавший сегодня по порядку наших занятий, был о смерти. Я, как и раньше, начал читать вслух Льву Николаевичу мысли, включенные им в этот отдел, но содержание их не только не отвекало меня от того, что волновало меня, но еще более заставляло думать об этом. Начав читать я долго кусал себе губы и не решался взглянуть на Льва Николаевича, чтобы не расплакаться.

— Вот какие вы плохие, — глядя на меня скорее с одобрением, чем с порицанием, сказал Лев Николаевич.

Кое-как овладев собою, я упавшим голосом начал чтение и с большим усилием продолжал его. Лев Николаевич слушал внимательно, но поправок и дополнений сделал меньше, чем делал раньше.

Часов в пять Лев Николаевич опять позвонил мне и, когда я вошел к нему, сказал:

— Вы не стыдитесь, что мы с вами так раскисли. Это сближает.

Затем он попросил переменить расположение отделов в составленном им конспекте нового «Круга чтения», согласно новому распределению, сделанному им на днях.

Продиктованное им завещание Лев Николаевич сначала хотел просто вложить в свой дневник, а потом решил передать на хранение Александре Львовне.

*12 августа*

Ночью Лев Николаевич очень мучился от болей в животе. Температура сейчас (десять часов дня) тридцать семь и шесть.

*13 августа*

Утром Лев Николаевич сказал мне:

— Я вчера не удержался, вспрыснул морфий, и ни разу так хорошо не спал, как эту ночь. Боль в ноге так затихла, что я, когда проснулся, сразу не мог вспомнить, какая нога болит. Хоть на Делира [203].

Но Душан Петрович говорит, что общее состояние сегодня хуже: жар больше и боль больше.

*14 августа*

Льву Николаевичу лучше.

Приехал приглашенный Софьей Андреевной хирург из Москвы [204]. Он осматривал Льва Николаевича вместе с Душаном Петровичем и приехавшим несколько дней назад Д. В. Никитиным. Перед их осмотром я читал Льву Николаевичу полученные сегодня письма, по окончании осмотра — продолжал чтение. Окончив письма, я спросил Льва Николаевича, может ли он сейчас принять приехавшего сегодня его знакомого Д. А. Олсуфьева, которого он выражал желание видеть.

— Ненадолго, — ответил Лев Николаевич. — Признаюсь, занятия с вами, письма — меня нисколько не утомляют. Но доктора... так жалко их и совестно за них.

*15 августа*

Льву Николаевичу лучше. Сегодня днем температура не была выше тридцати семи и двух.

Вечером я не был дома. Вернувшись в одиннадцать часов, я зашел ко Льву Николаевичу. Он еще не спал и чувствовал себя, кажется, лучше, чем днем. Я спросил его, как он нашел изречения Магомета, которые читал сегодня в английском переводе [205].

— Есть очень много хорошего, — ответил он.

*16 августа*

Вчера был посетитель, ехавший из Владикавказа в Петербург; кажется, учащийся. Хотел видеть Льва Николаевича для того, чтобы подвинуться в своих «психо-

логических изысканиях». С большим трудом после моего двукратного разговора и третьего — Д. В. Никитина удалось отделаться от него.

*17 августа*

Лев Николаевич слаб. Все последние дни он занимался преимущественно письмами. Продиктованные им во время болезни письма проникнуты особенной любовью и смирением. Сегодня продиктовал трогательное письмо старому своему другу, тульскому крестьянину М. П. Новикову [206]. В. Г. Черткову продиктовал на днях письмо Бернарду Шоу, приславшему ему свою книгу [207]. Кроме того, на днях продиктовал мне небольшую статью о религии и науке [208].

*19 августа*

Здесь Леонид Семенов. На днях я разговаривал о нем с Львом Николаевичем.

— Он, — сказал мне Лев Николаевич, — в особенно хороших условиях находится, как и вы: здоровый, молодой и холостой.

— Особенно важно последнее, — сказал я.

— Да, да, — согласился Лев Николаевич.

В разговоре со Львом Николаевичем Леонид Семенов очень хвалил Ницше. Лев Николаевич давно уже составил себе очень отрицательное представление об этом писателе, которое он не раз выражал в своих статьях и письмах [209]. Теперь, после высокой оценки этого писателя Семеновым, которого он очень уважает и любит, он стал вновь перечитывать некоторые вещи Ницше, но остался при прежнем о нем мнении [210].

Когда я расспрашивал Семенова об очень интересующих меня подробностях его жизни (он кормится своими трудами, работая не одну земледельческую, а всякую, в том числе и самую черную и трудную, работу), он, между прочим, сказал мне, что спит не более четырех-пяти часов в сутки и чувствует себя при этом вполне бодрым. Когда я рассказал об этом Льву Николаевичу, он сказал, что считает это вполне возможным и объясняет тем, что сон, теряя в продолжительности, может выигрывать в крепости.

Льву Николаевичу гораздо лучше. Занятия наши «Кругом чтения» возобновились.

*21 августа*

Сейчас только (десять часов утра) Лев Николаевич проснулся, позвонил мне и, когда я пришел, сказал:

— Позовите ко мне Илью Васильевича...[211] Я сегодня, как говорят, плох, а мне очень хорошо: умираю.

Днем Лев Николаевич продиктовал мне короткое письмо, а затем следующую запись в дневник:

«Не писал с 12-го числа. Здоровье все так же, ноге лучше, общее состояние хуже, то есть ближе к смерти. Нынче ночью испытал без всякой внешней причины особенно сильное и — мало сказать: приятное, а серьезное, радостное чувство совершенного отпадения не страха даже, а несогласия со смертью. Очень радуюсь этому, потому что это чувство, я знаю, не случайное, проходящее, а оно может, не будучи испытываемым беспрестанно, оставаться в глубине души, и это очень хорошо. Чувство это подобно тому, что бы испытывал человек, узнав неожиданно для себя, что там, где он считал себя вдали от дома, он подле него и что то, что он считал чем-то странным и чуждым, есть самый дом его. Все занимаюсь с Николаем Николаевичем «Кругом чтения». Не скажу, чтобы очень доволен, но и не недоволен. Чувствую приближение 28-го по увеличению писем. Буду рад, когда это кончится, хотя рад тоже тому, что совершенно равнодушен к тому или другому отношению людей ко мне, хотя и все более и более неравнодушен к моему отношению к ним.

Написал письмо М. и не раскаиваюсь»[212].

М., упоминаемый в последней строчке, это — известный журналист М. О. Меньшиков. Недавно он поместил в «Новом времени» резкую статью против Льва Николаевича[213]. У Льва Николаевича явилось желание написать ему письмо, которое он и продиктовал мне; но, вероятно, для того, чтобы переписка его с Меньшиковым не теряла своего задушевного характера, он просил меня не показывать этого письма никому и не оставлять копии с него в копировальной книге, в которой оставляются копии со всех писем Льва Николаевича. Диктуя мне это письмо, Лев Николаевич расплакался на словах о том, что, прочитав статью Меньшикова о себе, он не только не испытал к нему неприятного чувства, но напротив, испытал самое радостное и дорогое чувство — чувство любви к обижающим[214].

*30 августа*

Двадцать восьмое августа — восьмидесятилетний «юбилей» Льва Николаевича. Слишком много было впечатлений и, главное, работы, чтобы записывать. Теперь улеглось, только изобилие писем напоминает о пережитом. В дни перед 28-м и 28-го я жил как в праздник светлого воскресения в детстве. Мое умиление началось 24-го вечером, когда приехал курьер с копией телеграммы от Петербургской городской думы. Затем телеграммы от Харьковского и Киевского университетов, затем множество писем, множество телеграмм, многие из которых очень трогательные.

Сам Лев Николаевич вот уже второй день не читает ни писем, ни телеграмм (телеграммы прочитывают домашние, письма — я). Писем было вчера восемьдесят шесть, сегодня сто сорок три[215]. Вчера утром Лев Николаевич сказал В. Г. Черткову:

— Я чувствую, что переел этой литературы — писем. И вместе с тем развернешь письмо, прочтешь — умиляешься. Но мне и умиление-то мое надоело.

А. М. Хирьякову, который намерен писать в газете статью об юбилее, Лев Николаевич сказал сегодня:

— Я бы не то что хотел, а мне приятно было бы, чтобы сказано было, что во всех письмах и телеграммах, в девяносто девяти сотых по крайней мере (такая пропорция), говорится, в сущности, одно и то же: о том, что мне сочувствие выражают за то, что я содействовал уничтожению ложного религиозного понимания, — не знаю, насколько это возможно для цензуры, — оговорился Лев Николаевич, — и дал нечто, что людям в нравственном смысле на пользу. И мне одно, что радостно во всем этом, это именно то, что установилось в этом отношении общественное мнение. А когда установится общественное мнение, большинство прямо пристает к тому, что говорят все. И это мне, должен сказать, в высшей степени приятно... Разумеется, самые радостные письма — народные, рабочие.

В самый день 28-го, за вечерним чаем, Лев Николаевич, сидя за общим столом на своем подвижном кресле (у него все еще болит нога), тихим голосом, чтобы не мешать гостям и домашним, продиктовал мне ответ австралийским джорджистам, приславшим тронувшее его приветствие[216].

*31 августа*

Вчера приехал Н. Н. Ге, сын давно умершего друга Льва Николаевича, художника Н. Н. Ге. За обедом он рассказывал, что занят уроками пятьдесят шесть часов в неделю и это ему очень утомительно и скучно. Лев Николаевич сказал:

— Я как раз недавно думал об этом... Зачем человеку быть занятым пятьдесят шесть часов в неделю? Вы мне на это никакого ответа не дадите. Избавление одно: уменьшение потребностей. Без сравнения, лучше есть хлеб с водой, чем быть вечно занятым; это такое суеверие...

О прошедшем своем юбилее Лев Николаевич сказал сегодня почти то же, что и вчера.

— Юбилей, — сказал он, — так мне был приятен, что вся эта масса писем, все говорят одно и то же, именно в том смысле, что благодарят за то, что освободил от мистического, ложного понимания христианства и дал истинное. Это мне в высшей степени трогательно и приятно... чего я в течение двадцати лет не видал...

Недавно Татьяна Львовна вспоминала о том, как М. А. Стахович делал ей когда-то предложение, и сказала:

— Как, бывало, примерю себя замужем за Мишей Стаховичем, так чувствую, что что-то не то.

Лев Николаевич по поводу этого сказал, что женщина определенно знает, что ей нужно в замужестве, какого мужа она себе хочет.

— У мужчин этого нет: мужчина готов на всякой жениться, — сказал он.

*1 сентября*

Вчера у Льва Николаевича был харьковский студент[217], который задал ему вопрос о том, можно ли во имя блага многих пожертвовать благом одного. Лев Николаевич ответил ему:

— Вопрос этот весь разрешается тем, что будущего для нас никакого нет, потому что я сейчас упаду и умру, и вы точно так же. А я знаю, чтó я должен делать перед своей совестью. А то, что вы говорите, — вникните в то, что я говорю, пожалуйста, — это есть основа того самого правительства, тех самых жестокостей, против которых вы хотите бороться. Правительство ничего иного не говорит, как то, что оно предвидит будущее и во имя этого будущего казнит тех, кого считает вредными. Это тот

самый ужасный софизм, против которого вы боретесь. Это комично, если бы не было ужасно. Правительство, Столыпин, слово в слово это самое и говорят. А вы этим самым хотите против него бороться.

В прошлом месяце получено следующее любопытное письмо из Москвы от живописца:

«Добрый Лев Николаевич, мы к вам обращаемся с искренней просьбой: вышлите нам все книги и брошюры, которые вами изданы за границей и у нас, в России. Мы страстно с вашими сочинениями хотим познакомиться. Лев Николаевич, на днях прочли ваше письмо в газете «Слово», где вы так просто описываете суд над вашим знакомым Вл. Молочниковым и упоминаете в письме о брошюрах, за которые Вл. Молочников пострадал, и эти не забудьте выслать брошюры» [218].

*3 сентября*

Записав под диктовку Льва Николаевича несколько небольших писем, я решился наконец сказать ему о том, о чем все медлил сказать, боясь его расстроить, а именно то, что в числе полученных третьего дня на его имя посылок была одна, присланная из Москвы, распечатав которую я испытал чувство ужаса перед той злобой и ненавистью, которыми она была вызвана. В этой посылке, в небольшом деревянном, хорошо сколоченном ящике была *веревка*! Обыкновенная, средней толщины, довольно длинная веревка, и с ней вместе незапечатанное письмо. Вот что было написано в письме:

«Граф!

Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи.

*Русская мать»* [219].

При том, как я вскрывал эту посылку, был только Илья Васильевич. Я просил его пока не говорить никому об этом ужасном подарке и сам не говорил Льву Николаевичу до сегодняшнего дня. К удивлению моему, сообщение мое не только не расстроило его, но, кажется, и не было ему особенно неприятно. Он сейчас же продиктовал мне следующий ответ женщине, приславшей посылку (при письме был подробный адрес):

«Ольга Александровна, очень жалею о том, что, уже наверное, без желания это сделать, вызвал в вас те тяжелые, вероятно, для вас самих, чувства, которые выра-

жены в вашем письме. Очень порадуете меня, если объясните причину вашего недоброго чувства и постараетесь потушить его в себе.

Боюсь, что вы примете это за пустое слово, но совершенно искренне говорю:

соболезнующий и любящий вас *Лев Толстой*».

*7 сентября*

Князь П. Д. Долгоруков, один из основателей «Общества мира», прислал Софье Андреевне письмо, спрашивая, какого мнения об этом Обществе держится Лев Николаевич. Я сказал, что, мне кажется, Льву Николаевичу легко будет ответить на этот вопрос, потому что Общество это по своим задачам — самое обыкновенное, как все подобные, уже довольно многочисленные Общества. Лев Николаевич сказал на эти мои слова:

— Ответить легко в том смысле, что это — очень легкомысленное отношение к таким важным вопросам[220].

Сегодня утром Лев Николаевич сказал мне:

— Я и во сне все думаю о «Круге чтения». Сегодня вижу во сне, на бумажке написано: «У тебя есть душа, но ты должен образовывать в себе другую, культурную душу». И подписано: Кант. Я думаю: «Кант, надо обратить внимание».

*8 сентября*

Сегодня Лев Николаевич продиктовал мне следующее письмо — благодарность всем лицам, приславшим ему свои приветствия ко дню его 80-летия:

«Когда я еще слышал о намерениях некоторых людей праздновать мое 80-летие, я просил о том, чтобы этого не делали. Как мне ни неловко в моем положении теперь говорить это, так как слова мои могут легко быть отнесены к притворству скромности, я просил, главное, потому, что не чувствовал в себе заслуг, соответствующих тем намерениям хвалить меня, о приготовлениях к которым я слышал. Совершенно искренно могу сказать, что все это последнее время я надеялся, что поймут то, что и есть истина, что я не только не заслуживаю каких-либо особенных похвал, но представляю из себя одного из самых обыкновенных людей, бесполезно и дурно прожившего большую часть своей жизни, кое-как опомнившегося под старость *(плачет)*, увидевшего свои ошибки и более или менее правдиво и понятно рассказавшего про них, — поймут, что желание какого-то особенного

восхваления меня есть только недоразумение. Но как бы то ни было *(плачет)*, случилось обратное, и в эти последние дни, около 28 августа, я получил такое количество всякого рода выражений сочувствия, которого никак не ожидал, и — опять повторяю — совершенно искренно убежден, что не заслуживаю. Выражения этих чувств доставили мне одну из величайших радостей, испытанных мною в жизни. И потому считаю себя нравственно обязанным выразить хоть в малой степени, как сумею, мою благодарность всем тем людям, которые доставили мне эту радость.

Заявлений этих, самых разнообразных, с самых разных сторон, было очень много, и все они мне были — мало сказать: приятны, но дороги и радостны. Тут были выражения сочувствия от старых прежних товарищей моих по литературе, от всех друзей и знакомых, с которыми сводила меня судьба в продолжение моей длинной жизни; были, хотя и в очень малом количестве, но тем особенно дорогие мне выражения добрых чувств от духовных лиц; были от совершенно противоположных этим письма и обращения от заключенных в тюрьмах и каторге; были, все-таки и самые дорогие мне, и самые многочисленные выражения сочувствия от крестьян и рабочих. Письма эти мне были особенно дороги и потому, что исходили от самого многочисленного и значительного по своей жизни, деятельности и духовному складу сословия людей; дороги особенно потому, что выражали не только сочувствие, но полное единство *(плачет)* с моими религиозными убеждениями, происходящее не от случайного согласия со мной, но от очевидно одинакового стремления к познанию той единой религиозной истины, которая свойственна нашему времени и особенно близка, как я думаю, русскому народу.

Письма эти были разнообразные, с самых разных концов России, и все, очевидно, имели целью только одно: выражение согласия — не со мною, а с теми истинами, которые мною кое-как были намечены и выражены. Это была для меня большая радость, за которую я выражаю свою благодарность — не ту благодарность, которую из учтивости и приличия выражают в подобных случаях, но ту истинную благодарность, которую я не могу не чувствовать, за ту неожиданную и незаслуженную радость, которую я испытал в эти дни.

Благодарю и всех тех, которые писали мне, и тех ми-

лых людей, которые своими подарками, как петербургские официанты, приславшие мне в подарок прекрасный самовар с надписями, и рабочие и некоторые другие, которые меня особенно тронули.

Прошу простить меня за то, что я, несмотря на то, что очень желал бы этого, не могу отвечать отдельно многим и многим из обращавшихся ко мне, и прошу их принять мою искреннюю благодарность»[221].

Сегодня В. Г. Чертков рассказывал много интересного о Кропоткине, с которым он лично знаком, — о том, как он всячески старается отогнать от себя все то, что может отвести его от признания насилия[222]. Лев Николаевич слушал с большим интересом и сказал:

— Я думаю, что таким людям, как Столыпин, легче опомниться, понять, что они делают, чем таким, как Кропоткин. У тех одно убийство, насилие, а здесь — самопожертвование, страдание.

*9 сентября*

Вчера Лев Николаевич сказал:

— Я недавно перечитывал Пушкина[223]. Как это полезно! Все дело в том, что такие писатели, как Пушкин и некоторые другие, может быть, и я в том числе, старались вложить в то, что они писали, все, что они могли. А теперешние писатели просто швыряются сюжетами, словами, сравнениями, бросают их как попало.

О Владимире Соловьеве и его учениках (Трубецком, Лопатине и других) Лев Николаевич сказал:

— Я всегда, когда думаю о них, вспоминаю слова Канта, что человек, которого с детства воспитали в известном учении, под старость становится софистом этого учения.

*10 сентября*

С. Д. Николаев составляет краткое общедоступное изложение учения Генри Джорджа. Лев Николаевич вчера сказал ему:

— Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы: «Только-то? Да ведь это так просто!» А для этого нужно огромное напряжение и труд.

*12 сентября*

Вчера С. Д. Николаев принес Льву Николаевичу свое общедоступное изложение проекта освобождения земли

Генри Джорджа. В разговоре с ним об этом предмете Лев Николаевич сказал:

— Уничтожение земельной собственности — это восстановление нарушенной справедливости, подобно тому как уничтожение рабства было восстановлением справедливости.

С. Д. Николаев сказал мне, что еще года два тому назад Лев Николаевич говорил ему, что хорошо бы было написать «Хижину дяди Тома» о земле[224].

*15 сентября*

Сегодня Лев Николаевич продиктовал статью Николаева[225] и после сказал В. Г. Черткову:

— Я очень рад, что этим занялся. Чем больше я этим занимаюсь, тем я холоднее к этому. Дело прекрасное, но правительственное, законное.

Вчера у Льва Николаевича происходила длинная беседа с четырьмя тульскими революционно настроенными молодыми людьми, которых он сам через С. Д. Николаева пригласил к себе. Когда он прочитал выпущенную недавно в Туле прокламацию, у него явилось, как он сам говорил, желание поговорить с людьми, разделяющими выраженные в ней взгляды, и указать им их ошибки[226].

При беседе присутствовали В. Г. Чертков и С. Д. Николаев. Я сидел в соседней комнате (гостиной), дверь в которую из кабинета Льва Николаевича была отворена, и мне было отчетливо слышно каждое слово.

*17 сентября*

Вчера по какому-то поводу В. Г. Чертков заговорил о написанном Львом Николаевичем в 1906 году «Обращении к русским людям»[227]. Он сказал, что некоторые, как С. Т. Семенов, были недовольны тем, что Лев Николаевич в этой статье обращается к правительству мягче, чем к революционерам. Льву Николаевичу было неприятно это слышать, однако он не стал оправдываться и сказал:

— Где же всегда быть беспристрастным. Это нужно быть святым.

*18 сентября*

Вчера за обедом был разговор о бывшем единомышленнике Льва Николаевича — Д. А. Хилкове[228], который

потом стал социалистом-революционером. Лев Николаевич сказал:

— Всегда страшно бывает за таких людей, которые сразу так горячо берутся: и имение роздал... А после, если у него не хватит сил, он не будет обвинять себя, а будет обвинять то учение, которое он хотел исполнить: будет говорить, что оно неисполнимо...

Вечером Лев Николаевич прочитал гостям некоторые мысли из нового «Круга чтения», между прочим, все 31 число октября («жизнь — благо»). Софья Андреевна горячо оспаривала прочитанное Львом Николаевичем. Лев Николаевич, волнуясь и сдерживая себя, доказывал истинность христианского жизнепонимания. В словах его слышалась полная убежденность. На возражение о том, что нельзя радоваться старости, Лев Николаевич ответил:

— Я истинно радуюсь тому, что мое животное слабеет, этот гнусный зверь во мне...

*19 сентября*

Сегодня я был в Тульском жандармском управлении, явиться куда я получил повестку еще третьего дня. Меня обвиняют в «государственном преступлении», — в том, что я послал по почте запрещенные книги Толстого в нескольких экземплярах. Книги эти («Не убий», «Николай Палкин», «О христианстве и воинской повинности», «Христианство и патриотизм» и «Приближение конца») действительно были мною высланы, кажется, в июне, по поручению Льва Николаевича, одному крестьянину Пензенской губернии, который просил его об этом.

На допросе я отказался давать какие-либо объяснения на том основании, что в делах моей личной жизни признаю власть только моей совести, а не других людей. Меня покамест оставили на свободе.

*20 сентября*

Сегодня Лев Николаевич написал следующее заявление в Тульское губернское жандармское управление:

«19 сентября был вызван в Тульское Жандармское Управление живущий со мной и помогающий мне в моих занятиях Н. Н. Гусев.

Н. Н. Гусев рассказал мне, что причина вызова его была высылка им кому-то (не помню кому) нескольких моих книг.

Н. Н. Гусев ничего не сказал в Управлении о том, почему он выслал эти книги. Я же считаю нужным заявить

Жандармскому Управлению то, что Н. Н. Гусев выслал эти книги, только исполняя мое поручение. Высылал же эти книги я так же, как уже давно высылаю мои книги всем тем лицам, которые обращаются ко мне с желанием иметь их. И потому прошу Жандармское Управление оставить в покое г-на Гусева, а все те меры, которые оно найдет нужным принять по отношению высылки и распространения этих книг, обратить на меня. Тем более что я не только не скрываю этого, но заявляю, как я уже заявлял прежде, что считаю распространение этих моих книг полезным и потому буду продолжать это распространение, пока буду иметь возможность» [229].

*22 сентября*

Сегодня был рабочий, принесший Льву Николаевичу на суд свои стихи и прозу. Когда он ушел, Лев Николаевич сказал мне:

— Бедный человек этот! Он уверен, что у него есть талант. И в самом деле, у него есть некоторый талант, уменье выразить словами, описать то, что он видит. Но он не понимает того, что талант не в этом, а в том, чтобы выразить что-нибудь свое, новое, оригинальное. И оно есть в каждом человеке. Я никак не могу так смотреть на мир, как вы смотрите, и если вы мне расскажете, как вы смотрите, покажете мне ваше окошечко, я буду очень благодарен.

*24 сентября*

Вчера в Крапивне был суд над угрюмовскими мужиками, обвинявшимися в краже леса у Софьи Андреевны. Пятнадцать человек присуждены к одному месяцу ареста и уплате штрафа в девяносто семь рублей [230]. В. Г. Чертков и Александра Львовна ездили к ним.

*28 сентября*

Вчера получен юбилейный номер «Уссурийской молвы», в котором помещена статья о Льве Николаевиче и снимок с него в поддевке, в одежде странника, с сумкой за плечами [231]. Лев Николаевич внимательно посмотрел на этот снимок и сказал мне тихим, задумчивым, грустным голосом:

— Как хорошо бы, кабы Лев Николаевич был таким,

*1 октября*

Преследования меня, Молочникова, рассказы приезжавшего недавно шлиссельбуржца Н. А. Морозова[232] о том, что пришлось пережить ему и его товарищам за двадцать восемь лет его сидения в тюрьмах, — все это вновь привлекло внимание Льва Николаевича к вопросу о государстве. Вчера он, не отрываясь, написал (частью продиктовал мне) семнадцать страничек новой статьи — воззвания против государства[233].

*4 октября*

Вчера приехал И. Ф. Наживин. Был разговор о современных писателях. Лев Николаевич сказал:

— Эта бойкость пера совершенно несовместима с серьезностью мысли.

И. Ф. Наживин заговорил о развращающем влиянии современной литературы.

— Я все эти дни думал, — сказал Лев Николаевич, — в нравственном состоянии людей произошло что-то. Эти ежедневные грабежи, подвернется мальчик, старуха — их убивают, и ничего, бегут себе дальше. Это что-то ужасное!.. Это одно, а с другой стороны — этот разврат.

И. Ф. Наживин возразил, что вместе с тем в настоящее время совершается серьезная внутренняя работа в народных массах. Лев Николаевич сейчас же согласился с этим и прибавил:

— Да, на одном конце эта развращенность, на другом — движение вперед, а середина, масса, остается такой же, как всегда.

*6 октября*

Вчера был М. М. Клечковский. Он говорил Льву Николаевичу о своем тяжелом положении: для того, чтобы содержать семью, он вынужден давать уроки, которым не придает важности и за которые получает жалованье из средств военного министерства. Лев Николаевич сказал ему, что у каждого человека есть эта дилемма.

— Нас сейчас тут четверо, — сказал Лев Николаевич (были еще я и Душан Петрович), — и я уверен, что у каждого из нас такая дилемма. Выход я вижу только в том, чтобы делать то, что сейчас, нынче, завтра требует от меня любовь.

Далее Лев Николаевич сказал, что если человек видит зло того дела, в котором он принимает участие, но не пре-

кращает своего участия в нем, то это доказывает то, что он только рассудочно сознает это зло, но ему недостает той полноты сознания, при которой принимать участие в том, что считаешь злом, становится уже невозможным.

По поводу отступлений от идеалов (о чем говорил Клечковский) Лев Николаевич сказал:

— Если бы я был вполне самоотвержен, то разве я мог бы есть не только этот виноград, этот мед, чай, — я бы хлеб не стал есть, я бы сейчас же умер с голода, раз я знаю, что кругом столько голодных. Но в том-то и дело, что вполне самоотверженным человек быть не может. Наше дело — не в том, чтобы быть безгрешными, а чтобы становиться менее и менее грешными. А это мы всегда можем.

За вечерним чаем вспоминали приезжавшего недавно шлиссельбуржца Н. А. Морозова.

— Он в общей сложности просидел двадцать восемь лет — сказал Клечковский.

— Вот относительно таких людей, — сказал Лев Николаевич, — мы принимаем в соображение их прошедшее. «Он двадцать восемь лет просидел», значит, это должно было оставить след на нем. Но мы не думаем, что у того, кто двадцать восемь лет прожил на воле, точно так же есть свое прошедшее, которое так тесно привело его к его теперешнему положению, что у него нет другого выхода.

*7 октября*

По поводу того, что рассказывали о случившемся на днях нечаянном самоубийстве мужика в ближней деревне и обычных причитаниях родственников умершего, Лев Николаевич сказал:

— Удивительна в русском народе эта некоторая театральность в выражениях печали, преувеличенность. Это и в письмах сказывается: «сердце мое обливается кровью»... Удивительно, как соединяется простота языка с этой театральностью.

*13 октября*

Вчера получено письмо от В. А. Молочникова, с 30 июня отбывающего по приговору Петербургской судебной палаты годичное заключение за распространение сочинений Толстого. Письмо, как и все его письма, очень интересное. Пишет об уголовных арестантах [234].

*15 октября*

Сегодня Лев Николаевич продиктовал мне предисловие к новому «Кругу чтения» [235]. То, что он продиктовал, — только лишь первоначальный, черновой набросок, который, несомненно, будет еще не раз подвергнут полной переработке, и, странно, Лев Николаевич стеснялся диктовать его. Обыкновенно, диктуя, он не говорит ни одного лишнего слова, сегодня же он много раз прерывал диктование разными вставными замечаниями, как, например: «тут можно повторить...», «прибавьте...», «повторим...», «можно так для разнообразия...», «тут уж просто...», «уж прямо будем говорить просто».

*17 октября*

Вчера вечером Лев Николаевич сказал В. Г. Черткову и повторил потом при всех домашних:

— Я чувствую, что я напрасно живу так долго. Репутация моя установилась такая, что она гораздо больше шла бы к умершему.

К слову, В. Г. Чертков сказал, что и в прежних своих сочинениях Лев Николаевич все тот же, какой он теперь. Лев Николаевич согласился с этим и прибавил:

— Это меня утверждает в мысли, что все уже есть... Вот он, — сказал Лев Николаевич, указывая на меня, — молодой человек, а в нем все уже есть, что будет после; он только себя не знает.

*20 октября*

Вчера был милый человек А. В. Ярцев, народник-семидесятник. Говорил о своих взглядах на общественную деятельность. Лев Николаевич, между прочим, сказал на его слова:

— Как много есть людей, уверенных в том, что они *помогают* людям, а они не дошли еще до того, чтобы *не мешать* людям.

Ярцев говорил о страданиях народа от голода. Лев Николаевич возразил, что страдания от голода менее мучительны, чем от болезней: ревматизма, рака и др. Вспомнил случай, о котором писала ему на днях знакомая помещица. Проезжая в шарабане на своих лошадях, она встретила крестьян из соседней деревни, и один из них

со злобой сказал: «Вот на таких бы лошадях нам пахать, а мы с утра не жрамши».

— Тут боль не в желудке, а в сердце. Тут озлобление, — прибавил Лев Николаевич, рассказав этот случай.

*23 октября*

Вчера приезжал студент-орловец. Поговорив с ним наедине, Лев Николаевич на прощанье посоветовал ему две вещи: первое — не заниматься философией, а второе — не думать о своем здоровье, «совсем забыть о нем», — сказал Лев Николаевич.

На письмо дамы, высказывавшей разные предположения о том, что бывает после смерти, Лев Николаевич написал на конверте следующий ответ: «О посмертной судьбе судить не имеем ни права, ни возможности, ни надобности».

*25 октября*

Сегодня Лев Николаевич сказал мне о «Круге чтения»:

— Короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного читателя самого думать. Мне этим некоторые мои длинные не нравятся: слишком в них все разжевано.

*3 ноября*

Вчера вечером у меня был со Львом Николаевичем разговор об осуждении. Лев Николаевич высказал старую, но далеко еще не усвоенную мною истину о том, что осуждать никого нельзя, потому что никто не может знать, что делается в душе другого человека.

Я возразил, что закон добра — один для всех людей, и нарушение его другим — такое же зло, как и нарушение его мною.

— Лучше об этом не думать, — сказал Лев Николаевич. — Вот этим хорошо художественное произведение, что оно раскрывает душу того, кого изображает, разворачивает всю его жизнь. Художественное произведение раскрывает именно то, что нет виноватых, что человек в том положении, в котором он находится, не мог поступить иначе... Хорошее в человеке мы не замечаем, мы думаем, что это так и должно, а плохое все замечаем...

*5 ноября*

Лев Николаевич закончил начатую около трех недель тому назад статью «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии». В этой статье, обращенной к сербскому

народу (вызвана она была письмом сербской девушки), Лев Николаевич предостерегает сербов от увлечения патриотизмом и вызываемых им приготовлений к войне с Австрией. Ему очень хочется, чтобы статья была скорее напечатана [236].

*6 ноября*

Вдова А. И. Эртеля через В. Г. Черткова обратилась ко Льву Николаевичу с просьбой написать предисловие к издаваемому ею собранию сочинений ее мужа. Желая исполнить ее просьбу, Лев Николаевич перечитывает теперь роман Эртеля «Гарденины». Вчера он со свойственным ему необыкновенным мастерством читал вслух некоторые места из этого романа и восхищался как верностью психологии, так и схваченной в нем силой и образностью народного языка.

— Теперь никто так не пишет, — сказал Лев Николаевич. — Теперешние писатели как Семенов, — они усваивают интеллигентный язык, а тот язык они забывают.

*7 ноября*

Вчера приезжал из Петербурга молодой человек, портной, главным образом для того, чтобы прочесть те книги Льва Николаевича, которых он не мог достать. Мне он отрекомендовался путешественником и сказал: «Много читал сочинений графа Толстого, хотелось бы лично посмотреть, как он выйдет на прогулку».

Поговорив с ним, Лев Николаевич вынес от него прекрасное впечатление.

— Вот как нельзя судить по лицам, — сказал он мне. — Лицо у него самое обыкновенное. А между тем в разговоре я от него не слышал ни одного несерьезного слова.

*9 ноября*

Сегодня в разговоре с С. Д. Николаевым о Генри Джордже Лев Николаевич сказал, что уничтожение земельной собственности есть дело справедливости.

— Справедливость же, — сказал он, — не есть нечто положительное, а отрицательное: справедливость есть отсутствие несправедливости. Положительная справедливость — это справедливость правительства: око за око...

Сегодня была женщина из Тулы, просила похлопотать о пособии от казны семье ее брата-рабочего, который, как

она рассказала, неделю тому назад, в воскресенье, 2-го, был убит в Туле городовым.

Лев Николаевич дал ей письмо к губернатору [237].

*10 ноября*

Лев Николаевич продолжает читать «Гардениных» и по-прежнему восхищается силой и образностью языка изображаемых лиц.

Ни у кого такого языка нет, — говорит он [238].

*11 ноября*

Вчера Михаил Львович с Александрой Львовной играли на двух фортепьянах народные песни. Лев Николаевич остался очень доволен и сказал:

— Эта простая музыка гораздо сильнее действует. Там, у композиторов, я должен делать усилия, чтобы понять, а эта сама входит в душу. Я N. хотел сказать, что его pianissimo слишком подслащены, чувствуется в них искусственность. А когда я вижу искусственность, я остаюсь холоден, музыка на меня не действует. Во всем важно чувство меры. Нужно найти ту точку, на которой это будет хорошо. И эта точка бесконечно малая.

— И лучше недоделать, чем переделать, — заметил М. С. Сухотин.

— Да, да, да, — согласился Лев Николаевич. — Потому что, если недоделано, то я сам дополню, а если переделано, то — шабаш.

*12 ноября*

Вчера был посетитель, который очень взволновал и растрогал Льва Николаевича. Вот как он сам вечером рассказывал В. Г. Черткову:

— Пришел старик и мне рассказывает этак комически его требование, что он поймал каких-то каторжников, и за это требует себе вознаграждение. Он — старшина бывший, и это вознаграждение дали не ему, а дали исправнику, и что вот он судится с министром двадцать лет, что его обидели. Я его позвал. Пришел высокий человек, здоровенный, в тулупе, хорошо одетый, — я стал его расспрашивать. Он рассказал, что бежали какие-то два каторжника, говорит, что за ними послали ловить их полторы тысячи человек, и никто не поймал, а он поймал. А вознаграждение дали не ему, а исправнику. Я говорю: да зачем вам вознаграждение? — Да как же, говорит, он пенсию полу-

чает. — Я говорю: да зачем же каторжников ловить, они несчастные люди, их жалеть надо, их бы покормить да отпустить. А вам сколько лет? — Семьдесят семь лет, говорит. — Я говорю: ну, нам с вами помирать скоро, надо о душе думать, а не об этом. — И, как это у меня часто бывает, — обман чувств: когда человек внимательно слушает, у него делается серьезное лицо, а мне кажется, что он сердится. Я говорю: «Что, много глупостей наболтал?» — и вдруг он... заплакал... *(сам плачет)*.

— Что же, значит, вы успокоили его? — спросил В. Г. Чертков.

— Да... Он так и сказал: как я рад, что приехал к вам. Теперь я спокоен... И потом Илье Васильевичу то же рассказывал.

*13 ноября*

Вчера Лев Николаевич прочитал мне из английской книги[239] мысль китайского буддиста о том, что, кроме нравственных истин о доброй жизни, ничто не может быть утверждаемо несомненно.

Вчера Лев Николаевич написал замечательное письмо о том, как и почему он восемнадцать лет тому назад распорядился своими правами собственности на имение.

Повод этого письма следующий. На днях в восьми наиболее распространенных столичных газетах появилось письмо Льва Николаевича от 30 октября, в котором он, побуждаемый желанием, как он говорит, избавить обращающихся к нему за денежной помощью лиц от «тяжелого чувства тщетного ожидания, разочарования и осуждения», снова заявляет о том, что он не располагает никакими средствами для оказания денежной помощи, так как «уже восемнадцать лет тому назад я по отношению к собственности поставил себя в такое положение, как будто я умер, то есть передал все, что считалось моим, тем, кому оно по закону должно было перейти после моей смерти»[240].

Это письмо вызвало письмо к нему лица, спрашивающего, не обманывает ли он себя, воображая, что, поступив дурно, поступил хорошо, и не вызван ли был его поступок передачи имущества семейным желанием избавиться от невыгод собственности, удержав ее выгоды.

На это письмо Лев Николаевич ответил следующее:

«Вопрос ваш поставлен так ясно и определенно, что мне хочется так же ясно и определенно ответить на него.

Отвечаю на второй вопрос: *«Не вызван ли был мой поступок передачи имущества семейным желанием избавиться от невыгод собственности и удержать ее выгоды?»* Ответ на этот вопрос отвечает и на первый: *«Не обманываю ли я себя, воображая, что, поступив дурно, поступаю хорошо?»*

Вы пишете: *«Согласитесь со мной, что если бы вы передали свое имущество беднякам, то вы были бы теперь лишены не только отрицательной, но и положительной стороны вашего капитала»*.

Во-первых, не говоря о трудности раздачи *беднякам* (каким? почему этим, а не тем?) имущества, вы забываете о том, что такая раздача должна была вызвать самые тяжелые, даже враждебные чувства ко мне восьми человек семейных, не разделяющих моих взглядов на собственность, воспитанных в довольстве, даже роскоши, и, с полным на это правом, рассчитывающих на получение после моей всякую минуту и, во всяком случае, скоро могущей наступить смерти свою долю наследства. Это во-первых.

Во-вторых, раздав то, что тогда составляло мое имущество, я не лишал себя *ни положительной, ни отрицательной стороны своего капитала,* то есть собственности. Раздав имущество, я мог удержать за собой право на вознаграждение за будущие литературные работы. А эти работы с того времени, как я отказался от вознаграждения, и до теперешнего, во всяком случае, давали бы мне возможность жить вне нужды и независимо от семьи. Потребности мои настолько ограничены, что, если бы я и не мог сам зарабатывать средства существования, друзья мои всегда дали бы мне возможность прожить вне нужды оставшиеся годы жизни. И потому жизнь моя с семьей никак не обусловлена моим желанием пользоваться теми скорее тяжелыми, чем желательными для меня условиями жизни, в смысле роскоши ее, в которых я живу.

Так что решение мое поступить восемнадцать лет тому назад по отношению моего имущества так, как будто я умер, решение, стоившее мне тогда тяжелой борьбы, никак не могло произойти от желания, обманув себя и людей, избавиться от невыгод обладания собственностью, удержав все ее выгоды, а от других более сложных причин, в справедливости признания которых судьею может быть только моя совесть» [241].

Но, как и раньше бывало несколько раз с письмами подобного содержания, Лев Николаевич, передав письмо

мне для отправки, вечером, когда оно было уже запечатано, сказал, что не нужно посылать его. Он решил последовать своему любимому правилу: «Никогда не оправдываться».

*18 ноября*

Вчера вечером, перед сном, у меня был разговор со Львом Николаевичем.

На мой вопрос, продолжает ли Лев Николаевич теперь думать то же, что он писал двадцать пять лет тому назад в книге «В чем моя вера», что семья есть одно из несомненных условий счастья, — он решительно ответил:

— Нет, теперь я прямо отрекаюсь от этого.

*20 ноября*

Лев Николаевич прочел присланный ему переводчиком П. Пороховщиковым только что вышедший в свет перевод диалога Шопенгауэра «О религии» — извлечение из его книги «Parerga und Paralipomena», и очень одобрил эту книжку [242].

— В ней собраны, — сказал он, — все самые сильные доводы, какие можно сказать против религии и какие можно сказать в пользу ее.

*22 ноября*

Вчера для выяснения вопроса об открытии в деревне Ясная Поляна народной библиотеки-читальни [243] приехали: князь П. Д. Долгоруков, профессор Д. Н. Анучин и член правления «Общества грамотности» Е. А. Звегинцев.

Почти с первых же слов Лев Николаевич заговорил с профессором Анучиным о современной науке. Он сказал, что для того, чтобы приобретение знаний имело смысл, нужно знать, какие именно знания полезны.

— Да как это знать? — возразил Д. Н. Анучин. — Я не знаю, какие знания полезны. Сначала оно кажется бесполезным, а там, глядишь, оказывается полезно.

— Вся мудрость человеческая, — ответил Лев Николаевич, — в том и состоит, чтобы определить, что́ нужнее всего человеку знать.

Д. Н. Анучин стал защищать современное направление науки. Он говорил о Дарвине, о развитии организмов, о научном методе восхождения от сложного к простому и пр. Против этого метода Лев Николаевич возразил:

— Простота — это признак невежества. Мужику солнце кажется простым, а для ученого оно в высшей степени

сложно. Жизнь клеточки — она в высшей степени сложна. Она только *мне* кажется очень простой.

Анучин. Да отправления-то ее все очень просты.

Лев Николаевич. Для *меня*!

Далее Лев Николаевич говорил о том, что он считает признаком ложности направления современной науки то, что есть всевозможные науки, но нет самой нужной науки — о религиях. Д. Н. Анучин возразил, что такая наука есть: это — история религии, она изучает происхождение и развитие религий. Лев Николаевич сказал, что это не то, что нужно.

— Нужно, — сказал Лев Николаевич, — сравнить все религии и выбрать из них то, что в них есть во всех общего, это и будет истина. А знать о происхождении и развитии этой истины мне совсем не нужно. Вот я читаю с мальчиками Евангелие, и никто из них никогда не спросит, как появилось учение о том, чтобы не гневаться, не прелюбодействовать, не клясться... Вы едите обед, вам дела нет до того, как произошел этот обед, вам дело только до того, вкусен ли этот обед[244].

После делового совещания об устройстве библиотеки Лев Николаевич заговорил о земельном вопросе.

— Я удивляюсь, — сказал он, — как никто не поднимает этого вопроса. Ведь из одного тщеславия можно было бы, например, в Думе заговорить об этом. Я не говорю уже о том, что вся революция держится недовольством крестьян, а недовольство крестьян прекратилось бы, если бы разрешить земельный вопрос.

Как на лучший способ разрешения земельного вопроса Лев Николаевич указал на проект Генри Джорджа. Лев Львович возразил:

— Проект Генри Джорджа возник в Америке, и американцы, несмотря на всю свою практичность, до сих пор не осуществили его. Из этого следует, что осуществление его на практике очень трудно. И это понятно, потому что разрешение земельного вопроса связано с разрушением капиталистического строя.

— В твоих словах, — возразил Лев Николаевич, — я слышу только ту же привычку жить чужим умом. Раз в Америке нет, то и нигде не может быть... Вот теперь я читаю в газетах, заседания в Думе — все капелька в капельку, как за границей. Там так, и у нас должно быть так... Я пережил освобождение крестьян, и все те возражения, которые теперь делаются против уничтожения

земельной собственности, тогда делались против освобождения крестьян. Все точь-в-точь то же самое.

— Не скоро это будет, — сказал Д. Н. Анучин. — Мы не доживем. И не только мы, старики, но и они (он показал на нас) не доживут.

— Что вы, — возразил Лев Николаевич. — Вы доживете, — обратился он к Звегинцеву, — непременно доживете.

*23 ноября*

Лев Николаевич продолжает читать «Гардениных». Вчера за завтраком он сказал В. Г. Черткову:

— Кто-то высчитал, что у Шекспира, кажется, наибольшее количество слов. Я думаю, что если бы у Эртеля подсчитать, то было бы самое большое. Так и сыплет. Он знает народ и любит его.

*24 ноября*

На днях за завтраком М. С. Сухотин, держа в руках «Новое время», спросил у Льва Николаевича:

— Читали, Лев Николаевич, как Гермоген вас отделал?

— Нет, — ответил Лев Николаевич.

М. С. Сухотин прочел вслух приведенное в газете начало недавней статьи Гермогена, епископа саратовского:

«Окаянный, презирающий Россию Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта» и пр. [245]

Лев Николаевич добродушно смеялся, слушая этот поток брани.

*25 ноября*

Вот тронувшее Льва Николаевича (недавно им прочитанное) место из письма А. И. Эртеля, в котором он передает те мысли, которые являлись у него в тюрьме: [246]

«Подумать, что вот скоро смерть, а как прошла жизнь? И что почему мне не приходило в голову, как коротка жизнь, и как много уходит времени на пустяки и на зло? Я помню, что рядом с этими мыслями во мне произошел тогда необыкновенный подъем чувства любви к людям, явилось страстное желание со всеми примириться, всех

простить, со всеми жить в любви и в мире, потому что жизнь так коротка и так много растрачивается сил на ненужную злобу и на ненужную вражду».

*26 ноября*

Вчера вечером М. В. Булыгин сказал Льву Николаевичу, что он теперь перечитывает Лескова и находит у него очень много для себя интересного и поучительного.

Особенно интересны показались ему те романы Лескова, в которых действующими лицами являются революционеры. Он напомнил Льву Николаевичу содержание некоторых из них. Лев Николаевич по этому поводу сказал:

— Вы вот читаете Лескова, — а я перечитываю Эртеля. Он гораздо талантливее Лескова, но у него гораздо меньше любви к народу, чем у Лескова. Он даже презирает народ. В художественном произведении видно отношение автора. В статье это можно скрыть, а здесь все выходит наружу...

*27 ноября*

Вчера М. С. Сухотин сказал Льву Николаевичу, что он только что прочел юбилейную статью Короленко о нем в «Русском богатстве», в которой говорится, что он мало внимания уделял интеллигенции[247]. Лев Николаевич согласился, что это так, и прибавил:

— Мне всегда «Современник», Чернышевский, Михайловский были антипатичны[248]. Отчего это? Ведь не за либерализм их; перед Герценом я всегда преклонялся. А тут какая-то серединность, половинчатость...

*29 ноября*

Вчера за обедом П. И. Бирюков рассказал о новой науке «педологии», занимающейся, между прочим, тем, что над детьми делаются различные опыты, как, например, им дается уксус, и смотрят, какую гримасу они сделают, и т. п. Лев Николаевич сказал об этом приеме:

— Хотят без усилия мысли и даже без ума достигнуть тех результатов, которые достигаются умом.

Вечером был разговор о религиях и об извращениях их.

— Ни в одной области, — сказал Лев Николаевич, — нет таких ужасающих бессмыслиц, как в самой важной — в области веры.

*30 ноября*

Недавно получено Львом Николаевичем интересное письмо от училищного сторожа из Астрахани. Он пишет, что прочитал в местной черносотенной газете статью «Старый лицемер», в которой бранят Льва Николаевича за его последнее, напечатанное в газетах письмо о том, что он не может помогать материально, и написал ответ на эту статью, который предложил напечатать другой местной газете. Газета не приняла ответ, потому что автор ругательной статьи, он же председатель местного отдела «Союза русского народа», — видное лицо в городе. Ответ полуграмотного сторожа на клеветническую статью образованного господина написан очень умно и ядовито. Привожу выдержку с сохранением орфографии:

«Ты желаешь, чтобы Л. Николаевич всем помогал, никому не отказывал. Умна твоя голова или как моя? Если роздать 50 тысяч по бедным, на другой день рубля ни у кого не будет, они будут все в казенных винных лавках, да в магазинах. А беднота будет та же. Ведь тут не одному Л. Николаевичу надо помогать то, а всему свету. Человеку-то надо прежде всего дать духовную помощь, а не денежную. А ты вон какую даешь проповедь — оскорблять людей. Ты сколько оскорбил людей на этом гадком листочке. А граф Л. Николаевич-батюшка всю жизнь свою учит любить друг друга. Лев Николаевич отдал свое имущество по закону. По тому закону, по правде своей он отдал детям и сказал слова правды. У них есть глаза, пусть видят, как отец поступил. А ни силой у одних отнять, а другим отдать».

Не добившись, чтобы письмо напечатали, пишет он далее, «я написал ему такое же и отослал почтой, пусть один читает» [249].

Вот еще одно интересное письмо, полученное недавно и понравившееся Льву Николаевичу своей оригинальностью (привожу также с сохранением орфографии):

«Многолюбящий мир дедушка Лев Николаевич, ты один указываешь свет а тысячи людей его загораживают и показывают вместо света тьму. Ты как щепка в морских волнах; щепка в морских волнах не справится с своей силой, так и ты несправишься с тьмой.

Поступают к тебе письма с прозьбой о помощи, пошлешь 5—10 рублей, все равно он изних пошлет Ивану Кронштатскому 3 рубля и скажет что это мне бог дал. С панятьем человек будит доволен тем что показываеш нам

свет. А Астальное мы должны искать сами. Сечас тебя ругают А современем будут натебя молится и будут обирать тобой народ так же как и Исусом. Хотя легко по и трудно жить людям твоего убиждения.

*Христианин Пензенской Губернии»*[250].

— По-видимому, он ни в какие суеверия не верит, — сказал Лев Николаевич об авторе этого письма.

*2 декабря*

Вчера вечером был разговор о декадентстве.

— Вот этот студент, — сказал Лев Николаевич, — который тут будет жить (гувернер внука Льва Николаевича), я постараюсь с ним не спорить, — он, — вот Софья Андреевна рассказывает, — прямо говорит, что «что ж, декадентство? Декадентство — это исторический факт, — раз оно существует, оно необходимо». Это поразительно! Раз оно существует среди пятнадцати тысяч, то оно необходимо для всех ста пятидесяти миллионов!..

М. В. Булыгин прочитал отрывок из декадентского стихотворения, которым восхищается живущий у него студент.

— Какая смелость в употреблении образов! — сказал Лев Николаевич, — это лишает слова их значения.

*5 декабря*

Вчера снова требовали меня в Тульское жандармское управление. Об этом объявил мне третьего дня урядник. Это было поводом для Льва Николаевича высказать свое мнение относительно недавнего случая с графом Бобринским, который, говоря речь в публичном собрании, был остановлен квартальным.

— Квартальный приказал, — сказал Лев Николаевич, — и он замолчал. Я замолчу только тогда, когда зажмут мне рот... Это с вашим братом еще можно бы было, а если бы с Бобринским это сделали, то об этом заговорила бы вся Россия...

Утром перед отъездом в Тулу я зашел ко Льву Николаевичу проститься.

— Я только что о вас думал, — сказал он мне. — Главное то, чтобы думать только о себе, а не о воздействии на этих людей.

В жандармском управлении мне предложили еще несколько вопросов по тому же самому делу, по которому

вызывали и раньше, на которые я, как и в первый раз, отказался давать какие-либо объяснения. Мне объявили, что следствие по моему делу почти закончено, и опять оставили меня на свободе.

*8 декабря*

На днях Лев Николаевич поручил мне написать от его имени для напечатания в газетах письмо о петербургском книгоиздательстве «Ясная Поляна», издающем его сочинения. (Многие думают, что в этом издательстве участвует он сам, и обращаются к нему с письмами, касающимися этого издательства.)

Лев Николаевич исправил мое письмо, и из него получилось следующее:

«Милостивый государь, господин Редактор!

За последние два года я часто получаю от незнакомых мне лиц письма, касающиеся книгоиздательства «Ясная Поляна». В письмах этих по большей части выражаются жалобы на неисполнение чего-то этим издательством или же делаются какие-то заказы. А между тем я не только не имею никакого отношения к этой редакции, но не знаю, в чем состоит ее деятельность и кто ее составляет. И потому прошу всех, имеющих дело до редакции «Ясной Поляны», обращаться к ней, а не ко мне, со своими требованиями или упреками» [251].

*10 декабря*

Сегодня получено письмо с выражением недоумения по поводу одного места в последнем письме Льва Николаевича, напечатанном в газетах. Автор, видящий в Толстом то, что он есть, недоумевает, почему Лев Николаевич, отрицательно относящийся ко всем государственным учреждениям, в письме этом говорит, что он передал имущество тем, кому оно должно перейти *по закону*. Лев Николаевич написал на конверте этого письма:

«Закон для тех, кто на основании его рассчитывал на получение. Меня же побудил поступить так не закон, а желание не огорчить» [252].

*12 декабря*

И вчера и сегодня Лев Николаевич перечитывал статью Пругавина о Сютаеве [253]. Сегодня, читая привезенную из Тулы почту, он сказал мне:

— Я весь полон Сютаевым. Вот истинное просвещение!.. Безграмотный, а все знает. Все, что я пишу теперь, это дурным языком пересказываю то, что у него сказано ясно... Немного он не освободился от некоторых суеверий...

*14 декабря*

Вчера был С. Д. Николаев. Говорили о Генри Джордже. Лев Николаевич сказал приблизительно так:

— Для меня Джордж был прямо откровением, потому что он уяснил мне то, что я только смутно чувствовал, а он показал мне это с математической точностью. Он ясно показал мне тот минимум, который надо соблюдать, несоблюдение которого есть прямо нарушение требований справедливости. Вы совершенно верно говорите, что многие обманываются этими высокими требованиями христианства и не исполняют требований самой первой справедливости: жертвуют деньги на благотворительные заведения, не замечая того, что они грабят народ. И в разоблачении этого — очень большая заслуга Джорджа.

*15 декабря*

Вчера за обедом Лев Николаевич сказал, что прочел в газете, как молодые художники критиковали старых: Репина, Айвазовского и других [254].

— И их-то, — сказал Лев Николаевич про старых художников, — искусство не было особенно содержательно, а они хотят, чтобы оно было еще бессмысленнее, еще бессодержательнее, еще развратнее.

*16 декабря*

Вчера у меня был урядник с объявлением постановления тульской администрации о запрещении мне выезда из Ясной Поляны. Когда я рассказал об этом Льву Николаевичу, он сказал:

— Я вчера думал: что бы мне такое сделать — начать ругать царя самыми скверными ругательствами, чтобы они наконец взялись за меня...

Я засмеялся и сказал, что и это едва ли подействует.

— Помните, Лев Николаевич, — сказал я, — как Михаил Сергеевич говорил, что, если бы вы совершили террористический акт, тогда еще можно было бы спорить, взяли бы вас или нет, а за статьи, чтó бы вы ни писали, вас не будут преследовать.

— А главное, — продолжал Лев Николаевич, — вчера у меня печень болела, а то ведь и этого я не могу сделать. Мне дается carte blanche их ругать, но было бы очень дурно, если бы я ею воспользовался.

*19 декабря*

Вчера приезжала З. М. Гагина, у которой тяжелое горе: ее племянник в ее доме лишил себя жизни, выстрелив себе из ружья в рот. Бедняжка с субботы, когда это случилось (вчера был четверг), ничего не ела. У нас попросила кофею и не допила одной чашки. Приезжала ко Льву Николаевичу за утешением и поддержкой. Лев Николаевич долго беседовал с нею в кабинете один на один.

Когда она уехала, Лев Николаевич сообщил мне в коротких словах об ее горе и прибавил:

— Какое это у вас, молодых (вы-то еще постарше), непонимание жизни и вследствие этого пренебрежение к ней...

Разговаривая со Львом Николаевичем, З. М. Гагина увидала в гостиной кучу книжек и, заинтересовавшись ими, стала просматривать.

— Все революционные, — сказала она.

— Да, — ответил Лев Николаевич, — это я читаю для своей предполагаемой работы. Я уже писал: «Не могу молчать»; теперь хочу опять то же самое сказать: не могу и не могу молчать, буду кричать [255].

З. М. Гагина говорила о недавно прочитанной ею статье Льва Николаевича «Требование любви» [256]. Она сказала, что ее пугает и кажется ей недостижимой та крайняя степень самоотречения, которая проповедуется в этой статье. Лев Николаевич сказал на это:

— Это-то не трудно, а вот что трудно: когда сталкиваются разные любви, например, любовь к своим близким и к своей душе, вот что трудно...

Об этом самом, о том, как поступать в тех случаях, когда сталкиваются разные любви, Лев Николаевич написал на днях большое письмо [257].

*20 декабря*

Вчера за обедом был разговор о пьянстве. Душан Петрович сказал, что он прочитал в газете, что, по данным московской противоалкогольной выставки, в одной Москве и Московской губернии пропивается в год тридцать восемь миллионов рублей.



С. И. Танеев. 1890-е годы.
Фотография С. А. Толстой



С. А. Толстая и Т. А. Кузминская
в яснополянском парке.
1900-е годы. Фотография С. А. Толстой

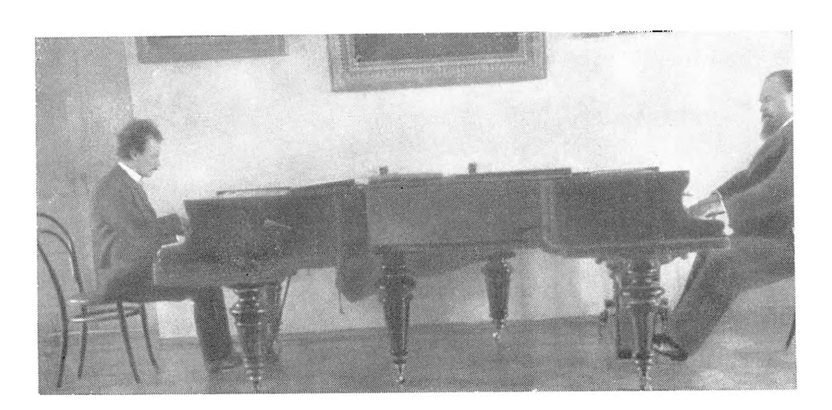
Т. А. Кузминская. 1900-е годы.
Фотография С. А. Толстой



А. Б. Гольденвейзер.
Начало 1900-х годов. Москва.
Фотография Бенделя.
Снимок с автографом:
«Дому Льва Николаевича
Толстого
от еще живого...
А. Гольденвейзера.
12.1.34. Москва»

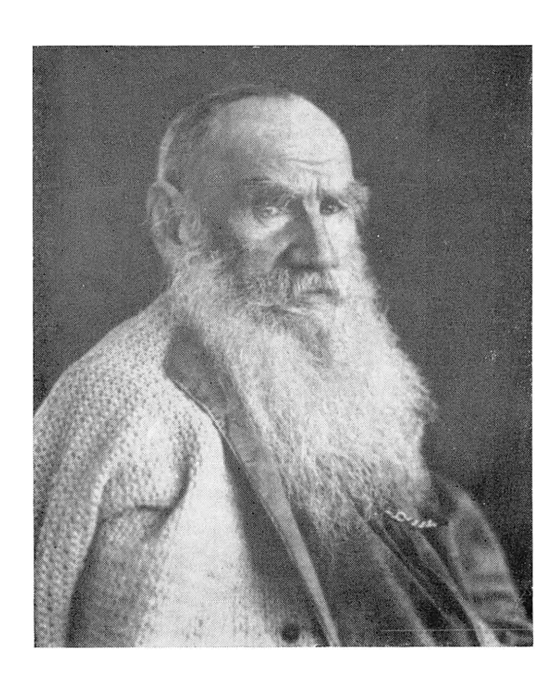


А. Б. Гольденвейзер и С. И. Танеев.
Ясная Поляна. Февраль 1906 г.
Фотография С. А. Толстой



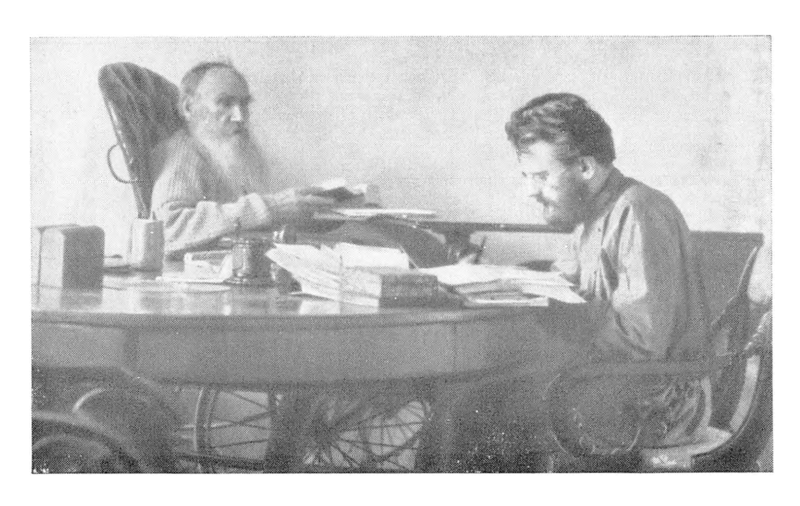


Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. 12 сентября 1901 г.
Крым. Гаспра. Фотография С. А. Толстой



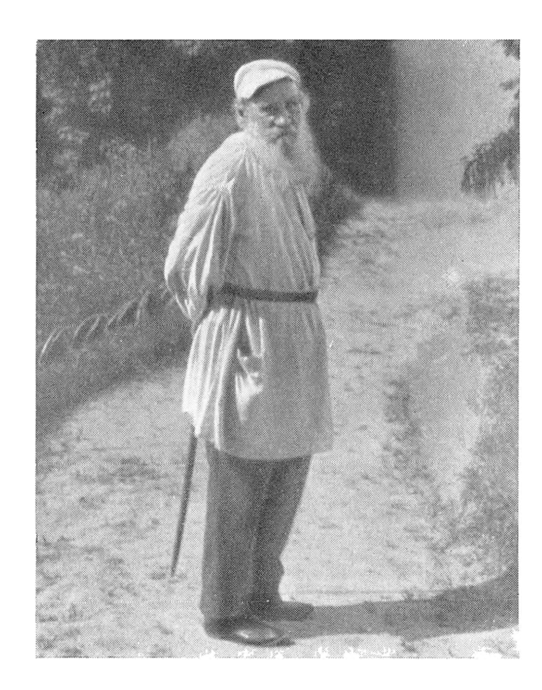
Л. Н. Толстой. Июль 1907 г.
Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова

Л. Н. Толстой и Н. Н. Гусев за работой.
27 августа 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова



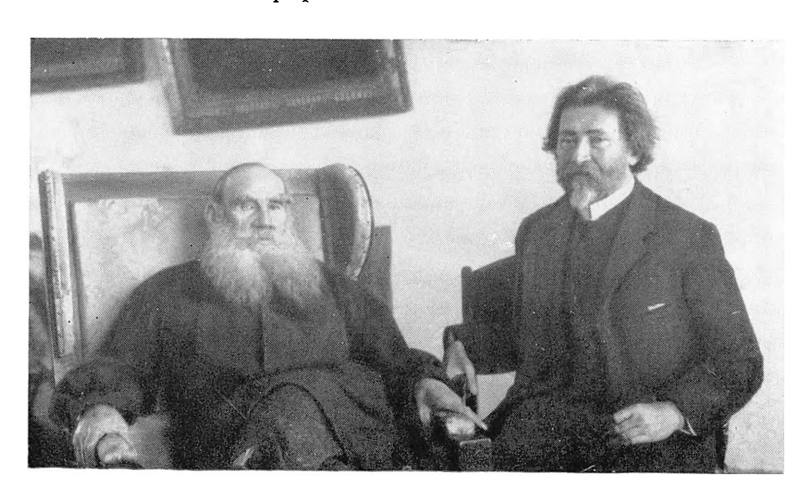


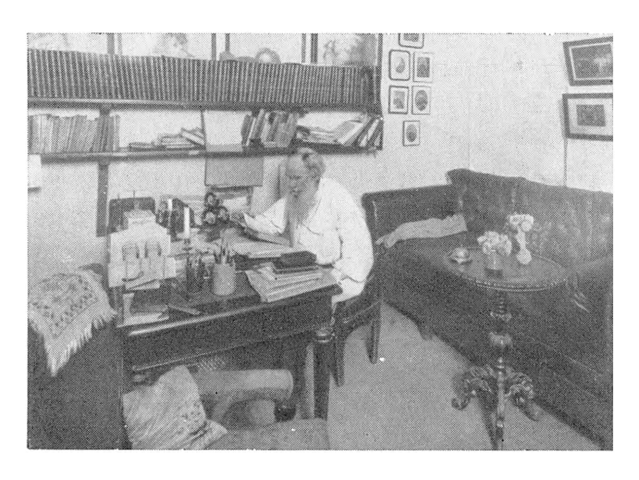
Л. Н. Толстой на прогулке. Лето 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова



Л. Н. Толстой. 7 июля 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография К. К. Буллы

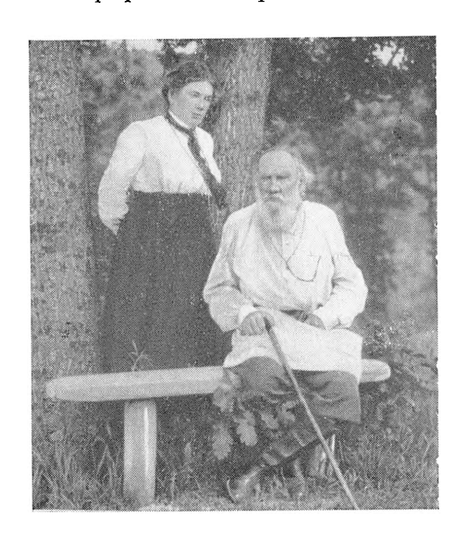
Л. Н. Толстой и И. Е. Репин. 17 декабря 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой

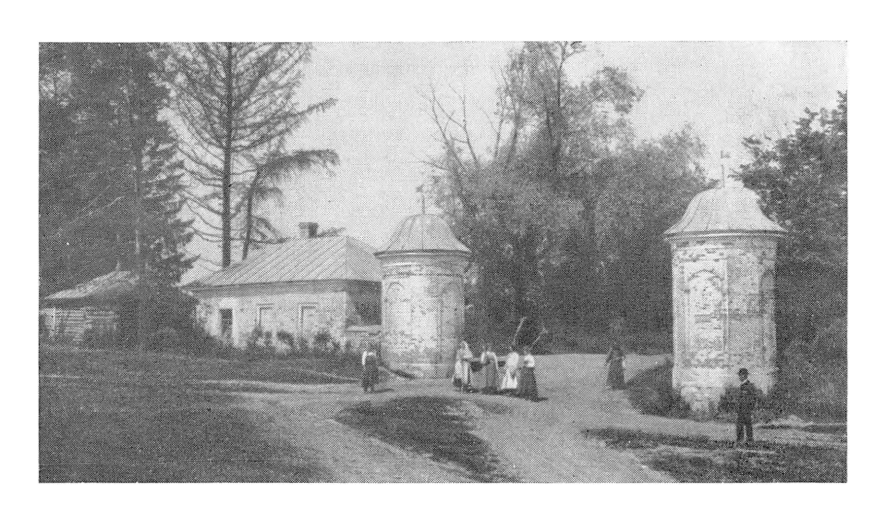




Л. Н. Толстой в своем кабинете. 7 июля 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография К. К. Буллы

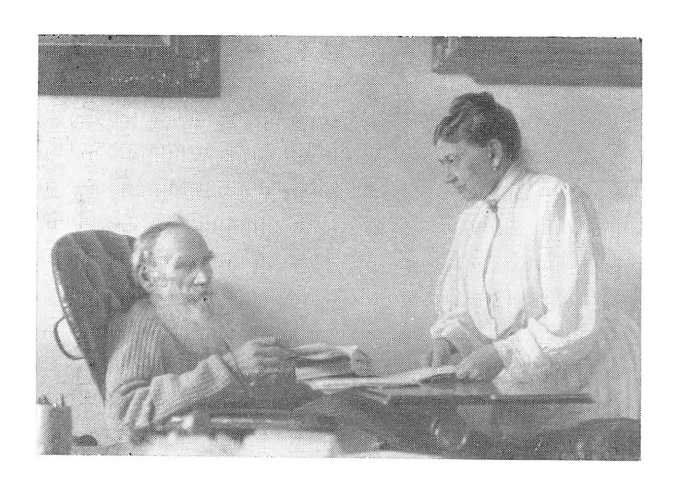
Л. Н. Толстой и Т. Л. Сухотина-Толстая
20 мая 1910 г. Затишье.
Фотография В. Г. Черткова





Ясная Поляна. Въезд в усадьбу Л. Н. Толстого.
1908 г. Фотография К. К. Буллы

Дом Л. Н. Толстого. Июль 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография К. К. Буллы



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 27 августа 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова

Л. Н. Толстой в кругу родных.
8 июля 1908 г. Ясная Поляна.
Фотография К. К. Буллы.
Первый ряд, слева направо:
Е. В. Оболенская, Т. Л. Сухотина-Толстая, Л. Н. Толстой,
Т. М. Толстая, С. А. Толстая, И. М. Толстой;
второй ряд, слева направо:
А. Л. Толстая, М. Л. Толстой, М. С. Сухотин, А. Л. Толстой

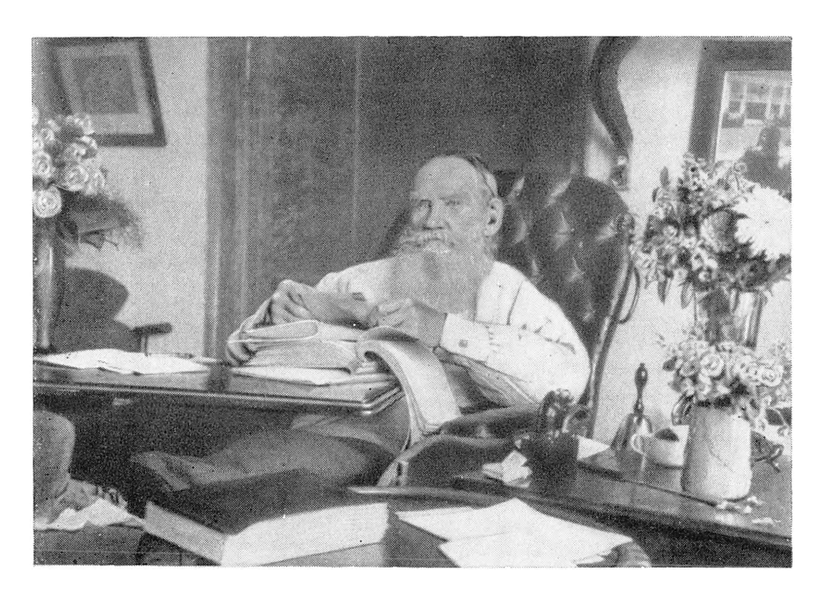




Л. Н. Толстой среди крестьян. Сентябрь 1909 г.
Крекшино. Фотография В. Г. Черткова

Л. Н. Толстой у реки Воронка.
1908 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова

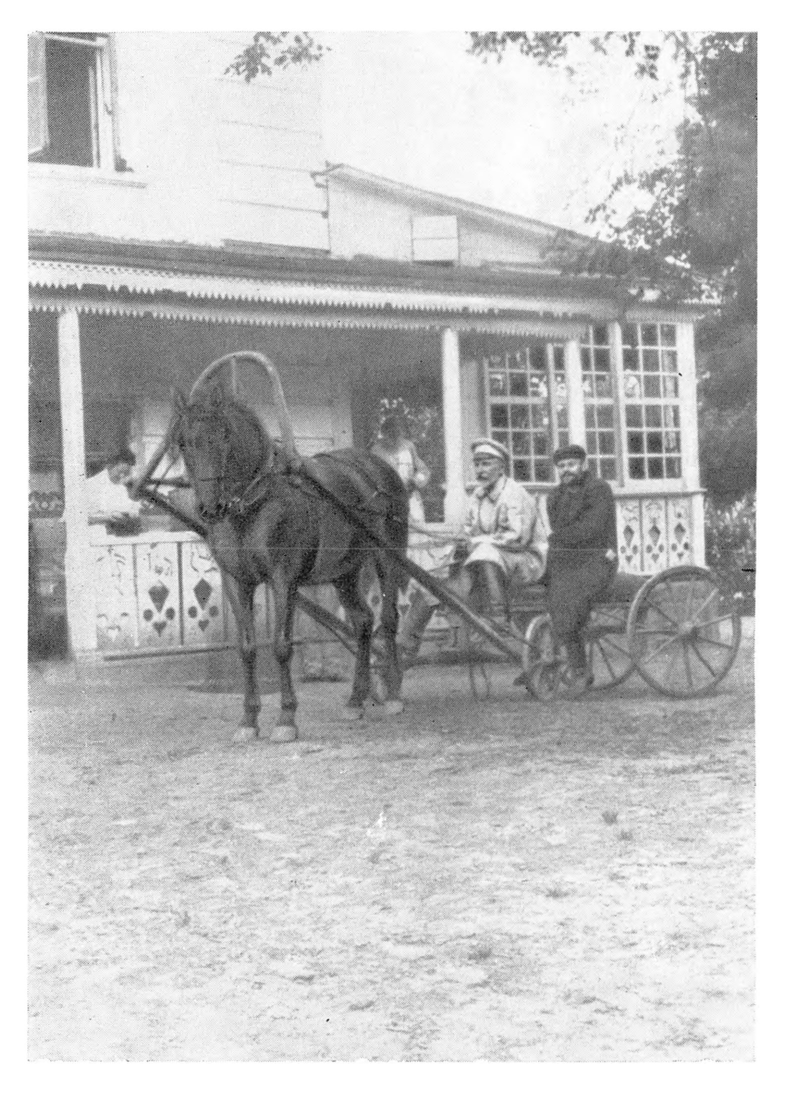




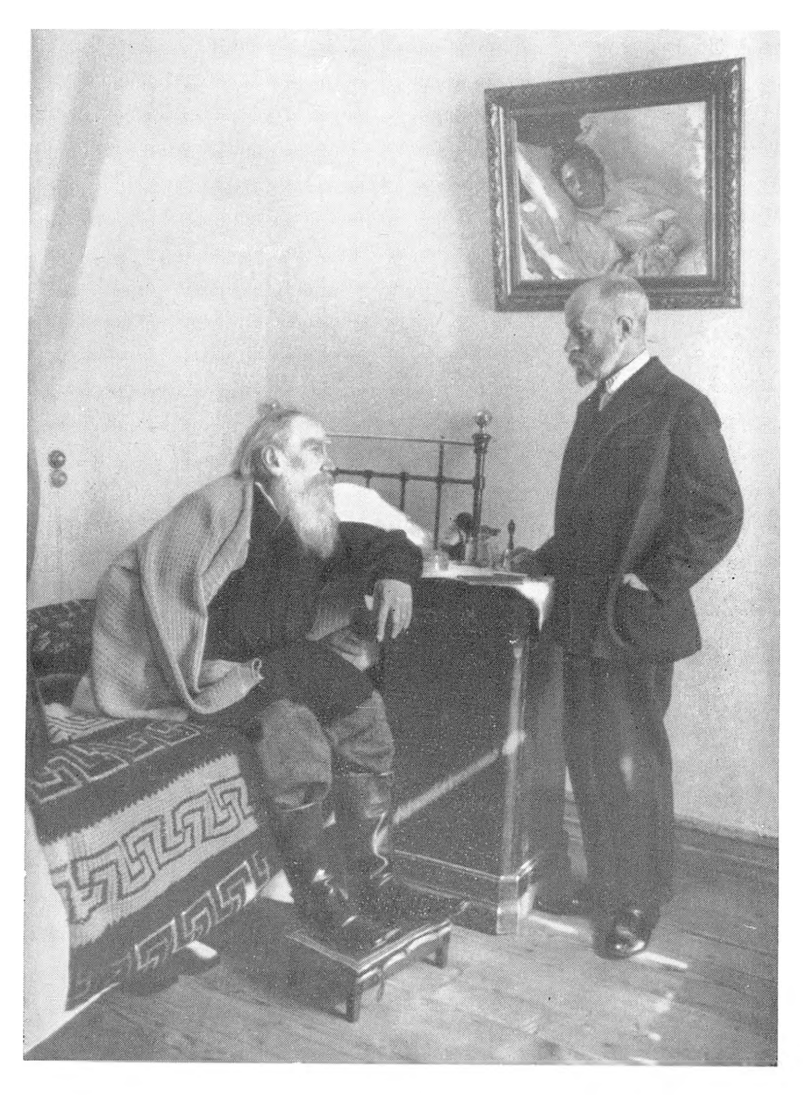
Л. Н. Толстой в своем кабинете. 28 августа 1908 г.
Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой...



Л. Н. Толстой и И. И. Мечников. 30 мая 1909 г.
Ясная Поляна. Фотография С. Г. Смирнова



Отъезд Н. Н. Гусева в ссылку 8 августа 1909 г.
Ясная Поляна. Рядом с Н. Н. Гусевым — урядник.
На крыльце Л. Н. Толстой и М. А. Маклакова.
Фотография А. Л. Толстой



Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий в спальне Толстого.
27 марта 1909 г. Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова



Л. Н. Толстой и А. Б. Гольденвейзер
(лошадь держит под уздцы М. Зайцев).
1909 г. Фотография В. Г. Черткова

Лев Николаевич сказал на это:

— Я хотя и всегда радуюсь, когда перестают пить, но осуждать не поднимается рука. Ведь это представить себе, в этой дудке[258], про которую вы, Душан Петрович, рассказываете, он проводит полжизни. (Душан Петрович только что вернулся из деревни, куда его приглашали к рабочему, на которого во время работы упал кусок руды весом в четыре-пять пудов и сильно поранил ему голову.) Для них, — продолжал Лев Николаевич, — водка заменяет все наши (обращаясь к Софье Андреевне) концерты, театры...

— Весь дурман, — пояснила Софья Андреевна.

Сегодня вечером должен приехать от Эдисона англичанин с фонографом, в который он просил Льва Николаевича сказать что-нибудь[259]. Лев Николаевич согласился на это, чтобы отблагодарить Эдисона за подаренный им прошлою зимою фонограф для диктования писем. Сегодня он просматривал, для того чтобы выбрать что-нибудь для фонографа, французские переводы некоторых своих статей, между прочим, статей 1880-х годов, и сказал мне:

— Тут многое есть такое, чего бы я теперь не подписал.

— Что, например? — спросил я.

— Исключительное отношение к Христу, к Евангелию...

Мне вспомнилось, как минувшим летом, во время наших занятий «Кругом чтения», Лев Николаевич однажды сказал мне:

— Я перед смертью стал смелее отступать от исключительности христианства.

*21 декабря*

Вчера вечером Лев Николаевич, читая полученное письмо, взволнованный вышел в столовую и попросил меня найти номер «Нового времени» от 18 декабря. Когда я нашел и подал ему, он отыскал в этом номере статью «Заметки» А. Столыпина и попросил меня прочесть ее вслух. В этой статье говорится о том, что напрасно думают, что Христос запретил смертную казнь: он не только не запретил, но узаконил ее. Эту мысль автор статьи доказывает текстами из Евангелия.

Оказалось, что Лев Николаевич получил письмо от петербургского студента с вырезкой этой статьи. Студент спрашивает, что́ Лев Николаевич о ней думает [260].

Все так же взволнованный, Лев Николаевич ушел к себе и написал письмо и студенту, и автору статьи [261]. А сегодня утром, возвратясь с прогулки, продиктовал мне начало новой статьи, вызванной заметкой «Нового времени» [262].

Видно, что заметка эта заставила его сильно страдать.

*31 декабря*

Сегодня после обеда М. А. Маклакова рассказывала со слов знакомого ей депутата Думы Дмовского (поляка) о том, какие притеснения испытывают поляки в Польше: как вытесняется в школах польский язык и насильственно заменяется русским, как принуждают детей ходить в православные церкви, как восстанавливают детей против родителей на том основании, что они поляки, и пр. Она сказала, что Дмовский не раз говорил об этом в Думе.

Лев Николаевич сказал, что говорить публично о таких вещах — ниже человеческого достоинства.

— А послушали бы вы, — возразила М. А. Маклакова, — какой шум и крик поднимают правые, когда он об этом говорит.

— В таком случае, — сказал Лев Николаевич, — вовсе не надо туда обращаться. Тут может быть только один из двух путей: или бомбы, или любовь.

Д. П. Маковицкий сказал, что несомненно то, что полякам в скором времени будут даны через Думу все политические права, что это только вопрос времени.

— Я думаю, — возразил Лев Николаевич, — что мы накануне огромного переворота, в котором Дума не будет играть никакой роли.

М. А. Маклакова рассказала далее о том, что Дмовский и его единомышленники добиваются через Думу введения в Польше земства. Лев Николаевич сказал:

— При таком попрании самых элементарных человеческих прав, какой же может быть вопрос о земстве? И кроме того, если хочешь бороться с каким-нибудь злом, то нужно бороться с его причиной. А причина это — русское государство.

# 1909 год



*1 января*

Сегодня Лев Николаевич перечитывал Андреева «Рассказ о семи повешенных» и возмущался, как и при первом чтении летом прошлого года [1].

— Такие темы, как свидание приговоренного с матерью, за которые и большой писатель не сразу взялся бы, и прямо набор слов, самый смелый, бессовестный... Я недавно перечитывал Эртеля «Гардениных», так это перед Андреевым шедевр... И у него есть кое-что, он мог бы писать, но прямо литературная невоспитанность... [2]

*2 января*

Сегодня Лев Николаевич закончил статью «Христианство и смертная казнь», вызванную заметкой А. Столыпина в «Новом времени». В конце статьи он говорит: «Положение теперешнего христианского человечества ужасно. Одно утешение — то что оно так ужасно, что не может дольше продолжаться» [3].

Читая это, я вспомнил, как еще, кажется, в 1907 году, когда кто-то из домашних рассказывал подробности какого-то зверского убийства, Лев Николаевич, все время внимательно слушавший, под конец рассказа вдруг сказал:

— Это мне очень нравится.

Я не мог понять эти слова иначе, как в ироническом смысле.

— Это мне очень нравится, — повторил опять Лев Николаевич.

Никто, как и я, не понял его слов.

— Нравится тем, — пояснил Лев Николаевич, — что показывает то, что благодаря отсутствию религии, люди дошли до такого состояния, которое дольше не может продолжаться. Дальше идти уже некуда.

*3 января*

Вчера В. Г. Чертков дал Льву Николаевичу прочитать полученное им из Полтавы письмо о совершенной там недавно смертной казни. Ужасные подробности, описываемые в письме, заставили Льва Николаевича содрогнуться.

Вечером Лев Николаевич просматривал новую книжку журнала «Весы» [4]. Прочитав вслух несколько отрывков, он закрыл книгу и сказал:

— Сегодня мне Чертков дал письмо из Полтавы о смертной казни, как вешали двоих, отца и сына. Отец упирался, хватался за решетки, визжал... А тут — «Весы»... Я умру, а вы увидите...

— Что увидите? — спросил Андрей Львович.

— Как все распадется, вся жизнь...

*5 января*

Вчера приезжал священник Ф. Горбаневский, «депутат от группы священников города Москвы», как он отрекомендовал себя. Он состоит законоучителем в нескольких гимназиях. Приехал он затем, чтобы выразить от своего лица и от лица избравшей его группы священников привет и благодарность Льву Николаевичу.

Перед самым отправлением Льва Николаевича на предобеденную прогулку приехал В. Г. Чертков с литератором М. О. Гершензоном. М. О. Гершензон сказал Льву Николаевичу, что хотел бы задать ему некоторые «метафизические вопросы».

— Слово-то уж очень страшное: метафизические, — сказал Лев Николаевич.

Главный «метафизический» вопрос, предложенный Гершензоном, состоял в том: как доказать то, что бог есть любовь? [5] Лев Николаевич ответил, что это есть основа, как же ее можно доказывать?

— То, что люди называют богом, это есть любовь. Я сознаю эту любовь в себе и из общения с людьми заключаю, что и в них в каждом есть это же свойство, — сказал Лев Николаевич.

— Почему же тогда сказано: люби бога и ближнего? Не достаточно ли бы было сказать: люби ближнего? — спросил Гершензон.

— Потому что в человеке это свойство всегда бывает загромождено, загажено; это же самое начало в чистом виде, без всякого загромождения, мы называем богом, — ответил Лев Николаевич.

За обедом Лев Николаевич заговорил о современных писателях.

— Горький, Андреев... — сказал он. — Я стараюсь найти в них хорошее, но прямо не могу их читать. Эта литературная невоспитанность, неряшливость, ничего не читали, ничего не знают... Нас отучили новые писатели от порядочности и добросовестности писания.

После обеда священник рассказывал много интересного из жизни духовенства. Об известном царицынском монахе Илиодоре он сказал, что он сильно пьет.

— Это признак искренности, — сказал Лев Николаевич.

— Не есть ли это, наоборот, признак того, что человек заглушает в себе сознание истины? — спросил я.

— Значит, есть что заглушать, — ответил Лев Николаевич. — Самые страшные люди — это холодные, расчетливые, самоуверенные эгоисты.

*8 января*

Вчера В. Г. Чертков дал Льву Николаевичу перечесть стихотворение Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин». Лев Николаевич после обеда прочел вслух некоторые места из этого стихотворения и остался им очень недоволен.

— Вы не любите стихов? — спросила гостья, г-жа Философова.

— Нет, — ответил Лев Николаевич, — кроме самых больших талантов, как Пушкин, Тютчев. У Пушкина не чувствуешь стиха; несмотря на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать; а здесь я чувствую, что то же самое можно сказать на тысячу различных ладов. Разумеется, совершенство и здесь недостижимо. Существует как бы бесконечно малая точка, и все дело в том, чтобы насколько возможно приблизиться к ней. И талант чувствует, насколько он подошел к этой точке; а бездарные люди воображают, что они в самом центре, тогда как они бог знает где на окружности.

— А какого мнения ты, папа, о Тургеневе? — спросил Андрей Львович.

— Да так, самый пустой писатель. Содержания у него никакого не было. Вот Чехов тоже — большой талант, — но какими пустяками он занимался...[6]

(Маленькой поправкой к этим словам Льва Николаевича о Тургеневе может служить то, что месяца три назад, читая корректуру нового издания «Круга чтения», он перечел помещенный в нем рассказ Тургенева «Живые мощи», который, как и раньше, очень ему понравился.)

*9 января*

Недавно за обедом Лев Николаевич сказал своему десятилетнему внуку, старающемуся как можно более походить на взрослого, в ответ на его какое-то очень авторитетное рассуждение:

— Ты знаешь дроби?

— Знаю, — ответил мальчик.

— Так вот, человек — все равно, что дробь. Чем больше у него числитель — его достоинства, тем он лучше, а чем больше его знаменатель, чем больше он о себе думает, тем он хуже[7]. Так вот ты это помни, — закончил Лев Николаевич.

Я вспомнил, как С. Д. Николаев как-то рассказывал мне, что когда он, на вопрос Льва Николаевича об его детях, ответил, что они очень шалят, Лев Николаевич сказал ему:

— Пусть больше шалят!

*12 января*

Вот выдержка из полученного сегодня замечательного письма от ссыльного крестьянина из Тобольской губернии:

«Вы больше чем кто другой, постигли истину — служить народу не эзоповским слогом, понятным лишь для избранной публики, а родным и возможно более понятным, что и доказывает то, что вы служите просветителем не богатых и образованных, а бедных и малограмотных, незнакомых с литературной терминологией, народу непонятной, где и с порядочной подготовкой без лексикона иностранных слов не обходятся; а где же мужику или рабочему возиться с разными лексиконами? Тогда как ваши труды можно понимать легко, без всякого напряжения и справок.

Нельзя сказать, что народ не читает никакой литера-

туры или что он настолько невежествен, что не желает читать литературы разумной и читает глупую и вредную, как, например, про разных разухабистых жуликов и героев-солдат и пр. Правда, народ к такой литературе более склонен, чем к хорошим книгам, журналам и газетам, но почему? Не потому, что он невежествен, а потому, что писатели невежественны и пишут все на эзоповском, непонятном для народа языке, тогда как вредная литература пишется на языке общеупотребительном и для народа понятном» [8].

*15 января*

На днях В. Г. Чертков устроил в своем доме маленькое собрание, пригласив несколько человек деревенских парней, товарищей его сына, и в присутствии их, своих домашних и гостей, в том числе и Льва Николаевича, говорил о том, как он смотрит на развлечения и игры, какие считает разумными и какие нет и почему. Собрание это он устроил главным образом для своего сына и его товарищей.

Он начал с того, что он считает развлечение делом очень нужным для молодежи.

— Забавы и развлечения, — сказал он, — вещи нужные для жизни, нельзя все время быть серьезным, природа человека требует игры. Настоящее значение игры в том, чтобы освежиться, доставить себе некоторый отдых, чтобы потом опять приняться за серьезное дело с бо́льшими силами, с освеженной душой. Но не все развлечения достигают этой цели; есть и такие, которые только возбуждают и утомляют. Поэтому нужно определить, какие именно развлечения достигают своей цели.

— Я совершенно с вами согласен, — сказал Лев Николаевич. — Род развлечений очень важен; поэтому важно найти, каким развлечениям можно покровительствовать и каких нужно избегать. Это совершенно верно.

Когда Владимир Григорьевич Чертков сказал, что причина того, что крестьянские девушки так неподвижны умственно, заключается в том, что на них смотрят неуважительно, не признают в них равных себе человеческих существ, Лев Николаевич сказал:

— Я совершенно с вами согласен. Меня особенно поражало это отношение к девушкам. Совершенно не признается в них этой духовной жизни, умственной. От них и не ждут никогда, что они что-нибудь скажут; они

существуют для того, чтобы их целовать. Это очень верно. Очень желательно было бы вызвать их на такие игры, в которых бы они могли выразить свою духовную сторону.

— Это одно, — сказал Лев Николаевич, — а другое, — продолжал он, отвечая на выраженную перед тем Владимиром Григорьевичем мысль о том, что некоторые сектанты ошибочно считают всякие, какие бы то ни было развлечения непозволительными, — другое то, что если сектанты относятся так строго ко всем развлечениям, то главная причина та, что они подозревают тут чувственное отношение между мужчиной и женщиной, чего они страшно боятся. И это совершенно справедливо. Если закрадывается чувственное отношение, то не достигается той цели, о которой вы говорили.

К числу тех развлечений, которые могут удовлетворять двойной цели всякого разумного развлечения: и цели отдыха, и цели соединения людей в одном и том же хорошем чувстве, Владимир Григорьевич Чертков отнес музыку, пляску, чтение художественных произведений. Лев Николаевич прибавил еще — драматическое искусство.

— Мало того, драматическое искусство, — сказал он, — просто чтение драматическое. Есть люди, которые умеют читать хорошо, и это чрезвычайно действует.

Он попросил меня прочесть вслух недавно написанный им «Разговор отца с сыном». Это небольшая, в несколько страничек, вещь, очень вольный перевод из венской анархической газеты «Wohlstand für Alle».

Прочитав напечатанный в этой газете диалог, в котором, под видом разговора мальчика со взрослым, излагаются серьезные мысли, Лев Николаевич тогда же перевел его, и у него явилась мысль воспользоваться этой формой для того, чтобы высказать самым простым образом дорогие ему истины о жизни людей [9].

Предложив прочесть вслух «Разговор отца с сыном», Лев Николаевич прибавил:

— Это — детское, простое рассуждение, против которого ничего нельзя сказать, — никакие мудрецы ничего не скажут против него.

*16 января*

Наиболее интересные ответы Льва Николаевича последнего времени на те письма, на которые он поручил мне ответить:

1) Священник Недумов из Москвы прислал следующее письмо:

«Ваше сиятельство Лев Николаевич! Пишу к Вам, движимый единственно любовью и страхом за Вашу участь, вечную участь.

Если Вы умрете в таком же заблуждении, в каком находитесь теперь, — Ваша участь, вечная участь, до того ужасна, что изобразить ее теперь невозможно... Покайтесь, пока не поздно, пока душа Ваша в теле. Поверьте в искренность и в чистоту моего желания избавиться Вам от ужасной вечной участи». Написанный на конверте ответ Льва Николаевича:

«В ту веру, в которой бог так мучает людей, никому не советую переходить» [10].

2) Написанный на конверте ответ студенту, спрашивавшему о том, возможна ли борьба с половой похотью и правильно ли он поступает, борясь с ней:

«Поступайте, как должно, и эта борьба и усилия не останутся бесплодны не только в половом вопросе, но и во всем складе характера» [11].

3) Продиктованный мне ответ на проект устройства общества нравственного усовершенствования:

«Для совершенствования нужно свое личное усилие, а общества в этом не могут помогать, хотя и не заключают ничего вредного, но, скорее, бесполезны тем, что они как бы освобождают от того внутреннего личного усилия, которое, главное, нужно для самосовершенствования» [12].

4) Живописец из Костромской губернии спрашивает, что ему делать: жить ли своим ремеслом или учиться, и если учиться, то чему именно?

Написанный на конверте ответ Льва Николаевича:

«Жить ремеслом и, не переставая, учиться тому, как жить лучше. Хорошо читать «Круг чтения». Если нет средств купить, я пришлю» [13].

*19 января*

Вчера вечером был разговор о правительственных репрессиях.

— Сколько, — спросил Лев Николаевич, — после Французской революции было убито? Несколько тысяч? Они, наверное, имеют в виду этот пример: «А, может быть, и задавим...»

Когда я вчера после вечернего чая зашел ко Льву Николаевичу по делу, он, ответив мне на то, о чем я спрашивал, сказал:

— Я сегодня — вас не было — вдруг почувствовал смерть (в мои года это естественно) и не почувствовал никакого противления. Не то, чтобы желание смерти, как иногда бывает, когда видишь все безумие жизни и является желание уйти отсюда поскорее, а совершенное спокойствие, готовность. Это первый раз я это испытывал...

*21 января*

Вчера приезжал тульский архиерей Парфений с двумя священниками. Это посещение произошло так. Третьего дня обедал у нас Дима Чертков и за обедом рассказал, что он был недавно в Туле и там слышал от генерала Купа, родственника Чертковых, что архиерей, собираясь ехать в наши края на ревизию школ, сказал ему:

— А что, Толстой не прогонит меня, если я к нему приеду?

На эти слова Димы Лев Николаевич сказал, что ему очень приятно было бы, если бы архиерей к нему заехал. Вчера утром он нарочно зашел в школу и сказал учительнице, что если будет архиерей, то он просит передать ему, что будет очень рад его видеть.

Архиерей приехал около пяти часов вечера. Лев Николаевич беседовал с ним один на один после предобеденной прогулки. Софья Андреевна предложила архиерею и его свите обедать. Я был у В. Г. Черткова, с которым вместе и приехал в Ясную Поляну уже в семь часов.

Подъезжая, мы увидели освещенные окна приемной и целую вереницу экипажей. Только что мы вошли в дом, как нас встретил здешний стражник во всем параде и из приемной выглянул становой и еще какие-то люди.

Не желая «подходить под благословение», я не хотел выходить в столовую и оставался в своей комнате. Но меня позвал Лев Николаевич, чтобы принести экземпляр «Круга чтения» для гостя.

— Это мой помощник, — отрекомендовал меня Лев Николаевич архиерею. Архиерей встал и подал мне руку.

Лев Николаевич подарил архиерею «Круг чтения» со своим автографом и пачку открыток со снимками с фотографий Черткова. Прощаясь и пожимая ему руку,

Лев Николаевич сказал: «Еще раз благодарю вас за ваше мужество», — и заплакал.

Посещение это ему было очень приятно.

*23 января*

Сегодня был разговор о бедных и богатых. Лев Николаевич сказал:

— Как нашего брата положения главная опасность: роскошь, чтобы другие тебе служили, так у них — зависть.

*28 января*

Вчера вечером было несколько человек близких Льву Николаевичу. Разговор зашел опять о посещении архиерея. Лев Николаевич сказал:

— Мне немного испортило его посещение то, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать [14].

Вчера же был интересный разговор об общинах. Лев Николаевич сказал, что, по его мнению, община может быть удобной формой труда, но это отнюдь не единственная форма хорошей жизни. Нельзя даже сказать, что это — форма наилучшая: чем хуже форма жизни Кудрина, сидящего в арестантских ротах за отказ от военной службы и любовно относящегося к тем, во власти которых он находится? В стремлении во что бы то ни стало проявлять свою деятельность во внешней форме всегда много тщеславия.

Лев Николаевич водил гостей в свой кабинет и показывал им висящие на стенах снимки картин Н. В. Орлова из крестьянской жизни [15]. Со слезами на глазах рассказывал он содержание каждой из картин.

— Это, по-моему, величайший русский художник, — сказал Лев Николаевич про Орлова.

*1 февраля*

Приехал друг семьи Толстых А. Н. Дунаев. Вечером разговор шел главным образом о современном положении России. Лев Николаевич рассказал про полученные им недавно стихотворение дворника и письмо безработного из Москвы, понравившиеся ему своим здравым смыслом и душевной чуткостью.

— Все спасение в народе, — сказал он. — А там, наверху, или Азефы с Гапонами, или председатели судов, или вот такие (Лев Николаевич указал на полученное сегодня ругательское письмо в духе «Союза русского народа»,

которое я только что прочитал вслух). Это как дети. Амиель сказал: что бы было с миром, если бы не подсыпали ежедневно восемьдесят тысяч детей...

*3 февраля*

Недавно по поводу заседания Думы по вопросу о смертной казни Лев Николаевич за обедом сказал Душану Петровичу:

— Для меня самым веским аргументом в пользу евреев служит то, что делают эти Пуришкевичи, Шульгины и другие.

*5 февраля*

Приехали два музыканта из Тулы. За обедом говорили о современных направлениях в искусстве вообще и в музыке в частности. Лев Николаевич сказал:

— Правильный путь такой: усвой то, что сделали твои предшественники, и иди дальше. Если ты сможешь пойти дальше Моцарта — прекрасно. А у них — полное игнорирование.

Лев Николаевич прочитал в газете «Слово» статью против смертной казни, которую одобрил [16].

— Она возбуждает негодование против устроителей этих убийств, — сказал он. — Когда живешь вместе с людьми, то мало-помалу свыкаешься и теряешь это чувство, которое должно быть.

*6 февраля*

Сегодня приезжал живущий за границей литератор Ф. Купчинский. Главной целью его приезда было то, чтобы предложить Льву Николаевичу написать новую статью против смертной казни. Он сказал, что издающаяся в Москве понедельничная газета «Жизнь» согласна напечатать все, что напишет Лев Николаевич против смертной казни, без всяких пропусков, как бы оно ни было резко. Лев Николаевич сначала сказал Купчинскому, что едва ли сможет сейчас что-либо написать, и я уже было принес Купчинскому полный экземпляр «Не могу молчать», чтобы с ним вместе выбрать оттуда подходящие места для напечатания в газете, когда Лев Николаевич, воротясь с прогулки, не заходя к нам в столовую, прямо прошел к себе и написал небольшую статью против смертной казни, которую и отдал Купчинскому [17].

Е. И. Лозинский из Киева прислал Льву Николаевичу свои книги: «Что же такое, наконец, интеллигенция», «Ито-

ги парламентаризма» и др. Лев Николаевич ответил ему длинным письмом, в котором называет его книги «прекрасными» и прибавляет: «Очень желал бы, чтобы они были как можно более распространены» [18].

Это интересно особенно потому, что в «Итогах парламентаризма» (с. 68) Лозинский резко заявляет о своей *«непримиримой враждебности ко всем основам миросозерцания»* Толстого (как бы извиняясь в том, что находит в его книге «О значении русской революции» *«много справедливого о парламентаризме»*) [19].

В «Русском слове» 5 февраля напечатана статья о посещении архиерея. 3 февраля приезжал корреспондент этой газеты специально для того, чтобы узнать от самого Льва Николаевича подробности о посещении его архиереем (в газетах появились об этом краткие известия еще накануне). Лев Николаевич охотно сообщил ему то, что считал нужным и возможным. Когда корреспондент уже уехал, Лев Николаевич дал телеграмму в редакцию, прося прислать корректуру. Очевидно, ему не хотелось, чтобы об его разговоре с архиереем были сообщены в печати какие-либо неточные сведения. Редакция исполнила желание Льва Николаевича, и вчера статья «Л. Н. Толстой и епископ Парфений» появилась в «Русском слове» в проредактированном самим Львом Николаевичем виде [20].

*7 февраля*

В прошлом месяце Лев Николаевич прочитал статью В. Анучина «Казнь Якова Стеблянского» [21] и нашел, что это — самое сильное из всего, что он читал за последнее время о смертной казни. В статье этой просто и правдиво описывается впечатление, испытанное очевидцем казни убийцы, совершенной в Сибири в 1903 году.

В последние дни Лев Николаевич читал статью М. П. Новикова «На войну» [22]. Статья эта очень понравилась ему не только своей искренностью, серьезностью и глубиной, но, главное, красотой, силой и образностью схваченного в ней народного языка, что всегда так ценит Лев Николаевич.

*12 февраля*

Вчера Лев Николаевич читал «Былое».

— До какой степени, — сказал он, — интересно в «Былом» описание декабристов, про Каховского я читал. Мы относимся к ним с невольным уважением: повешенные;

а между тем, как там описывается, вся деятельность Каховского была вызвана тщеславием: «что будут говорить обо мне люди»... И точно так же «Учредительное собрание» из трех человек, выбрали диктатора, диктатором был Трубецкой; потом после на коленях умолял государя: «Sire, la vie, la vie...» * [23]

*16 февраля*

Вчера были Б. О. Сибор и А. Б. Гольденвейзер. Много играли — Моцарта, Бетховена (между прочим, Крейцерову сонату). После музыки я зашел к Льву Николаевичу в кабинет и спросил его:

— Отчего у меня ничего не осталось после музыки?

— Да и не должно ничего остаться, — ответил Лев Николаевич, улыбаясь.

— Неужели музыка действует только в течение того времени, пока она происходит? — спросил я.

Лев Николаевич ответил утвердительно. Ответив еще на несколько моих вопросов о музыке, он прибавил:

— Разумеется, музыка — это порождение нашей роскошной богатой жизни...[24]

А сегодня перед завтраком сказал мне:

— Да, вы правы в том, что сказали мне вчера: музыка — это большой соблазн...

*3 марта*

Большой перерыв в моих записях, вызванный тяжелым душевным состоянием, затем смертью отца и поездкой на похороны, после опять тяжелым душевным состоянием и нездоровьем. Вновь приступаю к обычному записыванию.

Сегодня утром Лев Николаевич читал в журнале «Образование» (№ 2) материалистическую статью Л. Чугаева «Эволюция вещества в мертвой и живой природе» [25].

— Я все хочу проверить, — сказал он мне, — может быть, я чего не знаю из их мудрости, но что-то не нахожу у них мудрости.

И, подавая мне книжку, прибавил:

— Это такая чепуха, эта статья, — стоит прочитать.

Читал также Лев Николаевич присланную ему книгу «Geistige Liebe» von Norbert Grabowsky [26]. Об этой книге он сказал:

---

* Государь, жизнь, жизнь... *(франц.)*

— Это очень хорошая книжка, несмотря на его самомнение. Его мысль та, что половая любовь есть чувство животное и противоположна истинной любви, духовной. Мысль старая, но совершенно верная... Что половое общение может иметь только одну цель: рождение детей.

*4 марта*

В «Русском слове» 25 февраля была напечатана следующая корреспонденция: «Токио. 24 февраля. Японское правительство открыло гонения на произведения Л. Н. Толстого. По мнению правительства, некоторые произведения великого писателя вредно влияют на умы японской молодежи. Поэтому распространение их в Японии воспрещено» [27].

В. А. Поссе просил Льва Николаевича написать для его журнала «Жизнь для всех» о Гоголе по поводу предстоящего в этом месяце его юбилея (столетие со дня рождения). Лев Николаевич, желая исполнить просьбу Поссе, перечитывает Гоголя [28]. Сегодня утром сказал мне:

— Как я рад, что перечитываю Гоголя! Я теперь читаю «Переписку с друзьями». Рядом с пошлостями такие глубокие религиозные истины.

Сегодня за обедом Александра Львовна рассказывала, что бывший ученик Льва Николаевича, яснополянский мальчик Коля Орехов, которого отдали в Туле в поваренки, не ест мяса. Над ним все смеются, называют его «Толстой». Другой ученик Льва Николаевича, Паша Резунов, который сейчас лежит дома больной, умолял своих родных не резать ягненка.

*5 марта*

В конце февраля получено письмо от Кузьмы Молосая, сидящего в херсонской тюрьме за отказ от военной службы. Он пишет: «У нас в тюрьме сильно свирепствует тиф, лечения никакого, до апреля месяца будет год — умерло человек двести, тюремная администрация жмет, пища очень плохая, голодом страдают... Избитие усиливается без причины, не разбирая, кто прав, кто виновен. Мне неизвестно, кем прислано заказное письмо книг, но никак не могу получить на руки, всё обещают выдать их с января месяца» [29].

*6 марта*

Лев Николаевич опять говорил о книжке Грабовского.

— Его мысль та, — сказал Лев Николаевич, — что существует женский тип и мужской; и человек, который соединяет все особенности того и другого типа, не нуждается в супружестве... Еще он пишет, — и это совершенно справедливо, — что говорят об освобождении женщин от власти мужчин, а не говорят об освобождении мужчин от власти женщин. Власть эта не формулированная, но очень сильная...

*7 марта*

Утром Лев Николаевич сказал мне:

— Хочется написать о Гоголе. Это суеверие искусства, как чего-то особо важного, совершенно захватило его... «Женитьба» — вся пьеса глупая, бестактная, и тут вдруг с важностью пишут: «не разобрано одно слово...» Это плод нашей праздной жизни...

— Но потом он освободился от этого суеверия? — спросил я.

— Потом он принял религию, всю, как она есть, по-детски, покорился, не выбирая, что ему нужно из нее, что не нужно.

Сейчас же после этого разговора Лев Николаевич стал диктовать мне статью о Гоголе [30].

Сегодня В. Г. Черткову объявлено постановление департамента полиции о высылке его из пределов Тульской губернии. Лев Николаевич очень огорчен. Софья Андреевна написала горячую статью в защиту В. Г. Черткова, которую посылает в газеты [31].

Владимиру Григорьевичу дали несколько дней на сборы.

*8 марта*

В «Русском слове» 7 марта напечатана следующая телеграмма из Севастополя: «Городской голова получил сегодня уведомление из министерства внутренних дел, что ходатайство города о присвоении звания почетного гражданина гор. Севастополя Льву Толстому оставлено без движения» [32].

*9 марта*

Вчера приезжал на один вечер М. П. Новиков. Между ним и Львом Николаевичем происходил интересный разговор. Привожу его в том виде, как я успел записать его.

Новиков приехал для того, чтобы прочитать Льву Николаевичу свою статью «Новая вера»[33]. Перед чтением он сказал, что он не согласен с мыслью Льва Николаевича о том, что внешние условия не имеют влияния на внутреннюю жизнь.

— Никакое животное, — сказал он, — никакая козявка не зависит так от внешних условий, как человек.

Лев Николаевич. Но у человека есть разум, который он может употреблять на усиление внутренней жизни, при котором является большое равнодушие к этим условиям, или, напротив, направить его на создание наибольшей чувствительности к этим условиям. Это все зависит от того, кто воспринимает эти условия. Ну, я не знаю, какой-нибудь мученик, который радуется, когда его мучают...

Михаил Петрович. Исключения, конечно, бывают.

Лев Николаевич. Это крайний предел, а тут есть середина. Чем более люди чутки к этим условиям, тем больше это их мучает.

Михаил Петрович. Я думаю, что когда вы писали какую-нибудь книгу, то если бы только внешние условия переменились, у вас и книга бы вышла иная, вышла бы хуже.

Лев Николаевич. Потому что я очень слаб, она бы и вышла хуже. Даже если бы внешние условия изменились, не вышло бы никакой книги, если бы я с утра до вечера пас скотину, как это старики в деревнях делают...

Михаил Петрович. Нет, просто хоть бы представить себе, что вы сидите пишете, а там пьяный мужик поленья к вам в окно кидает...

Лев Николаевич. А вам кажется, что у нас поленьев нет? Еще какие поленья, хуже ваших...

Михаил Петрович. У вас поленья могут быть духовные...

Лев Николаевич. Ну, в семейном отношении, с сыновьями, с самыми близкими людьми... Потом соблазны разные... Поверьте, что для человека, живущего духовной жизнью, все условия равны, совершенно безразличны. Я думаю, что в этом ваша ошибка, ваша, Михаила Петровича Новикова. Но какое отношение этот разговор имеет к той вашей статье, которую вы хотите читать?

Михаил Петрович. Я хотел сказать, что если бы я это же самое мог писать в спокойном состоянии, независимо от внешних условий, я бы написал лучше.

Лев Николаевич. Не думайте этого. Я вчера только занимался тем, что перечитывал письмо Белинского к Гоголю и по случаю этого читал Гегеля[34], знаменитого философа Гегеля. Это такая чепуха! А, уж наверно, он сидел спокойно: «Шш! профессор занимается...» Он «занимался» и писал такую чепуху...

Михаил Петрович. Внешние условия меня страшно раздражают... Только что мозг поймает известную мысль, хочется ее переложить на бумагу, а вдруг условия помешали — и раздражаешься.

Лев Николаевич. «Всё в табе», «всё в табе», — как говорил Сютаев... Вы тоже не были в таких блестящих условиях, когда писали о запасном, а это из тысячи рассказов — один из лучших...[35]

Новиков прочитал первые главы своей статьи, где описаны его столкновения с односельчанами, священниками, миссионером и пр.

По окончании чтения Лев Николаевич сказал:

— Все это в высшей степени интересно...

Приехал В. Г. Чертков. Лев Николаевич передал ему свое впечатление от статьи Новикова.

— Переносишься в эту жизнь деревни, видишь тот мрак, в котором они живут; мы его не видим, мы видим избранных людей; и когда мы к ним приходим, мы его не видим.

Михаил Петрович. Да, Лев Николаевич, если бы вы, когда писали книгу, у вас над ухом все время пьяный мужик матерщинничал, то у вас книга бы вышла иная...

Лев Николаевич. Вышла бы лучше, гораздо лучше! Не было бы этого отдаления от народа, я бы почувствовал, что мне надо писать для него.

Михаил Петрович. Он бы чаще вас заражал злобой.

Лев Николаевич. «Всё в табе». Он бы только тогда заражал меня, если у меня самого есть восприимчивость к злобе...

На этом кончается моя запись.

*10 марта*

М. А. Шмидт передала мне свой разговор со Львом Николаевичем нынче утром. Она рассказала ему о живущем недалеко от нее сапожнике, который внимательно

читает книги Льва Николаевича. Лев Николаевич сказал ей:

— Как трудно положение таких людей из народа! У нас есть книги, общение, а он чувствует себя совершенно одиноким. Разум ему говорит одно, а вся окружающая среда — совершенно другое...

*17 марта*

Льва Николаевича очень возмущает разрушение общины. Он всегда расспрашивает приезжающих к нему из разных мест крестьян и помещиков о применении у них закона 9 ноября. Вчера он сказал:

— Это верх легкомыслия и наглости, с которым позволяют себе ворочать народные уставы, установленные веками... Ведь одно это чего сто́ит, что все дела решает мир — не один я, а мир, — и какие дела! Самые для них важные...

Вчера был у Льва Николаевича яснополянский крестьянин Тарас Фоканов, ученик его школы 60-х годов.

— Я попробовал, — сказал Лев Николаевич, — читать ему из «Круга чтения», но увидел, что это ему недоступно, сразу же пришлось перефразировать.

И это заставило Льва Николаевича пожалеть о том, что почти все, что он написал, написано языком, понятным только для интеллигенции.

— Сегодня, — сказал Лев Николаевич, — был у меня один из моих учителей, но я мало у него научился.

*20 марта*

Вчера вечером был разговор о книгах для народа. Лев Николаевич сказал (о чем он и раньше не раз говорил и писал в письмах), что он считает полезными для рабочего народа книги этнографического содержания, знакомящие с верованиями, жизнью и нравами разных народов. Он считает такие книги полезными потому, что они, как выразился он в одном письме, содействуют освобождению людей от предвзятых суеверий и ложных представлений [36].

— Этим, — сказал Лев Николаевич, — интеллигенция искупила бы хоть немного тот грех, который она совершает, сидя на народной шее... А то сами себя описывают, между собой спорят...

Лев Николаевич прочитал английскую книгу Баба Бхарати [37], в которой изложено индусское верование в Кришну,

бога совершенной любви, который через известный период времени приходит на землю для того, чтобы спасать людей.

— Как хорошо было бы, — сказал Лев Николаевич, — изложить это для народа! Хорошо тем, что каждый прочтет и увидит, что это то же, что история Христа: те же чудеса...

*21 марта*

Вчера Лев Николаевич написал короткое письмо революционеру о непротивлении [38] и просил меня найти другие его письма об этом предмете. Кроме недавних, я достал ему два старые его письма о непротивлении, 80-х годов: одно к Энгельгардту и другое — к революционеру [39].

За вечерним чаем Лев Николаевич упомянул об этих старых своих письмах. Софья Андреевна вспомнила про письмо к Энгельгардту. «Я, — сказала она, — положила его в конверт и написала: «Письмо к Энгельгардту, которого Лев Николаевич не только никогда не знал, но и не видал», а там пусть судят, как хотят. Я ужасно оскорбилась этим письмом» [40].

Это то самое письмо, в котором Лев Николаевич пишет о том, как он «страшно одинок и до какой степени то, что есть мое настоящее «я», презираемо всеми окружающими меня». Написано оно было в 1882 году. Слова Софьи Андреевны живо перенесли меня в это тяжелое для Льва Николаевича время.

Второе же из этих писем, напечатанное под заглавием «О борьбе со злом (письмо к революционеру)» и написанное в 1888 году, Лев Николаевич, перечитав его, нашел хорошо отвечающим на обычные возражения против непротивления и просил переписать в нескольких экземплярах для рассылки в виде ответов на часто получаемые им письма с возражениями и недоумениями относительно непротивления.

*23 марта*

Недавно Лев Николаевич сказал про Гоголя, которого он перечитывал:

— Крестьяне у него совсем нехороши. У него та же ирония, что и к помещикам, относится и к крестьянам, где она совсем неуместна [41].

*25 марта*

Вчера по поводу учебных занятий сына М. С. Сухотина был разговор об образовании. Лев Николаевич сказал:

— Есть центр, и к нему бесконечное количество радиусов, и вот из них выбирают один и насильно втискивают туда... И каждый ребенок отстаивает свою самостоятельность. Я помню, как я отстаивал... И это в те юношеские годы, когда все особенно хорошо усваивается... Saint Thomas [42] говорил про нас: «Старший, Сергей, и хочет и может учиться; Дмитрий хочет, но не может; а Лев и не хочет и не может».

Вспомнили о том, как плохо учился Лев Николаевич в университете. Я сказал, что многие замечательные поэты и художники учились плохо — Пушкин.

— Но из этого не следует, — возразил Михаил Сергеевич, — что Дорик, который плохо учится, будет Пушкиным или Толстым.

— А я на это отвечаю, — сказал Лев Николаевич, — что Пушкин и Толстой не есть все, в чем может человек проявить свою самостоятельность. Есть много других проявлений.

*28 марта*

Вот наиболее интересные из ответов Льва Николаевича на те письма, на которые он просил меня ответить за последнее время, давая свои указания.

На письмо с вопросом о спиритизме:

«Считаю спиритизм самообманом» [43].

Продиктованный мне ответ мальчику, учащемуся на казенный счет в коммерческом училище и тяготящемуся своим положением:

«Никто из нас чист не бывает вполне, а все находимся в таких условиях, из которых надо выпутываться. Вся жизнь наша состоит в том, чтобы наилучшим образом выпутываться от тех пут, в которых мы находимся, в которых и он находится, а самое главное — в том, чтобы, как и он пишет, не быть фарисеем и не оправдывать себя» [44].

*1 апреля*

Вчера в разговоре об извращении религии Лев Николаевич употребил сравнение, уже встречающееся в его сочинениях: что извращение религии — это то же, что накладенный на огонь хворост. «Временно, — сказал Лев

Николаевич, — он, может быть, и заглушит огонь, но потом огонь прожжет хворост и еще сильнее разгорится».

Сегодня утром был разговор о том же самом. Лев Николаевич вспоминал, как в его детстве, лет семьдесят тому назад, для них, детей, было ново и удивительно, что прокладывали шоссе на Тулу.

— А теперь, — сказал он, — свисток гудит, электрические трамваи, и никого это не удивляет. А в области религии все остается, как было тысячу лет назад. Разве это возможно?

Вчера В. Г. Чертков выехал из Тульской губернии. Пока он будет жить в Петербурге у своей матери.

*7 апреля*

Я уезжал на несколько дней в Москву. Кроме своих личных дел, я имел еще в виду зайти к знакомому присяжному поверенному, часто выступающему по политическим делам, чтобы узнать от него, если они ему известны, некоторые подробности совершения смертных казней. Подробности эти нужны Льву Николаевичу для задуманного и частью уже начатого им художественного произведения[45]. Лев Николаевич сам начал было записывать на бумаге те вопросы, по которым ему нужно иметь сведения, но потом оставил это и просто просил узнать как можно больше подробностей. Вот вопросы, какие он записал:

«1) Судящиеся за покушение на жизнь великого князя сидят ли в одиночках или могут быть вместе некоторые?

2) Могут ли быть сношения между собою?

3) Могут ли быть получаемы сведения извне?

4) Объявляется ли вперед день суда или только накануне? И много ли может пройти времени между объявлением о времени суда и судом?

5) Допускаются ли свидания с родными? С какими и как?

6) Могут ли быть сношения с уголовными?

7) Как ведут или везут в суд?

8) В каком помещении суд?

9) Состав и процедура суда.

10) Палач.

На все вопросы желательно иметь ответы самые подробные, как обыкновенно делается — и могут ли быть исключения».

На другом листке:

«1) При военном суде допускаются ли адвокаты к подсудимому? Как? Где?

2) Описание, если возможно, помещения военного суда.

3) В чем состоит увещание священника о том, чтобы свидетель говорил правду?

4) Палачи кто? Сколько получают?

5) В какой тюрьме в Москве содержатся подлежащие 279 ст.?[46] В общей или одиночной? Дают ли свидания?

6) Как делают бомбы?»

К сожалению, я не застал моего знакомого в Москве и не мог узнать ничего из того, что было нужно Льву Николаевичу. Все, что я мог сделать, — это привезти ему несколько книг о смертной казни, которые я мог достать в магазинах и у знакомых[47].

Упомяну здесь, кстати, о том (чего я не записал в свое время), что недавно Лев Николаевич получил письмо от сестры одного юноши, почти мальчика, который участвовал в экспроприации и сидел в тюрьме, ожидая суда. Сестра его писала, что боится, что брата ее приговорят к смертной казни, и просила Льва Николаевича сделать, что он может, для спасения его жизни. Лев Николаевич написал письмо командующему войсками Казанского округа генералу Сандецкому, который должен был утверждать приговор суда над этим мальчиком. По-видимому, письмо вышло очень задушевным, так как Лев Николаевич передал его мне для отправления запечатанным в конверт, на котором сам написал адрес, и сказал, что он не желает, чтобы с этого письма снималась копия, как это обыкновенно делается со всеми его письмами. Так что содержание этого письма осталось неизвестным никому из близких Льва Николаевича[48].

За то время, пока я живу в Ясной Поляне, Лев Николаевич еще только один раз поступил так же с своим письмом одному близкому человеку об его семейной жизни, которое он также написал своей рукой и передал мне для отправления в запечатанном конверте, сказав, что он не желает, чтобы это письмо было скопировано.

*10 апреля*

Вчера за обедом был разговор о новейшей литературе. Лев Николаевич сказал:

— Нет, мне кажется, что как в политике, так и в литературе дошли до тупика. Дальше идти некуда.

Вчера Лев Николаевич получил письмо с просьбою разъяснить некоторые частности в его взглядах на воспитание и образование. Лев Николаевич начал писать ответ на это письмо [49].

— Я пишу ему, — сказал он мне, — о том, что в области знания существует центр, и от него бесчисленное количество радиусов. Вся задача в том, чтобы определить длину этих радиусов и расстояние их друг от друга.

*12 апреля*

Сегодня после обеда был разговор о полученном Львом Николаевичем письме от женщины, сидящей в Москве, в котором она описывает все лишения и страдания, какие приходится переносить ей и другим заключенным [50]. Лев Николаевич сказал:

— Хуже всего в этом то, что нам надоели известия о всех этих ужасах: и о казнях, и о тюрьмах, о ссылках...

*13 апреля*

Вчера обедали: невестка Льва Николаевича Ольга Константиновна и Л. Д. Николаева. За обедом и после обеда был разговор о воспитании. Лев Николаевич сказал Л. Д. Николаевой:

— Ваш муж совершенно справедливо говорит, что в практической семейной жизни первый шаг — это вегетарианство, второй — жить без прислуги.

— И эта жизнь без прислуги, — сказала Л. Д. Николаева, — чревата последствиями. Не станешь жить в хоромах, убирать надоест их, не станешь заводить безделушек, лишнее готовить...

Об образовании Лев Николаевич сказал то же, что говорил и писал в письмах последнего времени: что первый предмет истинного образования — религия, второй — изучение жизни людей.

— Как это важно ребенку знать не только жизнь других народов, но жизнь других классов: детям богатых сословий знать, как дети их возраста работают на фабрике, как крестьянские дети живут; крестьянским детям знать, как дети богатых сословий живут; как живут по тюрьмам, по монастырям...

По поводу большого интереса детей Л. Д. Николаевой к жизни животных Лев Николаевич сказал, что в этом

увлечении есть та опасность, что это приводит к дарвинизму, к признанию борьбы за существование и т. д.[51]. Изучение животной жизни, по его мнению, должно стоять на втором плане. О детях вообще Лев Николаевич сказал:

— Самый совершенный взрослый хуже самого обыкновенного ребенка.

Он вспомнил всегда трогающую его мысль Амиеля о великом нравственном обновлении, производимом детьми в жизни взрослых. Вспоминаю, как Лев Николаевич заплакал, когда я прошлым летом, во время наших занятий «Кругом чтения», прочитал ему вслух эту выдержку из дневника Амиеля. Привожу ее в несколько сокращенном виде:

«Благословенно детство, которое среди жестокости земли дает хоть немного неба. Эти восемьдесят тысяч ежедневных рождений, о которых говорит статистика, составляют как бы излияния невинности и свежести, которые борются не только против уничтожения рода, но и против человеческой испорченности и всеобщего заражения грехом. Все добрые чувства, вызываемые около колыбели и детства, составляют одну из тайн великого Провидения. Уничтожьте эту освежающую росу — и вихрь эгоистических страстей как огнем иссушит человеческое общество. Если предположить, что человечество состояло бы из миллиарда бессмертных существ, число которых не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться,— где бы мы были и что бы мы были, великий боже! Мы стали бы, без сомнения, в тысячу раз умнее, но и в тысячу раз хуже. Знание накопилось бы, но все добродетели, которые зарождаются от страданий и преданности, были бы мертвы. Не было бы возмещения. Благословенно детство за то благо, которое оно дает само, и за то добро, которое оно производит, не зная и не желая этого, только заставляя, позволяя себя любить. Только благодаря ему мы видим на земле частичку рая»[52].

*14 апреля*

На днях Лев Николаевич получил два письма от членов «Всемирного студенческого христианского союза», верующих в искупление Христом рода человеческого. По словам автора одного из этих писем, этот Союз насчитывает в настоящее время сто пятьдесят тысяч членов. По поводу этого Лев Николаевич сказал мне:

— Положительно, чем нелепее какой-либо догмат, тем тверже люди в него верят. Это совсем не парадокс, не желание сказать что-либо странное. Тут есть какая-то психологическая причина. Если есть разумное основание, то человек всегда сомневается: «А может быть, я и ошибаюсь»; а тут без всяких сомнений и колебаний...

*15 апреля*

Около месяца тому назад Лев Николаевич начал новую статью, в которой с разных сторон выражает давно уже высказываемую им мысль о том, что человечество нашего времени необходимо должно перейти от устройства жизни, основанного на насилии, к устройству жизни, основанному на любви. Пиша эту статью, Лев Николаевич несколько раз изменял ее заглавие. Вот список сменявшихся одно другим заглавий этой статьи: 1) Старое «новое»; 2) Неизбежная революция сознания; 3) Новая жизнь; 4) Человечество вырастает из пеленок; 5) Революция неизбежная, непобедимая и всеобщая» [53].

*16 апреля*

Вчера вечером, когда я принес Льву Николаевичу почту, он, раскладывая пасьянс, сказал мне:

— Вчера я в «Круге чтения» читал, что один английский писатель разделил всех людей на три разряда: нищих, воров и трудящихся [54]. Я принадлежу к числу воров, но я думал о другой категории, о нищих, — эти еще хуже воров. И эта категория не ограничивается теми, которые просят подаяние (из них из десяти, может быть, один действительно нуждающийся). Число таких людей очень велико: и те, которые просят денег, и те, которые просят рекомендаций и совета, и которые просят за себя перед властями... Я сегодня думал: эгоизм — это очень нехорошо, но настоящий эгоизм — очень хорошо. Представить себе человека, который живет своим трудом; он ни к кому не обращается, и, разумеется, ему ни до кого нет дела. Удовлетворять этим просьбам он не может, потому что они всё растут. Я на себе испытываю всю тяжесть этого положения. Разумеется, поделом мне... Тут еще эта установившаяся репутация, как постоянно пишут в письмах, доброго человека; кроме того, знают, что живет во дворце, да еще граф, известный. Другие есть богачи — про них не знают.

Накануне Лев Николаевич о том же самом говорил с С. Д. Николаевым.

— Если бы я выдумывал заповеди, — сказал Лев Николаевич, — я бы эту еще прибавил: не убий, не прелюбодействуй, не воруй, *не проси*. Потому что это ставит и просящего, и того, у которого просят, в самые нечеловеческие отношения, а кажется, что вполне человеческие: он обращается за помощью, ему дают... Если я вижу нуждающегося и могу ему помочь, я должен сделать это по собственному желанию, а не быть вынужденным к этому просьбой.

*18 апреля*

Сегодня я говорил со Львом Николаевичем о том, сколько приходит к нему за подаянием «административно высланных», «поднадзорных», — людей, дошедших до последней степени нищеты, озлобленных и готовых на все.

— Каких врагов они себе из них создают! — сказал я.

— Да! — согласился Лев Николаевич. — Сидят там в Петербурге, ничего не видят...

*19 апреля*

Вчера Лев Николаевич продиктовал мне следующий ответ на письмо гимназиста из Читы:

«Лев Николаевич думает, что вы соединяете два дела не только несогласные, но прямо противные одно другому. Если вы хотите бросить гимназию и начать жизнь в деревне, то этому вашему намерению он вполне сочувствует. Что же касается до женитьбы вообще, а в особенности при тех условиях, что женитьба ваша неприятна вашей семье, то он думает, что воздержаться от этой женитьбы гораздо лучше, так как вообще целомудрие содействует хорошей жизни, в вашем же положении женитьба прямо будет препятствовать для устроения той новой жизни, которую вы хотите начать» [55].

*25 апреля*

— Сегодня, — рассказывал мне Лев Николаевич, — мне встретились три бабы. «Куда идете?» — «В Киев на богомолье». Идет за пятьсот верст и полагает, что это угодно богу, а дома поругаться с мужем, — а если молода, то и согрешить, — это ничего. Так, с одной стороны, это, а с другой — Дондукова, верящая в искупление... [56] Все, только не то, что нужно.

*1 мая*

Есть некоторая надежда на то, что В. Г. Черткову будет разрешено вернуться в Тульскую губернию. Недавно Лев Николаевич сказал о нем:

— Я и ему пишу: я все его жду, и мне очень жалко будет его лишиться.

Вчера было много гостей. Был разговор о правительстве. Лев Николаевич сказал одному гостю:

— Вы все осуждаете людей, а надо осуждать не людей, а суеверия. Сто́ит только тронуть любое из утвердившихся суеверий — и против вас сейчас же поднимется целая стая. А людей ругай сколько хочешь: одни ругают одних, другие — других...

*3 мая*

Сегодня Лев Николаевич подписал письмо о воспитании, над которым он работал последние три недели. Он не совсем доволен им, находя его «тяжелым».

Вчера приезжал живущий у Черткова фотограф снимать Льва Николаевича [57].

— Он снимал меня во всех видах, только на судне не снимал, — смеясь, сказал Лев Николаевич Диме Черткову.

*4 мая*

Сегодня был нарочно ко Льву Николаевичу приезжавший зажиточный крестьянин Харьковской губернии. Он рассказывал мне, что был раньше пьяница, драчун, но, начав читать книги Льва Николаевича, изменил свою жизнь. Льву Николаевичу он был приятен.

*6 мая*

На днях Лев Николаевич говорил о католичестве.

— В православии, — сказал он, — когда еще человек доберется до догматов, а там с самого начала он наталкивается на это рабское подчинение одному человеку — папе. Я думаю, они теперь никак не могут верить в это.

*7 мая*

Сегодня вечером Лев Николаевич предложил прочесть вслух новую повесть Куприна «Яма», описывающую жизнь проституток в доме терпимости. Софья Андреевна горячо запротестовала, говоря, что не сто́ит читать «такую

мерзость». Лев Николаевич не соглашался с нею. Я был на его стороне и, начав читать, возбужденный протестом Софьи Андреевны, с некоторым задором отчеканил «посвящение» повести:

«Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству».

Но чем дальше я читал, тем все более и более чувствовал стыд при чтении грубых, циничных, ненужных подробностей. Я, однако, не выдавал себя и, не поднимая глаз на слушающих, продолжал читать. К счастью, Лев Николаевич, все время слушавший молча, после одного особенно грязного места вдруг сказал тихим голосом:

— Кажется, Софья Андреевна была права... Уж очень гадко.

Чтение было прервано [58].

Из того, что я успел прочитать, Льву Николаевичу понравился разговор околоточного [59].

*8 мая*

Несколько дней тому назад Лев Николаевич начал статью о вышедшем недавно сборнике статей об интеллигенции («Вехи»). Статью эту Лев Николаевич не хочет печатать отчасти потому, что не хочет обижать «молодую интеллигенцию», то есть авторов сборника, статьи которого он подвергает резкой критике, отчасти потому, что эта книга вызвала большую полемику, в которую ему не хотелось бы вмешиваться, отчасти и по другим соображениям. Мне он сказал:

— Я хотел (в этой статье) указать, как лучшие представители этой интеллигенции безнадежно запутались [60].

Е. И. Лозинский прислал недавно Льву Николаевичу свою новую книгу «Итоги и перспективы рабочего движения на западе и в России». Лев Николаевич просмотрел эту книгу и нашел отрицательную часть ее очень сильной, а положительную, в которой автор предлагает рабочим выход из их угнетенного положения, очень слабой и неясной.

В отрицательной, первой части книги автор, на основании неоспоримых данных, доказывает, что, вопреки утверждениям либеральных и социалистических писателей, положение рабочего класса во всех так называемых культурных странах с годами не улучшается, а ухудшается [61].

*9 мая*

Вчера Лев Николаевич сказал про В. Г. Черткова, высланного административно из Тульской губернии:

— Как это оскорбительно! Старый, почтенный человек,— и вдруг его *наказывают*.

Сегодня Е. Д. Хирьякова привезла полученную Владимиром Григорьевичем бумагу о том, что министр внутренних дел окончательно воспретил ему жить в Тульской губернии. За обедом Лев Николаевич сказал:

— Признаюсь, я сначала почувствовал прямо недоброе чувство к Столыпину, а потом мне стало жалко его. Не говоря о том, как Таня говорила, что если он уйдет, его сейчас же убьют, — какую память он себе готовит в истории? Все с отвращением будут поминать его!

*13 мая*

Вчера вечером Лев Николаевич читал вслух помещенные в «Круге чтения» два отрывка из «Записок из Мертвого дома» Достоевского («Орел» и «Смерть в госпитале»), которые он очень высоко ценит. После чтения он сказал:

— Достоевский, Гоголь — это серьезные писатели, а Тургенев, Чехов — легкомысленные.

С. А. Стахович сказал Льву Николаевичу, что его желал бы видеть профессор Мечников. По этому поводу был разговор о Мечникове и его научных занятиях. Лев Николаевич сказал, что то, чем занят Мечников: изыскание средств увеличения продолжительности жизни, не имеет значения.

— Вот если бы он придумал, — сказал Лев Николаевич, — что-нибудь такое, что бы могло избавлять от страданий при смерти, — это было бы хорошо. Потому что часто в агонии человек не может слова сказать, а он многое мог бы рассказать, очень многое.

*15 мая*

Сегодня, когда я при Льве Николаевиче разбирал почту, он сказал мне, указывая на иностранный журнал:

— Признаюсь, я смотрю на эти цветы, которые они там разводят (он показал рукой на парк), и мне прямо это неприятно. Так же и это — цветы в литературе.

*17 мая*

Вчера по поводу замечаемого им в себе уже давно ослабления памяти Лев Николаевич сказал мне:

— Я не жалуюсь. Одно я полагаю, что я теперь художественные вещи не мог бы писать именно вследствие этого отсутствия памяти. Я пробовал несколько раз, и не выходило... Как он ходит, как он одевается...

Вчера у Льва Николаевича была сильная изжога и слабость. Я замечал, что во время болезни он как-то особенно далеко уходит от окружающей жизни. Как, вероятно, ему докучаем и бываем неприятны в это время все мы, мирские люди.

Сегодня та же слабость. Утром, узнав от меня, что его ждет пришедший «поговорить» посетитель, сказал мне:

— Я вам пожалуюсь: я прямо устаю мозгом. Выйдешь вот так поговорить — и выходишь весь. Так что вы меня для меня же берегите.

*18 мая*

Несколько месяцев тому назад осужденный на десять лет в каторгу рабочий-революционер, сидящий в псковской тюрьме, не надеясь вынести долгие годы заключения, обратился ко Льву Николаевичу с просьбой определить его малолетних детей в приют, что Лев Николаевич и исполнил через С. А. Стахович[62]. На днях было получено от этого рабочего письмо, в котором он пишет, что сейчас же по получении известия об определении его детей он хотел поблагодарить Льва Николаевича, но, пишет он, начальник объявил мне, что «всякая переписка с вами есть преступление, а в особенности из стен тюрьмы».

Вчера за вечерним чаем был разговор о лечении. Лев Николаевич сказал:

— Не знаю, хорошо ли это или плохо, но я совсем не верю в медицину.

*19 мая*

Вчера Лев Николаевич говорил об обычном суждении публики, большинства читателей, о художественных произведениях высокого достоинства.

— Ему кажется все так просто: «тут ничего нет особенного, это и я так напишу», и он садится и начинает писать. А того не знает, каким огромным, упорным трудом далась автору эта простота, — путем бесконеч-

ных вымарываний, вычеркиваний всего ненужного, переделок.

Жена Сергея Львовича, Мария Николаевна, рассказывала, что на происходившем несколько дней назад выпускном экзамене в женском институте в Москве архиерей Анастасий, в числе других вопросов, спросил: «А знаете ли, кто из теперешних писателей не верит в бога?» Девочки сейчас же сказали: «Толстой». Архиерей подтвердил их ответ и прибавил: «А вот у молодых писателей, как Горький, Андреев, начинается религиозное искание».

*20 мая*

Еще два заглавия переменились у той статьи, над которой теперь работает Лев Николаевич: «Неизбежный шаг» и «Неизбежный переворот».

Был корреспондент «Русского слова», приехавший узнать от Льва Николаевича содержание его статьи о модном теперь сборнике «Вехи» (о чем слухи уже проникли в печать). Не желая печатать статью целиком, Лев Николаевич очень охотно сообщил корреспонденту для напечатания в газете выдержки из нее, выражающие основную мысль о том, как запуталась интеллигенция в своих мудрствованиях, и как утратила она способность ставить и разумно разрешать главнейшие вопросы жизни, и как трудовой народ стоит в этом отношении несравненно выше той гордой своим мнимым просвещением интеллигенции, которая считает себя призванной просвещать этот более, чем она, просвещенный народ [63].

При отъезде корреспондента я спросил Льва Николаевича, не трудно ли было ему с ним.

— Нет, — ответил Лев Николаевич. — Он очень приятный человек. Я очень рад, что это свалил с себя.

*21 мая*

Сегодня А. В. Калачев рассказывал Льву Николаевичу о своих беседах с известным глубоко религиозным человеком Александром Добролюбовым и его учениками. Между прочим, он передавал, в чем Добролюбов видит свое расхождение со Львом Николаевичем: в том, что Лев Николаевич слишком большое значение придает разуму, а Добролюбов придает большое значение «глубоким внутренним ощущениям». Лев Николаевич одобрил основу выраженной в этих словах мысли.

— Я вчера еще, — сказал он, — читал в «Круге чтения» мысль Лихтенберга о том, что мы признаем умом, что все на свете имеет свою причину, а между тем сознаем, что воля наша свободна, и без этого сознания мы не можем жить. Я не могу жить, если я не буду сознавать, что я могу поднять вот эту руку, сесть вот сюда. Отсюда следует, что мысль о том, что все на свете имеет свою причину, неправильна. Это пример того, как ум может ошибаться [64].

В немецком «Гетевском календаре» [65] Лев Николаевич прочел и очень одобрил мысль Гете о том, что гению толпа дает те права, которые, по-настоящему, должны бы признаваться за каждым человеком: гению толпа позволяет жить и думать по-своему.

*25 мая*

Приехал М. С. Сухотин, зовет всех нас к себе в Кочеты. Софья Андреевна боится, что Лев Николаевич заразится там дифтеритом. Кто-то заговорил о противодифтеритной прививке. Лев Николаевич сказал:

— Пусть мне сделают прививку к сапогам... Право, я считаю одинаковым: сделать прививку мне или моим сапогам.

Вечером Лев Николаевич рассказывал о приезжавшем к нему сегодня купце из Царицына.

— Разговор с ним, — сказал Лев Николаевич, — помог мне избавиться от одного из моих бесчисленных недостатков. Он пишет стихи. Я раньше всегда относился к людям, пишущим стихи, почти с презрением. А теперь я вижу, что это бывает вследствие высокого духовного подъема, который человек не умеет выразить.

Затем Лев Николаевич вспомнил о бывшем у него недавно Сергее Гаврилове, пришедшем пешком из Симбирска, ведущем страннический образ жизни.

— Он говорит, — сказал Лев Николаевич, — что главная нужда русского народа — это в пище духовной. Я с ним совершенно согласен.

Этот Гаврилов в одном из своих писем ко Льву Николаевичу сообщил ему некоторые из своих мыслей. Одну из них Лев Николаевич включил в «Круг чтения», именно следующую:

«Думать, что богатство облегчает жизнь — все равно, что думать, что с ношей идти легче» [66].

Сегодня за обедом разговор зашел о полковнике, приехавшем на этих днях, по поручению министра внутренних дел, в наши края, «расследовать дело Черткова»[67]. «Расследование» это явилось результатом свидания с министром Татьяны Львовны, в начале мая ездившей с этой целью в Петербург.

С этим чиновником Лев Николаевич виделся у Чертковых третьего дня. Сегодня за обедом он сказал:

— Я ему сказал, что по моему возрасту — я с его отцом был приятелем — мне Столыпин представляется мальчиком, и этот мальчик распоряжается жизнью почтенного человека, моего друга... Мне нужно бы сказать ему одно: зачем он служит в этой отвратительной должности.

— А вы не сказали этого?

— Нет.

— Напрасно, — сказал далее Лев Николаевич о В. Г. Черткове, — он этот дом построил, а то сказать бы им, выражаясь по-русски: убирайтесь вы все от меня к чертовой матери...

*26 мая*

Вчера вечером у меня со Львом Николаевичем был разговор о сознании. В ответ на один из моих вопросов, Лев Николаевич прочитал мне свою мысль, записанную им недавно в дневнике. Отыскивая в своем дневнике то, что он хотел мне прочитать, Лев Николаевич сказал не относившееся к нашему разговору, но, видимо, занимавшее его в это время:

— Ах, Николаев — какой это удивительный человек! Теперь Софья Андреевна, несчастная, мучается с своим хозяйством... Я никогда не чувствовал так ярко несправедливость крепостного права, как чувствую теперь несправедливость земельной собственности... Эти цветы, эти луга — и рядом с ними крестьянская скотина на пару, где уж ничего нет... А ему корова нужна для детей...

Сегодня за вечерним чаем был спор о вегетарианстве. Студент N настаивал на том, что растения — также живые существа и потому их также нельзя истреблять. На это Лев Николаевич сказал:

— Это излюбленный довод всех врагов прогресса и защитников всякой реакции и регресса: что так как мы не можем сделать всего, то мы можем не делать ничего.

*27 мая*

На днях Лев Николаевич получил следующее письмо из Сибири:

«Извещаю, что вас и здесь преследуют: в ночь на 29 апреля у меня был обыск из-за ваших сочинений, и книжек десять забрали; уцелели только те, которые были на руках у других лиц. И то добро, что забрали: урядник, пристав и еще какой-то человек, как передал мне хозяин земской квартиры, всю ночь читали ваши книжки и хвалили; говорят, что хорошие, то есть соглашаются. Значит, нет худа без добра, пусть и полиция начитается толстовщины.

О последнем все мужики узнали от хозяина земской квартиры, что книги Толстого хорошие, а потому мне не дают проходу — нет ли у меня еще да где бы добыть» [68].

*29 мая*

Сегодня вечером я прочитал Льву Николаевичу из газеты недавнее определение синода о причислении к святым княгини Анны Кашинской [69], которое должно состояться 10 июня, а также из «Истории канонизации святых в русской церкви» Голубинского всю позорную и глупую историю этой «святой», причисленной к святым еще в 1649 году и затем разжалованной в простые смертные в 1687 году.

Голубинский, вслед за другими историками, объясняет разжалование ее тем, что народ говорил, что пальцы у этой святой сложены двуперстным знамением, и вследствие этого поклонение ей, по мнению духовенства, способствовало распространению раскола. В том постановлении иерархов православной церкви, которым сопровождалось это разжалование, обстоятельно объяснялось, что все рассказы о нетленных мощах Анны Кашинской и происходивших от них будто бы чудесах — ни на чем не основанная выдумка. Теперь для каких-то целей понадобилось вновь выдать этот отвергнутый двести лет назад вымысел за правду и внушить темному стомиллионному русскому рабочему народу суеверное обоготворение еще и этой никому не известной личности.

На Льва Николаевича вся эта история произвела удручающее впечатление [70].

— Люди боятся смерти, — сказал он, — а тут является одно желание: поскорее уйти от этой нелепости.

Выйдя в столовую, Лев Николаевич рассказал гостям вкратце всю эту историю и сказал:

— Все это подписывается митрополитами, архиереями. И с этими людьми серьезно разговаривают! Разве можно с ними серьезно разговаривать? Им можно только сказать: ку-ку!

*31 мая*

Вчера приезжал на один день И. И. Мечников с женой [71]. Особенно значительных разговоров со Львом Николаевичем у него не было, по крайней мере, тогда, когда я имел время слушать [72].

После завтрака Мечников с восторгом заговорил о художественных произведениях Льва Николаевича. Лев Николаевич высказал свое обычное отношение к ним и затем прибавил:

— Как в балагане выскакивает наружу паяц и представляет разные фокусы для того, чтобы завлечь публику вовнутрь, где настоящее представление, так и мои художественные произведения играют такую же роль: они привлекают внимание к моим серьезным вещам.

Далее Лев Николаевич сказал, что значение искусства он видит в том, что оно объединяет людей в одном и том же чувстве.

— Если это чувство хорошо, — сказал Лев Николаевич, — то и произведение искусства будет хорошо; если же это будет чувство дурное — сладострастия, гордости, — то и произведение искусства будет вредно.

Г-жа Мечникова сказала, что, по ее мнению, значение художественных произведений в том, что они раскрывают душу того человека, которого изображают. Лев Николаевич вполне согласился с этим.

После отъезда Мечникова Лев Николаевич сказал мне:

— Дорогой * я попробовал с ним заговорить о религии; он из уважения ко мне не возражал, но я увидел, что это его совершенно не интересует. Я даже рад, что сам мало говорил, а предоставил ему говорить.

*1 июня*

Вчера я прочитал Льву Николаевичу место из «Дневника писателя» Достоевского, в котором защищается война [73]. Прослушав, Лев Николаевич сказал:

---

* После завтрака они ездили вдвоем к А. К. Чертковой. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

— Беда, когда человек начинает рассуждать, не имея в себе настоящей основы любви.

Вечером, когда я зашел ко Льву Николаевичу и положил ему на стол переписанную Александрой Львовной его работу, он читал «Круг чтения». Когда я вошел, он поднял на меня глаза и сказал:

— Как это могут люди жить без «Круга чтения»!

И он прочитал вслух несколько мыслей из вчерашнего дня «Круга чтения», прибавляя после некоторых:

— Как хорошо!

Приезжал ко Льву Николаевичу из Тулы железнодорожный служащий, уже немолодой человек, член «Союза русского народа». Он был немного выпивши.

— Скорблю я о вас душой, мы все скорбим, — сказал он Льву Николаевичу.

Когда он шел обратно на станцию, я встретился с ним на дороге.

— Я ему говорю, — передавал он мне свой разговор со Львом Николаевичем, — ведь мало ли было писателей: Пушкин, Гоголь, Лермонтов... (он остановился), Жуковский, — ведь ни один не восставал против религии... Кабы раскаялся он в своих заблуждениях, мы бы его похоронили по-православному, помянули, памятник бы ему поставили лучше Гоголя...

— Да ведь для него слава людская не имеет значения, — сказал я.

— Вот он и мне говорил: «Я за этим не гонюсь...» А все-таки, — вдруг неожиданно для меня прибавил мой собеседник, переходя из грустного тона в веселый, — хоть мы с ним вот так обошлись (он покрутил одной рукой вокруг другой), а хороший старичок.

— Как мне неприятен был этот член «Союза русского народа»! — сказал мне вечером Лев Николаевич, — ничего не слушает, ничего не понимает. Я ему говорю: вот Столыпин одобряет казни, войны. — «Да как же их не вешать!» — Ничего не понимает. Впрочем, не он один такой, есть и профессора такие...

*2 июня*

Вчера утром Лев Николаевич опять сказал мне, что он очень устал мозгом и просил оберегать его от посетителей.

Приезжал вчера из Кишинева редактор «Вегетарианского обозрения» [74] И. О. Перпер. Я узнал от Перпера,

что он стал вегетарианцем после того, как прочитал статью Льва Николаевича «Первая ступень».

Разговаривая со Львом Николаевичем, Перпер, между прочим, спросил его мнение о вивисекции. Лев Николаевич ответил, что этот вопрос для него решается субъективно: сознанием того, чего не должно делать. И потому, каковы бы ни были практические результаты вивисекции, вопрос решается не в этой области.

— Эти результаты сомнительны, — сказал Перпер.

— Повторяю, — возразил Лев Николаевич, — на основании практических соображений вопрос этот нельзя решить.

Я дал прочитать Перперу (полагая, что они будут для него интересны) два недавно полученные Львом Николаевичем письма, касающиеся вегетарианства. Одно из них — из Тулы, от двух мальчиков, родных братьев, которые пишут о том, что они отказались от мяса и этим вызывают против себя раздражение своего отца. Прочитав это письмо, у Перпера явилась мысль послать этим мальчикам свой журнал. Лев Николаевич очень одобрил это намерение, особенно потому, что надеялся, что и родные их, враждебно относящиеся к отказу от мясоедения, узнают из журнала, что переход от мясной пищи к растительной рекомендуется многими людьми, в том числе учеными профессорами и докторами.

*3 июня*

Вчера утром на имя Льва Николаевича получена следующая телеграмма от сына Генри Джорджа:

«Могу ли посетить? Благоволите ответить».

Лев Николаевич ответил:

«Очень рад видеть. Ожидаю».

Мысль о свидании с сыном не только его любимого писателя, но самоотверженнейшего борца за освобождение трудящегося народа от рабства и нищеты очень взволновала и растрогала Льва Николаевича. Вернувшись с утренней прогулки, Лев Николаевич, не заходя в свой кабинет, прошел ко мне и продиктовал мне вызванную ожиданием свидания с сыном Джорджа небольшую статью о земельном вопросе [75]. Основная мысль этой статьи, которую Лев Николаевич уже много раз выражал в своих статьях, письмах и разговорах, та, что как пятьдесят лет тому назад было необходимо освобождение от крепостного

права, так же необходимо теперь, для блага трудящихся, освобождение земли от частной собственности.

Лев Николаевич поспешил продиктовать эту статью для того, чтобы предложить ее в распространенную газету «Русское слово», через приехавшего вчера корреспондента этой газеты, привезшего, по желанию Льва Николаевича, корректуру имеющей появиться в газете статьи о посещении его Мечниковым. После отъезда корреспондента Лев Николаевич пожалел, что не написал в редакцию этой газеты письмо с просьбою напечатать посылаемую статью (о земельном вопросе), невзирая на опасность штрафа или конфискации номера.

— Пусть бы они заплатили, они богатые, — умоляющим голосом говорил мне Лев Николаевич, как будто бы он разговаривал с самим редактором [76].

Так дорого Льву Николаевичу распространение правильного взгляда на земельный вопрос.

Вчера вечером А. Б. Гольденвейзер читал в моей комнате уже законченную Львом Николаевичем статью «Неизбежный переворот». Лев Николаевич, проходя мимо, поинтересовался узнать, что́ он читает, и, узнав, что «Неизбежный переворот», сказал:

— Книга хорошая, хоть и я ее писал.

*4 июня*

По просьбе генерала Ершова, любителя и знатока стенографии, я написал ему вчера, отвечая на его вопросы, о моих стенографических записях диктуемого Львом Николаевичем. Лев Николаевич прочитал мое письмо, одобрил и сказал:

— Вы бы ему еще написали, что художественное я не мог бы диктовать.

— Отчего?

— Так, совестно как-то... Когда пишешь художественное, то это наброски, которые только для того, чтобы себе напомнить то чувство, с которым пишу. Другому передавать как-то совестно. Набрасываешь для себя. А когда пишешь статью, то стараешься, чтобы было закончено.

Действительно, Лев Николаевич никогда не диктовал мне ничего художественного.

Между прочим, я писал Ершову, что диктование писем, при быстрой записи диктуемого, придало письмам Льва Николаевича характер той непосредственной

задушевности, которая свойственна личному общению, но бо́льшею частью утрачивается при записывании мыслей обыкновенным письмом, потому что перо не может поспеть за движимой чувством мыслью.

*5 июня*

Ожидается приезд Куприна в Ясную Поляну [77]. Третьего дня за обедом я спросил Льва Николаевича, рад ли он свиданию с Куприным или не очень.

— Так себе, — ответил Лев Николаевич. — Литературные интересы мне всегда надо вызывать в себе.

Вчера Лев Николаевич сказал М. А. Шмидт:

— Вы спросите у Николая Николаевича статью С. Яблоновского в «Русском слове» [78]. Мне Софья Андреевна ее показала. Она меня тронула до слез, что наконец публика начинает понимать то, что я долблю столько лет...

И Лев Николаевич заплакал.

Статья эта, имеющая заглавие «Не помню... Забыл...», написана по поводу проникших в печать сказанных Львом Николаевичем Мечникову слов о том, что он не помнит содержания «Анны Карениной». (Лев Николаевич действительно сказал это Мечникову. Софья Андреевна стала напоминать ему содержание романа, но Лев Николаевич слушал без интереса.)

Приведя эти слова Льва Николаевича, автор статьи спрашивает:

«Что же это такое? Изъян старческой памяти? Но в этом Толстого не упрекнет и заклятый враг. Память Толстого жадно и беспрерывно впитывает в себя такую массу знаний, от которой впору надорваться юношескому мозгу. Его глаза по-прежнему зорко глядят на мир. Более зорко, чем прежде. И... не помнит он содержания «Анны Карениной».

И, объясняя это, автор статьи говорит:

«Толстому необходимо было из памяти стереть все прошлое, не только свои прежние произведения, но даже все заповеди, кроме одной, «единой заповеди»: любви к ближнему. Все в этом, все для этого, все к этому, и без этого — ничего.

И чем больше издеваются в наше время над единою заповедью о любви, тем необходимее полнее забыть все прошлое и проникнуться только одною ею, сосредоточить на ней всю силу духа, говорить, и писать, и думать только о ней... Тысячи, десятки и сотни тысяч служат сейчас

страшному делу злобы и крови. И только один человек, всецело отдавший себя делу любви. Как же не забыть ему всего, кроме «единой заповеди».

Этот-то конец статьи особенно тронул Льва Николаевича.

*7 июня*

Вчера приезжал сын Генри Джорджа, уехавший обратно в тот же день. Лев Николаевич был очень растроган. На прощанье Лев Николаевич сказал Джорджу:

— Мы с вами не увидимся больше; скажите, какое поручение вы даете мне на тот свет для вашего отца?

— Скажите ему, что я продолжаю его дело, — отвечал Джордж. Лев Николаевич не мог удержаться от слез при таких словах Джорджа [79].

Вчера же приезжал известный балалаечник Трояновский, игравший преимущественно народные песни. Игра его доставила Льву Николаевичу очень большое удовольствие [80].

*9 июня*

Вчера мы приехали к М. С. Сухотину в Кочеты: Лев Николаевич, Софья Андреевна, Душан Петрович, Илья Васильевич и я. Выехали в восемь часов утра. Лев Николаевич в вагоне немного занимался начатой им в прошлом месяце статьей «Единая заповедь». Во время одной из остановок поезда он прошелся по вагонам. Многие из пассажиров сейчас же узнавали его. С большим интересом смотрел Лев Николаевич в окно на мелькавшие поля и леса и проходивших людей. Увидав сидевшую на насыпи кучку рабочих, он сказал мне:

— Рабочие тут сидят... Хорошо!.. Когда я вижу нашего брата, упитанного, сидящим в такой самоуверенной позе, мне всегда бывает противно; а у них это законно.

Я рассказал Льву Николаевичу, что видел на станции Щекино нашего урядника, который сказал мне, что у пристава получена бумага о том, что «дело» мое прекращено *. Я сказал, что мне кажется, судя по этому, что и в деле В. Г. Черткова, с которым, как мне известно, почему-то связали мое «дело», наступил переворот

* Это оказалось неверным: прекращено было только возбужденное в 1908 году судебное преследование против меня за рассылку запрещенных книг Льва Николаевича. Но в той же бумаге было сказано, что дело мое «будет решено административно». *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

к лучшему. Лев Николаевич перед этим только что читал книжку анархиста Малатесты, которая ему понравилась[81]. Выслушав меня, он сказал:

— Мне как это противно. Точно как детей, когда они забалуются, ставят в угол, потом прощают...

На одной из станций Лев Николаевич купил газету «Слово». (Он спрашивал московских, но их не было, потому что вчера был понедельник.)

В Орле, куда мы приехали в половине третьего, Лев Николаевич прошелся по платформе, потом, остановившись, записал что-то в записную книжку. Мало кто узнал его. Одна старушка долго молча, с благоговением смотрела на Льва Николаевича и, когда он уже садился в вагон, подошла к нему и выразила ему свою благодарность и добрые пожелания. Мне она сказала, что Лев Николаевич «в натуре гораздо презентабельнее, чем на карточках. На карточках у него более суровое выражение».

Когда Лев Николаевич уже взошел в вагон и стоял у окна, перед вагоном собралась небольшая кучка железнодорожных служащих и учащихся.

Увидав стоявшего на платформе генерала, Лев Николаевич попросил меня спросить у него, не знает ли он, не здесь ли находится Михаил Львович, который отбывает теперь учебный сбор ратником ополчения.

С Орла в том вагоне, где был Лев Николаевич, стало очень тесно. У Льва Николаевича завязался разговор с предводителем дворянства о земле, о проекте Генри Джорджа, о разрушении общины. Предводитель не соглашался с ним и спорил.

Шедший после Орла контроль относился ко Льву Николаевичу, по-видимому, недоброжелательно.

— Что же не идете Льва Толстого смотреть? Он там повествует, — с иронией сказал кондуктор какой-то даме в нашем вагоне *.

— Должен вам сказать, что там и стать негде, — заметил контролер.

— Да он и сам-то, Толстой, на лесовика похож, — сказал кондуктор.

Устав от духоты и неприятного разговора, Лев Николаевич перешел в наш вагон. Душан Петрович разыскал

---

* Мы с Душаном Петровичем поехали во втором классе, Лев Николаевич и Софья Андреевна — в первом. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

китайца, ехавшего в одном поезде с нами, и привел его ко Льву Николаевичу. Лев Николаевич стал расспрашивать китайца об их жизни и вере.

В наш вагон перешел также торговец, сидевший сначала в первом классе и внимательно слушавший разговор Льва Николаевича с предводителем. Когда Лев Николаевич кончил говорить с китайцем, торговец попросил его разъяснить некоторые высказанные им мысли о духе и теле. Лев Николаевич очень охотно отвечал ему.

Высадившись на станции Благодатной, мы ехали до Кочетов пятнадцать верст на четверке огромных, сильных, сытых лошадей. Дорога шла большей частью барскими полями или мимо больших старинных парков. Встречавшиеся крестьяне почти все, даже старики, снимали шапки и кланялись и потом долго стояли с непокрытой головой. Я обратил на это внимание Льва Николаевича. Он сказал:

— Я бы на их месте плевал бы, когда видел этих лошадей и эти огромные парки, когда у него нет кола, чтобы подпереть сарай... Когда поймешь это, это что-то ужасное [82].

*10 июня*

Вчера, вернувшись с предобеденной прогулки, Лев Николаевич по случайному поводу заговорил со мной о литературе.

— Вот тут, — сказал он, указывая на книжный шкаф со стеклянными дверцами, — в роскошных переплетах стоят десять томов Тургенева, десять томов Белинского, — все это такая чепуха...

И, сделав намек относительно начатой им художественной работы [83], Лев Николаевич прибавил:

— Может быть, под этим соусом художественным что-нибудь проскочит...

Вечером говорили о молодом Сухотине.

— Сколько ему лет? — спросил Лев Николаевич.

— Двадцать один, двадцать второй.

— Это такой возраст, в который все всё знают, — сказал Лев Николаевич.

*15 июня*

Вчера вечером у Льва Николаевича с Л. М. Сухотиным, готовящимся на степень магистра истории, был разговор о законе 9 ноября. Сухотин сказал, что по новей-

шим исследованиям земельная община возникла в русском крестьянстве лишь в XVIII веке, вследствие финансовой реформы Петра, переложившего подать с земли на душу и потому община есть только известная временная форма. Лев Николаевич на это сказал:

— Вопрос о том, что было, не разрешает вопроса о том, что должно быть. Главное, разумеется, то, что все эти разговоры о благе народа — пустяки, никто о нем не думает, а здесь скрытая цель та, чтобы помещик мог сказать крестьянину: у меня тысяча десятин, а у тебя двадцать десятин; значит, мы с тобой одно и то же.

*16 июня*

Поразительно разнообразие умственных интересов Льва Николаевича.

За последние три дня, работая над своими статьями и письмами, он, кроме того, серьезно читал три книги: «Современная Персия» Атрпета [84] (эта книга ему очень понравилась), «Buddhistischer Katechismus» («Буддийский катехизис») von Subhadra Bickschu [85] и «Religionslehre für die Jugend» von Eugen Schmitt [86].

Когда Лев Николаевич вернулся сегодня с утренней прогулки, я спросил его, как он себя чувствует.

— Плохо, — ответил Лев Николаевич, — то есть очень хорошо... Только в восемьдесят лет я вполне ясно понял, какое значение для жизни имеет memento mori *. Если помнишь, что умираешь, то ясно, что цель жизни — не в личности. Ведь это так ясно, что Танечке маленькой [87] можно бы внушать это...

*21 июня*

Вчера за обедом Танечка спросила про кого-то из больших, будет ли он расти. Услышав это, Лев Николаевич сказал:

— Я сейчас видел в саду комара с громадными ногами, который сидел на листе. Какое у него миросозерцание?.. Как он представляет себе этот лист?.. У него должно быть свое особое представление о мире. Вот у Танечки представление такое, что все растут...

*22 июня*

Вчера во время прогулки Лев Николаевич подъехал к косцам и вступил с ними в разговор. Он говорил о том,

* Помни о смерти *(лат.)*.

что важнее всего для каждого человека заботиться о своей душе; говорил о солдатстве, что оно противно богу и пр. Взял у одного из них косу и попробовал косить, что еще более увеличило их уважение к нему. От этого разговора у него осталось хорошее впечатление.

*24 июня*

Какая трагичная судьба Льва Николаевича в его отношениях к рабочему народу! Он, который не только болеет всеми страданиями народа: его голодом, забитостью, невежеством, одурением его правящими классами, но и любит его душу, сохраняющую еще основы христианского отношения к жизни и людям, он-то, благодаря видимости своего богатого, барского положения, лишен возможности простого, искреннего общения с рабочим народом. Вчера ему удалось с одним здешним крестьянином поговорить о важных вопросах жизни, и разговор этот был ему приятен, но затем крестьянин огорчил его, попросив денег на сруб.

Статью «Единая заповедь», которую он теперь кончает, Лев Николаевич начал сначала писать самым простым языком, но затем незаметно опять перешел на тот язык, которым написаны все его статьи. Произошло это, я думаю, оттого, что Льву Николаевичу хочется выражать свои мысли как можно точнее; стремясь же к наибольшей точности выражения мысли, он не может в то же время думать и о наибольшей доступности ее выражения. Теперь Лев Николаевич снова хочет переделать эту статью так, чтобы она стала вполне общедоступной по языку [88].

Вчера вечером Лев Николаевич сказал мне об этой статье:

— Я вчера читал эту статью им вслух * и, как это бывает, не умом, а всем существом понял, что писать надо не для этих испорченных людей, каковы все мы, а для этих миллионов, которые стоят голодные, с открытыми ртами... Не полемизировать с Петражицкими [89], а писать для этой огромной аудитории, которая жаждет, и жаждет именно в этом направлении. И статьи и художественное для них писать... Нам уже больше ничего не войдет...

* Домашним и гостям. (*Прим. Н. Н. Гусева.*)

Я сказал, что, судя по письмам, многие люди из народа теперь уже понимают его и некоторые даже благодарили за простой язык.

— Все-таки это немногие, — ответил Лев Николаевич. — А надо так писать, чтобы все те, которые вчера плясали здесь, все они поняли [90].

Сегодня утром получена телеграмма от Димы Черткова: «Бате отказ вернуться». Когда я сообщил об этом Льву Николаевичу, он сказал:

— Вероятно, так нужно... Мне-то наверное так нужно, а ему — не знаю.

Вчера за завтраком Лев Николаевич сказал М. С. Сухотину о своем душевном состоянии:

— Прошедшее забыл, будущим не интересуюсь, — очень желаю вам дожить до этого... И вместе с тем к важнейшим вопросам жизни никакого нет ослабления интереса.

*4 июля*

Вчера ночью Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну. Софья Андреевна уехала раньше, поэтому Лев Николаевич вместе с Душаном Петровичем и Ильею Васильевичем ехал в третьем классе. Доро́гою ему удалось хорошо поговорить с ехавшим в том же поезде железнодорожным жандармом. Кондуктора, узнав Льва Николаевича, уступили ему служебное отделение.

Я уехал из Кочетов неделю раньше Льва Николаевича, Софья Андреевна — несколькими днями раньше меня. В Ясной Поляне без Льва Николаевича было пусто и скучно. «В Ясной не ясно», — сказал С. Д. Николаев.

Сегодня вечером Лев Николаевич рассказывал про то, что он видел на ярмарке близ Кочетов [91]. Продавцы и покупатели торгуются из-за пятиалтынного, божатся, ругаются матерными словами, наконец, приходят к соглашению: «Ну, по рукам! Молись богу!» — снимают шапки и крестятся.

— Как это смешно! — сказал я.

— Я думаю, богу это смешно, — смеясь согласился со мной Лев Николаевич.

Первого июля получена из Петербурга следующая телеграмма: «Собравшиеся на товарищеский обед, члены первого всероссийского съезда издатели и книгопродавцы шлют свой единодушный горячий привет единственному писателю, отказавшемуся от личных прав на свои произ-

ведения, Льву Николаевичу Толстому. Да здравствует на многие лета великий писатель земли русской»[92].

*6 июля*

Вчера приходил владимирский крестьянин — поделиться волнующими его мыслями об основной причине зла и страданий в человеческой жизни. Эту основную причину страданий человеческого рода он видит в труде; труд он считает источником всякого зла для людей. Лев Николаевич долго говорил с ним, не соглашаясь с его взглядами. Между прочим сказал:

— Мы не спрашиваем себя, нужно ли дышать; мы дышим. Точно так же и относительно пищи. Но пища не добывается так накоротке, и потому человеку необходимо трудиться.

Вечером Лев Николаевич сказал про этого крестьянина:

— В нем есть один из важнейших, на мой взгляд, признаков серьезности: уменье слушать.

*9 июля*

Председатель Конгресса мира, назначенного в августе в Стокгольме, прислал Льву Николаевичу приглашение приехать на Конгресс.

— Я поеду, — сказал мне Лев Николаевич.

Сегодня же Лев Николаевич продиктовал мне письмо президенту Конгресса, в котором говорит, что если только он будет иметь силы, то постарается сам быть на Конгрессе; если же нет, то пришлет то, что хотел бы сказать[93].

*11 июля*

Лев Николаевич получил письмо с вопросом о том, правда ли, что за последнее время он начал отрицательно относиться к учению Генри Джорджа. На это письмо Лев Николаевич поручил мне ответить следующее:

«Джорджа я никогда ни в чем не могу отрицать, потому что основы его те же, что и мои, — религиозные. Признаю я Генри Джорджа в особенности потому, что несправедливость по отношению к земле есть коренная несправедливость. Исправление ее само по себе повлечет неизбежно уничтожение и несправедливости капитализма и других. Притом же я смотрю на теорию Генри Джорджа не как на нечто, что желательно, чтобы было исполнено правительственными, следовательно, насильственными мерами,

но как на средство разрешения земельного вопроса, которое всегда будет стоять перед людьми, даже совершенно свободными от всякого государственного насилия»[94].

*13 июля*

Вечером я читал вслух в доме В. Г. Черткова почти законченную Львом Николаевичем статью о науке[95]. В числе слушателей были живущие вблизи рабочие, и некоторые сделали возражения. Главное возражение было то, что хотя знание того, как жить хорошо, и важнее всех других знаний, — все-таки химия, физика, астрономия и другие науки тоже важны, и без них нельзя обойтись людям. На это возражение Лев Николаевич отвечал:

— Моя мысль та, что наукой может быть только одно: знание того, чтó я такое и как я должен жить, чтобы исполнить свое назначение. Остальное не есть наука, а есть праздное употребление оставшейся без применения деятельности умственной порабощающих классов, которое выразилось в играх, в театре, в ристалищах, в скачках, в «науке» и т. д. Я даже всегда избегаю слова «наука»; я говорю: «так называемая наука». То наука, а то дребедень. Я говорю такие страшные вещи, но я не могу иначе говорить. Если бы вы не знали, что земля вертится, а солнце стоит, ничего не было бы плохого. Подобные знания кажутся важными, а они — совершенные пустяки. В этом моя мысль, что я признаю настоящую науку до такой степени важной, что в сравнении с нею все те средства — аэропланы, и химические бомбы, и автомобили, и все, что хотите, — все это несоизмеримо. Нельзя сказать, что это — маленькая вещь, а то — большая; но это две вещи совершенно несоизмеримые. Это удовлетворяет или праздной любознательности, или приложению к мастерствам. Мастерства бывают различные: убивать людей, кушанья готовить и другие. Это второй отдел. Третий отдел состоит в обмане, чтобы оправдывать свое положение: богословские и юридические квазинауки...

— Удивительное явление случилось в нашем мире, эксплуатирующем народ: то, что наукой считается все, кроме того, что есть действительно наука. Это факт, как это ни кажется парадоксом... Квазинаука выделила из себя то, что ей не подходит, то, что ее обличает; она не может принять истинную науку, потому что, если она ее примет, она сейчас же будет обличена. Современная

наука выросла из порабощения, в порабощающем классе, и сама она целью имеет порабощение. Когда наука принадлежит одному исключительному классу, одной тысячной, тогда она не может быть ничем иным, как только средством для эксплуатации еще большей народных масс. Настоящая наука показала бы, какие знания первой важности, какие второй, и так далее; она разобрала бы все знания по степени их важности, а степень важности определила бы по степени их приложимости для больших масс народа. При отсутствии той науки, о которой я говорю, все успехи наук неизбежно употребляются во вред народу, а не на пользу...

То, что вы говорите, подобно тому, что священник сказал бы, если бы стали оспаривать то, во что он верит: «как же можно отвергать катехизис?» Вы защищаете науку только потому, что вы верите в нее. А вы веру свою обоснуйте. Я сколько встречал людей неграмотных, но которые были гораздо просвещеннее самых ученых людей. Например, Сютаев, — вы слышали, может быть, про него?.. Это был старик, который был еле грамотный, но дай бог, чтобы у ученых людей была одна сотая доля той глубины мысли, какая была у него.

*14 июля*

Вчера вечером по поводу «Вех» был разговор о том, какое множество иностранных слов встречается в этой книге. Я сказал, что, по-моему, это злоупотребление иностранными словами проистекает из желания щегольнуть своей ученостью. Н. Б. Гольденвейзер возразил, что не только из щегольства, но и вследствие привычки, — кто постоянно вращается в мире этих слов, тем легче говорить этими словами: вместо того чтобы сказать пять-шесть слов, говорится одно.

— И менее определенное, — заметил Лев Николаевич, — так что меньше ответственности за него [96].

*15 июля*

Недавно у Льва Николаевича был один посетитель, который выражал ему свой восторг и благодарность за то, что он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».

— Я ему сказал, — рассказывал нам за обедом Лев Николаевич, — что это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Правильно ли, нет ли, я приписываю значение совсем другим своим книгам.

*18 июля*

Вчера Лев Николаевич получил от И. И. Мечникова его книгу «Essais optimistes»[97]. Прочитав из нее главу о морали, он сказал:

— Это та же самоуверенность, что у теперешней молодежи. Всех разносит. Старики никуда не годятся. Не то, чтобы признавать известные недостатки, а ничего в них нет хорошего.

*19 июля*

Приходили всем обществом крестьяне деревни Колпны, в шести верстах от Ясной Поляны. Просили Льва Николаевича обратиться с ходатайством к соседнему помещику Гужону о том, чтобы он согласился продать им часть земли. Лев Николаевич написал Гужону письмо, прося его исполнить желание крестьян[98].

Вечером Лев Николаевич сказал мне и Душану Петровичу:

— Как я счастлив, друзья мои! Работы столько, что не успеваешь. Это очень хорошо, — хорошо тем, что делаешь, что можешь; а не успел, так не успел.

*20 июля*

Третьего дня вечером приехал Михаил Львович. Поздоровавшись с ним в передней, мне показалось, что или он что-то имеет против меня, или не совсем хорошо себя чувствует. Вот что рассказал мне вчера и сегодня И. В. Денисенко о цели его приезда:

— Стоит передо мной с этакой арестантской рожей и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, Иван Васильевич, может мама продать сочинения отца без его ведома?» Я сказал ему, что этого нельзя, и прибавил: «А подумали вы о том, какое это действие произведет на отца?» Он смотрит на меня с такой улыбочкой и говорит: «А дети?» Тогда я говорю ему: «Но ведь даже с практической точки зрения этого никак нельзя сделать тайно, Лев Николаевич об этом непременно узнает, и тогда он может сказать: если вы злоупотребляете моей доверенностью, так я ее у вас отберу. Все это может сделаться в четверть часа».

Михаил Львович посидел недолго, раньше всех, в половине одиннадцатого, ушел спать и на другой день рано утром уехал.

В тот же день Лев Николаевич (я слышал это из своей комнаты) говорил в зале Душану Петровичу:

— Душан Петрович, если вы сомневаетесь в болезни Софьи Андреевны, то не вызвать ли нам другого доктора?

Софья Андреевна на это сказала:

— Не нужно, умру — туда и дорога.

Вскоре после того, как Лев Николаевич ушел спать, я услышал из своей соседней с его спальной комнаты громкий, возбужденный голос Софьи Андреевны. Слов мне нельзя было расслышать. Я слышал только, как, уходя из спальни Льва Николаевича, в дверях она сказала:

— Так или иначе, я этого не перенесу, я умру непременно.

Я пошел к Душану Петровичу, который был при этом, и спросил его, о чем был разговор. Он рассказал, что Софья Андреевна упрашивала Льва Николаевича не ехать в Стокгольм. Лев Николаевич сказал ей, что она возбуждена, лучше не говорить и что если она будет больна, то он не поедет.

Ночью через мою комнату несколько раз проходила к Софье Андреевне Ольга (горничная) со свечой, потом Душан Петрович.

Когда я вчера утром, ничего не подозревая, вышел на террасу к чаю, В. М. Феокритова встретила меня словами:

— Что же это вы сделали?

— Что такое?

— Отравили Софью Андреевну, — улыбаясь, сказала Варвара Михайловна.

— Как отравили?

— Она говорит: «Душан и Гусев меня отравили».

Вышел Лев Николаевич. Мне нужно было сказать ему о двух посетителях. Когда я сказал ему то, что было нужно, он сказал мне:

— Она совсем больна. Всюду заговоры, ее хотят отравить. Говорит, что вы ей сказали: «Мы все против вас». Говорили вы это?

— Ни слова не говорил.

— Лев Николаевич, — сказала Варвара Михайловна, — вы к ней не ходите, она без вас гораздо лучше.

Лев Николаевич пошел к посетителям, а я вернулся на террасу.

Поговорив с посетителями, Лев Николаевич вернулся, я вошел к нему по делу.

— Я никогда не видал не только ее, но и никого в таком состоянии. Она совсем больна. Я уж сказал ей, что не поеду, — сказал он мне.

По желанию Софьи Андреевны, вызвали телеграммой Андрея Львовича. Александра Львовна от себя послала телеграмму Татьяне Львовне: «Мама сильное нервное расстройство приезжай немедленно для успокоения папа».

В час дня приехал Андрей Львович. Поздоровавшись со всеми, он сейчас же прошел к Софье Андреевне. Немного погодя он вышел от нее и стал говорить с Александрой Львовной. Передаю с ее слов:

— Ну, вот, конечно, довели мама до расстройства. Чертков свою жену довел, а здесь тоже доводят. Чертков, Гусев оплели папа, он совсем в их власти.

После нашего завтрака Лев Николаевич вышел и предложил было художнику И. К. Пархоменко, который пишет его портрет, продолжать работу [99]. Я предложил, как было в предыдущие сеансы, И. В. Денисенко продолжать читать вслух повесть из тюремной жизни — «Людская пыль» А. М. Оссендовского [100]. Но Лев Николаевич посидел не больше десяти минут и ушел к себе. Незадолго перед этим я заходил к нему по делу. Он мне сказал:

— Я ничего не буду работать, никуда не пойду и разговаривать не буду.

В три часа я ушел из дома и вернулся только в седьмом часу. Льва Николаевича не было, он ушел гулять. Вернулся он уже к концу обеда с букетом цветов в руке, сказал несколько добрых слов и ушел к себе, обедать не стал. На некоторое время воцарилось тяжелое молчание. После обеда Лев Николаевич опять предложил И. К. Пархоменко писать портрет. Художник схватил то скорбное, просветленное выражение, которое было на лице Льва Николаевича весь сегодняшний день, и очень удачно изобразил его. Потом Лев Николаевич опять ушел к себе, говорил один на один с И. К. Пархоменко, раскладывал пасьянс, читал письма. Прочитав письма, он пришел ко мне отдать их. У меня были все: Александра Львовна, В. М. Феокритова, И. В. Денисенко, его жена Елена Сергеевна и сын Оня, И. К. Пархоменко. Сначала разговаривали, потом я предложил прочесть вслух предисловие

Льва Николаевича к альбому картин Н. В. Орлова. Чтение было прервано приходом Льва Николаевича. Он сдал мне письма, оставив у себя письмо о крестьянском банке и другое — от Черткова, из которого он прочитал вслух выдержку. Чертков зовет нас всех к себе, пишет, что у него есть комнаты для Софьи Андреевны, Александры Львовны, Д. П. Маковицкого, для меня и Ильи Васильевича. «А потом уж видно будет, поедете вы отсюда в Швецию или нет».

В то время, как Лев Николаевич читал эту выдержку из письма В. Г. Черткова, через мою комнату прошел в столовую от Софьи Андреевны Андрей Львович. Прочтя еще письмо о крестьянском банке, мы все пошли в столовую. Варвара Михайловна пришла раньше делать чай. Андрей Львович встретил ее вопросом:

— Что это такое читали?

— Письмо какое-то.

— Чье?

— Я не знаю: о крестьянском банке какого-то человека.

— Нет, а раньше что читали: не Черткова письмо?

— Это только выдержку читал Лев Николаевич.

— Это он соблазняет папа ехать в Стокгольм. Мерзавец! А для папа это смерть.

— Нет, кажется, Лев Николаевич сам прочитал в газетах, Чертков ему ничего не советовал.

— А он хотел с ним ехать?

— Кажется, хотел.

— И Саша тоже хочет устроить себе пикник в Швецию.

— Почему же пикник? Она едет с отцом.

Лев Николаевич весь вчерашний день не пил и не ел, только на ночь взял с собой полчашки чаю [101]. Софья Андреевна вечером ужинала, кушала куриный суп и яйца.

Варвара Михайловна рассказала ей, что Лев Николаевич ничего не ел целый день и утром, уходя от нее, был бледен как полотно.

— Ах вот как! Мне теперь стыдно, что я его так расстроила, — сказала Софья Андреевна.

Сегодня в семь часов утра я слышал, как Андрей Львович вошел ко Льву Николаевичу.

— Мама просила спросить, как ты себя чувствуешь? Она слышала, как ты стонал, — сказал он,

Ответа Льва Николаевича я не слыхал.

— Прощай, папа, я сейчас уезжаю, — холодно сказал Андрей Львович, простился и уехал.

*21 июля*

Софья Андреевна не желает, чтобы Лев Николаевич ехал в Стокгольм на Конгресс мира.

Сегодня Лев Николаевич целый день ничего не ел и не пил, только, уходя спать, взял себе полстакана чаю [102].

*22 июля*

Уступая Софье Андреевне, Лев Николаевич решил не ехать на Конгресс мира.

Утром диктовал мне статью, которую намерен послать Конгрессу [103]. Окончив диктование, подошел к столу, полюбовался букетом цветов, который поставил Илья Васильевич.

— Это, верно, Ганс * прислал. А вот это мужицкие, — указал он на стоявший в другой вазе букет полевых цветов. — Что это такое, вы не знаете? — спросил он меня, указывая на маленький, побелевший листок, попавший среди цветов.

Я не знал.

— Это дубовый листок, — сказал Лев Николаевич. — Почему-то он побелел.

И вдруг неожиданно для меня прибавил:

— Мне сегодня так хорошо!

И. К. Пархоменко Лев Николаевич вчера также говорил о том, что он решил не ехать на Конгресс и что у него радостно на душе.

— Но ведь вам, кажется, очень хотелось ехать? — спросил Пархоменко.

— От того, что мне так хотелось ехать, — сказал Лев Николаевич, — а меня просили этого не делать и я, наконец, уступил, мне теперь радостно, что сумел уступить.

*25 июля*

Вчера М. А. Шмидт спросила Льва Николаевича, как он себя чувствует внутренно. Он ответил:

— Умиленно-радостно. Мне приходилось встречать в своей жизни людей, которым ни в чем не веришь, у которых с утра до вечера одно: ложь, ложь и ложь. И это раньше раздражало; а теперь этого нет.

---

* Садовник. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

*26 июля*

Лев Николаевич говорил с А. С. Бутурлиным о том, как тяжело ему жить в барской обстановке.

— Стараюсь гадости сам выносить, — сказал он, — и мало того, скажу вам, что я подумываю, как бы уйти.

Эти дни Лев Николаевич продолжал читать повесть Оссендовского «Людская пыль» и некоторые места ее нашел очень сильно написанными, другие же не понравились ему своим цинизмом.

*27 июля*

Вчера вечером Лев Николаевич сказал Софье Андреевне, которая уже успокоилась за последние дни, что, может быть, он поедет на Конгресс. Она вышла из себя и при А. С. Бутурлине стала бранить его: «Ты лгун, ты зверь». (Меня при этом не было, передаю со слов А. С. Бутурлина.) После, проходя к себе из комнаты Александры Львовны, я слышал крик Софьи Андреевны в ее комнате и тихий голос Льва Николаевича, говоривший: «Да я ничего». Потом вдруг слышу: «Ай!» Оказалось, что Софья Андреевна схватила пузырек с морфием, поднесла его к губам и крикнула:

— Говори, поедешь или не поедешь?

Лев Николаевич вырвал у нее пузырек и бросил под лестницу.

После этого к Софье Андреевне заходили Александра Львовна, Варвара Михайловна, Мария Александровна Шмидт. Она говорила им:

— Вот так и буду сидеть две недели, не раздеваясь и не ложась, пока Конгресс не кончится. Он — зверь, он проповедует любовь, в нем никогда не было ни крошечки любви. Хорошо бы он умер.

Сегодня утром, разговаривая с Марией Александровной Шмидт уже в спокойном состоянии, Софья Андреевна сказала, что ей не в чем ехать в Стокгольм.

— У вас есть осенние хорошие платья, — сказала Мария Александровна Шмидт.

— Так осенние теперь еще рано. А шить теперь уже поздно, я не успею.

Варваре Михайловне Феокритовой она говорила:

— Все уедут, я одна останусь, такая тоска.

Однако вопрос с платьями как-то улаживается, и Софья Андреевна думает ехать вместе со Львом Николаевичем.

*29 июля*

Кто-то прислал Льву Николаевичу выдержку перепечатанной в «Тульской молве» из столичных газет статьи «Вивисекция над живыми преступниками и воскрешение мертвых» [104]. В этой статье сказано, что «парижские хирурги мечтают об опытах вивисекции над людьми».

За завтраком был разговор о медицине.

— Популяризация медицины, — сказал Лев Николаевич, — страшный вред нанесла женщинам. Все они воображают, что у них нервы расстроены... Теперь медицина до чего дошла, — я не хочу употреблять это мерзкое слово — вивисекция: они занимаются тем, что режут живых людей, у живого человека вырезывают органы,— разумеется, у мужика, мужику на что же они, — и приставляют к барину... Когда нет религиозного чувства, то нет пределов жестокости к людям. Что же тут жалеть какого-нибудь дурака, какую-нибудь Парашу * для того, чтобы спасти жизнь какого-нибудь ученого или художника... Я думаю, что если бы сразу умерло сто тысяч людей, несравненно меньше было бы зла, чем от того, что это сделано над одним человеком.

*31 июля*

Сегодня я, зайдя ко Льву Николаевичу поздороваться, застал его расстроенным, с заплаканными глазами.

— Как вы, Лев Николаевич?

— Ничего... Плохо спал... На душе нехорошо. Это уладится.

*4 августа*

На днях Лев Николаевич получил следующее открытое письмо:

«Дорогой дедушка!

Доверши святое и великое дело: сбрось с себя проклятое барство и титул графа, перейди в сословие крестьянства. Сделайся действительным членом народной семьи, которую ты так любишь. Положи в основу камень великому зданию. Внуши бог тебе святую мысль и дай разума и силы исполнить ее. Прости, если я тебя оскорбил.

Крестьянин *И. Лазарев.*

*Ст. Козловка Казанской губ.*» [105]

---

* Параша — дурочка в Ясной Поляне. *(Прим. Н. Н. Гусева.)*

# ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ В ЧЕРДЫНЬ

*(Воспоминания)*

## I

Четвертого августа 1909 года, часу в девятом вечера, я сидел в своей комнате, рядом со спальней Льва Николаевича, за своим большим столом и занимался своими обычными занятиями. Я кончал ответ на письмо, когда к крыльцу подкатила, звонко гремя колокольчиками, чья-то тройка. «Надо пойти встретить гостей», — подумал я, но не хотелось бросать письмо; я докончил начатую фразу и пошел навстречу приехавшим.

На лестнице я столкнулся с быстро бежавшей мне навстречу внучкой сестры Льва Николаевича, десятилетней Танечкой Денисенко, которая испуганным голосом сообщила мне:

— Николай Николаевич! Какие-то военные приехали, вас спрашивают.

Мне непонятен был испуг девочки, и я поспешил ее успокоить:

— Ну что ж, и с военными познакомимся.

Я полагал, что это какие-нибудь посетители, приехавшие видеть Льва Николаевича и обращавшиеся сначала ко мне, как это часто бывало. Оказалось, что я ошибся.

Приехавшие были становой пристав и помощник крапивенского исправника. Я пригласил их в приемную. После того как мы обменялись любезностями с помощником исправника, с которым я был знаком по моему сиденью в Крапивне в 1907 году [1], он, вынимая из бокового кармана мундира вчетверо сложенный лист бумаги, как бы желая меня подготовить, сказал:

— А я приехал объявить вам печальное известие...

— Что такое?

Мой собеседник медленно развернул вынутый из кармана лист бумаги и торжественно прочитал мне, что, по распоряжению министра внутренних дел, рязанский цеховой Николай Николаевич Гусев, «изобличенный в революционной пропаганде и распространении недозволенных книг», высылается на два года под гласный надзор полиции, в «Черды́нский» (он так и прочитал, с ударением на втором слоге) уезд Пермской губернии, считая срок с 15 июля 1909 года.

В чем состояла та революционная пропаганда, в которой я кем-то, где-то и когда-то был изобличен и за которую для исправления был послан на два года в пермские леса, я до сих пор не знал. Что же касается «распространения недозволенных книг», то в нем я действительно был *изобличен* при следующих обстоятельствах.

Один крестьянин Пензенской губернии обратился ко Льву Николаевичу, как это делали многие, с просьбой прислать ему книг. По бо̀льшей части, Лев Николаевич никому не отказывал в такого рода просьбах. Высылка книг лежала на моей обязанности. На всех получаемых им в мою бытность письмах Лев Николаевич делал пометки на конвертах: *Б. О.* (без ответа), *ответить* (то есть сам Лев Николаевич решил ответить), *Н. Н. ответить* (он поручал ответить мне), *послать книг* и т. д. Если стояла пометка «послать книг», то иногда сам Лев Николаевич указывал мне, какого содержания книги надо послать (заглавий и подробного содержания своих книг он никогда не помнил); в других случаях сами писавшие указывали, какие именно или какого содержания книги им нужны; бывало и так, что писавший не указывал определенно названия книг, которые желал получить, и Лев Николаевич предоставлял мне сделать выбор.

В том случае, о котором идет речь, помню прекрасно, что Лев Николаевич не то на конверте написал, не то на словах передал мне — «послать книг побольше», так как письмо крестьянина ему понравилось. Исполняя его поручение, я послал этому крестьянину довольно много книг как религиозного, так и общественно-политического содержания. В числе последних были запрещенные в России: «Не убий», «Николай Палкин», «О христианстве и воинской повинности», «Христианство и патриотизм», по нескольку экземпляров каждая. Книги благополучно проскочили сквозь наше Ясенковское почтовое отделение (за что впоследствии начальник был переведен в другое место

с понижением), но на месте получения были задержаны и арестованы. Крестьянина притянули к допросу (впоследствии я читал его показания): бедняга так перепугался, что понес страшный вздор, так что и допрашивающим было очевидно, что он путает. Были наведены справки, которыми было установлено, что адрес на бандероли писал я, и началось дело по обвинению меня в распространении запрещенных книг. Два раза вызывали меня для допроса в жандармское управление в Тулу. После того как Лев Николаевич написал в жандармское управление письмо о том, что книги высылал я по его поручению и что поэтому судить надо не меня, а его[2], было признано неудобным отдать меня под суд, и мне было объявлено, что «дело» мое «будет решено административно».

И вот теперь, 4 августа 1909 года, помощник крапивенского исправника и становой пристав приехали объявить мне кару, постигшую меня за исполнение поручения Льва Николаевича.

— Когда же я должен ехать?

— Да вот сейчас, с нами...

— Но ведь мне нужно собраться, сдать дела?..

— Ну, мы можем подождать...

— Сколько времени?

— Ну, полчаса... Причем должен вас предупредить, — с любезной улыбкой прибавил помощник, — что багажа разрешается брать с собой не более тридцати фунтов.

Я оставил своих гостей, приезда которых недаром испугалась Танечка, и поднялся наверх, в столовую. Лев Николаевич и все домашние и гости были там. Увидав меня, Лев Николаевич быстрым шагом пошел ко мне навстречу.

— Ну, что? — тревожно спросил он.

— Высылают меня, — отвечал я, в недоумении пожимая плечами. Я действительно недоумевал, как все это случилось.

— Я так и думал, — сказал Лев Николаевич взволнованным голосом.

— В Пермскую губернию, в какой-то Чердынский уезд, — продолжал я.

— О-о-о! — с сожалением и испугом протянул бывший в числе гостей Александр Борисович Гольденвейзер.

— Что? — спросил его Лев Николаевич.

— Самые гнилые места... я читал об них в газетах; туда ссылают...

— Помните, мы с вами говорили? — напомнил мне Лев Николаевич.

Всего дня за два до моего ареста, как-то вечером, я зашел за какой-то справкой в кабинет ко Льву Николаевичу. Он раскладывал пасьянс, как это он часто делал вечерами для отдыха от умственного напряжения. Не помню, какой был повод, но только Лев Николаевич сказал мне:

— Почему они вас не трогают?

— Да, — отвечал я, — они могли бы это сделать без риска для себя.

— Разумеется. Уж раз они Черткова тронули, то вас тем более... Разве только, что в моем доме...

Я поспешил в свою комнату, чтобы хоть кое-как привести в порядок лежавшие на моей обязанности дела и собраться в дальнее путешествие. Как назло, не было дома ни Александры Львовны (она уехала в Москву), ни Душана Петровича Маковицкого (он в тот день уехал в дальнюю деревню к больному). Кое-как, наспех, я делал пометки на бывших у меня бумагах, относившихся к делам Льва Николаевича, и сдал все Варваре Михайловне Феокритовой, переписчице и другу Александры Львовны. Домашние укладывали в чемодан мои вещи.

Предоставленные мне полчаса давно прошли, а я не успел еще кончить ни передачу бумаг, ни укладку своих вещей. Видя, что мне не успеть ни того, ни другого, я сдал все оставшиеся бумаги Варваре Михайловне без всяких объяснений, а об оставшихся вещах решил, что мне перешлют их в Тулу, и пошел ко Льву Николаевичу в кабинет проститься с ним.

Как это ни странно сказать, расставаясь, может быть, навсегда (так оно и вышло), нам нечего было особенного сказать друг другу. Меня не страшила наступившая перемена в моей жизни; напротив, в этот последний мой вечер в Ясной Поляне я был радостен, как никогда. Лев же Николаевич знал, что если будут у меня тяжелые минуты, в которые будет особенно чувствительна тяжесть утраты, то помочь в этом состоянии может только собственная внутренняя сила; а человеческие слова, утешения и советы здесь бесполезны.

Но Лев Николаевич сказал мне то, чего я и не подозревал:

— А я, знаете... я не говорил вам этого... я думаю отсюда бежать.

Я был поражен.

— Куда же вы думаете бежать, Лев Николаевич? — спросил я.

— Не знаю... Только — бежать...

Я знал, как тяжела была Льву Николаевичу жизнь в Ясной Поляне, в обстановке роскоши среди окружающей нищеты; знал и то, что оставался он в этих условиях никак не потому, что дорожил ими, а исключительно потому, что видал в этом свой долг перед богом. Поэтому я не удивился его намерению, но мне стало жалко этого горячо любимого мною человека, которому так недоставало необходимого в его преклонном возрасте покоя.

Я поблагодарил Льва Николаевича за все, что получил от него; попросил его также передать мою благодарность В. Г. Черткову, и мы простились.

От Льва Николаевича я прошел к Софье Андреевне. Я сказал графине, что благодарю ее за всегдашнее доброе отношение ко мне, — и это был не комплимент с моей стороны, а чистая правда, — и поцеловал ее руку.

— Прощайте, — сказала она мне сквозь слезы. — Мне вас очень жалко. Если вам когда-нибудь понадобятся деньги или письмо написать кому-нибудь, пожалуйста, обращайтесь ко мне... Вы меня извините, если я когда-нибудь была с вами резка...

— Напротив, вы были ко мне всегда очень добры...

Мы поцеловались. Слезы текли по ее лицу, — а за два года моей жизни в ее доме я не видал ее плачущей.

Возвратившись в столовую, я простился со всеми родственниками и гостями Ясной Поляны. Старушка Мария Николаевна, сестра Льва Николаевича, монахиня, утешала меня: «Может, манифест какой выйдет...» Сопровождаемый самыми добрыми пожеланиями всех собравшихся, я спустился по лестнице вниз и, зайдя в приемную к ожидавшим меня моим провожатым, объявил им:

— Ну, господа, я к вашим услугам!

Они последовали за мной, и я видел, как неловко им было проходить через толпу теснившихся в передней семейных и друзей Толстых, провожавших меня, и как спешили они, ни с кем не поздоровавшись, выйти и сесть в экипаж. За ними вышел и я, а за мной все собравшиеся, в том числе и Лев Николаевич с Софьей Андреевной. Я уселся в коляску рядом с помощником исправника. Сняв шапку, я поклонился всем, провожавшим меня, и крикнул:

— Прощайте!

— Не прощайте, а до свидания! — послышались голоса.

Лошади тронулись. Бубенцы зазвенели. Минута, — и яснополянский дом исчез за чащей деревьев.

## II

Тройка добрых исправниковых лошадей быстро мчала нас по неровной дороге. Мы почти не разговаривали. Приехав на станцию Ясенки, помощник исправника поехал в Тулу, а меня посадили на крестьянскую телегу, со мною рядом сел стражник (которому пристав предварительно что-то сказал тихим голосом), и мы втроем — ямщик, стражник и я, — поехали в Крапивну, за двадцать восемь верст.

Ночь была осенняя, ненастная. На облачном небе не было видно ни месяца, ни звезд. Накрапывал мелкий дождь. Стражник был недоволен неожиданной и далекой командировкой и, не стесняясь нашим присутствием, громко ругал пристава и начальство. У меня в голове бродили какие-то обрывки мыслей. Сидеть было неудобно, мешала стражникова винтовка, телега тряслась по неровной дороге. Окрестностей почти не было видно, но настроение было умиленно торжественное.

Уже почти рассвело, когда мы приехали в Крапивну. Передо мной замелькали знакомые улицы и здания. Город спал. Вот показалось и массивное, мрачное здание полицейского управления, — большой каменный дом серо-желтого цвета. У дверей дежурил стражник. Немного погодя к нам вышел заспанный сторож.

— Вот, проводи этого господина в ремингтонную, — сказал стражник.

Сторож повел меня через все комнаты в заднюю, небольшую каморку, где посреди небольшого стола стоял ремингтон. Оглядев свое новое помещение, я сел на стул.

Сторож ушел, но минуту спустя опять вернулся.

— Вы что же, у нас на машине писать будете? — спросил он меня.

— Нет, я арестованный, — отвечал я.

— Арестованный! — протянул он с удивлением и ушел в свою комнату.

— Вы огонь-то потушите, — еще раз подойдя к моей двери, сказал он заспанным голосом.

Я потушил огонь и начал, как было можно, без большого комфорта, укладываться на покой.

Часов около девяти начали собираться чиновники на запятия, и началась обычная жизнь канцелярского бюрократического учреждения. Не зная, что я нахожусь в этой комнате, служащие иногда отворяли ко мне дверь, но, увидав незнакомого человека с багажом и теплой одеждой, с недоумением глядя на меня, удалялись.

Все часы, пока продолжались занятия, я просидел один. Никому я не был нужен, и никто не сказал мне ни одного слова. Кончились занятия, чиновники разошлись, в соседних комнатах стало тихо.

В шесть часов вечера ударили ко всенощной (был канун Преображенья). Торжественно и уныло загудели колокола в шести городских церквах. Я смотрел в открытое окно, в которое видна была зеленая крыша какого-то дома и слышны голоса детей, игравших на дворе, и слушал звуки благовеста. С детских лет, когда я наивно и просто с глубокой верой молился под эти торжественные звуки всемогущему и всевидящему богу, который — я верил — слышит и видит и меня, малыша, с своих бесконечных небесных высот,— с детских лет звуки благовеста всегда будили во мне торжественное и вместе с тем грустное и какое-то мечтательное настроение. Как будто душа улетала куда-то ввысь, откуда ничтожными казались все земные горести и радости.

И теперь под эти унылые, торжественные звуки, запертый на ключ, глядя в окно на зеленую крышу и игравших детей, — я впервые не только сознал умом, но и почувствовал всю тяжесть постигшей меня утраты. Два года прожил я в близком общении с величайшим мудрецом мира и моим учителем, которому я считал себя обязанным своим нравственным возрождением; на моих глазах происходила его творческая жизнь; я читал его великие творения тотчас же, как они выходили из-под его пера; мне доступна была вся его обширная и разнообразная переписка со всем миром. Он был нужен мне, как учитель и руководитель, я был нужен ему, — я знал это, — как усердный и преданный помощник. У меня не было другого практического дела, как помощь ему. Со всеми обитателями яснополянского дома у меня были прекрасные отношения, и вот вдруг какая-то чуждая сила выхватывает меня оттуда, где я был нужен и где мне было хорошо, и тащит меня туда, где я никому не нужен и где я буду страдать

от тяжести разлуки с близкими людьми... Зачем все это? Кому я мешал в Ясной Поляне? Кому я сделал столько зла, что он лишил меня всего, чем я жил: радости общения с самым дорогим человеком, радости помощи ему, в которую я вкладывал всю свою душу, потому что верил, что этот дорогой мне старик подобно древним избранникам, ведет все человечество к познанию боголюбви и к служению ему делом и истиною?..

— Никого я не винил в постигшем меня горе и ни на кого не злобился; но было нестерпимо больно...

Вечерело. Солнечные лучи потеряли уже свою яркость. Небо темнело.

Часов в восемь меня позвали к помощнику исправника. Он сидел в большой комнате за большим, покрытым зеленым сукном, столом.

— Здравствуйте. Ну, как вы?.. Я, знаете, решил вас в тюрьму перевести. Там вам будет все-таки лучше... А у нас, знаете, даже горячей пищи не полагается. Вот, распишитесь в получении восьми копеек кормовых.

— Когда же вы меня отправите?

— А вот сейчас.

Я простился с этим добродушным человеком и в сопровождении двух городовых вышел из полиции и пошел в тюрьму.

Торговцы у лавок и встречные прохожие с любопытством, смешанным с удивлением и некоторым испугом, смотрели на незнакомого человека, шагавшего между двух городовых с тяжелым чемоданом в руках. Вероятно, они представляли себе меня отчаянным злодеем, наделавшим людям много бед и, наконец, пойманным и препровождаемым туда, где и следует держать таких, как он...

Вот показалась и тюрьма, небольшое каменное здание с решетчатыми окнами, обнесенное высоким забором. Предстоящее мне сиденье не смущало меня. Я уже высидел в этой самой тюрьме два месяца за два года перед этим, и эти два месяца тюремной жизни не оставили во мне тяжелого воспоминания. На основании этого опыта я был уверен, что мне и теперь не будет худо в крапивенской тюрьме.

Мы позвонили у ворот. Нам отпер незнакомый, не бывший при мне надзиратель, и мы вступили на знакомый мне тюремный двор, который я столько раз исходил от стены до стены во время прогулок, поднялись на крыльцо

и взошли в маленькую каморку, где помещалась контора. Со старшим надзирателем мы встретились как знакомые.

Он осмотрел мои вещи и повел меня в назначенную мне камеру.

В тот раз я сидел наверху; высокое окно моей камеры выходило на окраины города; была видна река и какой-то домик; слышны были веселые крики ребятишек, катавшихся по льду, виден был по вечерам огонь в домике. Часто вечерами, открыв форточку, я подолгу смотрел на звездное небо и на огонь в этом домике и думал: какое миросозерцание у тех людей, которые живут в нем?.. Теперь мне отвели камеру внизу, окно ее выходило прямо на тюремный двор, и, кроме двора и надворных построек, ничего не было видно.

В камере было сравнительно чисто, насколько может быть чисто в тюрьме; на деревянной кровати лежал толстый круглый тюфяк, свеженабитый сеном; в углу стояла свежепросмоленная параша. Больше никакой мебели не было.

Простившись с добродушным надзирателем, объяснившим мне весь распорядок тюрьмы, я, признаюсь, с приятным чувством улегся на мягком сеннике, отдыхая душой и телом от всего пережитого и перенесенного.

На этот раз мне пришлось пробыть в крапивенской тюрьме только три дня. От этих трех дней не осталось в памяти ни одного тяжелого воспоминания. Отношение ко мне всей тюремной администрации все время было самое хорошее. Иногда, во время утренней или вечерней поверки, вместе с надзирателями заходил в мою камеру дежуривший в тюрьме стражник, знакомый мне по четырехдневному моему пребыванию на становой квартире во время первого ареста или же по Ясной Поляне, куда одно время стражники приглашены были графиней. Все они с самым искренним сожалением относились к постигшему меня несчастью.

На третий день моего сиденья, 8 августа, часов в десять вечера, когда я уже лежал в постели и засыпал, меня разбудил звук открываемого замка моей камеры. Я открыл глаза и пристально смотрел на дверь, недоумевая, кому я мог понадобиться в такой поздний, по тюремному обиходу, час. Дверь отворилась, и ко мне вошел старший надзиратель со связкой ключей в руках и сказал мне:

— Идите к начальнику в квартиру.

— Что такое случилось?

— Помощник исправника приехал, какую-то бумагу вам объявить.

— А что, не знаете?

— Не знаю. Не то освободить хотят, не то отправить.

В квартире начальника тюрьмы меня действительно ожидал помощник исправника с бумагой. Он объявил мне, что пришло разрешение от губернатора ехать мне в ссылку не этапом, а на свой счет, о чем просил Лев Николаевич; и второе, что три лица просили о свидании со мной: Александра Львовна, Душан Петрович и Мария Александровна Шмидт. Всем этим лицам, как сообщил мне помощник исправника, было разрешено свидание со мной не в крапивенской тюрьме, а в Ясной Поляне, то есть мне разрешалось для свидания с ними заехать в Ясную Поляну.

Нужно ли говорить, что после такого известия я не спал всю ночь от радостного волнения. Я воображал, что весь завтрашний день мне будет возможно пробыть в Ясной Поляне, привести в порядок оставленные на произвол судьбы дела (что меня очень беспокоило) и, никуда не спеша и не торопясь, провести с близкими мне людьми несколько часов. Утром я отправил Льву Николаевичу телеграмму:

«Сегодня заеду повидаться».

Половина шестого раздался обычный утренний звонок. Я встал, собрал свои вещи и стал дожидаться. Ждал сначала терпеливо, но когда прошел час, за ним — другой, третий, нетерпение мое все возрастало с каждой минутой. Ведь каждая минута, проведенная мною здесь, отнимает время у дорогого свиданья! Так мне казалось. Только в десятом часу вошел ко мне старший надзиратель и пригласил со всеми вещами в контору. В конторе с четверть часа провел я в ожидании стражника, который должен был меня сопровождать.

Наконец явился и стражник, а меня все не отпускали. В нетерпении я уже не сидел, а ходил по комнате.

Только около десяти часов кончилось мое ожидание. В сопровождении стражника я вышел за ворота тюрьмы и направился в полицейское управление. День был жаркий. В теплой одежде, я с усилием тащил свой тяжелый чемодан, стараясь не задерживать стражника слишком медленным шагом. Вдруг, чего я никак не ожидал, этот человек, на лице которого не выражалось никакой особенной

симпатии ко мне, поравнялся со мной и предложил мне:

— Давайте-ка я понесу... Вам, я вижу, тяжеленько.

На лице его выражалась такая добродушная услужливость, что я не мог отказаться. Прошли несколько улиц. Я видел, что он обливался пóтом и уже с усилием нес мои вещи, и предложил:

— Теперь давайте я сам понесу.

— Ничего, я донесу. Только как станем подходить к полицейскому правлению, тут вы у меня возьмите: нам не велят...

Вот я опять в полиции. По случаю воскресного дня народу больше обыкновенного. Несколько урядников чего-то ожидают в передней. Снова встречаюсь с добродушным помощником исправника и снова жду, сначала терпеливо. Но вот проходит полчаса, час и еще час. Точно кровь мою высасывают по капле. Проходит мимо секретарь.

— Когда же вы меня отпустите?

— Сейчас, сейчас...

— Если бы вы знали, как мне дорога теперь каждая минута, вы бы так меня не задерживали...

— Сейчас, сейчас...

Выходят столоначальники и писцы, добродушно и с участием со мной разговаривают.

— Что, приходится прогуляться в северные губернии?

— Да, приходится.

— У меня один знакомый побывал в Сибири, так ему так там понравилось, что он там совсем остался, — ободрял меня мой словоохотливый собеседник.

— Ну вот, дай бог, чтобы и мне понравилось в Чердынском уезде, — говорю я, — он ведь на границе Сибири.

— Да, да. Не хотите ли, я вам подарю карту России, у меня есть.

Карта эта и сейчас у меня и сильно потрепалась от частого употребления ее ссыльными.

Наконец около часу дня бумага написана, пакет запечатан, урядник, который будет сопровождать меня, налицо, нанят ямщик, который повезет меня, в сопровождении урядника, — увы! — не в Ясную Поляну, а на становую квартиру! Таково было распоряжение помощника исправника.

Тронулись. Пара жалких, худых кляч медленно тащится по узкой и пыльной проселочной дороге. Урядник

едет сзади верхом. Солнце печет невыносимо. Едем чуть не шагом, а ехать двадцать восемь верст. Ах, поскорее бы!

По сторонам желтеет спелая рожь. Проезжаем деревню, другую...

— Много ли проехали? — спрашиваю у ямщика.

— Да верст четырнадцать будет...

— Ах, поскорее бы!..

Солнце уже было близко к закату, когда мы приехали на становую квартиру, семь верст от Ясной Поляны. Нас встретили стражники.

— Пристава нет.

— Где же он?

— На Ясенках. Туда поезжайте.

Не менее как через полчаса мы направились за четыре версты на железнодорожную станцию Ясенки, где по каким-то служебным делам был пристав. Я ехал со стражником на дрожках. Мною начинало овладевать то состояние безнадежного отчаяния, когда человек видит крушение дорогой, взлелеянной мечты и на все махает рукой.

Вот мы и на Ясенках. Солнце садится. Я раскланиваюсь с приставом, тем самым, который вместе с помощником исправника приезжал объявить мне о высылке.

Перед ним стоит человек высокого роста, крепкого сложения, весь седой, — это урядник того участка, к которому принадлежит Ясная Поляна. Он будет сопровождать меня в Ясную Поляну. Пристав дает ему инструкции:

— Свидания должны быть в твоем присутствии, с каждым лицом отдельно, с каждым по десять минут...

— Ну, что так мало? — пораженный, спрашиваю я.

— Не верите? Вот читайте.

Он показал мне бумагу крапивенского полицейского управления, в которой действительно было сказано, что свидания должны происходить в присутствии урядника Сидорова, с каждым лицом отдельно и продолжаться не более десяти минут.

— Ну, по пятнадцати минут с каждым, — вдруг неожиданно для меня решил пристав, — и затем опять обратился к уряднику: — Если господин Гусев вздумает наверх пройти ко Льву Николаевичу, ты смотри не пускай его. А пусть в нашей полицейской комнате, внизу, где

мы все наши полицейские дела решаем, там пусть и происходит свидание.

Пристав был сердит на графиню за то, что она не приглашала его к столу. Полицейской комнатой он называл приемную.

— Ты один справишься или дать тебе стражника?

Урядник замялся:

— Я... не ручаюсь.

— Ну, так возьми стражника.

— На что вам стражника?

Пристав не дал уряднику ответить и с непонятной мне желчностью и озлобленностью, глядя мне прямо в глаза, сказал:

— А вот, может быть, Лев Николаевич захочет с вами повидаться, а ему не дозволено, вот стражник и поможет...

Я с горьким упреком посмотрел на этого человека, так развязно и самоуверенно предписывавшего произвести насилие над бесконечно дорогим мне человеком, но ничего не сказал.

Через несколько минут мы поехали.

## III

Бойкая урядникова лошадка быстро мчала нас по знакомой дороге. Я сидел с урядником на дрожках, — он впереди, я сзади; за нами, стараясь не отставать и погоняя свою лошаденку, ехал стражник. Мелькали знакомые поля и леса, которые, думал, уже не увижу больше. Вот и деревня Ясная Поляна. Стоя у дверей своих изб, знакомые мужики и бабы со страхом и жалостью смотрели на меня, сопровождаемого грозными спутниками...

Вот миновали два столба при входе в усадьбу, вот забелел впереди, за деревьями, тот дом, откуда меня силой взяли и куда я еду, чтобы еще раз — последний, увидать дорогих людей... Еще несколько шагов — и я услышал откуда-то с дерева странный крик: «Попка просит чаю?!» Это забавник-попугай, посаженный на ветку, голосом, похожим на человеческий, выражает свои желания, хотя его никто и не слушает... Красивый, умный черный пудель, мой частый спутник в прогулках по лесам и полям, бросился мне навстречу.

У дверей яснополянского дома стоит старушка Мария Николаевна, сестра Льва Николаевича. Я подхожу к ней, целую ее руку.

— Что, совсем?

— Нет, только на три четверти часа.

Я не хотел, чтобы была приведена в исполнение угроза пристава произвести насилие над Львом Николаевичем, если он захочет со мной проститься. И потому, войдя в переднюю, сейчас же поспешил передать Душану Петровичу, который попался мне навстречу, условия свидания и прошел в приемную комнату — ту самую, которая и была назначена приставом. Урядник прошел со мной вместе и сел против меня на стул. Стражник остался у ворот дома.

Первое свидание было с Александрой Львовной. Свиданью этому я был тем более рад, что с Александрой Львовной мне не пришлось проститься в тот вечер, когда я был арестован. В четверть часа мы не успели поговорить о всем, что нужно было и что хотелось. От Александры Львовны я впервые узнал, что такое за край Чердынский уезд, в какое-то неизвестное мне место которого я буду водворен человеком, которому 15 июля 1909 года было предоставлено право распорядиться моим местожительством, для избавления меня от желания вести «революционную пропаганду» и распространять запрещенные книги.

— Мы вам из словаря выписали все про Чердынь. В южной части ничего, а вот в северо-восточной плохо; на карте в этой части одни черточки...

После Александры Львовны я виделся с Марией Александровной Шмидт и Душаном Петровичем Маковицким. Всякий, побывавший за решеткой, знает всю стеснительность этих натянутых свиданий, в присутствии посторонних, чужих, бо́льшею частью холодных и враждебных людей, с людьми, которым хотелось бы раскрыть всю свою душу, забыв про часы и про все на свете. Но все же, хотя и при стеснительных условиях, разговор с близкими, высокоуважаемыми и горячо любимыми мною людьми настроил меня бодро и возвышенно. Это настроение еще более усилилось во мне, когда, по прошествии трех четвертей часа, окончив свиданья, я, выйдя в переднюю, застал в ней всех живших тогда в яснополянском доме: и Льва Николаевича, и Софью Андреевну, и доктора Д. В. Никитина, и М. А. Маклакову, и других. Я еще раз — в последний

раз — простился со всеми и вышел на крыльцо. Проходя мимо Льва Николаевича, я тихонько шепнул ему: «Пороху у меня еще хватает». Он кивнул головой в знак того, что понял меня. На глазах его были слезы. Мы поцеловались — в последний раз в жизни... Но тогда я не думал, что вижу его в последний раз.

Я сажусь опять сзади на дрожки, урядник спереди, стражник за нами. Мы готовы тронуться, но нас останавливает громкий голос М. А. Маклаковой:

— Господа! одну минуточку: исторический момент.

Урядник останавливает лошадь. С одного места М. А. Маклакова, с другого — Александра Львовна щелкают аппаратами.

— Готово!

Мы трогаемся. Я снимаю шапку и с непокрытой головой в последний раз гляжу на дорогие лица. Вот обогнули угол дома, лошадь побежала рысцой, и яснополянский дом скрылся за деревьями.

Через два дня в «Русских ведомостях», со слов М. А. Маклаковой, было сообщено о моем прощальном приезде в Ясную Поляну следующее:

«После ареста Н. Н. Гусева семья Льва Николаевича ходатайствовала перед тульским губернатором о разрешении Гусеву отправиться в ссылку не по этапу, а на собственный счет. Это было разрешено. Одновременно члены семьи Льва Николаевича просили о разрешении свидания с арестованным. На свидание с Гусевым должны были поехать дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, г-жа Шмидт и домашний доктор. На это ходатайство также последовало согласие, и названные лица приготовились ехать для свидания в Крапивну. Вскоре, однако, пришла телеграмма от Н. Н. Гусева, из которой было ясно, что ему лично разрешено приехать в Ясную Поляну для свидания и, может быть, приведения дел в порядок. Лев Николаевич, надеясь увидеть своего секретаря, был чрезвычайно рад. Н. Н. Гусева действительно привели в сопровождении урядника и стражника, но, согласно предписания, Гусеву предоставили возможность свидеться лишь с теми лицами, которые были упомянуты в прошении, поданном губернатору. Свидание было дано упомянутым выше трем лицам, каждому в отдельности, по пятнадцать минут. Когда же Лев Николаевич встретил Гусева в коридоре, он мог только его поцеловать, всякие разговоры были невозможны. Все это вместе с арестом сильно подействовало на Льва Николае-

вича. Последнее время Лев Николаевич чувствовал себя очень хорошо, гораздо лучше, чем в прошлом году, много работал, гулял, ездил верхом и т. д. Теперь Лев Николаевич сильно расстроен, плачет и чувствует себя подавленным мыслью, что близкие ему люди страдают из-за него» [3].

## IV

Мы уже подъезжали к концу березовой аллеи, ведущей от яснополянского дома ко въезду в усадьбу, когда нам встретились два неизвестных мне господина, которые поклонились мне. Мы вступили в разговор. Оказалось, что это были посетители, пришедшие ко Льву Николаевичу. Лев Николаевич, рассказывали они мне, сообщил им о моей высылке и сказал, что беседовать с ними теперь он не в состоянии. Они выразили сочувствие моему положению, я поблагодарил их, и мы расстались.

Миновав каменные столбы, мы повернули налево, спустились к реке, переехали мостик и поехали по Тульскому шоссе. Знакомые, родные места!.. Много раз шагал я по этому шоссе во время уединенных прогулок и не один раз сопровождал Льва Николаевича в его прогулках.

Ехали быстро. На душе было так хорошо, как редко бывало в жизни. Горячая и сильная любовь ко мне высокоуважаемых и любимых мною людей — любовь, которую я приписывал, конечно, не себе лично, а своему положению, вызвала во мне возвышенное настроение и бесстрашие перед жизнью и смертью. Я был готов не только в ссылку или тюрьму, но и на смерть. Если бы мне объявили, что меня повезут на Ледовитый океан и бросят там замерзать и умирать с голоду, ни один мускул не дрогнул бы на моем лице.

Быстро проехали мы пятнадцать верст, составляющие расстояние от Ясной Поляны до Тулы, разговаривая самым дружелюбным образом. Миновав монастырь, огромное здание винной монополии и тюрьму, мы въехали на скупо освещенные окраины города, а вслед затем и на залитые электричеством главные улицы и остановились у высокого дома полицейского управления.

## V

Мы поднялись на лестницу, повернули направо и вошли в просторную комнату, тускло освещенную двумя висячими лампами. На некотором расстоянии друг от друга

стояло несколько больших письменных столов. Было около десяти часов вечера. Чиновники, покончив свои занятия, одевались и уходили.

Урядник сдал меня дежурному чиновнику под расписку, простился со мной и уехал.

— Куда же нам вас девать? — в недоумении обратился ко мне дежурный. — У нас в помещениях для арестованных ремонт.

— Куда хотите, туда и девайте. Я в вашей власти, — отвечал я.

Прочитав еще раз бумагу обо мне, чиновник вскинул на меня глазами.

— Ваша как фамилия?

— Гусев.

— Вы секретарь графа Толстого? Это об вас сегодня писали в газетах?

— Вероятно.

Как только не успевшие разойтись чиновники услыхали, что́ я — секретарь Толстого, ссылаемый на север, все они, уже совсем одетые, обступили меня и начали расспрашивать о Льве Николаевиче, о его здоровье, о том, действительно ли он не ест мяса и как это можно не есть мяса и проч.

— А правда, говорят, он в бога не верует? — спросил один, совсем еще молодой. — Я думаю, врут, — добавил он.

— Врут, — подтвердил я и начал толковать о том, в какого бога и как верит Лев Николаевич.

Вдруг резкий, неприятный звук: дринь-дринь-дринь-дринь-дринь!.. — прервал мои объяснения. Дежурный подскочил к телефону и подставил ухо.

Из его коротких и почтительных ответов я понял, что он говорит с кем-то высшим себя. Разговор шел о недавнем пожаре.

— Больше никаких распоряжений не будет? — спросил в заключение разговора дежурный и на отрицательный, по-видимому, ответ сообщил со своей стороны:

— А вот, господин полицмейстер, сегодня в газетах было, арестован секретарь графа Толстого, так теперь его привезли...

На это он получил какой-то короткий ответ, и разговор прекратился.

Минут через пять приехал полицмейстер. Это был нестарый еще человек, высокого роста, с бледным, нездорового цвета лицом. Не знаю, с какой целью он спросил меня:

— За что вас высылают?

Я сказал, что «за революционную пропаганду и распространение недозволенных книг», как сказано в постановлении министра.

— Что же, вы признаете себя виновным? — как-то насмешливо спросил полицмейстер.

Мне было интересно узнать, почему он спрашивает у меня это, и я, в свою очередь, задал ему вопрос:

— В качестве кого вы спрашиваете меня об этом?

Не знаю, что оскорбительного нашел для себя полицмейстер в этом вопросе, только он закричал на всю комнату:

— Признаете вы себя виновным???

Разговаривать с этим исступленным человеком мне не было никакой охоты, и я молчал. Подождав минуту, полицмейстер опять закричал:

— Прилип... язык к гортани!.. А когда не надо было, он молол!.. Отведите его во вторую часть, там есть подходящие для таких, как он!.. Обыскать его!..

Несколько городовых бросилось меня обыскивать, чуть не сбив с ног.

Меня обыскали с ног до головы (какая цель этого обыска — я не мог понять. Неужели человек, который знает, что его везут в полицейское управление, может быть настолько наивен, чтобы иметь при себе что-нибудь компрометирующее), отобрали все вещи и деньги и с городовым отправили в 2-ю часть.

С полчаса мы шли по замирающим уже улицам и наконец пришли к угрюмому, большому зданию, в котором я должен был провести эту ночь.

Городовой сдал меня под расписку помощнику пристава. Помощник пристава несколько секунд недоумевал, что́ ему со мной делать, но затем, на что-то решившись, повел с собой по коридору и, пройдя несколько шагов, любезно отворил передо мной двери арестантской. В ней было совершенно темно. Я ступил два шага и остановился в нерешительности. Я не видел ничего, куда бы можно было сесть или лечь.

— Что же здесь у вас есть?

— А вот налево нары...

Отобрав от меня шапку (чтобы я не убежал) и пояс (чтобы не повесился), помощник пристава удалился, заперев меня на замок. Я чувствовал себя совершенно разбитым и от всех пережитых душевных волнений, и от

шестидесяти почти верст на лошадях, сделанных мною в тот день, и от бессонной ночи, и от того, что во весь день во рту у меня не было ни крошки (Софья Андреевна предложила мне обед, но я не мог есть). Подложив под голову пальто, я растянулся на голых нарах и блаженствовал. И ноги и нервы, казалось, вытягивались, выпрямлялись и принимали свойственное им положение.

Утром я проснулся со светом, встал и начал осматривать свое ночное помещение. Это была небольшая каморка, безо всякой вентиляции, с большим, необыкновенно грязным решетчатым окном, выходившим на двор. В окно были видны сложенные кучи дров, пожарная бочка, телефонный столб, церковный купол и клочок синего неба. Все стены были покрыты надписями. Мне особенно запомнились две: «Четвертый день сижу бес вино. Петр Гвоздев» и другая: «Здесь сидели два товарища, по указу, по приказу в тюрьму по второму разу, на три месяца сразу. Иван Спиридонов и Семен Зубарев».

В двери было проделано небольшое круглое отверстие, выходившее в коридор. В него видно было окно, а у окна стол, за которым сидело двое городовых.

Утром в холодную быстрым шагом вбежал сторож и крикнул мне:

— Гусев, идите, полицмейстер вас требует. Скорей!

Я надел пальто (неловко было идти в рубашке без пояса) и вышел.

Оказалось, что это приехала ко мне на свидание Александра Львовна и привезла мои вещи. Свидание происходило в присутствии полицмейстера. Кроме Александры Львовны, хотела приехать также В. М. Феокритова, но ей не разрешили.

От Александры Львовны я узнал, что Лев Николаевич написал статью о моем аресте, которую М. А. Маклакова повезла в «Русские ведомости». (Статья эта появилась 11 августа под заглавием «Заявление об аресте Гусева» [1].) Я попросил Александру Львовну написать о моем аресте моей матери и обещался дать телеграмму о том, куда меня назначат.

По окончании свидания меня отвели в ту же камеру.

Часов около двенадцати меня отперли, отдали мне шапку и пояс и повели в сыскное отделение. Там меня сняли в трех видах: прямо, в профиль и во весь рост в пальто, измерили рост, и, кроме того, один из служащих с неприятными, бегающими глазами проделал отврати-

тельнейшую операцию с моими пальцами: разведя на небольшом четырехугольном куске дерева большое количество туши, он брал мои пальцы и крепко надавливал их на тушь; затем подкладывал листы белой бумаги с печатными заголовками и подписями и надавливал на определенные места концы моих вымазанных в тушь пальцев. На бумаге получались точные оттиски всех линий на концах пальцев. Оттиски эти были сделаны в нескольких экземплярах с той целью, чтобы, если я убегу и буду жить не под своим именем, по оттискам можно было узнать, что человек с этими линиями на концах пальцев — не кто иной, как государственный преступник Н. Н. Гусев. Это искусство названо греческим словом, что-то вроде «дактилометрия», как проставлено в печатных заголовках листов, на которых это делается.

Когда все эти операции были окончены, меня опять повели в полицию, где, отобрав, как и раньше, пояс и шапку, заперли в ту же каталажку. Взглянув на нары, я заметил, что на них лежит какой-то человек. Подойдя поближе, я увидал, что это был молодой малый, по всей вероятности, какой-нибудь мастеровой. Он спал; из его раскрытого рта сильно пахло водкой. Я чувствовал усталость и, подостлав под голову пальто, лег на заднем конце нар. Соседство спавшего крепким сном подгулявшего мастерового не было мне неприятно. Часа через два он проснулся. Разговорившись с ним, я узнал, что он портной, прожил лето в деревне, приехал на зиму на прежнее место и вот — загулял и попал в часть. Его скоро выпустили.

Смеркалось. В номере моей гостиницы становилось все темнее. В коридоре зажгли лампу. Спать было еще рано. Я ходил по темной комнате из угла в угол. Непривычная обстановка мешала сосредоточиться, и в голове не было определенных мыслей. По соседству слышались громкие, то спорящие, то умоляющие пьяные и трезвые голоса, стук затворяемых дверей и звон запираемых замков, резкие, грубые, властные голоса городовых, чей-то плач, стон, крик... Все это действовало подавляюще.

Я уже собрался лечь спать, как вдруг защелкал замок моей темницы, дверь отворилась, и городовой, отдавая мне пояс и шапку, велел собраться со всеми вещами и идти в канцелярию.

Первое приятное ощущение, которое я испытал, войдя в канцелярию, было то, что в этой комнате светло.

Мне отдали отобранные у меня в полицейском управ-

лении деньги и вещи и сказали, что сейчас отправят. Помощник пристава любезно предложил мне стакан чаю, от которого я не отказался. Здесь же стоял мой спутник в далеком путешествии: высокий плечистый городовой с седеющими усами и приятным выражением смуглого лица.

Через несколько минут мы с добродушным городовым, неся в руках мои вещи, спустились по лестнице, вышли на крыльцо, сели на извозчика и поехали на вокзал. Я с наслаждением вдыхал в себя свежий ночной воздух после духоты арестантской.

На вокзале взяли билеты до Перми, сели в вагон третьего класса и поехали в Москву. До Перми ехали четверо суток через Ярославль, Вологду и Вятку.

Мой спутник оказался очень словоохотливым и добродушным человеком. Его присутствие не стесняло меня нисколько. Мы с ним вели длинные разговоры на разные житейские темы. На станциях он ходил за кипятком и за провизией.

В Перми сели на пароход и ехали до Чердыни полтора суток. Я расспрашивал пассажиров о Чердыни, стараясь составить себе представление о том крае, в котором мне придется жить. Один из пассажиров, маленький, юркий старичок, оказался чердынским мещанином. Он знал из газет о высылке секретаря Толстого и, разговорившись со мной и узнав, кто я, принялся ругать Толстого за его отрицание православной религии. Я слушал его с тяжелым сердцем и думал о том, сколько мне предстоит еще в ссылке таких неприятных встреч с людьми, которые будут ненавидеть меня за мои убеждения, которых я не могу изменить.

Шестнадцатого августа приехали в Чердынь и, сойдя с парохода, на извозчике поднялись на гору, миновали несколько улиц и остановились у полицейского управления. Мой спутник сдал меня вместе с пакетом от тульского полицмейстера, на котором было написано: «В Чердынское Полицейское управление. С поднадзорным Гусевым» — дежурному чиновнику под расписку и простился со мной.

Часа полтора я просидел в помещении для стражников в ожидании решения вопроса о моем дальнейшем местожительстве тем совершенно чужим и неизвестным человеком, который месяц тому назад, без моего ведома и согласия, получил на это право. Часа через полтора мне было объявлено, что исправник назначил меня в село Корепино,

за девяносто одну версту к северу от города. «Село хорошее», — прибавил передавший мне об этом стражник. Я первым долгом осведомился, ходит ли туда почта, и получил ответ, что ходит раз в неделю по понедельникам.

Через двое суток, 18 августа, я был уже в Корепине. Доро́гой поражала и восхищала красота дикой и величественной северной природы — бесконечных лесов, обрывистых утесов, быстрых и прозрачных рек. Стояли жаркие, солнечные дни, в которые северная природа казалась еще прекраснее.

На предпоследней станции, в селе Кикус, в двадцати верстах от Корепина, содержатель земской станции, высокий, плечистый мужик, поразил меня прямо на меня устремленным злым, враждебным взглядом. Разговорившись со стариком, его отцом, я понял причину его враждебности.

— За что тебя сослали? — спросил старик.

— За правду, — отвечал я, не в силах будучи придумать другого ответа.

— За правду, — недоверчиво и с удивлением протянул старик. И, помолчав немного, продолжал: — И что только ваша братия, ссыльные, какие дела делают. У нас на днях двоих — женщину с мужчиной — зарезали...

И он рассказал мне подробности действительно страшного преступления.

Переночевав в Кикусе, часов в пять утра я поехал дальше. Переехав на пароме Колву, стали приближаться к Корепину.

Вот уже показались поля с не сжатою еще золотистой рожью. Вот на горе убогое кладбище. Вот блеснул на солнце золотой крест церкви. Одна за другой стали показываться жалкие, плохо построенные хижины, в одной из которых должен поселиться и я и два года жить на чужбине, в разлуке со всеми близкими.

Ямщик подвез меня к волостному правлению. Я вошел в него. Ко мне вышел бородатый писарь, прочитал присланную со мной бумагу и объяснил мне, что я останусь здесь в Корепине и свободен идти на все четыре стороны и делать, что хочу.

*Село Корепино*
*Пермской губернии.*
*Январь 1911 г.*

# ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К Н. Н. ГУСЕВУ



Одной из самых больших радостей для меня в ссылке была переписка со Львом Николаевичем. Не только большой радостью было получать письма от него, но и мои письма к нему имели для меня самое огромное значение. Пиша ему о самых близких для меня предметах, я не мог писать иначе, как с самой полной искренностью и правдивостью. Допустить хотя бы малейшую неискренность в переписке с Львом Николаевичем было для меня невозможно. Таким образом, переписка со Львом Николаевичем была для меня самого лучшей и строжайшей проверкой себя, вернейшим путем самосознания. Я думаю, что не я один, а многие и многие, как в письменных, так и в личных сношениях со Львом Николаевичем, испытали то же самое.

Хотя в некоторых письмах Льва Николаевича ко мне много личного, я не считал себя вправе делать какие-либо сокращения. Кроме примечаний, поясняющих то, что может быть неизвестно читателю, я позволил себе поделиться с читателями некоторыми мыслями, вызванными письмами Льва Николаевича.

*Н. Г.*

*Корепино, 28 марта 1911 г.*

### 1

*1909 г., 27 августа, Ясная Поляна*

Сейчас только, нынче 27-го, вспомнил, что уже дня два со времени получения вашего последнего, — можно было писать вам, милый и дорогой Николай Николаевич, а я пишу только теперь[5]. Сказать хочется так много и о

духовном и о мирском, что не знаешь, с чего начать. Начну с мирского. В печати пошумели о вашей высылке, и мне все сдается, что вас вернут. Может быть, оттого, что мне этого хочется. Хочется никак не для себя — Саша и Варвара Михайловна работают бодро, усердно, разумеется, не то, что вы, но мне не нужно, слава богу, той роскоши, к которой вы меня приучили. Хочется для вашей матери, от которой было очень хорошее письмо Саше, и для вас, для низшего вашего сознания, которое не могу не принимать во внимание. Стахович М. А. пишет, что надо непременно сделать в Думе запрос о вашей высылке, и что лучше всего сделает это Маклаков. Завтра они оба будут, и я решил не просить об этом, но и не противиться, если они хотят это делать [6]. Я намерен воспользоваться Маклаковым преимущественно в том, чтобы побудить его выступить с проектом об едином налоге. Я настраивал на это бывшего у нас члена Думы Тенишева, но он мало восприимчив. Пишите о себе. Давно, относительно, нет известий.

От Александра через Павлова [7] прекрасные известия. Его везут в Вильно на суд. Чем больше люблю, тем больше боюсь за него. Знаете ли вы про Засосова (Сергеенко писал)? Он был у нас [8]. Очень сильный духовно человек. Его призывали, осмотрели и, найдя по сложению неподходящим, отпустили.

К Черткову я поеду на днях, как только уедет сестра. Доклад мира Штокгольмский меня просят прочесть в Берлине. Я просил Шмита прочесть его. Он не отвечал еще. Шкарван уже перевел [9].

Писем, как всегда, получаю много хороших о вас. Мне многие пишут с любовью о вас, что мне очень радостно [10].

Статья, вероятно, ваша в «Русских ведомостях» хороша, и ее уж бранят [11]. Вы, верно, будете писать в газеты. Я не советовал бы. Уж очень это унизительно для слова. Я уверен, что у вас много планов работ. И вы так хорошо излагаете, и вам есть что. Напишите об этом. Милый Иван Иванович на это полезен. Мы с ним затеваем из «На каждый день» составить, упростив их, книжечки по копейке. Я уже сделал «Июнь» [12].

Работы у меня больше, чем сил. На душе очень хорошо. Люблю, как могу, и тех, кого трудно, и тех, кого легко любить. Вас легко. Землячка ваша Гагина шлет вам любовный привет.

*Л. Т.* [13]

Как это характерно для Льва Николаевича: «Статья хороша, и ее уже бранят». Никогда Лев Николаевич не считал популярность признаком значительности; напротив, полагал, что истинно хорошее и значительное часто бывает непонято и отвергаемо людьми. Даже его собственная слава казалась ему иногда дурным признаком.

Помню, один раз он рассказывал, что написал в своем дневнике что-то вроде того, что «все скверныя вещи имеют большое распространение, в том числе и Лев Толстой». Всякое же заискивание популярности, потворство существующему общественному мнению, хотя бы и ложному, он всегда крайне порицал. Это была одна из характернейших особенностей его мировоззрения.

## 2

*1909 г., 8 сентября, Ясная Поляна*

Спасибо, милый Николай Николаевич, что пишете и подробно о себе и в телесном и в духовном отношении [14]. Знаю, что, пишучи к любящим людям, невольно скрываешь всё для себя тяжелое, чтобы не огорчить их — любящих. Так делаете, наверно, и вы. Но, как ни трудно вам, милый Николай Николаевич, я в минуты слабости желаю быть на вашем месте. Но это минуты слабости, и знаю, что «всё в табе», как говорил Сютаев [15], и, слава богу, нахожу «в сабе» все, что мне нужно. Знаю, что и у вас то, что «в сабе» нужно, близко, на виду, ничем не заслонено. Ведь тем-то и велико (велико — дурное слово, да другого не найду) это сознание своего духовного начала и жизнь во имя его, что оно до такой степени несоизмеримо со всем тем, что представляется бедствием, что одинаково уничтожает, обращает в ничто самую маленькую неприятность: зубную боль и потерю любимых людей, свободы, жизни.

Ну, да будет философствовать, расскажу про себя, так же, как и вы, спасибо вам, делаете. Я с Сашей, Душаном и Ильей Васильевичем четвертый день у Чертковых [16], и мне очень хорошо. Одно было тяжело, это в Москве и отчасти здесь особенное, неподобающее мне (совершенно искренно говорю) почтение, восхваление. Это тяжело потому, что расчесывает больную, заживающую рану тщеславия. А то уж так хорошо. Так много, не скажу, меня любящих, но одно со мною любящих людей.

Я занят был последнее время избранием и редактированием мыслей Лаодзе и предисловием к нему[17], и еще ответом Польке, которое Душан назначил для журнала Посе, но которое разрослось и стало совсем нецензурно[18].

Сытина я устыдил, и оба «Круга» обещают скоро выпустить[19]. Главная же работа и самая радостная, потому что непрестанно подвигается, и что дальше, то радостнее, это та работа, которую советую всем и вам — это работа над собой. В материале этой работы во мне нет недостатка, но и нет безнадежности переработать его.

Пишите про ваши отношения с людьми и про ваши занятия. Ну, прощайте. Как любил вас в присутствии, так же, если не больше, люблю и в отсутствии.

*8 сентября 1909*[20]. *Л. Толстой.*

### 3

*1909 г., 21 сентября, Ясная Поляна*

Спасибо, милый друг Николай Николаевич, что пишете не очень редко. По письмам вашим вижу, что вы серелка наполовинку — не слишком тоскуете и не храбритесь перед нами, выказывая свое настроение лучше, чем оно есть[21]. Я все надеюсь дожить до вашего возврата, и не продолжением моей жизни, а сокращением вашей ссылки. Узнал всю эту отвратительную и глупую клевету о вас — о прокламации в банках варенья и т. п.[22]. Хотят сделать запрос в Думе. Что-то будет? На это я не надеюсь. Да и вообще не надеюсь, а верю, что все к лучшему. Мне, по крайней мере, все так.

Вчера только вернулись от Черткова. При отъезде из Москвы толпа чуть не задавила нас. У Черткова было мне очень, очень хорошо. Я все трачу чернила и бумагу, хотя с большой экономией, но трачу. С Иваном Ивановичем издаем копеечные книжечки о религиях. Вчера со мной по приезде из Москвы была дурнота, такая же, как когда вы меня подняли[23]. Теперь чувствую себя здоровым, но на душе что-то новое, хорошее, далекое от сансары жизни и очень радостное. Саша очень хорошо работает с Варварой Михайловной, помогая мне.

Смотрите, пожалуйста, пожалуйста, пишите мне, что вам нужно, и я могу сделать, если и не могу, то сделаю для вас. Прощайте, целую вас.

*Лев Толстой*[24].

## 4

*1909 г., 20 октября, Ясная Поляна*

Всю нынешнюю ночь видел вас во сне, милый Николай Николаевич, и видел, что вам хорошо, что у вас друзья, что вас ценят и что мы с вами хорошо поговорили. И вот хочется, что и хотелось после вашего последнего письма [25], написать вам. Пожалуйста, продолжайте описывать мне ваше и внешнее и внутреннее состояние. Я тоже буду хоть кратко делать о себе.

Я последнее время ничего пристально не пишу. Будет, довольно я бумаги намарал. Последнее время по разным поводам, между прочим, для фонографа, в который меня *заставили* говорить [26], я, чтобы сказать что-нибудь путное и по другим поводам, перечел некоторые мои писания и, прямо скажу, остался ими очень доволен. Читал их как новое, так их забыл, и подумал, что я, кажется, все сказал, что мог и умел, и теперь все только повторение старого [27]. А дело есть, всегда есть внутреннее, и, слава богу, делается понемногу, чего и вам желаю и надеюсь, что и в вашей душе делается. Например, странно сказать, теперь, на 82-м году, я только понемногу отвыкаю от влияния, забот о суждении людей на мои поступки. Приучаю себя, и небезуспешно, при всяком деле вспомнить о том, что — *только перед богом.*

О внешнем нечего говорить, все по-старому: много старых и новых друзей и много радости душевной. Прощайте пока. Кажется, что до свидания. Кажется потому, что хочется мне. Но не загадываю.

*20 окт.* [28] *Л. Толстой.*

## 5

*1909 г., 13 ноября, Ясная Поляна*

Благодарю за письмо, милый Николай Николаевич. Не знаю, успею ли ответить подробно (хочется), так, по крайней мере, отвечу на вопрос об изложении кратком вами моих писаний [29]. Только могу радоваться такой затее. У вас все есть для того, чтобы сделать это прекрасно, главное: единство разумения.

Про себя скажу, что все больше и больше недоволен своей жизнью, но не отчаиваюсь. За вас радуюсь. Вам лучше, чем мне, потому что вы лучше, чем я.

Ну, прощайте пока.

*13 н.* [30]. *Л. Т.*

### 6

*1910 г., 14 января, Ясная Поляна*

Только что собирался и всё откладывал ответ на ваше письмо о Шашкове [31], милый друг Николай Николаевич, как получил ваше второе письмо о Сереже [32]. Спасибо большое вам, милый друг, что пишете часто. Мне всегда нужно и радостно знать о вас.

На первое письмо хотелось сделать два замечания: первое то, что не поддавайтесь чувству раздражения на тех, кто делает все то, что тяжело нам, а берите пример с Сережи. Я смело советую это вам, потому что этот самый совет нужен мне, может быть, больше, чем вам. Всегда борюсь с этим недобрым чувством осуждения.

Второе то, что смотрите не влюбитесь. Этот совет уже только к вам одному относится.

У нас все по-старому. Все вас помнят и любят.

Мысль о том, что комета может зацепить землю и уничтожит ее, мне была очень приятна [33]. Отчего не допустить эту возможность. А допустив ее, становится особенно ясно, что все последствия материальные, видимые, осязаемые последствия нашей деятельности в материальном мире — ничто. Духовная же жизнь так же мало может быть нарушена уничтожением земли, как жизнь мира — смертью мухи. Еще гораздо меньше. Мы не верим в это только потому, что приписываем несвойственное значение жизни вещественной.

Прощайте, милый друг. Может, и телесно увидимся еще в этой жизни.

*Л. Т.* [34].

### 7

*1910 г., 14 февраля, Ясная Поляна*

Спасибо, милый Николай Николаевич, что не забываете меня. Всякое ваше письмо, всегда содержательное и доброе, для меня радость и для всех наших. Всегда читаем вслух и говорим о написанном и о писавшем.

Я живу очень, очень хорошо.

То, что тяжело — заваленность делами и невозможность успеть сделать всё, что хочется и нужно, — тоже радостно.

Очень мне было интересно то, что вы пишете о суеверии народа[35]. Я беспрестанно сталкиваюсь и как раз перед вашим письмом думал об этом и писал в письмах.

Сейчас у нас Саша свалилась в сильной кори, заразившись от Дорика Сухотина, и мне жалко ее и, грешен, страшно.

Занят я составлением из «На каждый день» 30 по числу дней и отделов книжечек, в которых будет меньше изречений, но самый клёк и упрощенные по форме[36].

Радуюсь, что вам хорошо, в особенности потому, что хорошо вам не от чего-нибудь, а от себя. «Всё в табе».

Ну, прощайте, может быть, и до свиданья.

*Любящий вас Л. Т.*[37].

## 8

*1910 г., 25 февраля, Ясная Поляна*

Собирался и собираюсь писать — отвечать вам на ваше, как всегда, хорошее, очень хорошее письмо[38], а сейчас прочел к вам письмо Булгакова, и хочется хоть два слова сказать вам, что по-старому люблю вас и, как ни близок мой час, надеюсь или, скорее, желаю еще свидеться с вами.

Как хороша ваша выписка из Чехова! Она просится в «Круг чтения». Я теперь занят 3-й версией «Круга чтения», и, как всегда, пока занят ею, она мне очень нравится. Еще все напрашивается художественное баловство. Не знаю, успею ли.

Саша была опасно в кори, теперь выздоравливает. Как вы? В нынешнем письме мало пишете о себе. Но и за то спасибо.

Радуюсь, что вы уничтожили то, что разделяло вас с Чертковым[39]. Вы оба слишком близки к одному и тому же, чтобы вам расходиться.

*Л. Т.*[40].

Сделанная мною выписка из Чехова, которая, как выразился Лев Николаевич, «просится в «Круг чтения», взята из рассказа «Крыжовник». Вот она:

«Счастья нет, и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель — вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом»[41].

## 9

*1910 г., 18 марта, Ясная Поляна*

Получил ваше последнее письмо, милый Николай Николаевич, и стараюсь, но не могу не огорчаться и об том, что все-таки я, живущий себе спокойно среди всех возмутительных условий роскоши и безопасности (хотя бы сглазить), все-таки я причина и страданий, и тяжелых испытаний любимых мною, таких хороших людей[42].

Чувство мое о вас двоякое: вера в то, что вы перенесете испытание так, как вы, знаю, искренно пишете, готовитесь перенести, и страх за тяжелыя минуты, часы, может быть (чего избави бог), месяцы горя, уныния и раскаяния в том, чему надо радоваться, а не раскаиваться.

Пожалуйста, если будет возможно писать мне, пишите всю задушевную правду, если хотите, мне одному. Как английская пословица говорит: что настоящее общение только вдвоем...

Все наши домашние, включая Сухотиных, все вас очень любят и искренно опечалились вашим письмом. Но все-таки мне вы много ближе всех, и насколько мы близки к тому, чем хотим жить, настолько близки друг к другу.

В дурные минуты думайте о том, что то, что с вами случилось, это тот материал, над которым вы призваны работать. Мне, по крайней мере, эта мысль и чувство, вызываемое ею, всегда очень помогает.

Прощайте, милый друг, постараемся подняться на ту высоту, на которой безразлично — видеться или не видеться до смерти и сейчас умереть или через X лет. Подняться и держаться на этой высоте мне легче с моей старостью,

чем вам с вашей молодостью, но все-таки вы можете с вашим — не умом — уму грош цена, — а с вашим добрым, любящим и открытым на все лучшее сердцем.

*18 марта*[43]. *Лев Толстой.*

10

*1910 г., 25 июня, Ясная Поляна*

Спасибо, милый Николай Николаевич, за письма. Я был у Чертковых, и там ваше длинное хорошее письмо[44]. Что не пишу вам чаще, простите и знайте, что это не от недостатка памяти о вас и, главное, любви к вам. Весь стареюсь, слабею, и обратно пропорционально увеличиваются требования не столько других ко мне, а самого к себе.

У Чертковых пробыл очень хорошо десять дней. Коечто по мелочам пишу всякое, что, вероятно, дойдет и до вас, так как вы принадлежите к тем людям, которые приписывают несвойственное значение моим мыслям. Приписываю же я важность, во-первых, книжечкам из «На каждый день» переработанным, которые печатаются в «Посреднике», и еще начатой мною статье о *безумстве, сумасшествии* нашей жизни в самом простом смысле этого слова. Хотелось бы до смерти (до смерти в обоих смыслах) высказать то, что имею сказать о признаках этого безумия и о причинах его и способе лечения[45].

Почему-то мне кажется, что скоро увижусь с вами. Может быть, от того, что очень желаю этого. Вырезку из газет о поступках несчастных безумных напрасно прислали и читали[46]. Я стараюсь не слышать, не читать и не говорить о последствиях явных для меня причин, тем более что, читая, слушая такие рассказы, слишком легко, — что и обычно делается, — обвинять невинных.

*25 июня*[47].

Братски целую вас.
*Л. Толстой.*

О впечатлении, произведенном на Льва Николаевича той газетной вырезкой (корреспонденцией А. Стаховича — «Утро России»), которую я ему послал и о которой в этом письме он пишет, что «напрасно» я ее читал и посылал ему, мне писали от Чертковых 23 июня:

«Вчера получилась почта. Лев Николаевич читал письма. Кто-то ему писал о страшном побоище крестьян в Тамбовской губернии на почве хуторного раздела, и Лев Николаевич читал со слезами в голосе».

11

*1910 г., 18 сентября, Кочеты*

Сажусь писать вам, милый Николай Николаевич, и вперед знаю, что ничего хорошего не напишу, но не хочется оставлять вашего такого хорошего письма из тюрьмы без ответа [48].

Я прожил месяц у Сухотиных. 22-го еду домой. Писал мало. Но как будто что-то нужно сказать и очень хочется. Может быть, ложный аппетит. Сейчас занят был маленьким письмом Гроту в сборник об его брате философе [49]. Хотелось сказать о различии между жизнепониманием людей научных и религиозных и о преимуществе вторых в смысле строгости и определенности, то есть как раз обратное тому, что обыкновенно полагается. Ну, да вы прочтете, если напечатается.

Когда я пишу заключенным, как нынче Калачеву [50], я испытываю сложное чувство радости, сострадания, зависти и стыда за свою жизнь. К вам, как заключенному, я только не испытываю сострадания, но зато больше зависти и стыда за свою жизнь. Надеюсь, вы теперь на воле. Напишите.

Много получаю хороших писем и встречаю религиозных людей.

Нынче (со страхом, что я ошибаюсь, думая, что есть то, чего мне хочется) думал о том, что наша революция — с ее подавлением и грубостью приемов этого подавления, — было то самое, чего только можно желать людям, как я, верующим в то, что сила не в силе, то есть в обмане, а сила в мысли, то есть в правде, в сознании своего назначения и положения. И ничто не могло вызвать этого в огромной массе народа с такой ясностью и силой, как наша неудачная революция и, главное, подавление ее.

Надеюсь, скоро теперь увидимся, если не умру раньше вашего срока. Во всяком случае, пока жив, всегда с любовью и уважением думаю о вас.

*Л. Толстой.*

*1910, 18 сент.* [51].

## ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Добрые друзья мои известили меня своевременно о кончине дорогого нашего учителя Льва Николаевича.

Телеграмма была послана в день кончины, в воскресенье, но до меня дошла лишь на третий день, во вторник.

Страшное известие положило конец моим надеждам и мечтам. За пятнадцать месяцев разлуки с ним любимой невысказываемой, скрытой в глубине души моей надеждой и мечтой было то, что вот пройдут два томительных года насильственной разлуки, — с каждым днем они все таяли и таяли, — и я снова вернусь к нему, чтобы работать с ним, под его руководством, вернусь верный той истине, которой он научил меня и за которую я пострадал, и застану его таким же кротким, отзывчивым, полным любви и прощения, мудрым учителем, каким я его знал и восторженно любил.

Конец мечтам. Безумная надежда зародилась в моем, пораженном страшным известием, мозгу: может быть, я успею еще приехать прежде, чем его схоронят. Его сын и дочь, может быть, за границей; может быть, будут ждать их. Мне предстоял путь в двести с лишком верст на лошадях и около двух тысяч по железной дороге, но безумная надежда не оставляла меня. Я не знал, что в тот день, когда я готовился ехать, над прахом его уже возвышался могильный холм. Но я сам заболел, и когда поправился настолько, что мог ехать, было уже, очевидно, слишком поздно.

Конец и этой мечте. Не суждено мне было со слезами припасть к его мертвой руке, со всеми любящими его поплакать у его гроба, в толпе друзей проводить прах его до места вечного успокоения.

Прими же запоздалый земной поклон праху твоему, дорогой учитель.

---

Вспоминается мне чудное летнее утро 12 августа 1908 года. Льву Николаевичу тогда очень неможилось. Началось с боли в ноге, которая все усиливалась и усиливалась и, наконец, совершенно приковала его к постели, а затем эта болезнь осложнилась другими, более серьезными.

В это утро, часов в девять, Лев Николаевич позвонил мне. Я вошел в его полутемную, с опущенными шторами

спальню. Он сказал, что хочет подиктовать. Я сел у окна, отдернул занавески и стал записывать. Он продиктовал, что чувствует себя плохо, кажется, умирает, дал несколько предсмертных распоряжений (некоторые из них были потом повторены покойным перед его кончиной и выполнены его вдовой и детьми, как погребение без обрядов в указанном им месте яснополянского леса). Начиналось же это завещание словами о том, как тяжело ему умирать в нелепых условиях роскоши и медицины [52].

Желание великого мудреца исполнилось. Он умер не в нелепых условиях роскоши, а в скромной обстановке одного из миллионов трудящихся людей, к которым всегда так влекло его чуткое сердце [53].

*с. Корепино*
*17 ноября 1910 г.*

# ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

## ТОЛСТОЙ-ХУДОЖНИК

Лев Николаевич до конца своих дней оставался художником. Как в 1864 году он писал Софье Андреевне из Москвы, что зрители театра — мужчины и дамы — для него «всё типы» [1], так же он всматривался в людей и в последние годы жизни.

Вспоминаю такой случай. В 1908 году, в мае, в Ясную Поляну приезжала теософка Унковская, калужская знакомая жены Ильи Львовича. Она писала в журнале «Вестник теософии» на тему «цвет — звук — число». За общим столом она много говорила на разные темы. Своими разговорами и рассказами она меня ввела в заблуждение, и после ее отъезда я говорю Льву Николаевичу (впрочем, без воодушевления):

— Интересная женщина эта Унковская.

— Она типично глупа, — неожиданно для меня ответил Лев Николаевич.

Он сказал это без всякого недоброго или насмешливого чувства, с улыбкой, которая выражала особое, свойственное только художнику, чувство удовлетворения тем, что он поймал характерную особенность того типа, какой повстречался ему на его жизненном пути.

## «УСТАЛОСТЬ»

Семнадцатого мая 1909 года Лев Николаевич сказал мне, что он «прямо устал мозгом». То же записано у него в дневнике в тот же день: «Очевидно, переутомление мозга, чувствую его. Дурного нет, но мешает служению» [2]. То же говорил он и Софье Андреевне 17 апреля: «Я теперь всегда устал» [3].

Откуда проистекала эта хроническая усталость мозга у Льва Николаевича? Почему он не мог на время прекратить работу и дать себе отдых?

Потому что в голове его постоянно толпился целый рой мыслей, которые настойчиво требовали своего развития и выражения. Тургенев еще про молодого Толстого говорил: «У Толстого гончие гоняют под черепом до изнеможения» [4]. Сам Толстой о своей работе из времени декабристов писал, что ни днем, ни ночью, ни больной, ни здоровый не перестает думать о ней; а во время работы над статьей «Так что же нам делать?» писал: «Она (эта статья) томит меня, пока не разрожусь ею» [5]. Но в те времена у него были периоды умственного отдыха в виде занятия хозяйством, охоты, физической работы и пр.; в последние же годы этого отдыха не было. Отсюда и проистекала эта хроническая усталость.

### О ДЕКАДЕНТСТВЕ

Как-то, кажется, в конце 1908 года, вечером зашел разговор о современной поэзии. Я прочел из только что полученной книжки какого-то журнала декадентские стихи [6]. По своему легкомыслию, я громко смеялся, читая эту нелепость. Но Лев Николаевич не смеялся. Он грустно смотрел на меня. Ему было больно такое надругательство над словом и поругание литературы.

### ЗАБОТА О ДРУЗЬЯХ

Лев Николаевич очень трогательно заботился о своих друзьях. Один раз, после приезда И. И. Горбунова, он с улыбкой сказал мне:

— Иван Иванович говорит: *интеллингенция...*

Я подтвердил, что действительно он говорит так.

— Надо его жене сказать, — продолжал Лев Николаевич с той же улыбкой, — а то над ним будут смеяться.

### ‹НЕГОДОВАНИЕ›

Льву Николаевичу была противна всякая порнография, всякое смакование половых отношений в поэзии, в живописи, в разговорах. Так, он порицал стихотворение Тютчева «Последняя любовь». Я был свидетелем такого случая.

Лев Николаевич получал много писем с просьбой прислать его автограф; при этом многие посылали ему его

фотографическую карточку или открытку с каким-либо изображением с просьбой подписаться под ним. На такие письма Лев Николаевич редко отвечал сразу. Обыкновенно он все такие письма откладывал в стойку, находившуюся у него на письменном столе; и когда их накапливалось достаточное количество, он вечером подписывал сразу несколько десятков. При этом он звал меня, чтобы приводить в порядок подписанные им карточки и открытки.

Однажды во время такого надписывания автографов Лев Николаевич, просматривая присланные открытки, увидал в одном из конвертов изображение полуобнаженной женщины с нехорошим выражением лица. Он отбросил эту открытку в сторону и с негодованием воскликнул:

— И под такой стервой я должен подписываться!..

## ‹САМОЕ ОПАСНОЕ›

Кажется, осенью 1908 года я на несколько дней уезжал из Ясной Поляны в Москву. Когда я зашел ко Льву Николаевичу проститься, он сказал мне:

— А вы смотрите не влюбитесь. Чтобы свою свободу не терять.

Я молчал.

— Или уж есть? готово? — спросил Лев Николаевич чуть-чуть насмешливо.

— Нет, но с другой стороны есть, — отвечал я.

— Вот это-то самое опасное и есть, — быстро сказал Лев Николаевич, выразительно взглянув на меня.

## О ЧТЕНИИ ВСЛУХ

В дневнике Д. П. Маковицкого под 31 октября 1904 года записаны слова Льва Николаевича: «Я люблю вслух читать сочинения, о которых хочу составить себе представление, какое впечатление они произведут на других. Переношусь в слушателей, замечаю, ясно ли им, следят ли они, не скучно ли им»[7].

По просьбе Льва Николаевича, мне несколько раз приходилось в его присутствии читать вслух его статьи. Так, летом 1907 года, когда я еще не жил в Ясной Поляне, а лишь гостил у Черткова в течение двух недель, я при большом числе присутствующих прочел вслух только что написанную тогда статью «Не убий никого»; затем в 1908 году читал вслух статью «Закон насилия и закон

любви», в 1909 году — «Письмо студенту о праве». Вероятно, во время моего чтения Лев Николаевич наблюдал за слушателями, замечая, как принимается ими то или другое место его статьи.

Возможно, что на основании этих наблюдений он после чтения делал исправления в написанном.

### ⟨УРОК⟩

Лев Николаевич никогда не смеялся над простыми людьми, когда они ошибались в том или другом слове, если они произносили эти слова не из желания выказать свою цивилизованность, а без всякой задней мысли. Один раз в разговоре со мной слуга яснополянского дома Илья Васильевич Сидорков перечислил знаменитых композиторов. По его словам, самые знаменитые это — Бетховен, Моцарт, Шопенгауэр... Я, зная, что Лев Николаевич любит смешное, рассказал ему об этом. К моему удивлению, он не рассмеялся, а серьезно сказал:

— Да, Шопен — самый выдающийся композитор...

Этими словами Лев Николаевич не только сообщал мне свое мнение о Шопене, которое я знал, но и дал мне понять то, чего я не знал, — глупость моей насмешки над простым, бесхитростным человеком за его невольную ошибку.

### О МОЕЙ НЕПРАКТИЧНОСТИ

Однажды за обедом (это было в 1909 году) Лев Николаевич сказал про меня:

— Насколько Николай Николаевич сообразителен в своих умственных делах, настолько в практических он туп.

Он сказал это совершенно серьезно и с оттенком порицания меня за эту мою беспомощность в практических делах. Я принадлежал тогда к тому типу интеллигента, не знающего и не хотящего знать практической жизни, который был так антипатичен Льву Николаевичу. Общение с ним помогло мне освободиться от этого недостатка.

### ⟨О ТРАДИЦИЯХ⟩

Весной 1908 года не раз приходилось мне слышать от Льва Николаевича мнение, что для правительственных лиц некоторым смягчающим их вину обстоятельством в

тех насилиях, которые они совершают, служит традиция — «предания веков и практика всего человечества», как он однажды выразился, а у революционеров такой традиции нет. Я не мог с этим согласиться, потому что, как бывший революционер, сам хорошо знал психологию идейных революционеров. Мне самому в бытность мою революционером светили образы декабристов и народовольцев, шедших на великие жертвы и на смерть во имя борьбы с деспотизмом и угнетением, я учился на их примерах. Я считал себя одним из их идейных преемников, я учился на их примерах мужеству и стойкости. И еще раньше — в гимназии, при изучении истории, мне запомнились образы древних греков и римлян, мужественно жертвовавших собою за родину.

И вот однажды, в конце мая 1908 года, когда Лев Николаевич писал «Не могу молчать», однажды за вечерним чаем он опять высказал ту же мысль — что у правительства есть традиция, а у революционеров ее нет. Я возразил:

— Лев Николаевич! У них тоже есть своя традиция, еще со времен Французской революции, даже еще раньше — со времен древних греков и римлян...

Лев Николаевич сейчас же понял то, что я хочу сказать, в его глазах блеснуло такое выражение, как будто ему открылось что-то новое и важное, и он тихо и значительно произнес:

— Да, да...

На другой день я, как обычно, диктовал машинистке написанное Львом Николаевичем утром. Неожиданно для себя в только что написанной рукописи нахожу следующее место:

«Вы, — писал Лев Николаевич, обращаясь к правительству, — говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше Большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас» [8].

## НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Как-то я разговаривал со Львом Николаевичем об одном письме, но не мог сразу вспомнить фамилию писавшего. Чтобы вспомнить, я, как обычно делают люди в

таких случаях, инстинктивно устремил глаза вниз, сосредоточился и стал напрягать свою память. Это продолжалось только несколько секунд — я вспомнил. Взглянув сейчас же на Льва Николаевича, я увидал, что он пристально смотрит на меня. Ему, как художнику и психологу, было интересно наблюдать, как процесс напряжения памяти отражался на моем лице.

### ⟨ЧУВСТВО СЛОВА⟩

Насколько Лев Николаевич дорожил силой и образностью своего языка не только в художественных, но и в философских произведениях, показывают следующие два примера.

Летом 1908 года я помогал Льву Николаевичу в работе над новым «Кругом чтения». Между прочим я читал ему вслух разные мысли из старого «Круга чтения», в которые он вносил исправления, а некоторые и совсем исключал. Однажды читаю ему следующее изречение из «восточной мудрости»:

«Человек отличается от прочих животных лишь своим разумом. Иные развивают его, но многие пренебрегают им: они словно хотят отречься от того, что отличает их от скотов».

— От скота, — поправил Лев Николаевич [9].

Другой пример. Изречение из Талмуда: «Не смотри на ученость, как на корону, чтобы ею красоваться, ни как на топор, чтобы добывать им пропитание», — Толстым исправляется так: «Не смотри на ученость, как на корону, чтобы ею красоваться, ни как на корову, чтобы кормиться ею» [10]. Вместо топора появилась корова, что гораздо лучше, так как ученые нисколько не похожи на дровоколов и, кроме того, самые звуки слов «корону» — «корову» составляют контраст друг другу и потому западают в память.

### ⟨«АРЕХ»⟩

Толстой никому не навязывал свою веру, однако не упускал подходящего случая, чтобы высказать ее и попытаться через нее воздействовать на людей. В письме к своей дочери Татьяне Львовне от 5 июля 1909 года он просил ее и ее мужа передать разные его наставления близким им людям. В этом письме между прочим читаем: «Дорику скажите, что не беда писать «арех», и не беда,

если не научится этому, беда будет, если разучится быть добрым»[11]. Строки эти вызваны были следующим случаем, происшедшим в Кочетах во время пребывания там Льва Николаевича в июне 1909 года. Как-то вечером возник разговор о различных породах орехов. Хотели справиться об этом в Энциклопедическом словаре Брокгауза и сказали тринадцатилетнему Дорику Сухотину, чтобы он принес том этого словаря со статьей об орехах. Он пошел и принес том словаря на букву «А». Это и дало повод Толстому написать выше приведенное наставление.

### ‹ПРОТИВ САМОДОВОЛЬСТВА›

Как-то Лев Николаевич просил меня что-то сделать ему для его работы, и, как это часто бывало, просил слегка извиняющимся тоном за то, что будто бы доставляет мне затруднение. Я сказал, что сделать это нетрудно.

— Вам все нетрудно, — сказал Лев Николаевич, усмехнувшись и одобрительно глядя на меня. Но, заметив на моем лице самодовольную улыбку, он тотчас же принял серьезное выражение лица, как бы желая внушить мне: «Хоть я тебя и похвалил, а все-таки помни, что самодовольство есть порок, и не отдавайся ему».

### ‹В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ›

При мне в яснополянском доме жили, кроме Льва Николаевича и Софьи Андреевны, их младшая дочь Александра и врач-словак Душан Петрович Маковицкий.

Александра Львовна была в то время очень полная и, несмотря на свою полноту, чрезвычайно подвижная и быстрая в движениях девица, очень веселого характера. Ее громкий добродушный заразительный смех раздавался по всему дому. Отца она любила до самозабвения, все силы свои употребляла на служение ему и очень негодовала, когда кто-либо из близких к Толстому лиц (например, Чертков) предлагал Толстому какие-либо поправки в его сочинениях. Этого права она не признавала ни за кем.

Душан Петрович Маковицкий не уступал Александре Львовне в преданности Льву Николаевичу. Он не допускал, чтобы кто-либо в каком-либо вопросе возражал Толстому; можно было только слушать его слова. Сам Душан Петрович вел очень строгий образ жизни; в трудах проходило все его время. В девять часов утра он уже

отправлялся на прием больных в деревенскую лечебницу, где оставался до часу или до двух. Вернувшись домой, он наскоро завтракал, а в это время его уже дожидались крестьяне, приехавшие из какой-либо дальней деревни с тем, чтобы везти его к опасно больному. Никакая непогода — дождь, вьюга, мороз — не могли его остановить в случаях серьезной болезни его пациентов.

Другим его делом, кроме медицинской помощи крестьянам, было ведение подробных записей всего того, что он видел и слышал в Ясной Поляне, — в первую очередь, конечно, слов самого Толстого. Эти слова он ухитрялся записывать каким-то незаметным способом у себя в кармане, где у него для этой цели всегда были припасены карандаш и куски толстой бумаги. Когда все расходились спать, то есть уже после одиннадцати часов вечера, Маковицкий садился в своей комнате за расшифрование одному ему понятных записей и просиживал над этим занятием до глубокой ночи, иногда до утра.

Таким путем создались обширнейшие «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого — подробнейшая и правдивая летопись яснополянской жизни за шесть лет пребывания Маковицкого около Толстого — с 18 декабря 1904 года по 28 октября 1910 года.

## ‹ЭКСПОНАТ›

В начале 1909 года в Петербурге устраивалась Толстовская выставка. Инициатором и главным устроителем выставки был М. А. Стахович. Лев Николаевич отнесся к устройству выставки его имени безразлично — не содействовал и не противодействовал ей. Но один предмет он сам выразил желание передать на эту выставку. Это было полученное им из Москвы письмо домовладелицы Тарасовой, приславшей стихи, сочиненные ее дворником и преподнесенные им ее кухарке. Эта кухарка, по внушению монахинь Новодевичьего монастыря, относилась к Толстому враждебно и ругала его при всяком подходящем случае. Дворник же был тихий скромный человек, любивший читать книги и ведший уединенный, сосредоточенный образ жизни. На именины кухарки он преподнес ей коробку карамели, выпущенной в 1908 году к восьмидесятилетнему юбилею Льва Николаевича, и стихи собственного сочинения, в которых выражал надежду, что, отведав тол-

стовской карамели, она почувствует, «как сладок он и мил», и перестанет его ругать.

Льву Николаевичу очень понравилось и письмо Тарасовой, и особенно стихотворение дворника. Раз пять заставлял он меня читать и письмо и стихотворение вслух разным гостям, так что я, наконец, запомнил его наизусть. Лев Николаевич всегда при этом улыбался довольной улыбкой. Он говорил, что это похоже на то, как если бы какой-нибудь рыцарь подносил стихи своей даме.

### ‹ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА›

Старшая дочь Татьяна Львовна была Льву Николаевичу вполне близка. Помню, как однажды, после того как Татьяна Львовна, прогостив некоторое время в Ясной Поляне, уехала обратно к себе в Кочеты, Лев Николаевич за обедом стал говорить о том, как близка ему Таня. «Ее не чувствуешь», — сказал он и заплакал.

Я тогда не понимал этого, — не понимал, как Лев Николаевич мог чувствовать единение с Татьяной Львовной. Меня, как революционера, отталкивало барство Татьяны Львовны и ее мужа. В Кочетах мне было тяжело. Лишь позднее, узнав Татьяну Львовну ближе в Москве и познакомившись с ее письмами, я понял, что душевно она была, несмотря на свое барство, действительно вполне близка отцу, чутко его понимала, умела быть строгой к себе и видеть свои недостатки. Лишившись всего после революции, она никогда не роптала на свою судьбу и не озлобилась против революционеров.

### ‹ТИШИНА›

До какой степени Лев Николаевич нуждался в тишине для своей работы, показывает следующий случай. Однажды в Ясную Поляну приехал Сергей Львович и утром в нижней библиотеке стал разыгрывать на рояли какое-то музыкальное произведение. Я сидел в своей комнате. Слышу, приотворяется дверь в мою комнату, показывается Лев Николаевич и говорит мне:

— Сходите к Сереже и скажите ему, что я прошу его не играть.

### ‹СИЛА И ЛОВКОСТЬ›

В бытность мою в Ясной Поляне как-то Александра Львовна сказала мне, что в словах отца к ней (уже не помню теперь каких) она почувствовала, что отец, любя ее, сожалеет о ее неловкости, неуклюжести. Это вполне могло быть. Лев Николаевич любил в людях, особенно молодых, силу и ловкость.

### ‹ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК›

Лев Николаевич говорил мне, что французский язык так привычен ему, что он часто даже думает по-французски.

В январе 1909 года Лев Николаевич диктовал мне статью «Номер газеты». Дойдя до того места, где он говорит относительно статьи о писании Ивана Кронштадтского: «Следующая, пятая статья заключает в себе сведения о том, как человек, называющийся русским императором, выразил желание о том, чтобы умерший, живший в Кронштадте добрый старичок, был признан святым человеком, и как синод, то есть собрание людей, которые вполне уверены, что они имеют право и возможность предписывать миллионам народа ту веру, которую они должны исповедовать, решил всенародно праздновать...» Тут Лев Николаевич запнулся.

— Как это... annuaise по-французски?

— Годовщина, — подсказал я.

— Годовщина, — подхватил Лев Николаевич и продолжал:

«...праздновать годовщину смерти этого старичка с тем, чтобы сделать из трупа этого старичка предмет народного поклонения» [12].

### О ГАРШИНЕ

В письме к Гаршину от 14 июня 1880 года Тургенев писал, что после напечатания рассказа Гаршина «Война и люди» он считает Гаршина занимающим первое место между начинающими русскими писателями. «Это же мнение,— прибавляет Тургенев,— разделяет и граф Л. Н. Толстой, которому я давал прочесть «Войну и людей» [13].

Сам Толстой сочувственно упоминает о Гаршине в своем предисловии к рассказам Мопассана, подтверждая, что именно Тургенев указал ему на Гаршина [14]. В раз-

говоре с Русановым в 1883 году Толстой также с большой похвалой отозвался о Гаршине [15].

Однако в 1908 году, когда я предложил ему включить в «Круг чтения» рассказ Гаршина «Четыре дня», Толстой нашел его «прескверно написанным».

### ‹БИОГРАФИЯ›

Биографию Льва Николаевича, составленную П. И. Бирюковым [16], я читал уже в Ясной Поляне. Я был разочарован. Я видел, что в книге не показан духовный рост Льва Николаевича; а в этом-то я и видел тогда, как и теперь вижу, главное содержание настоящей биографии Льва Николаевича. Павел Иванович мало использовал то, что сообщал о себе в своих произведениях сам Лев Николаевич. Я поделился со Львом Николаевичем своим впечатлением — сказал ему, что если просто читать его произведения, то узнаешь о нем гораздо больше, чем из книги Павла Ивановича. Он сейчас же согласился со мной и даже как будто обрадовался этим моим словам.

### ‹ДИВАН›

В день восьмидесятилетия Льва Николаевича, 28 августа 1908 года, я зашел к нему в кабинет поздравить его с днем рождения. Он ответил мне приветливым взглядом и затем, указав на стоявший у стены диван, с трудом от подступавших к горлу слез проговорил:

— Вот на этом диване...

### ‹НАЗВАНИЕ›

Знаменитая статья «Не могу молчать» была названа так в первой рукописи. Но затем Лев Николаевич вычеркнул это название, и статья переписывалась без всякого заглавия. Когда статья была закончена и Лев Николаевич передал ее для окончательной переписки, я спросил его, как озаглавить статью.

— Просто «О смертных казнях», — ответил он таким тоном, который показывал, что не придает этому вопросу большого значения.

— Не назвать ли «Не могу молчать», как было раньше? — спросил я.

— Хорошо, — согласился Лев Николаевич.

И статья была переписана с восстановленным названием.

### ⟨ЦВЕТЫ⟩

«Хаджи-Мурат» начинается великолепным, ни у одного писателя не встречающимся описанием полевых цветов. Из этого описания видно, каким превосходным знатоком полевых цветов был Лев Николаевич.

Однажды утром, в один из летних месяцев 1909 года, я вошел к нему в кабинет, когда он только что вернулся с утренней прогулки. На столе у него стоял букет роскошных садовых цветов, принесенных садовником. Я обратил на них его внимание.

— А вот это мужицкие, — ответил он мне, указывая на принесенный им с собой небольшой букет. Он прибавил, что и узоры и раскраска полевых цветов кажутся ему тоньше и красивее цветов садовых (которые он считал цветами «господскими» в противоположность полевым — «мужицким»).

### О РАССКАЗЕ ЧЕХОВА «ЗАБЛУДШИЕ»

В январе или феврале 1909 года в Ясную Поляну приехал П. А. Страхов, брат Ф. А. Страхова, артист. Он читал комические рассказы своего сочинения, а также прочел рассказ Чехова «Заблудшие». Рассказ Льву Николаевичу не понравился. Он не смеялся во время чтения (другие смеялись), а позднее, когда Страхов уже уехал, сказал, что этот рассказ Чехова «совсем нехорош» [17].

### ⟨ПРОКЛАМАЦИИ В БАНКАХ⟩

В письме ко мне в ссылку от 21 сентября 1909 года Лев Николаевич писал: «Узнал всю эту отвратительную и глупую клевету о вас — о прокламациях в банках варенья» [18].

С этими прокламациями дело обстояло так. Летом 1908 года в Ясную Поляну пришел незнакомый мне студент из Тулы, который передал мне отпечатанные в Туле экземпляры статьи «Не могу молчать». По интеллигентской непрактичности и оторванности от жизни студент этот, думая наилучшим образом законспирировать свой груз, не придумал ничего более остроумного, как положить экземпляры статьи в банку из-под варенья. Сквозь стекло банки отчетливо виднелась печатная бумага, что всякому бросалось в глаза и вызывало подозрения. Но студент, по-видимому, ничего этого не понимал.

Когда он передавал мне эту банку, неподалеку был лакей Толстых Иван Шураев, прожженная, холуйская душа. Он, очевидно, сказал об этом Андрею Львовичу, а Андрей Львович, видевший во мне скрытого революционера, сказал тульскому губернатору. Отсюда и пошла вся история.

Об Андрее Львовиче я потому говорю так уверенно, что тамбовский губернатор Муратов в своих записках с его слов сообщает, будто бы я из Ясной Поляны по почте посылал прокламации в каких-то трубочках, чего на самом деле я никогда не делал.

### ⟨ЗВУК⟩

Как-то утром я был у него в кабинете. Перед ним, как всегда в этот час, стоял поднос с кофейником и чашкой, пока еще пустой. Не знаю, случайно или намеренно он дотронулся карандашом до пустой чашки — раздался звук, и затем до другой какой-то посуды — раздался другой звук.

— Какое отношение между этими тонами? — произнес он, задавая этот вопрос не столько мне, сколько себе самому.

— До-ми, — попробовал я угадать.

— Вы думаете, терция? — спросил он недоверчивым тоном. — Нет, не то, — сказал он уверенно.

### «ОН ТЯЖЕЛ, НО ХОРОШ»

Когда я летом 1907 года был в Ясной Поляне, там был библиограф Д. П. Сильчевский. Он настойчиво предлагал Льву Николаевичу разные вопросы, касающиеся литературы, и упорно отстаивал свои мнения. Помню, по какому-то поводу он заговорил о Рылееве. Лев Николаевич сказал, что Рылеев был хороший человек, но плохой поэт, и спросил тут же присутствовавшую С. А. Стахович:

— Правда, Софья Александровна?

С. А. Стахович согласилась с его мнением.

После ухода Сильчевского стали о нем говорить и отзывались неодобрительно. Но Лев Николаевич сказал:

— Он хорош. Он тяжел, но хорош.

### ПРОГУЛКИ ПО ДОМУ

Как-то раз Льву Николаевичу нездоровилось, и днем он не гулял, как обычно. К вечеру ему стало лучше, и,

чтобы наверстать упущенную прогулку, он быстрыми шагами начал ходить по всему верху: из своей спальни и кабинета в гостиную, в залу, далее на площадку лестницы, через ремингтонную и мою комнату обратно в спальню и опять тем же путем. Походив так довольно долго, он, обратившись ко мне, с улыбкой произнес:

— Пять верст прошел.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Легко разбираясь в людях, Лев Николаевич быстро заметил во мне склонность к литературе и желание писать. Один раз, в самое первое время моей помощи в его работе, он заговорил о вреде многописания и сказал:

— Напиши во всю жизнь одну книгу...

При этом он выразительно посмотрел на меня. Я понял, что фраза эта была сказана исключительно для меня.

В другой раз, прочитав одно из писем, написанных мной по его поручению, он сказал мне с некоторым беспокойством:

— Я боюсь, чтобы вы не увлеклись литературой, потому что вы очень к ней способны...

Я ответил, что увлечение литературой мною уже пережито. Он ничего мне на это не ответил, памятуя, очевидно, слабость человеческую.

### ПЕРЕДАЧА ЧУЖИХ СЛОВ

Когда Лев Николаевич передавал что-нибудь с чужих слов, он всегда начинал не с самого рассказа, а с поименования того, кто ему сообщал: «Чертков говорил», «Буланже рассказывал»... Делал он это, во-первых, из добросовестности, во-вторых, для того, чтобы указать, кто несет ответственность за передаваемое им, и в-третьих, потому, что, поминая людей, ему близких или, во всяком случае, так или иначе с ним связанных, он как бы входил с ними в общение, а это Льву Николаевичу всегда было дорого.

По этой же причине, если Лев Николаевич в своих сочинениях приводил какую-либо мысль, выраженную другим мыслителем, он всегда называл автора этой мысли. Ему радостно было входить в общение с людьми других эпох и других народов.

### ‹ДЕЛИКАТНОСТЬ›

В мае 1908 года Лев Николаевич диктовал мне свои воспоминания о защите солдата в военном суде в 1866 году. Председателем на этом суде был полковник Юнòша. О нем Толстой в этих воспоминаниях говорит, что он был исправный полковой командир, а «какой он был человек», этого «не знал и он сам, да и не интересовался этим»[19]. Казалось бы, ничего особенно обидного в этой характеристике нет, однако Лев Николаевич сказал мне, чтобы при переписке его статьи не проставлять фамилии полковника полностью, а поставить одну первую букву *Ю*.

— Может быть, его родные живы, — сказал он в объяснение этой своей деликатности.

### ‹СТРАЖНИК›

В 1909 году в Ясной Поляне проживал молодой стражник. Однажды в разговоре со мной он рассказал, что раньше он служил в пограничных войсках, на обязанности которых лежало ловить революционеров, провозящих через границу нелегальную литературу, и контрабандистов. За каждого пойманного с литературой революционера им платили по десять рублей. Но потом революционеры вошли с ними в соглашение и стали платить дороже, он так же, как его товарищи, стал за те деньги, которые платили революционеры, пропускать нелегальную литературу.

Я рассказал об этом Льву Николаевичу. Он был поражен.

— Напишите об этом, — сказал он мне. Но я не написал. Живя рядом с Толстым, я так ясно ощущал ничтожность моих сил в сравнении с его силами. Что̀ мог я написать, когда рядом со мной раздавалось могучее слово, взрывавшее весь существовавший порядок, в котором указанный эпизод был только одним маленьким частным случаем.

### О РАССКАЗАХ КУПРИНА

Вечером 22 марта 1909 года М. С. Сухотин прочел вслух рассказ Куприна «Как я был актером». Рассказ Льву Николаевичу не понравился.

«Собрание каких-то анекдотов», — сказал он.

Больше понравился Толстому другой рассказ Куприна — забыл его название — об учителе и фельдшере, жив-

ших в деревне. Описывается их скучная жизнь и гибель — они поехали в половодье кататься на лодке по реке, и течением унесло их на пороги. С ними была собака Друг, которая осталась на берегу в их ожидании. Последняя мысль, которая мелькнула в сознании одного из них, была: «А ведь Друг-то, пожалуй, не найдет дороги домой» [20].

По окончании чтения, уже перед сном, я зашел ко Льву Николаевичу в кабинет и обратил его внимание на эту подробность. Он оживился и сказал, что он не заметил этих слов. Он был очень усталый в конце чтения, но, когда я обратил его внимание на эту, можно сказать, толстовскую деталь, он сейчас же оценил ее.

### «ОХОТА ТЕБЕ С ТАКИМ ДУРАКОМ СПОРИТЬ»

В ноябре 1908 года Толстой получил от переводчика Пороховщикова только что вышедший тогда и арестованный перевод диалога Шопенгауэра «О религии» [21]. Толстой прочел эту книгу и остался ею очень доволен.

— В ней сказал, — сказал он, — все, что можно сказать в пользу религии, и все, что можно сказать против нее.

И Лев Николаевич вспомнил, как Белинский, прочитав какой-то диалог Герцена, на его (Герцена) вопрос, нравится ли ему этот диалог, ответил, что нравится, но прибавил:

— Охота тебе с таким дураком спорить! [22]

Лев Николаевич очень смеялся, рассказывая это.

### ДРЕВНОСТЬ

Прослушав на граммофоне пение Вари Паниной (она пела «Коробейников»), Лев Николаевич сказал:

— Это такая древность...

Вспоминается, что Федя Протасов говорит о цыганском пении:

— Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля [23].

### «СТОЯТЬ НА ПОСТУ»

Слепой крестьянин Я. И. Розов, любивший торжественно выражаться, рассказывал мне, что когда он летом 1903 года был в Ясной Поляне, то в разговоре ска-

зал к чему-то, что Лев Николаевич «стоит на таком посту».

— Ну, на каком же я посту стою? — возразил Лев Николаевич. — Это Михайловский «стоит на посту».

Он разумел только что вышедший тогда сборник в честь Михайловского, озаглавленный «На славном посту»[24]. Напыщенность и претенциозность этого выражения ему претили.

### «ВЕСЬ ВЫХОЖУ»

Как-то Лев Николаевич сказал, что вечерами он «весь выходит», то есть не может напряженно заниматься.

В тот же день вечером он что-то спросил у меня на тему о работе, которой он был тогда занят. Я был очень усталый и стал соображать то, что ему было нужно, — сразу не мог ответить. Он взглянул на меня и сказал:

— Вы тоже вечерами весь выходите.

### ‹ИНЦИДЕНТ›

Вскоре после того, как я в декабре 1907 года был в первый раз освобожден из тюрьмы и приехал в Ясную Поляну, Лев Николаевич дал мне ответить письмо к одной старообрядке (Ершовой), которая со всей яростью фанатизма нападала на Льва Николаевича за его отрицание догматов и обрядов. В ее письме было что-то вроде того, что я застрелила бы вас и т. д. Я отнесся к этому письму очень серьезно и стал ей возражать, убеждать ее и т. д. Лев Николаевич прочел мое письмо и сказал:

— Очень хорошо, только молодо...

Я тогда не понял, что он хотел сказать этим словом. Теперь же думаю, что слишком горячий тон мой и слишком большая серьезность, с которой я старался переубедить эту женщину, должны были вызвать у Льва Николаевича это замечание.

В 1909 году журналист Попов напечатал мое письмо к Ершовой, переделав его и выдав за письмо Льва Николаевича. По совету Сергея Львовича, я написал опровержение в редакцию «Русского слова», где было напечатано мое письмо[25]. Редакция напечатала мое опровержение, указав при этом имя журналиста, который ввел ее в заблуждение. Журналист прислал на имя Льва Николаевича

письмо, в котором писал, что, вследствие моего заявления, он лишился заработка.

Льву Николаевичу был неприятен весь этот эпизод. Он сказал мне, что не надо было писать опровержения, — «очень хороши ваши письма». Я написал в редакцию, прося уладить этот инцидент и вновь предоставить Попову работу. Лев Николаевич просил прибавить, что и он просит о том же.

### «ОН ПУГАЕТ, А МНЕ НЕ СТРАШНО»

Из русских писателей того времени Толстой особенно интересовался Леонидом Андреевым, считая его безусловно талантливым. Тем не менее Толстой не любил в рассказах Андреева искусственности, преувеличенных ужасов. Однажды он сказал, что рассказы Андреева напоминают ему мальчика, который рассказывает, как он встретил в лесу укусившего его волка. После каждой фразы мальчик спрашивал слушателей: «Страшно, а? Страшно?»

— То же самое и Андреев, — закончил Толстой, — он пугает, а мне не страшно...

### О БРЮСОВЕ

В ноябре 1905 года я был в Ясной Поляне с моим другом, ныне покойным, народным поэтом Федором Емельяновичем Поступаевым. Поступаев очень увлекался тогда стихами Брюсова; многие из них он знал наизусть и превосходно декламировал. Мне хотелось услышать отзыв Толстого о стихах Брюсова, и я завел разговор на эту тему. Толстой удивился, что Поступаев увлекается Брюсовым, и попросил его что-нибудь прочесть.

— Я вам прочту, Лев Николаевич, его стихотворение «Каменщик», — сказал Поступаев.

И он размеренно, ритмически, явственно отчеканивая каждое слово, продекламировал:

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом...
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
— Верно, не ты и не твой брат, богатый:
Незачем вам воровать

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
— Может быть, сын мой, такой же рабочий,
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнят, пожалуй,
Кто же носил кирпичи?..
— Эй, не мешай, под лесами не балуй!..
Знаем все сами, молчи.

Я смотрел на Льва Николаевича, пока Поступаев декламировал это стихотворение. Но на лице его ничего не отражалось; видно, стихотворение это не произвело на него большого впечатления.

— Ну, прочтите еще что-нибудь, — сказал он.

— Теперь я вам прочту, Лев Николаевич, — произнес Поступаев, — его стихотворение «Скука жизни», у Брюсова оно называется как-то по-французски...

(Точное название этого стихотворения — «L'ennui de vivre».)

И он начал:

Я жить устал среди людей и в днях,
Устал от смены дум, желаний, вкусов,
От смены истин, рифм в стихах...
Желал бы я не быть Валерий Брюсов.

Я опять взглянул на Льва Николаевича. Его лицо оживилось, глаза заблестели; он слушал с напряженным вниманием.

Поступаев продолжал:

Не пред людьми, от них уйти легко,
А пред собой, пред собственным сознаньем...
Уже в былое цепь уходит далеко,
Которую зовут воспоминаньем...

Он дочитал до конца все довольно длинное стихотворение, выпустив из него только строфы о женщинах.

— Это — поэтическая вещь, — сказал Толстой. — Первое, что вы прочитали, сильное, но прозаичное; а это — поэтическое стихотворение [26].

## О ЛЕСКОВЕ

Как-то в Ясной Поляне возник разговор о Лескове. Толстой сказал, что Лесков производил на него всегда впечатление очень сильного человека.

### («ДИАЛЕКТИКА ДУШИ»)

В самый разгар своей работы для народных изданий «Посредника» Толстой в 1885 году писал Черткову, что он советует перевести целиком романы Диккенса «Крошка Доррит» или «Холодный дом» с комментариями непонятных для русского народного читателя мест и затем прочесть рукопись со взрослыми, чтобы увидать, все ли в ней понятно, и прибавлял: «Стоит того попытать это, и именно на Диккенсе — передать всю тонкость иронии и чувства — выучить понимать оттенки. Для этого нет лучше Диккенса» [27].

Здесь Лев Николаевич ничего не говорит о нравоучительной цели тех литературных произведений, которые он рекомендует: он говорит только об их значении для познания проявлений чувств. Познание «диалектики души» человеческой для Льва Николаевича и в проповеднический период его деятельности представлялось столь же важным, как и в первый, чисто художественный период.

### ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ «ВОЙНЫ И МИРА»

В «Войне и мире» капитан Тимохин в ночь накануне Бородинского сражения говорит Андрею Болконскому: «Солдаты в моем батальоне — поверите ли? — не захотели водку пить, — не такой день, говорят» [28].

Эта подробность заимствована из «Очерков Бородинского сражения» Ф. Глинки, где вечер перед Бородинским сражением описывается так: «Священное молчание царствовало на нашей линии. Я слышал, как квартирьеры громко сзывали к порции: «Водку привезли. Кто хочет, ребята! ступай к чарке!» Никто не шелохнулся. По местам вырывался глубокий вздох, и слышались слова: «Спасибо за честь! Не к тому изготовились; не такой завтра день!» [29]

Это место, приведшее в восторг Белинского [30], Толстой использовал, вложив рассказ об этом настроении солдат, как нечто вполне достоверное, в уста одного из участников Бородинского боя.

### МУСКУЛЫ

Как-то, кажется, еще тогда, когда я жил в Ясной Поляне, летом 1907 года, Лев Николаевич, подойдя ко мне, прощупал мои мускулы и сказал:

— Плохие мускулы!..

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалось и сострадание, и упрек мне, жалкому горожанину-интеллигенту, и молчаливое наставление о том, чтобы я не пренебрегал развитием телесной силы.

### ОБ ИГРЕ НА СЦЕНЕ

Когда Ермолова в пьесе Суворина «Татьяна Репина» играла главную роль, а пьеса кончалась ее отравлением, она сыграла ее так натурально (разорвала ожерелье, кусала подушку), что зрители и актеры решили, что она действительно отравилась. В зале раздались истерические рыдания, крики, вызвали докторов, женщин выносили без чувств.

Месяца через два после этого Суворин был у Толстого (это было 22 ноября 1900 г.). Зашел разговор о «Татьяне Репиной». Суворин рассказал Толстому об игре Ермоловой, упомянув о том, что некоторые упрекали Ермолову за ее игру, находя, что это «не искусство». В ответ на это Толстой, по словам Суворина, возразил: «Почему же не искусство? Чем сильнее и правдивее высказывания, тем лучше. Что они так толкуют об искусстве!» [31]

По-видимому, те, кто утверждал, что игра Ермоловой в данной роли не была искусством, считали, что актер не должен сам переживать того, что играет, а должен в буквальном смысле этого слова «играть», то есть только делать вид, что переживает, передавать внешние выражения переживаний; Толстой же считал, что чем глубже сам артист переживает то, что играет, тем сильнее его игра.

### АФОРИЗМ

Толстой никогда не переставал быть художником; он оставался им и в своих философских и общественно-политических статьях. Однажды он продиктовал мне остроумный афоризм о необходимости критического отношения к усвоенным с детства традиционным понятиям. Вот этот афоризм:

«Люди думают, как отцы их думали; а отцы их думали, как деды их думали; а деды их думали, как прадеды их думали; а прадеды их думали, как прапрадеды их думали; а прапрадеды — они совсем не думали».

И он сам рассмеялся.

### ‹РАЗГОВОР›

В 1908 году летом было получено письмо из тюрьмы, в котором описывалось, как мучают политических арестованных при допросах, тушат об их тело зажженные папиросы и пр. У Льва Николаевича тогда болела нога, он сидел в движущемся кресле, и я прочитывал ему вслух полученные письма. Когда я кончил чтение этого письма, Лев Николаевич, глядя на меня, произнес:

— Это ваше будущее.

На другой день он опять вернулся к этому письму. У него не было никакого сомнения в том, что мне предстоит сидеть в тюрьме. Он сказал:

— Сидеть — это ничего, а вот когда об вас начнут папироски тушить...

### «ПОМНИМ ТО, ЧТО ЛЮБИМ»

Это было в первое время моей жизни в Ясной Поляне, — помнится, в феврале 1908 года. Мы были со Львом Николаевичем одни. Он выразил удивление моей памяти на его работы — статьи и письма — и прибавил:

— А помним мы хорошо то, что любим...

Последние слова он проговорил сквозь слезы.

### ‹ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ›

На другой день после первого обморока от переутомления, происшедшего со Львом Николаевичем 2 марта 1908 года, когда к нему приехал Чертков, Лев Николаевич сказал ему:

— Я все думаю о Гусеве, что он разбирает мои бумаги, делает за меня, и я думаю, что я совсем выжил из ума.

— И смеется,— прибавил Владимир Григорьевич, рассказав мне об этом, — и я тоже смеюсь.

Я не придал тогда этим словам Льва Николаевича никакого значения — так дико мне казалось думать, что он, учитель мой и всего человечества, «выжил из ума». Я читал его статьи и письма, которые он тогда писал, и находил в них все ту же мощь мысли и чувства, которая покорила меня и сделала меня его преданнейшим учеником. Но сам Лев Николаевич уже чувствовал тогда ослабление памяти, быть может, и другие проявления

старости, а во мне он увидал человека молодого, помнящего безошибочно все его дела и делающего их быстро и точно. И у него явилось сопоставление своей старости с моей молодостью.

Так я понимаю теперь эти его слова.

### «СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Кажется, в феврале 1908 года Лев Николаевич работал (очень усердно) над вторым изданием «Круга чтения». Я тоже принимал некоторое участие в этой работе. Я предложил ему:

— Не поместить ли в «Недельное чтение» из «Воскресения» о старике на пароме?

Он сейчас же согласился. Я в тот же день переписал этот отрывок и спрашиваю его:

— Как назвать, Лев Николаевич?

Он немного подумал и затем с довольным лицом произнес:

— «Свободный человек».

Я сейчас же надписал это название, которое и мне очень понравилось [32].

### ‹О НЕХЛЮДОВЕ›

В числе писем ко Льву Николаевичу 1909 года есть письмо от какого-то Буревича, который писал о своем презрительном отношении к герою «Воскресения». Лев Николаевич на конверте этого письма написал, что считает такое отношение справедливым, но в конце письма поставил вопросительный знак [33]. Этот вопросительный знак означал, что он сомневается в своем ответе, то есть в правильности его.

Решить этот вопрос должен был я. А я находил в переживаниях Нехлюдова («чистка души», критика существующего строя и пр.) много до такой степени родственного, что никак не мог согласиться с таким легкомысленным отношением адресата к этому образу, а в надписи Льва Николаевича видел его обычное, мне хорошо известное самобичевание.

И я не написал адресату так, как указал, сам сомневаясь, мой учитель.

## ‹ОТКАЗ›

Как-то Лев Николаевич передал мне для ответа письмо с просьбой о высылке каких-то его первых художественных произведений. Я сказал ему, что этих книг в нашем распоряжении нет.

— Вы покажите это письмо Софье Андреевне, — ответил мне Лев Николаевич.

Я выразил сомнение, чтобы Софья Андреевна исполнила просьбу писавшего.

— Вы все-таки покажите, — повторил Лев Николаевич.

Я показал и, разумеется, получил отказ.

Думаю, что и Лев Николаевич так же, как и я, не сомневался в характере ответа Софьи Андреевны, но велел мне обратиться к ней только для того, чтобы напомнить ей о том, что у нее есть возможность сделать доброе дело, если она захочет.

## ‹ЖАЛКО КНИГУ›

В январе 1908 года было начато Сытиным печатание второго издания «Круга чтения». Ночью Чертков уезжал в Москву, и нужно было послать с ним исправленный Львом Николаевичем «Январь». Лев Николаевич велел Александре Львовне изготовить на машинке копию этого месяца; но это было очень много — страниц семьдесят печатных, нельзя было поспеть, и я предложил взять печатный экземпляр книги, вырвать из него «Январь», перенести на него исправления Льва Николаевича и сдать в типографию.

Лев Николаевич согласился не сразу и с сожалением: ему жалко было выводить из строя книгу, которую он считал такой нужной и полезной и которую любил давать тем, кто обращался к нему с вопросами, и дарить тем, кому хотел сделать приятное.

## ‹ТОЛСТОЙ ИЗЛАГАЕТ «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ»›

Читая корректуру первых месяцев второго издания «Круга чтения» (это было, вероятно, в феврале 1908 г.), Лев Николаевич сказал мне:

— Тут очень скверное изложение «Бедных людей»... Я было начал поправлять...

Лев Николаевич сказал это с некоторой даже досадой. (Изложение принадлежало Веселитской.) Свой пересказ Лев Николаевич довел до конца [34].

### ‹ТОЛСТОЙ О СЕБЕ›

В октябре 1907 года, только начавши помогать Льву Николаевичу, я услышал от местных яснополянских крестьян, что приказчик Софьи Андреевны несправедливо обвиняет их в краже ее леса. Я сказал об этом Льву Николаевичу, но он грустно и тоном полной откровенности ответил мне:

— Я последний человек в этом доме.

### О РАССКАЗЕ А. ФРАНСА

Кажется, это было в мой приезд в Ясную в сентябре 1904 года. По какому-то поводу Лев Николаевич заговорил о рассказе Анатоля Франса из первого века христианства. С Пилатом кто-то заговорил о Христе, и тот вспомнил о Христе только потому, что у него осталась в памяти женщина красивая, которая его сопровождала [35].

Лев Николаевич считал этот рассказ хорошей иллюстрацией того, как для современников проходит незаметным такое событие, которое впоследствии будет признано эпохой в жизни человечества.

### ‹ОТЗЫВ›

В журнале «Минувшие годы» за 1908 год были напечатаны воспоминания о Глебе Успенском В. В. Починковской [36]. Сын Успенского, Борис Глебович, рассказал мне, что автор этих воспоминаний, которую он хорошо знал, утверждала, что Лев Николаевич читал их и сказал:

— Удивительно, что человек с таким талантом ничего не написал.

Это вполне правдоподобно, так как статья действительно написана очень хорошо. Журнал «Минувшие годы» за этот год сохранился в Яснополянской библиотеке.

### ‹«КАК МНОГО НАРОДА!»›

Корреспондент «Русских ведомостей» Д. Нейфельд в 1912 году говорил мне, что он один только слышал (так как был очень близко от окна вагона), что́ сказал Лев

Николаевич при виде огромной приветствовавшей его на вокзале толпы, когда он уезжал из Москвы в Ясную Поляну. Газеты писали, что он сказал несколько слов обращения к собравшимся; на самом деле, говорил Нейфельд, он сказал только:

— Как много народа!..

### «ТЕМНЫЙ» ОБЕД

Один раз в Ясной Поляне за обедом сидели: П. И. Бирюков, Х. Н. Абрикосов, Д. П. Маковицкий, я и, конечно, Александра Львовна. Льва Николаевича еще не было. Абрикосов, оглядев присутствующих, сказал:

— Софья Андреевна, сегодня у вас обед весь «темный».

— Этих темных я всех люблю, — ответила Софья Андреевна.

Меня это тронуло, и я на другой день утром рассказал об этом Льву Николаевичу. Он ничего не сказал мне на это — как бы не увидал в этом ничего неожиданного.

### СТИХОТВОРЕНИЕ М. МИХАЙЛОВА

Анатолий Степанович Буткевич, толстовец, пчеловод, в молодости был революционером, и революционная закваска в нем оставалась до конца дней. Революционные идеи, усвоенные им в молодости, когда он впервые начал жить сознательной жизнью, определили навсегда склад его мышления. Революционные стихотворения, так сильно действовавшие на чувство, навсегда остались у него в памяти, и повторение их в старости вызывало у него те самые чувства, с которыми он произносил их в молодости (тем более что он и сам писал стихи).

В феврале 1908 года Буткевич был в Ясной Поляне. Не помню, по какому поводу он с чувством продекламировал стихотворение М. Михайлова «Памяти Добролюбова».

Вечный враг всего живого,
Тупоумен, дик и зол,
Нашу жизнь, за мысль и слово,
Топчет произвол.

И чем жизнь светлей и чище,
Тем пощаднее судьба...
Раздвигайся же, кладбище,
Принимай гроба!

Гроб вчера и гроб сегодня,
Завтра гроб... А мы стоим
И покорно: «власть господня!» —
Как рабы, твердим.

Вот и твой смолк голос честный
И смежился светлый взгляд,
И уложен в гроб ты тесный,
Отстрадавший брат.

Ты умолк, но нам из гроба
Скорбный лик твой говорит:
«Что ж молчит в вас, братья, злоба,
Что ж любовь молчит?

Иль в любви одни лишь слезы
Есть у вас для кровных бед?
Или силы для угрозы
В вашей злобе нет?

Братья! Пусть любовь вас тесно
Сдвинет в дружный ратный строй,
Пусть ведет вас злоба в честный
И открытый бой!»

Мы стоим, не слыша зова...
И, как прежде, дик и зол,
Тризны мысли, тризну слова
Правит произвол [37].

— Это хорошо, — сказал Лев Николаевич, когда Буткевич кончил. Стихотворение понравилось ему, конечно, не поэтическими достоинствами, которых в нем нет, а силой благородного чувства, в нем выраженного.

## ‹НИКОМУ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ›

Лев Николаевич охотно диктовал мне письма и иногда статьи, но никогда не диктовал ничего художественного. За два года моей жизни в Ясной Поляне он несколько раз начинал писать художественные произведения (они все остались незаконченными), но я тогда не читал ни одного из них. Все нехудожественное, что писал тогда Лев Николаевич, я диктовал Александре Львовне, которая все это переписывала на машинке; но художественные произведения (и то не все) Лев Николаевич передавал для переписки только Александре Львовне, бывшей тогда самым близким ему человеком.

Однажды весной 1909 года (вероятно, в мае) я был в кабинете Льва Николаевича, когда он закончил свою

работу. Он собрал исписанные им листы, сказал, что их нужно передать Александре Львовне для переписки (их было не так мало), и, глядя на свою рукопись, задумчиво произнес:

— Запутается она тут...

Потом вдруг решительным движением передал мне рукопись и сказал:

— Отдайте это Саше и скажите ей, что я прошу ее никому не показывать и не рассказывать.

То-то было торжество Александры Львовны, когда я передал ей слова отца! Надо сказать, что она ревновала меня к отцу. Она, конечно, сильно его любила, но любила не так, как мы. Ее любовь была женская и родственная. И все-таки, когда она видела, что Лев Николаевич больше, чем с нею, делился со мной своими духовными и умственными интересами, ее мучила ревность. Она и не скрывала этого чувства. И тут вдруг такое явное доказательство того, что она ближе отцу, чем я. Мне было приятно передать ей слова отца, а ее эти слова привели в восторг.

— Значит, Гуську в отставку? (Так она называла меня в минуты самого большого расположения; мы были с ней тогда очень дружны.)

— В отставку, — подтвердил я.

Тотчас же с шумом был выдвинут один из ящиков комода, стоявшего в ее комнате, и оттуда был извлечен и вручен мне большой и сладкий тульский пряник, которые я очень любил. Пряник этот я получил как гонец, принесший радостную весть.

## ‹ЖИЗНЬ ОТРАВЛЕНА›

Все дневники Толстого последних лет его жизни наполнены записями о том, как тяжела ему была жизнь в Ясной Поляне. Так, 3 июля 1908 года он писал: «Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду, стыд и страдание»[38]. Затем через шесть дней, 9 июля: «Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть!»[39]

Таких записей из дневника Толстого можно было бы привести очень много.

Не следует, конечно, думать, что для Толстого были мучительны только его личные условия жизни в Ясной Поляне. Его возмущал вид «царства господского», как он называл помещичью жизнь, везде, где приходилось ему с нею сталкиваться.

В июне 1909 года Лев Николаевич поехал к своей старшей дочери Татьяне Львовне, жившей с своим мужем М. С. Сухотиным, крупным землевладельцем, в его имении Кочеты Тульской губернии. Мне пришлось его сопровождать. Выехав из Ясной Поляны, мы высадились на станции Благодатная, откуда ехали до Кочетов пятнадцать верст на четверке огромных, сильных, сытых лошадей. Дорога шла бóльшей частью барскими полями или же мимо больших, старинных парков. Меня поразило то, что почти все встречавшиеся нам на пути крестьяне, даже старики, униженно снимали шапки и кланялись и потом долго стояли с непокрытой головой...

Живя в Кочетах, Толстой ездил верхом по окрестным деревням и после одной из таких поездок, 11 июля 1909 года, записал в дневнике: «Ездил верхом. Очень устал. Главное же, мучительное чувство бедности — не бедности, а унижения, забитости народа. Простительна жестокость и безумие революционеров. Потом за обедом Свербеева, французский язык и теннис, и рядом рабы голодные, раздетые, забитые работой. Не могу выносить, хочется бежать» [40].

И через пять дней после этого он писал одному своему другу, сообщавшему ему о притеснениях крестьян помещиком:

«Ох, от таких дел стонет весь мир, и не знаешь, куда деться, чтобы не видать их. Я теперь живу у дочери и в новых условиях с особенной яркостью и болью вижу и чувствую это установившееся, постоянно продолжающееся, самое очевидное преступление грабежа, отнимающего у людей не только их имущество, но их силы, их жизнь» [41].

## ОТЕЦ

Летом 1908 года приезжавший в Ясную Поляну Н. Г. Молоствов читал Льву Николаевичу вслух из своей биографии Толстого главу об его отце [42]. Лев Николаевич слушал внимательно, но не высказал своего мнения.

Позднее, когда Молоствова не было в комнате, Лев Николаевич как-то задумчиво, глядя вдаль, произнес:

— Я думаю, что отец не был таким, каким он его изображает.

### О СМЕРТИ

Толстой говорил, что он не знает ничего более сильного о смерти, чем описание смерти Сократа у Платона. Сократ здесь говорит своим ученикам, которые начали было плакать, увидев, что он выпил яд: «Умирать должно в благоговейном молчании» [43]. Так же смотрел и Толстой. Поэтому ему так неприятна была та суета, которая поднималась вокруг него, когда он тяжело заболевал и, как ему казалось, был близок к смерти. Так было на моих глазах в августе 1908 года.

# ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧЕЛОВЕК

## I

Лев Толстой прожил долгую жизнь, он скончался на восемьдесят третьем году.

Многое испытал Толстой в своей жизни. Он был и студентом Казанского университета, и военным, причем подвергался смертельной опасности и на Кавказе и в Севастополе, и писателем-художником, и путешественником, и сельским хозяином, и педагогом, и семьянином, и общественным деятелем, и философом, и проповедником, и обличителем неправды существующего насильнического общественного строя.

Чуткость к поэзии начала проявляться у Толстого с раннего детства. Не было ему еще восьми лет, когда однажды отец застал его за декламированием стихов Пушкина: «Наполеон» и «К морю». Отца поразил тот пафос, с каким маленький Лев произносил эти стихи, и он заставил его продекламировать их еще раз [1].

Писать Толстой начал в двадцать два года. В 1851 году, живя в Москве, он написал первую редакцию повести «Детство», повинуясь исключительно пробудившейся в нем потребности художественного творчества. Когда же в следующем году повесть, после троекратной авторской переделки, была напечатана в журнале знаменитого поэта Некрасова «Современник» и вызвала самые лестные отзывы критики, Толстой почувствовал, что настоящее его призвание — литература, а не военная служба, и по окончании Восточной войны вышел в отставку.

В возрасте тридцати четырех лет Толстой женился на дочери московского врача, Софье Андреевне Берс, и почти безвыездно поселился в своем имении Ясная Поляна.

Его занятия — литературный труд, сельское хозяйство и воспитание детей.

В занятиях сельским хозяйством Толстого привлекала также поэтическая сторона — общение с природой. Он любил разводить домашних животных и следить за процессом их роста, а также наблюдать созревание хлебных растений; любил насаждать сады и леса. Всего Толстой насадил в своем имении сто восемьдесят гектаров леса.

Толстой любил сам принимать участие в крестьянском труде. В романе «Анна Каренина» рассказывается, как Левин косил с мужиками: это Толстой описал самого себя. Он говорил, что крестьянская работа тем хороша, что ни один мускул не остается без упражнения: одно дело — пахать, другое дело — косить или молотить.

Большое место в жизни Толстого того времени занимала охота. С ружьем и собакой Толстой по целым дням бродил по окрестным лесам, высматривая дичь, наблюдая птиц, любуясь красотой деревьев и прислушиваясь к звукам леса. Охота в то время была любимым спортом Толстого. Художник Крамской, писавший его известный портрет, говорил, что Толстой верхом на лошади в охотничьем костюме — самая красивая мужская фигура, которую ему когда-либо приходилось видеть.

Впоследствии, когда миросозерцание его изменилось, Толстой отказался от охоты, но до конца жизни любил спорт во всех его других видах. Он смолоду любил физические упражнения и занимался гимнастикой до последнего года своей жизни. Шестидесяти семи лет от роду Толстой выучился кататься на велосипеде. Есть фотографии, где Лев Николаевич снят на коньках в саду московского дома Толстых, причем снимок этот был сделан в 1898 году, когда Толстому было уже семьдесят лет. Толстой был неутомимый ходок в далеких и продолжительных прогулках, превосходно ездил верхом, отлично плавал и любил купанье.

Когда Толстому было уже около пятидесяти лет, произошел резкий перелом в его миросозерцании. Внешних причин для этого никаких не было. Семейная жизнь его в то время протекала нормально; материальное благосостояние увеличивалось; его романы «Война и мир» и «Анна Каренина» принесли ему славу. Его современник И. С. Тургенев писал, что по выходе «Войны и мира» Толстой решительно «встал на первое место среди всех русских писателей»[2]. Позднее, в 1878 году, Тургенев пи-

сал поэту Фету, что Толстой начинает приобретать всемирную известность; «нам, русским, давно известно, что у него соперника нет» [3].

А Толстой в это время переживал смутное, тревожное настроение. Его мучили основные проблемы бытия: о смысле жизни, о смерти, добре и зле. Кроме того, у него появилось сознание нравственной незаконности своего положения богатого помещика среди нищеты окружающих его бедняков крестьян.

Известно, что после долгих мучительных колебаний и сомнений Толстой нашел разрешение всех волновавших его вопросов в нравственном учении Евангелия «в его истинном смысле», как он говорил, состоящем в деятельной любви к людям, в самопожертвовании, доходящем даже до жертвы своей жизнью для блага людей.

Вся жизнь его изменилась.

«Я отрекся от жизни нашего круга», — писал Толстой в своей «Исповеди» [4].

«Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов, — все это стало для меня хорошим и высоким» [5].

Сказанное Толстым подтверждается его женой Софьей Андреевной в ее дневниках.

«Характер Льва Николаевича тоже все более и более изменяется,— записывает она 26 декабря 1877 года.— Хотя всегда скромный и малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее» [6].

«Страдание о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении, — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование» [7], — писала Софья Андреевна 31 декабря 1881 года.

В связи с изменением миросозерцания изменяется и характер литературной деятельности Толстого.

На свой талант он смотрит не как на средство достижения личных целей, а как на орудие, данное ему свыше для служения человечеству. Теперь Толстой в своих мно-

гочисленных статьях и художественных произведениях борется с существующим злом и неправдой, обличает насилие и деспотизм власти, угнетение трудового народа помещиками и капиталистами, протестует против готовящихся и совершающихся войн, называя войну «самым ужасным злодеянием, какое только может совершить человек». Он обличает обман господствующей церкви, утверждая, что учение церкви есть «теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание грубых суеверий и колдовства». Вместе с тем Толстой призывал каждого человека к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками, к сознанию своей нравственной ответственности за все свои поступки. Всей душой ненавидя существующий в его время в России (да и во всех странах) насильнический общественный строй, Толстой тем не менее утверждал, что для создания нового общественного строя необходимо нравственное перерождение людей, что «из гнилых бревен нельзя построить крепкого дома».

Авторитет Толстого все более и более возрастал. Все больше и больше людей обращалось к нему лично и письменно за разрешением самых разнообразных религиозных, философских, нравственных, общественно-политических, литературных, эстетических, педагогических и многих других вопросов. После Толстого осталось до десяти тысяч писем его к разным лицам; большинство из них относится ко второму периоду его жизни и творчества. В одном только 1909 году Толстой написал и продиктовал семьсот двадцать пять писем. За десять месяцев последнего года его жизни (1910) шестьсот шестьдесят два письма. В это число не входят письма, написанные по поручению Толстого его помощниками.

В Ясной Поляне и в Москве у Толстого сходились люди самых различных воззрений и самого противоположного социального положения. Знаменитые писатели, как Чехов, Горький, Короленко, — и крестьянский поэт-самоучка; ученый с мировым именем, как И. И. Мечников, — и скромный народный учитель; тульский губернатор приезжал с визитом — и социал-демократ из Москвы или Тулы приезжал спорить с Толстым о путях борьбы с самодержавным правительством; председатель Московского окружного суда — и преследуемый властями за толстовские взгляды крестьянин из дальней деревни; офицер

Семеновского полка, с гордостью рассказывавший о том, как он спас от расстрела двадцать революционеров, — и искал приюта беглый матрос-революционер с восставшего броненосца «Потемкин»; тульский архиерей, приезжавший беседовать о православной религии, — и лишенный сана священник, излагавший свои либеральные взгляды; простая женщина с разбитой семейной жизнью — и юноша-студент, мятущийся страстями; и многие другие.

Чехов говорил, что он знал людей, которые боялись делать нехорошие дела только потому, что был жив Толстой [8].

Авторитет Толстого был так велик, что, хотя он писал и печатал за границей за своей подписью самые резкие и сильные статьи против существующего строя и против господствующей церкви, самодержавное правительство не решалось его преследовать. Реакционный министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой, дальний родственник Льва Николаевича, делал доклад Александру III, что необходимо сослать или заточить в монастырь Льва Толстого за его статьи, на что царь ответил: «Прошу вас Толстого не трогать. Я вовсе не намерен делать из него мученика и тем обратить на себя всеобщее негодование» [9]. Такой же политики по отношению к Толстому придерживался и Николай II.

Но тех, кто распространял запрещенные статьи Толстого против государства и церкви, правительство сажало в тюрьмы и отправляло в ссылку. Толстой очень тяжело переносил то, что за его статьи подвергались преследованию близкие ему люди, в то время как он оставался на свободе. «Мне тяжело быть на воле» [10], — писал он одному из друзей. Не раз писал он заявления министрам и другим правительственным лицам, что он просит обратить против него, как против автора запрещенных статей, все меры преследования. «Тем более, — писал он в 1896 году министру внутренних дел и министру юстиции, — что я вперед заявляю, что буду продолжать до самой смерти делать то дело, которое правительство считает преступлением, а я считаю своей священной перед богом обязанностью» [11]. Но и это заявление Толстого не произвело перемены в отношении к нему правительства.

## II

Я впервые посетил Толстого в Ясной Поляне в 1903 году, а с сентября 1907 года по август 1909 года мне пришлось быть не только свидетелем, но в некоторой степени и помощником в его работе — я был его литературным секретарем.

Льву Николаевичу в это время было уже семьдесят девять лет. Физический труд, который он так любил, — пахота, косьба, как это изображено на превосходных картинах Репина и Пастернака, длинные пешеходные путешествия из Москвы в Ясную Поляну (двести километров) остались уже далеко позади. В эту пору жизни два главных дела сосредоточивали на себе внимание Толстого: писательство и личные и письменные отношения с людьми.

Моя первая беседа с Толстым продолжалась около часа. Лев Николаевич подробно ответил на все мои вопросы, причем манера его беседовать была такова, что, отвечая на заданный ему вопрос, он затрагивал и смежные области, чтобы сделать свою аргументацию еще более убедительной.

Первая встреча с Толстым не только не ослабила во мне того обаяния его личности, под которым я находился, но еще более усилила это чувство. Я увидел в живом облике Толстого еще такие неотразимо привлекавшие к нему черты, каких не было в том отвлеченном представлении, какое я составил себе о нем по его произведениям.

Я уехал от Толстого совершенно очарованный той силой, свободой мысли и спокойствием мудреца, которые я увидел в нем.

Я увидел Толстого совершенно таким, каким он был изображен на многочисленных портретах и фотографиях. Густая, окладистая борода, широкий нос, густые, нависшие над глазами брови, которые, однако, не придавали его лицу выражения строгости, нахмуренный лоб с резко выраженной поперечной морщиной, показывавшей огромную работу мысли на протяжении многих десятилетий; и, наконец, удивительные толстовские глаза, те глаза, которые невозможно забыть, о которых писали все, знавшие Толстого. Глаза эти как бы проникали в душу того, с кем он говорил, и видели самые сокровенные мысли и чувства этого человека; сказать неправду перед этими

глазами было совершенно невозможно. Цвет глаз — светло-синий.

Знаменитый художник И. Е. Репин, знавший Толстого на протяжении тридцати лет, в своих воспоминаниях о нем рассказывает: «Вырубленное задорно топором, его лицо сложено так интересно, что после его, на первый взгляд, грубых, простых черт все другие лица покажутся скучны» [12].

Самой замечательной чертой лица Толстого были его удивительные глаза. Выражение его глаз было чрезвычайно разнообразно. То они глядели спокойно, сосредоточенно, когда он в разговоре излагал какую-нибудь мысль, его поразившую; то принимали скорбное, страдальческое выражение, когда он рассказывал о вопиющей нищете местных крестьян; то загорались негодованием и возмущением, когда он слышал об ужасающих правительственных жестокостях; то озарялись ласковой улыбкой, когда он видел ребенка или своего старого друга, пришедшего его навестить; то выражали восторг и умиление, когда он узнавал о каком-либо поступке деятельной любви и самоотречения. Когда Толстой видел кого-либо в первый раз, он как бы просверливал этого человека своим проницательным взглядом, как бы стараясь прощупать все, что скрыто в его душе хорошего и плохого. Известный русский артист К. С. Станиславский после первой встречи с Толстым рассказывал, что он «чувствовал себя простреленным от взглядов Толстого».

В этом упорном, напряженном взгляде толстовских глаз сказывался также гениальный художник-психолог, в каждом человеке отыскивающий материал для своего творчества.

Когда Толстой в период создания «Войны и мира» лечил в Москве сломанную руку, он в одном из писем писал жене в Ясную Поляну, что он был в Большом театре на опере Россини «Моисей», прибавляя: «Мне было очень приятно и от музыки, и от вида различных господ и дам, которые для меня все типы». Таким художником-экспериментатором, высматривающим различные типы для своего творчества, Толстой оставался до самой смерти.

Одежда Толстого была всегда одинакова — блуза, подпоясанная ремнем; зимой — темная, летом — белая, парусиновая. Эти блузы шили Толстому его жена и деревенская портниха. В одежде Толстой любил опрятность и чистоту, но не щегольство и элегантность.

## III

В 1907—1909 годах, когда я имел счастье жить в Ясной Поляне и помогать великому Толстому в его работах, Лев Николаевич вставал обычно около восьми часов и, умывшись, шел на прогулку. Эта утренняя его прогулка длилась обыкновенно недолго, от получаса до часа. Гулял он почти всегда один, и эти утренние часы уединенного общения с природой служили для него вместе с тем временем, когда он усиленно сосредоточивался в самом себе для того, чтобы в течение всего последующего дня держаться на уровне духовной высоты, как в сношениях со всеми людьми, родными и чужими, с которыми приходилось ему сталкиваться, так и во время его собственной напряженной творческой деятельности. Это напряжение духовных сил и сосредоточение в самом себе он называл «молитвой».

Вернувшись с прогулки, а иногда даже едва выйдя из дома, Лев Николаевич обыкновенно видел вблизи дома несколько бедняков, прохожих, «административно высланных», шествовавших пешком к месту своего назначения или возвращавшихся на родину, отбывших срок, или профессиональных попрошаек, местных или тульских, — и оделял их мелкой монетой. Иногда эти прохожие, «административно ссыльные», рассказывали ему скорбную повесть своей жизни, которая тяжелым камнем ложилась на его сердце.

Проходя через столовую, Лев Николаевич забирал с собой разобранную мною его почту: письма, книги, рукописи, а из газет обыкновенно только ту одну, которую он читал в это время. Сначала при мне такой газетой было «Новое время», затем Лев Николаевич сменил его на «Русь», в которой находил два достоинства: газета эта печатала на верху первой страницы сведения о количестве смертных казней и приговоров за день, а также перечень выдающихся событий за минувший день. Затем летом 1908 года Лев Николаевич стал читать «Слово» и др.

Придя к себе в кабинет, Лев Николаевич садился за кофе и тут же начинал читать письма. У него была манера читать их с конца, а не с начала; он говорил, что обычно в конце пишется самое важное. На конверте каждого письма Толстой делал пометы. Иные он откладывал, имея в виду ответить на них позднее; на других

писал: «Н. Н. ответить», что означало, что он поручил ответить мне; на некоторых надписывал: «Б. О.» (без ответа). Это были такие письма, которые не казались Толстому достаточно серьезными. Иногда Толстой писал на конвертах не только «Б. О.», но прибавлял еще две другие буквы: «Гл», что в общей сложности означало: «Без ответа, глупое».

Прочитав письма, Лев Николаевич нажимал на хвост металлической черепахи, стоявшей на его письменном столе, и раздавался звонок. Я уже знал: это означает, что Лев Николаевич намерен продиктовать мне ответы на письма. Я немедленно приходил с карандашом и бумагой. Лев Николаевич в этих случаях не любил ждать, — не из деспотизма, а потому, что чувствовал потребность быстрее запечатлеть на бумаге те мысли, которые уже сложились в его голове в ответ на прочитанные им письма.

Я садился против Льва Николаевича, ни одним звуком не нарушая течение его мыслей, записывал то, что он говорил. Я знаю стенографию, и Льву Николаевичу не приходилось меня дожидаться, — напротив, иногда я его ждал, так как он диктовал медленно, глубоко обдумывая каждое слово, и не механически, а с соответствующей интонацией, как будто его корреспондент находится здесь, около него, и он лично в беседе с ним дает ответ на его вопросы.

Содержание писем, получавшихся Львом Николаевичем, было чрезвычайно разнообразно. К нему обращались совершенно незнакомые ему люди с разных концов России и из других стран за разрешением самых разнообразных вопросов: философских, религиозных, общественно-политических, литературных, эстетических и других, а также вопросов личной жизни и нравственности. И ни одно письмо, сколько-нибудь серьезное, не оставлялось им без ответа.

Иногда после прогулки, а иногда перед прогулкой, но непременно каждое утро Лев Николаевич прочитывал очередной день из им самим составленных его любимых книг: «Круг чтения» и «На каждый день», содержащих мысли мудрецов всех времен и народов о главнейших вопросах жизни. И, покончив со всеми этими делами, Лев Николаевич принимался за работу.

Во время работы он нуждался в абсолютной тишине: затворял двое дверей, которые вели из его кабинета в

столовую, и чрезвычайно редко выходил из своего кабинета по какому-нибудь делу. За два года жизни моей в Ясной Поляне я почти не помню таких случаев. Никто не входил к нему во время его занятий, за исключением Софьи Андреевны, которая поздно ложилась и поздно вставала и около двенадцати часов, выходя в столовую к кофе, обыкновенно, шурша платьями, заходила к мужу поздороваться.

Метод работы Толстого над своими произведениями известен: он состоял в бесчисленных исправлениях и переработках написанного. Он считал совершенно справедливым изречение Бюффона: «Гений — это терпение». Он понимал это изречение в том смысле, что писатель не должен выпускать из рук свое произведение, пока не вложит в него все, что может.

Мне пришлось быть очевидцем случая исключительной, даже у Толстого, его требовательности к себе в этом отношении. В 1907 году он начал писать предисловие к составленному им сборнику изречений мудрецов «На каждый день»; в этом предисловии он хотел систематически изложить все свое религиозно-нравственное миросозерцание. Над этой работой, которая в печатном виде заняла четыре страницы, Толстой с перерывами работал три года и переделал ее сто пять раз!

Толстой не допускал для себя никаких дней отдыха. Самые большие церковные праздники — рождество, пасху — он проводил так же, как все остальные дни года, — в труде. Не занимался он только тогда, когда чувствовал себя нездоровым; но и в эти дни он утром не выходил из своего кабинета, а читал или обдумывал то, над чем ему предстояло работать.

Эта напряженная утренняя работа продолжалась у Толстого часа четыре, пять — смотря по состоянию здоровья.

Окончив работу, Толстой выходил к завтраку. Стол его был строго вегетарианский; он не ел ни мяса, ни рыбы. Ел Толстой вообще очень немного. Завтрак его состоял обыкновенно из одного яйца всмятку, которое он распускал в небольшом стаканчике, куда крошил несколько кусочков белого хлеба; потом съедал небольшую порцию гречневой каши.

Не раз приходилось мне наблюдать Льва Николаевича во время его завтрака. Я замечал на его лице следы еще не закончившейся творческой деятельности. Он ел,

быстро пережевывая пищу, казалось, совершенно равнодушный к тому, что ему приходилось отправлять в рот, а глаза были устремлены куда-то вдаль, как будто он всматривался во что-то, что он один только видел и чего никто другой не видал.

Во время завтрака Толстого уже дожидались посетители, приезжавшие с разных концов страны, чтобы побеседовать с ним по волновавшим их вопросам или получить от него моральную поддержку. Бывали среди них и такие, которые откровенно объявляли, что цель их приезда — только посмотреть на Толстого. В таких случаях он добродушно говаривал:

— Смотрите: у меня обыкновенное лицо, два глаза и посередине нос...

Часто приходили к Толстому и местные крестьяне посоветоваться о своих нуждах. Железная дорога или шахта не платит рабочему за увечье, земский начальник вынес несправедливый приговор, соседний помещик не отдает крестьянам в аренду землю, которая им до зарезу нужна, — со всем этим люди шли к Толстому, зная, что он всегда их внимательно выслушает и даст разумный совет. При этом происходили иногда комические сцены.

Надо сказать, что при жизни Толстого яснополянские крестьяне мало читали его, но они все-таки знали, что вот тут, около них, живет такой знаменитый писатель, к которому приезжают люди изо всех стран. Часто они и сами привозили посетителей со станции в Ясную Поляну. Но крестьяне более далеких деревень даже и этого не знали, а знали только то, что в Ясной Поляне живет такой добрый и умный «грах», с которым можно посоветоваться по всякому делу.

Однажды произошла такая сцена. Крестьяне одной из дальних деревень, нуждавшиеся в совете Толстого, снарядили к нему депутацию из трех самых почтенных и старых мужиков своего общества. Перед отправкой в путь староста дал ходокам совет: «Вы вот что, мужики, не забудьте, что перед вами граф, вы так с ним и обходитесь, а то он с вами и разговаривать не станет. Как только он войдет, вы сейчас же — в ноги». Ходоки запомнили это наставление.

И вот, после своего завтрака, выйдя наружу (дело было летом), Толстой увидел невдалеке группу крестьян. Не успел он еще своей быстрой походкой подойти к ним,

как все трое — бух ему в ноги. А Лев Николаевич терпеть не мог раболепства. Подходит к ним и говорит:

— Ну, встаньте, расскажите, какое у вас дело.

Мужики продолжают стоять на коленях. Лев Николаевич начинает уже волноваться, ему неприятен вид такого унижения. Он говорит:

— Ну, встаньте, для чего вы так унижаетесь? Я такой же человек.

Мужики все так же стоят на коленях. Тогда Лев Николаевич, не долго думая, сам становится перед ними на колени. И так, в глубоком молчании, они стоят друг против друга минуты две. Наконец, Лев Николаевич обращается к самому старому из мужиков и спрашивает:

— Можно мне встать?

Мужик конфузливо отвечает:

— Мы вас не становили, ваше сиятельство.

— Ну, и я вас не становил, — говорит Лев Николаевич. — Давайте вместе встанем и будем разговаривать как люди.

## IV

Позавтракав и поговорив с посетителями, Лев Николаевич отправлялся пешком или верхом на прогулку. Беспокоясь о его здоровье, Софья Андреевна часто спрашивала его, куда он поедет. Вопрос этот сначала вызывал в нем недовольство, так как он сам не мог определить вперед, куда именно он поедет: это зависело от погоды, направления ветра и просто от его желания. Но потом, преодолевая себя и всегда стараясь сделать приятное другому человеку, он стал вперед говорить, куда именно он поедет. Кончилось же тем, что Льва Николаевича в его прогулках стал сопровождать кто-либо из домашних, ехавших за ним в некотором отдалении. Лев Николаевич не любил, когда такими провожатыми были кучера, как вообще он не любил пользоваться услугами слуг; но когда мне приходилось сопровождать его, он принимал это очень охотно, так как видел, что я нисколько не тягощусь этой ролью. Я ехал сзади него шагах в сорока — пятидесяти и, зная, как дорожит он этими часами уединенной прогулки, чтобы обдумывать свои произведения, никогда не заговаривал с ним. Очень редко и он заговаривал со мною, зная, что я не тягощусь молчанием.

Ездил он обыкновенно по ближним лесам, носящим историческое название «Засека» (в давние времена жите-

ли, предполагая нападение неприятелей, «засекали» лес и сваливали его в огромные завалы, чтобы остановить нашествие врага). В то время леса, окружающие Ясную Поляну, принадлежали лесному ведомству, которое запрещало не только рубить лес, но даже собирать ветки, и леса носили почти девственный характер. В густой чаще столетние деревья сплетались своими вершинами; на полянах вырастала трава выше человеческого роста; под ногами непрерывно попадались стволы огромных упавших деревьев. В эту-то чащу и пробирался Толстой для своих прогулок.

«Засека» играла большую роль в творчестве Толстого, который большую часть своей жизни провел в Ясной Поляне. (Еще будучи мальчиком, он один-единственный раз в своей жизни провел лето в Москве; во всю остальную свою жизнь он ни разу не проводил лето в городе.) В первый период своей жизни Лев Николаевич часто по целым дням блуждал по «Засеке» с ружьем и собакой, и во время этого блуждания рои самых разнообразных замыслов и художественных образов кружились в его голове. В последний период жизни, уже без собаки и ружья, а на своем любимом Делире или просто пешком исхаживал он «Засеку» по всем направлениям, так же, как и раньше, в общении с природой, обдумывая свои художественные произведения, статьи, письма, отдельные мысли и пр. Иногда, сидя на лошади, он вынимал из кармана записную книжку и, останавливая лошадь, а иногда и на ходу, записывал те мысли и образы, которые внезапно появлялись перед его творческим взором. По возвращении домой он пользовался этими записями для своих работ.

В Толстом было очень сильно чувство жизни и чувство природы. Он любил всякую перемену в природе — наступление осени, зимы и особенно весны, и делился своими впечатлениями и наблюдениями с окружающими. Его радовало разбухание почек на деревьях, наливание ржи; он любил собирать цветы, рвал их даже верхом, нагибаясь с лошади. Принесет букет, полюбуется его красотой и запахом, поставит к себе на письменный стол или в столовую, иногда кому-нибудь подарит.

Во время своих пеших прогулок Толстой часто отправлялся на Тульское шоссе, пролегающее невдалеке от Ясной Поляны. Здесь он встречался с местными крестьянами, ехавшими в Тулу или обратно, с которыми он любил разговаривать. Толстой знал всех крестьян Ясной Поляны

за несколько поколений. Часто, встречая во время своей прогулки какого-нибудь яснополянского ребенка — мальчика или девочку, — он по чертам лица узнавал, из какой он семьи.

Лев Николаевич всячески старался, где можно, помогать крестьянской нужде. Один яснополянский крестьянин рассказывал:

— Зима стояла холодная. Дров совсем не было. Что делать? Вот раз дождался я ночи. Ночь выпала морозная, лунная. Запряг я свою клячонку, перекрестился перед образом святой богородицы, взял топор, задними воротами пробрался в околицу и — в графский лес. Выбрал местечко погуще, остановился и стал прислушиваться. Ничего, везде тихо. Постоял еще так минут с пяток, потом залез на березу и стал сухие ветки срубать. Нарубил хворосту, сложил его в сани, и только взялся за вожжи, слышу сзади меня шорох. Оглянулся, да и остолбенел: передо мной сам барин, граф Лев Николаевич, в валенках, в полушубке старом. Смотрит на меня как-то странно. Стою я, как истукан, и не знаю, что и сказать ему. А он постоял, подошел ко мне, говорит: «Дай сюда топор», — да и давай еще дрова рубить. Живо нарубил, сложил на воз, перевязал веревкой, ударил кнутом по кляче и говорит: «Удирай скорее, пока мой управляющий тебя не увидал».

В другой раз, возвратясь с прогулки по Тульскому шоссе, Лев Николаевич рассказал нам:

— Проезжал мимо мужиков, которые разбивают камни. Какая трудная работа! Встают в четыре, работают до одиннадцати; с одиннадцати до двух — отдых, а затем опять с молотком — от двух и до темноты. Очень трудная работа. Они рассказывали, что спать не могут: руки, ноги болят... Вот папиросы набивать — продолжал с возмущением Толстой,— есть машина, а чтобы камни разбивать,— такой машины нет. А ведь чего проще? Мне кажется, я бы сам мог придумать такую машину: молоток, который ходил бы сверху вниз и разбивал...

Ни непогода, ни легкое нездоровье не удерживали Толстого от утренней прогулки, она отменялась только в случаях серьезного недомогания. Если же Лев Николаевич не выходил из дома по причине нездоровья, он старался наверстать это прогулкой по комнатам. Возвратившись с прогулки, Лев Николаевич, обыкновенно очень усталый, ложился спать на час или полтора.

## V

Обед подавался часов в шесть или в начале седьмого. Лев Николаевич обычно опаздывал к обеду и являлся тогда, когда первое блюдо было уже съедено. Я не замечал, чтобы у него были какие-нибудь излюбленные блюда; никогда я не слышал также от него разговоров о еде. Казалось, он был совершенно равнодушен к тому, что стояло на столе, что ему приходилось отправлять в рот. Никогда не видел я также с его стороны какого-либо нарушения вегетарианского режима. Обед его состоял из супа, мучных или молочных блюд и третьего — сладкого, летом — ягод. Вино к обеду не подавалось; только изредка, когда Толстой чувствовал себя нездоровым, он выпивал небольшую рюмку крепкого вина — мадеры или портвейна. За обедом всегда были интересные разговоры; часто Толстой рассказывал о своих впечатлениях во время прогулки или высказывал свои суждения по тем или другим вопросам.

Умственные интересы Толстого были очень разнообразны; он всегда был очень любознателен. При мне он с большим интересом прослушал лекцию об Индии с диапозитивами, которую прочла для него в Ясной Поляне путешественница А. М. Корсини. Стоило ему на прогулке увидеть большой, не совсем обычной формы муравейник, как, возвратясь с прогулки, он брал энциклопедический словарь и читал в нем статью о муравьях.

Библиотека Ясной Поляны насчитывает около двадцати трех тысяч томов по всем отраслям знания и литературы. Собирать эту библиотеку начали еще дед и отец Толстого. Многие книги снабжены пометами Толстого. Мы найдем здесь много материалов, служивших для Толстого источниками для его знаменитой эпопеи «Война и мир», для неоконченного романа из эпохи Петра I и для повести «Хаджи-Мурат». Следует, однако, сказать, что Толстой не был библиофилом и не берег своих книг, а охотно давал их читать всем желающим. Вследствие этого многие книги, о которых мы определенно знаем, что Толстой их читал с карандашом в руках, в настоящее время уже отсутствуют в библиотеке Ясной Поляны.

Толстой любил читать вслух как свои новые произведения, так и старые и новые произведения других авторов. Про свои произведения он говорил:

— Я люблю читать вслух те свои сочинения, о которых хочу составить себе представление, какое впечатление

они производят на других. Переношусь в слушателей, замечаю, ясно ли им, следят ли они, не скучно ли им.

Толстой всегда приглашал всех критиковать его новые произведения, охотно выслушивал замечания и, если признавал их справедливыми, сейчас же исправлял написанное.

Кроме своих собственных вещей, Толстой охотно читал вслух произведения других авторов, которые ему особенно нравились. Так, он читал вслух «Пиковую даму» и «Метель» Пушкина, «Тамань» Лермонтова, «Поврежденный» Герцена, отрывки из «Записок из Мертвого дома» Достоевского, «Ночную смену» Куприна и др. Но больше всего он любил читать вслух произведения того писателя, которого он считал самым талантливым из молодых авторов того времени, — А. П. Чехова. «Чехов — это Пушкин в прозе», — говорил Толстой.

Литератор П. А. Сергеенко, часто бывавший у Толстых, рассказывал мне, что в январе 1899 года, когда он однажды пришел в московский дом Толстых, Лев Николаевич встретил его вопросом:

— Что нового в литературе?

— Да вот новый рассказ Чехова.

— Что же, хороший рассказ?

— Ничего себе. Да вот этот рассказ со мною, можно прочесть.

И он подал Толстому последний номер журнала «Семья» с новым рассказом Чехова «Душечка».

— Новый рассказ Чехова! — громко сказал Толстой, обращаясь к своим домашним и гостям. — Идите слушать.

И он начал читать рассказ вслух. Едва только прочел он первую страницу, как обратился к Сергеенко с легким упреком:

— Как же это вы сказали «ничего себе»? Это прекрасный, превосходный рассказ.

И Лев Николаевич прочитал рассказ до конца. В комических местах он весело смеялся, а в трогательных — у него на глазах показывались слезы.

Через час к Толстым пришли новые гости. Лев Николаевич и к ним обратился с вопросом:

— Новый рассказ Чехова, — хотите слушать?

И он еще раз прочел рассказ вслух. Через несколько дней после этого старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна, писала Чехову: «Ваш рассказ «Душечка» отец прочел

вслух четыре раза и говорит, что он поумнел после него»[13].

Еще целый ряд других рассказов Чехова Толстой читал вслух, такие, как «Беглец», «Попрыгунья», «Рассказ неизвестного человека», «Злоумышленник» и другие.

— «Злоумышленник» — превосходный рассказ, — говорил Толстой, — я его раз сто читал[14].

Но ни для себя, ни вслух Толстой не мог читать современных ему декадентских поэтов и писателей.

Толстого глубоко печалил тот упадок, который он наблюдал в буржуазном искусстве его времени.

## VI

Вечерами Лев Николаевич уже не работал так напряженно, как днем. Он или, сидя у себя в кабинете, читал, или писал письма, или же участвовал в общих разговорах в столовой, если бывал кто-либо из приезжих родственников или гостей. Совершенно понятно, почему так много людей желало бывать у Толстого: видеть и слышать его — это давало больше, чем только читать его сочинения. Толстой был идеальным собеседником: он умел хорошо слушать. При разговоре он не проявлял неудовольствия в лице, не морщился и не жестикулировал, говорил тихо и бо́льшей частью спокойно, не повышая голоса. Когда Толстому приходилось разговаривать с людьми, которые были ему тяжелы, он старался, преодолевая себя, быть с ними особенно приветливым. Я употреблял все усилия для того, чтобы запомнить его слова и потом записать их. Это было нелегко. Язык Льва Николаевича был очень своеобразный; это не был шаблонный, литературный, газетный или журнальный язык, но это не был и обычный разговорный язык. Лев Николаевич всегда выражал свои мысли кратко, сильно, точно и художественно. Превосходный знаток и большой поклонник русского языка, он прямо страдал, слыша, как в разговорах некоторые его собеседники портили великий русский язык.

Рассказы о том, что́ делалось где-либо в самых отдаленных концах нашей земли, Лев Николаевич всегда слушал с большим интересом; однако всегда относился критически к достоверности всего, что ему рассказывали. Часто на другой день неожиданно для себя находил я в той или другой его статье, посвященной какому-либо современному вопросу, отражение вчерашних разговоров.

Беседа шла всегда совершенно непринужденно; Лев Николаевич не выносил в разговорах ничего искусственного, нарочитого и сам никогда не выступал в роли учителя, сурового моралиста. Мнения свои он высказывал всегда определенно и просто, не стеснялся высказывать свое несогласие с собеседником иногда даже в резких выражениях, если суждения говорившего казались ему чересчур дики. В Ясной Поляне сходились люди самых противоположных взглядов на жизнь — от рабочего-революционера до представителей консервативных кругов. Толстой был со всеми одинаков в обращении, ни для кого не менял своей манеры обхождения и разговора, всякому старался сделать и сказать приятное, но со всем жаром несомненно убежденного человека горячо отстаивал в разговоре с кем бы то ни было то, что он считал истиной, не боясь испортить свои отношения с человеком и не боясь говорить то, что шло совершенно вразрез с общепринятыми мнениями.

Но нельзя сказать, чтобы Лев Николаевич всегда предпочитал или всегда старался вызвать непременно «умные» разговоры. На большинстве его портретов и фотографий на вас глядит суровое, иногда скорбное лицо; но в общении с людьми Лев Николаевич не всегда был таков. Он любил шутки, любил смех, охотно слушал веселые безобидные рассказы и сам смеялся тихим, но заразительным смехом.

## VII

Последние годы своей жизни Лев Николаевич почти безвыездно провел в Ясной Поляне, но он не вел жизнь уединенную, замкнутую, оторванную от всего мира. Он живо интересовался всеми важнейшими событиями русской и заграничной жизни и откликался на них в своих статьях и письмах, в вечерних беседах. В иные вечера в Ясной Поляне бывала музыка — приезжали из Москвы выдающиеся пианисты и скрипачи. Музыка на Толстого оказывала сильнейшее действие и часто вызывала слезы.

Любил Лев Николаевич по вечерам играть и в шахматы. Это занятие давало отдохновение его вечно напряженно работавшей голове.

В десятом часу подавался чай, к которому Лев Николаевич всегда выходил, если в первую часть вечера и не

был в столовой. Расходились обыкновенно около одиннадцати часов, редко позже. Лев Николаевич со всеми прощался, каждому из посторонних подавал руку. Рукопожатие его было особенное, — он как-то задерживал в своей руке руку другого, смотря в то же время ему в глаза с особенным дружелюбным чувством. Ясно было, что он действительно хотел и старался вызвать и усилить в себе искреннее доброжелательное отношение к каждому человеку, с которым сводила его жизнь.

...Известно, что Толстой умер не в Ясной Поляне. За десять дней до кончины он навсегда покинул свой дом, чтобы остаток своей жизни провести где-нибудь в глуши, в простой крестьянской избе. Некоторые упрекали его за то, что он так поздно сделал этот шаг, неизбежно вытекающий из всего его миросозерцания. Эти упреки несправедливы. Не потому Толстой так долго не уходил из Ясной Поляны, что у него не хватало сил порвать с барством и помещичьими условиями жизни, а только потому, что не хотел «нарушить любовь» с близкими. Его жена, Софья Андреевна, совершенно не разделявшая его взглядов, тем не менее любила его; его уход был бы для нее тяжелым горем, которого она, может быть, и не перенесла бы. «Я боюсь переступить через кровь, через труп», — отвечал Толстой на вопрос о том, почему он не уходит из Ясной Поляны, явно намекая этими словами на возможность самоубийства жены в случае его ухода.

И только тогда, когда Толстой убедился, что его уход не будет для жены таким тяжелым горем, как он думал, когда он понял, что крест этот с него снят, только тогда он счел себя вправе осуществить свою давнишнюю мечту — порвать с своим привилегированным положением и поселиться среди трудового крестьянства, которое он считал самым лучшим, самым нравственным классом в России.

В заключение должен сказать, что моя двухлетняя близость к Льву Толстому и продолжающееся уже шестьдесят лет сосредоточенное изучение его жизни и творчества привели меня к убеждению, что Толстой был не только великий художник, но в изобилии был наделен и другими духовными дарами, которые он еще развил в себе до высокой степени путем постоянной работы над собой.

Это был сильный самостоятельный, строго логический мыслитель, который ничего не принимал на веру, а все проверял своим умом. Точно так же Толстой не требовал

от своих читателей слепой веры его словам. «Проверьте то, что я говорю, испытайте, — как бы обращался он к своим читателям, — только тогда вы узнаете, правду ли я говорю».

Это был человек огромной силы чувства, без которой он не мыслил себе никакой художественной работы. Он обладал и необычайной силой воли, ярким проявлением которой послужил последний крупный акт его жизни. В таком возрасте, когда люди обычно ищут одного только покоя, вырваться из привычных условий обеспеченного существования и попытаться начать новую жизнь в совершенно новых, неизведанных условиях — это ли не доказательство громадной силы воли у этого уже физически ослабевшего старца?

Лев Толстой был велик не только как гениальный творец, но и как человек, как личность.

В истории человечества такие люди, как Лев Толстой, появляются только веками.

# ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том входит дневник «Два года с Л. Н. Толстым», очерк «Из Ясной Поляны в Чердынь» и другие воспоминания Н. Н. Гусева, как публиковавшиеся, так и впервые включаемые в этот сборник.

Судя по сохранившимся в архиве Н. Н. Гусева материалам, автор сам готовил свои мемуары к печати, для чего внес в текст дневника и других воспоминаний ряд исправлений и дополнений. Вся эта авторская работа учтена в настоящем издании.

Примечания, принадлежащие Н. Н. Гусеву, даются в тексте под строкой и оговариваются. Нумерация сносок в текстах и примечаниях дана в пределах каждого года или очерка.

Цитаты из сочинений, дневников и писем Л. Н. Толстого сверены и исправлены по его Полному собранию сочинений в 90 томах (Государственное издательство художественной литературы, 1928—1958). Упоминаемые письма разных лиц к Толстому сверены с автографами, хранящимися в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Место их хранения не указывается.

В примечаниях приняты следующие сокращения:

*ГМТ* — Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве.

*Гольденвейзер* I, II — А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, М., 1959; т. II, М., 1923.

*ЛН* — «Литературное наследство».

*ПСС* — Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах. Гослитиздат, М., 1928—1958.

*ЯЗ* — «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Машинопись. Хранится в Отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. Москва.

## ДВА ГОДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Стр. 37)

Дневник Н. Н. Гусева «Два года с Л. Н. Толстым» издавался три раза, а также в извлечениях — в сборнике «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». М., 1960.

а) «Два года с Л. Н. Толстым. Записки бывшего секретаря Л. Н. Толстого Н. Н. Гусева». М., изд-во «Посредник», 1912.

Книга содержит вводный раздел («Мое знакомство с Львом Николаевичем и первые посещения») и записи с 27 сентября 1907 г. по 4 августа 1909 г. В тексте — множество цензурных и автоцензурных сокращений, обозначенных многоточиями. «Мы должны с грустью оговориться, — писал в предисловии к книге ее издатель И. И. Горбунов-Посадов, — что, ввиду современных условий печати, мы принуждены были сами выпустить многие страницы и многие отдельные строки этих записок. Поэтому записки эти являются в настоящем издании пока в неполном и несколько одностороннем виде...» (стр. 2). Часть сокращений была также сделана автором из-за того, что некоторые из упоминаемых в дневнике лиц были в то время еще живы.

б) Н. Н. Гусев. Лев Толстой против государства и церкви. Не напечатанные в России места из записок бывшего секретаря Л. Н. Толстого «Два года с Л. Н. Толстым». Изд. «Свободное слово» В. и А. Чертковых. Берлин. 1913.

В книге содержится (целиком или частично) восемьдесят семь записей, не вошедших по цензурным обстоятельствам в первое издание книги.

в) Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. 1907—1908 год. Изд. Толстовского музея, М., 1928.

В это издание автор включил ряд записей, отсутствовавших в издании 1912 г., восстановил многие цензурные изъятия, расшифровал некоторые имена и внес другие дополнения и исправления. Однако, кроме вводного раздела, озаглавленного «Первые посещения», книга содержит записи лишь за десять месяцев — с 27 сентября 1907 г. по 27 июля 1908 г. По-видимому, Н. Н. Гусев предполагал переиздать свой дневник в двух книгах, но вторая книга не увидела света.

Полный автограф дневника не сохранился. В архиве Н. Н. Гусева имеется множество машинописных копий отдельных частей книги, относящихся к разным периодам его работы над ней. Сохранились также три экземпляра книги, на полях которых рукою Гусева нанесены исправления; расклеены листы первого издания книги с собственноручной правкой автора (записи за

1909 г.). Таким образом, наиболее авторитетными источниками текста для отдельных частей дневника являются следующие издания и архивные материалы:

Для записей с 27 сентября 1907 г. по 27 июля 1908 г. — текст второго издания книги (М., 1928), поскольку в него вошло большее число исправлений, сделанных автором на сохранившемся экземпляре книги первого издания. Этот текст нами дополняется исправлениями, сделанными Н. Н. Гусевым также на авторском экземпляре второго издания.

Для записей с 28 июля по 31 декабря 1908 г. — машинописная копия (на желтой бумаге) с правкой автора. Она содержит все дополнения и исправления к изданию 1912 г., а также более поздние собственноручные вставки Н. Н. Гусева.

Для записей с 1 января по 4 августа 1909 г. — расклеенные листы первого издания, содержащие многочисленные позднейшие авторские исправления. Этот текст нами дополняется рядом дневниковых записей Н. Н. Гусева, которые ранее не публиковались, но приложены им к этим листам, что свидетельствует о намерении автора включить их в новое издание своего дневника. В текст нами вводится также ряд до сих пор не восстановленных записей, изъятых по цензурным и автоцензурным соображениям из первого издания книги (1912) и опубликованных в кн.: Н. Н. Гусев. Лев Толстой против государства и церкви (записи от 9, 25, 27, 28 и 29 мая 1909 г.).

В настоящем издании дневник Н. Н. Гусева печатается с некоторыми сокращениями, обусловленными спецификой серии «Литературные мемуары» (сокращения не оговариваются).

## ПЕРВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

(Стр. 39)

[1] Письма Н. Н. Гусева к Л. Н. Толстому и членам его семьи хранятся в Отделе рукописей *ГМТ*.

[2] *ПСС*, т. 74, с. 174—175.

[3] Имеется в виду книга: P. Eltzbacher. Der Anarchismus. Berlin, 1900, присланная автором Толстому в 1900 г. (Русский перевод: П. Эльцбахер. Сущность анархизма. Перевод под ред. и с предисловием М. Андреева. СПб., 1906.) Девятая глава книги посвящена изложению мировоззрения Толстого.

[4] «Свободное слово» — журнал, издававшийся В. Г. Чертковым в Англии в 1901—1905 гг. Всего вышло восемнадцать номеров. В журнале печатались запрещенные в России сочинения Толстого, а также статьи, пропагандирующие основы его мировоззрения.

[5] См. письмо к И. И. Горбунову-Посадову от 27 сентября 1903 г. (*ПСС,* т. 74, с. 191). Под московскими друзьями Толстой имел в виду Д. В. Никитина, Х. Н. Абрикосова, П. А. Буланже, А. Б. Гольденвейзера, Е. И. Попова и других своих единомышленников.

[6] *ПСС,* т. 74, с. 255.

[7] В первые дни русско-японской войны были царскими властями инспирированы казенно-патриотические манифестации, сопровождавшиеся в Москве и других городах погромами и хулиганскими эксцессами.

[8] Имеются в виду статьи Толстого «Неужели это так надо?» (1900) и «К рабочему народу» (1902).

[9] В письме от 4 февраля 1904 г. к С. А. Толстой В. В. Стасов сообщал об освобождении из тюрьмы его крестницы С. К. Кавериной, арестованной за революционную деятельность. Стасов также писал о своем желании посетить Ясную Поляну.

[10] Письмо от 21 марта 1904 г.

[11] А. Е. Маневич был у Толстого 8 марта 1904 г. Он советовался относительно предстоявшего ему призыва на военную службу.

[12] Н. Н. Гусев просил Толстого прислать ему следующие книги: «Так что же нам делать?» «Соединение, перевод и исследование четырех евангелий», тт. II и III книги Моода «Tolstoy and his problems», книгу Кенворти «Tolstoy, his and works» и несколько номеров какого-нибудь английского журнала. Позднее книги были высланы.

[13] *ПСС,* т. 75, с. 66.

[14] Письмо от 16 июля 1904 г.

[15] *ПСС,* т. 75, с. 147.

[16] «О жизни» — трактат Толстого, в котором изложены основы его мировоззрения. Написан в 1886—1887 гг. Гусев имеет в виду следующее место: «Умирает человек только тогда, когда это необходимо для его блага, точно так же, как растет, мужает человек только тогда, когда ему это нужно для его блага» (*ПСС,* т. 26, с. 421).

[17] Н. Н. Гусев. Рассказы об инквизиции. М., изд-во «Посредник», 1905.

[18] «Посредник» — книжное издательство, основанное по инициативе Толстого его единомышленниками в 1884 г. Выпускало в свет сочинения Толстого, а также дешевые книжки для народа. Существовало до 1935 г.

[19] При первой публикации романа «Воскресение» в журнале «Нива» (1899—1900) цензурой были изъяты главы 39-я и 40-я, содержащие критическое описание богослужения в тюремной

церкви. Эти главы распространялись в рукописных и гектографированных списках. Упоминаемое Гусевым гектографированное издание сохранилось в библиотеке *ГМТ*.

[20] «Круг чтения» — сборники коротких рассказов, легенд, афоризмов и изречений мыслителей и писателей разных народов (в том числе и Л. Н. Толстого) социально-нравственного содержания. См. *ПСС*, тт. 41 и 42. Первый из составленных Толстым сборников изречений носил заглавие «Мысли мудрых людей на каждый день» (1903). В переработанном и расширенном виде «Круг чтения» вышел в свет в двух томах в 1906 г. под заглавием «На каждый день» (*ПСС*, тт. 43—44). В 1910 г. Толстой снова переработал свои сборники изречений. Новое издание под заглавием «Путь жизни» вышло в свет в 1911 г. (*ПСС*, т. 45).

[21] В «Круг чтения» Толстой включил ряд изречений Сократа, а также рассказы «Суд над Сократом и его защита» и «Смерть Сократа», составленные им на основе сочинений Платона: «Апология Сократа» и «Федон» (*ПСС*, тт. 41—42). Толстой также переработал и дополнил книжку А. М. Калмыковой «Греческий учитель Сократа» (изд-во «Посредник», М., 1886).

[22] По признанию Толстого, Жан-Жак Руссо оказал на него в юности большое влияние. Толстой неоднократно перечитывал его сочинения. В «Круг чтения» он включил рассказ «Откровение и разум», являющийся выдержкой из трактата Руссо «Эмиль, или О воспитании», а также ряд изречений Руссо (*ПСС*, тт. 41—42).

[23] В 1903 г. Толстой выпустил в свет «Избранные мысли Канта» (изд-во «Посредник»). В «Круг чтения» и другие свои сборники Толстой включил ряд изречений Канта в своем переводе (*ПСС*, тт. 41—45).

[24] Толстой высоко ценил книгу Амиеля «Journal intime» («Дневник»); из нее он почерпнул ряд изречений для своего «Круга чтения» и других сборников (*ПСС*, тт. 41—45). По предложению Толстого его дочь Мария Львовна перевела избранные места из книги Амиеля на русский язык. См.: «Из дневника Амиеля». Изд-во «Посредник», СПб., 1901. Толстой снабдил эту книгу своим предисловием (*ПСС*, т. 29).

[25] Толстой познакомился с писателем-народником А. И. Эртелем в 1885 г. Тогда же он сказал о нем: «Это несомненно талантливый человек, живой» (Дневник В. Ф. Лазурского. — *ЛН*, № 37-38, с. 465). Позднее Толстой многократно высказывал свое восхищение творчеством Эртеля, особенно его романом «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги», к которому он после смерти Эртеля написал предисловие (*ПСС*, т. 37). Эртель находился в переписке с Толстым и многократно встречался с ним.

[26] Федор Емельянович Поступаев, крестьянин Саратовской губернии, поэт-самоучка. Подвергался преследованиям за революционную деятельность. Его стихи пользовались популярностью среди революционной молодежи. В изд-ве «Посредник» (1906) вышла книга его стихов «У земли и у котла».

[27] «Конец века» — статья, посвященная поражению русского царизма в русско-японской войне и начавшейся первой русской революции (*ПСС*, т. 36).

[28] Замысел не был осуществлен.

[29] Сын Толстого — Илья Львович Толстой в 1905 г. служил в Калужской земской управе, состоял гласным губернского земства.

[30] Семнадцатого октября 1905 г. царское правительство, в страхе перед восставшим народом, опубликовало «высочайший» манифест, согласно которому населению были «дарованы» некоторые демократические «свободы». В годы реакции они были отменены или урезаны.

[31] Разговор о Брюсове происходил 23 ноября 1905 г. Толстой и раньше интересовался поэзией Брюсова, хотя не одобрял его ранних декадентских стихов. В воспоминаниях Ф. Е. Поступаева, посвященных описываемому разговору, отзывы Толстого о прочитанных стихотворениях Брюсова «Скука жизни» и «Каменщик» изложены так: «Первое, глубокое по мысли и настроению, можно уверенно считать поэтическим, а второе — надуманное, и думаю, что прозой гораздо лучше можно выразить ту мысль каменщика, которая выражена стихами» (Ф. Е. Поступаев. У Л. Н. Толстого. — «Лев Николаевич Толстой». Юбилейный сборник. М. — Л., 1928, с. 240).

[32] Имение Телятинки было куплено С. А. Толстой для дочери Александры Львовны на деньги, доставшиеся на долю последней при разделе имущества Толстого среди членов его семьи в 1891 г. Позднее А. Л. Толстая продала часть имения В. Г. Черткову, и он построил здесь для себя дом. См. запись от 2 июля 1908 г.

[33] Статья «Как освободиться рабочему народу?» (*ПСС*, т. 90) была написана в конце марта — начале апреля 1905 г. в ответ на письмо крестьянина села Семеновского Тверской губернии М. Д. Суворова от 17 марта 1905 г., писавшего Толстому: «Скажи, великий патриарх, долго ль многонаселенные серые сермяги тащить будут перекувыркнутую телегу? Двадцатый век идет, и время тяжкое настало, льется кровь и пот обездоленных, обессиленных». Толстой так охарактеризовал свою статью: «Это мое исповедание веры, которое я выразил самым доступным образом» (*ЯЗ*, 13 июля 1907 г.). Статья «Как освободиться рабочему народу?» была впер-

ные опубликовапа в № 13 «Листков для народа» (изд. «Свободное слово», Лондон) в 1905 г. В России статья была напечатана в изд-ве «Обновление», СПб., 1906. Издание было конфисковано.

## 1907 ГОД

(Стр. 52)

[1] И. Е. Репин и его жена Н. Б. Нордман-Северова гостили в Ясной Поляне с 21 по 29 сентября. В этот свой приезд Репин писал портрет Толстого, сидящего за столом вместе с Софьей Андреевной.

И. Е. Репин познакомился с Толстым в 1880 г. Находился с ним в переписке (см.: «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей». М. — Л., «Искусство», 1949). Многократно бывал в Ясной Поляне. Создал ряд живописных и графических портретов Толстого и членов его семьи, а также иллюстрации к его произведениям. Репин — автор воспоминаний о Толстом (см.: И. Е. Репин. Далекое — близкое. М., 1960). Об упоминаемом посещении Репиным Ясной Поляны см.: Н. Б. Нордман-Северова. Интимные страницы. СПб., 1910, с. 79—96.

[2] По какому изданию Толстой читал Куприна, не установлено. В Яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Куприна: «Рассказы», т. 3. Изд-во «Мир божий». СПб., 1907; «Рассказы», т. 4. «Московское книгоизд-во», 1908. По воспоминаниям Маковицкого. Толстой читал рассказ «Ночная смена» «с большим удовольствием, много смеялся, а за ним и другие, особенно Илья Ефимович». *(ЯЗ,* 26 сентября). О рассказе «Allez!» Толстой сказал: «Как все у него сжато. И прекрасно. И как он не забывает, что и мостовая блестела и все подробности. А главное, как это наглядно сдернута вся фальшивая позолота цивилизации и ложного христианства» (П. А. Сергеенко. Записи. — В кн. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1960, с. 129).

Толстой познакомился с А. И. Куприным в 1902 г. в Крыму. Он с интересом следил за его творчеством, одобрил повесть «Поединок», рассказ «В цирке» и другие произведения. В 1910 г., перечитывая его рассказы, Толстой записал в дневнике: «Читал Куприна. Очень талантлив» (*ПСС,* т. 58, с. 66).

[3] Об отношении Толстого к А. М. Горькому см. во вступительной статье.

[4] Толстой проявлял к творчеству Леонида Андреева большой интерес и положительно оценивал некоторые ранние его рассказы: «Жили-были», «Молчание», «Валя», «На реке» и др. Вместе

с тем он критиковал Андреева за пессимизм, пристрастие к описаниям болезненной психики и небрежность языка. В яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Л. Андреева с дарственными надписями: «Анатэма» (изд-во «Шиповник», СПб., б. г.); «Баргамот и Гараська» («Библиотечка-Копейка», М., 1910); «Красный смех» (машинопись); «Рассказы» (изд. т-ва «Знание», СПб., т. 1, 1902); «Царь-Голод» (изд-во «Шиповник», СПб., 1908).

[5] Резко обличительная статья «Не убий никого» была написана Толстым в июле — августе 1907 г. в связи с арестом редактора издательства «Обновление» Н. Е. Фельтена, издавшего в 1906 г. в полном виде статью Толстого «Не убий». 6—8 сентября 1907 г. статья «Не убий никого» была в небольших извлечениях напечатана в газетах «Слово», «Речь», «Русские ведомости» и др., за что редакции были оштрафованы. Статью «Не убий никого» см. в *ПСС*, т. 37.

[6] Имеется в виду статья Г. В. Плеханова «Симптоматическая ошибка», первая часть которой была опубликована в газете «Товарищ», 1907, 25 сентября, № 378. (Окончание статьи появилось там же 8 октября 1907 г.) Г. В. Плеханов резко критиковал Толстого за то, что реакционные элементы поставлены им «на одну доску с участниками освободительного движения, и вся наша освободительная борьба — тяжелая, роковая борьба — объявляется плодом „эгоистических, животных побуждений"» (Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, с. 647).

[7] *ПСС*, т. 77, с. 198—199.

[8] Сергей Львович Толстой — сын Л. Н. Толстого.

[9] Письмо от группы рабочих кожевенного завода в Кунгуре от 30 сентября 1907 г. Духоборы — секта в России, отрицавшая обрядность православной церкви и ее догматы. Духоборы отказывались подчиняться властям и нести военную службу, за что жестоко преследовались царским правительством. В 1898 г., при содействии Толстого, около восьми тысяч крестьян-духоборов переселилось в Канаду.

[10] Пятого сентября 1907 г. тульский губернатор, по жалобе Софьи Андреевны и Андрея Львовича Толстых, прислал в Ясную Поляну стражников, учинивших обыск у яснополянских крестьян, заподозренных в воровстве капусты. Четверо крестьян было арестовано. В усадьбу Ясная Поляна были откомандированы в качестве постоянной охраны три стражника. В связи с этим происшествием Толстой 7 сентября 1907 г. записал в дневнике: «Последние два-три дня тяжелое душевное состояние, которое до нынешнего дня не мог побороть, оттого что стреляли ночью воры капусты, и Соня жаловалась, и явились власти и захватили четырех крестьян, и ко мне ходят просить бабы и отцы. Они не

могут допустить того, чтобы я — особенно, живя здесь—не был бы хозяин, и потому всё приписывают мне... Последние два дня я не мог преодолеть дурного чувства» (*ПСС*, т. 56, с. 56—57).

[11] Н. Н. Гусев ответил на письмо Э. Степонайтиса (Ковно) от 8 октября 1907 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 77, с. 311). Философ-идеалист и публицист В. С. Соловьев познакомился с Толстым в мае 1875 г. Первоначально Толстой отнесся к нему с большим интересом. «Мое знакомство с философом Соловьевым, — писал он 25 августа 1875 г. Н. Н. Страхову, — очень много дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи...» (*ПСС*, т. 62, с. 197). Вскоре, однако, между ними выявились глубокие разногласия по религиозным и философским вопросам. Толстой резко критиковал абстрактно-мистические сочинения Соловьева (см.: «Переписка Л. Н. Толстого с В. С. Соловьевым». — *ЛН*, т. 37-38, с. 268—276).

[12] Сын Т. А. Кузминской — Василий Александрович Кузминский — погиб во время русско-японской войны на крейсере «Нахимов» в бою под Цусимой 14 мая 1905 г.

[13] Ответ на письмо М. Я. Петрова (слобода Прогорелая Богучарского уезда Воронежской губернии) от 22 сентября 1907 г.

[14] Ответ на письмо К. А. Мартьянова от 1 октября 1907 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 77, с. 312).

[15] Е. Лозинский. Что такое, наконец, интеллигенция? (СПб., 1906). Автор критикует интеллигенцию с анархических позиций. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке. Отзыв Толстого о книге см. в записи от 6 февраля 1909 г. и прим. 18 к ней.

[16] Этот инцидент имел место в октябре 1907 г. в Туле на выборах гласных в губернскую управу. Дуэль не состоялась.

[17] Голицын С. Н. — владелец большого имения в Орловской губернии. В октябре 1907 г. была попытка вооруженного нападения на его имение. В ней подозревали эсеровских «экспроприаторов».

[18] Подобные угрожающие телеграммы и письма Толстой получал неоднократно. Их анонимными авторами, вероятно, были злобные черносотенцы и полицейские агенты. Однако запугать Толстого им не удавалось. По поводу телеграммы «Гончарова» М. С. Сухотин записал в дневнике: «Очевидно, какую-нибудь пакость хотят сделать Льву Николаевичу. И вот все эти дни семья в волнении... Но Лев Николаевич совсем не трусит и все так же спокойно и без всяких предосторожностей выходит к тем, которые его хотят видеть» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 197).

[19] Имеются в виду нашумевшее «Слово» церковного мракобеса Иоанна Кронштадтского («Московские ведомости», 1901,

5 декабря, № 335) и другие его злобные статьи и проповеди, в которых он обосновывал отлучение Толстого от церкви и призывал к расправе с ним.

[20] «The crime of crimes», bu Clar Olds Keeler, London, 1906 (К. О. Келлер. Преступление преступлений. Лондон, 1906). Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[21] Имеются в виду экспроприации, которые в эти годы совершали эсеры и монархисты, нападая на банки, почтовые конторы и частных лиц с целью изъятия денег на партийные нужды. Иногда под видом экспроприаторов действовали уголовные элементы.

[22] «Единое на потребу» — острообличительная статья (1905), направленная против русского царизма (см. *ПСС*, т. 36). По совету В. Г. Черткова, Толстой для русского издания заменил бранные выражения по адресу царей на более мягкие. (Впоследствии Толстой сожалел, что согласился на эту замену.) Некоторые выражения были в русском издании совсем опущены. Так, например, после общей резкой характеристики русских царей, начиная с Ивана Грозного и до Александра II, были опущены следующие строки о последних царях: «Потом совсем глупый, грубый и невежественный Александр III. Попал нынче по наследству малоумный гусарский офицер, и он устраивает со своими клевретами свой маньчжуро-корейский проект, стóящий сотни тысяч жизней и миллиарды рублей». Отсутствовала и такая характеристика Николая II: «Это — самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещенный человек» (*ПСС*, т. 36, с. 168—169).

[23] *ПСС*, т. 77, с. 229—230.

[24] Дмитрий Адамович Олсуфьев, в 1906—1907 гг. — член Государственного совета. Толстой неоднократно прибегал к его содействию, ходатайствуя об облегчении участи лиц, преследуемых царскими властями.

В письме к Д. А. Олсуфьеву от 8 ноября 1907 г. Толстой писал: «Событие это и посещение мое Гусева вызвало во мне целый ряд очень волнующих меня и кажущихся мне очень важными мыслей, которые, если бог велит, собираюсь высказать. Покамест же очень прошу вас попросить Столыпина велеть прекратить это дело и выпустить его» (*ПСС*, т. 77, с. 239).

[25] *ПСС*, т. 77, с. 237. Ответное письмо Д. А. Олсуфьева см. в записи от 28 января 1908 г.

[26] А. П. Арапова. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская («Иллюстрированное приложение к газете «Новое время», 1908, 9 января, № 11432). Сведения, сообщенные Араповой, искажали

облик Пушкина. В связи с чтением очерка Араповой Толстой вспомнил слышанный им в ранней юности, в Казани, рассказ родственника гр. Воронцова — К. Дмитриева о высокой нравственности Пушкина. По словам Дмитриева, Пушкин «был робкий в обществе... Он развертывался только в кругу своих» (*ЯЗ*, 21 декабря). См запись от 24 февраля 1908 г. и прим. 65 к нему.

[27] Жан Лабрюйер — французский писатель-моралист. В 1907 г. Толстой редактировал переводы его избранных мыслей и снабдил их предисловием (см. *ПСС*, т. 40). Приводимое изречение гласит: «Есть вещи, посредственность в которых невыносима: музыка, живопись, ораторская речь» («Избранные мысли Лабрюйера», перевод с французского Г. А. Русанова и Л. Н. Толстого. Изд-во «Посредник», М., 1908, с. 186).

[28] В. П. Свентицкий. Антихрист. М., 1907. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[29] Владимир Александрович Шейерман, сын врача, помещик Екатеринославской губернии. В октябре 1905 г. под влиянием идей Толстого отказался от собственности, передал землю крестьянам. Преследовался царскими властями. В 1907 г. организовал под Екатеринославом трудовую крестьянскую коммуну.

[30] Евгения де Турже-Туржановская, малоизвестный автор рассказов и повестей, проповедующих «свободную любовь».

[31] «О половом вопросе. Мысли гр. Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым». Изд. «Свободное слово», Лондон, 1901. (Второе изд. — «Всемирный вестник», СПб., 1906).

[32] Ответ на письмо И. А. Самсонова (Омск) от 16 декабря 1907 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 77, с. 321). В 1908 г. Самсонов приезжал в Ясную Поляну.

[33] Генри Джордж — американский буржуазный экономист, социолог и публицист, автор книг «Общественные задачи», «Прогресс и бедность» и др. Основной причиной народной бедности он считал земельную ренту. Выступал за национализацию земли государством (без ликвидации частного землевладения) и введение «единого» налога на земельную собственность. В Яснополянской библиотеке сохранилось девять книг Г. Джорджа с многочисленными пометами Толстого.

[34] *ПСС*, т. 77, с. 161. Приглашения от Столыпина не последовало.

[35] В письме к П. А. Столыпину В. А. Молочников писал: «Стремиться вам нужно не к победе над революционерами, а к победе сердца народного. Чему быть, того не миновать. Что должно совершиться — совершится. При злой, неразумной воле вы, с риском для себя, можете на очень короткое время задержать процесс событий; но при добром желании пойти навстречу народным

нуждам существующее правительство могло бы сделать много хорошего.

Петр Аркадьевич! Сделайте над собой усилие и проснитесь... Раньше всего вам нужно остановиться на некоторое время и одуматься. Потом вам нужно съездить к Толстому, пока он жив, и посоветоваться, с чего начать и что делать» (цит. по *ПСС*, т. 56, с. 471—472).

В. А. Молочников советовал Столыпину уговорить царя осуществить земельную реформу по теории Генри Джорджа.

## 1908 ГОД

(Стр. 75)

[1] Андрей Львович Толстой — сын Л. Н. Толстого.

[2] Письмо от группы рабочих фабрики Хлудова в г. Ярцеве Смоленской губернии. В ответном письме от 30 декабря 1907 г. Толстой выразил удовлетворение тем, что рабочих занимают «самые важные вопросы на свете, а именно, как жить», и порекомендовал им ряд своих сочинений, содержащих изложение его мировоззрения (*ПСС*, т. 77, с. 276).

[3] Д. Е. Троицкий, тульский тюремный священник. По тайному заданию церковных властей он неоднократно приезжал в Ясную Поляну, чтобы уговорить Толстого вернуться в «лоно» церкви, но успеха не имел.

[4] В связи со слухами о тяжелой болезни Толстого, святейший синод 31 марта 1900 г. разослал конфиденциальное распоряжение «о воспрещении поминовения, панихид и заупокойной литургии по графе Льве Толстом в случае его смерти без покаяния» (см. «Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, с. 158). По этому поводу С. А. Толстая в открытом письме к митрополиту Антонию, опубликованном ею 26 февраля 1901 г. в связи с отлучением Толстого от церкви, писала: «Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною, от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича, в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? — умершего, не чувствующего уже ничего человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему?» («Прибавления» к «Церковным ведомостям», 1901, № 12). Церковный запрет сохранялся до самой кончины Толстого.

[5] «Христианское учение» — трактат, в котором изложены основы религиозно-нравственного учения Толстого. Написан в 1894—1896 гг. Впервые опубликован В. Г. Чертковым на русском и английском языке в Лондоне в 1898 г. (см. *ПСС*, т. 39).

[6] Клеветническое измышление. Поводом для него послужил эпизод с вызовом стражников (см. запись от 7 октября 1907 г. и прим. 10 к ней).

[7] По поручению Толстого авторам письма была отправлена посылка с книгами. В письме от 11 мая 1908 г. молодые крестьяне благодарили за присланные книги и сообщили: «Полиция стала преследовать нас, и нам пришлось их спрятать месяца на два, и теперь только пришлось их обнаружить и рассмотреть».

[8] Письмо от А. И. Хайнова (Москва) от 13 декабря 1907 г. На конверте помета Толстого: «хорошее».

[9] Э. Р. Стамо — бессарабская помещица, автор реакционных статей и брошюр. 22 июля 1907 г., в связи с ее приездом в Ясную Поляну, Толстой отметил в записной книжке: «Утром госпожа из Бессарабии, распространительница моих писаний. Странно. Невероятно» (*ПСС,* т. 56, с. 204). При письме от 9 января 1908 г. Стамо прислала переписанную ею из газеты «Одесские новости» от 6 декабря 1907 г. статью И. Тенеромо (И. Б. Файнермана) «Л. Н. Толстой о юдофобстве» и запрашивала, принадлежат ли Толстому приведенные в статье слова. В ответном письме Толстой писал: «Вероятно, я говорил Файнерману (Тенеромо) о том, что нехорошо не любить евреев, все же, что он написал, он написал от себя» (*ПСС*, т. 78, с. 16).

[10] *ПСС,* т. 78, с. 15—16.

[11] В ответном письме от 12 января 1908 г. Толстой утешал родителей А. И. Кудрина, с которым познакомился, живя в Самарской губернии (самарское имение Толстого находилось около с. Патровки, где жила семья Кудриных) (*ПСС,* т. 78, с. 14). Вместе с письмом Толстой послал им несколько книг.

[12] Альманах «Шиповник», 1907, кн. 3.

[13] Мария Александровна Мойсеенко, рожд. Беневская, член партии эсеров, отбывала в 1906 г. каторжные работы в Забайкальской области за изготовление и хранение взрывчатых веществ. Текст письма М. А. Беневской к брату неизвестен. Д. П. Маковицкий изложил его так: «Беневская писала брату в первой части своего длинного письма о своих религиозных исканиях, в которых она близка ко взглядам Льва Николаевича, а во второй части о том, что она читала у Роберта Оуэна, Маркса и чему она от них научилась. Первой частью Лев Николаевич был растроган до слез. Он сказал: «Написать ей — это мне очень трогательно и привлекательно» (*ЯЗ*, 17 января 1908 г.).

В обширном письме к М. А. Беневской от 17 января 1908 г. Толстой выражал полное согласие с первой частью ее письма и оспаривал ее взгляды на пути социального переустройства общества (*ПСС*, т. 78, с. 23—27).

[14] Ответ на письмо В. Н. Груздева (ст. Колыон Томской губернии от 1 января 1908 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 315).

[15] Раздел «Усилие» (см. *ПСС*, т. 45). Упоминаемое изречение английского моралиста Г. Джемса в «Круг чтения» не вошло.

[16] И. Ф. Наживин. В долине скорби. СПб., 1907. Толстой познакомился с писателем И. Ф. Наживиным в 1901 г. и находился с ним в переписке. Наживин многократно бывал в Ясной Поляне. О книге «В долине скорби» Толстой сказал, что у Наживина «нет этого великого свойства истинного художника: чувства меры. Он преувеличивает, утрирует» (*ЯЗ*, 17 января 1908 г.).

[17] Посетивший Ясную Поляну 7 мая 1907 г. корреспондент «Нью-Йорк таймс» Стивен Бонсал передал Толстому предложение американского изобретателя Томаса Эдисона прислать ему в дар только что изготовленный аппарат звукозаписи — фонограф. Толстой согласился. 4 января 1908 г. фонограф доставили в Ясную Поляну. Благодарственное письмо Толстого к Эдисону см.: *ЛН*., т. 69, кн. 1, М., 1961, с. 557—558.

[18] См. запись от 22 октября — 20 декабря 1907 г. и прим. 24 к ней.

[19] См. запись от 16 октября 1907 г. Л. Н. Толстой составил для Лисицына прошение «на высочайшее имя» об отмене вынесенного ему приговора и через А. М. Кузминского и Д. А. Олсуфьева направил его П. А. Столыпину для передачи Николаю II. Прошение было оставлено без последствий. Сведений о дальнейшей судьбе Лисицына не имеется.

[20] Семнадцатого ноября 1907 г. при обсуждении в Государственной думе декларации, с которой выступил председатель совета министров П. А. Столыпин, лидер кадетской партии Ф. И. Родичев назвал свирепствующий в стране правительственный террор политикой «столыпинских галстуков» (намек на многочисленные смертные казни через повешение). Это «оскорбление» вызвало большой резонанс в печати.

[21] Письмо П. А. Столыпина к тульскому губернатору неизвестно. В Тульском областном архиве сохранилось письмо департамента полиции, адресованное тульскому губернатору от ноября — декабря 1908 г. из Петербурга, в котором признается, что предосудительные надписи на брошюре «Единое на потребу» «Гусев учинил без намерения совершить преступления», а распространение этой допущенной к изданию брошюры «не заключает в себе уголовно-наказуемого «возбуждения» к ниспровержению существующего строя». И поэтому, говорится в письме, если против Гусева нет других, более серьезных обвинений, следует «войти в соглашение

с прокурором суда для направления дела на прекращение» («Яснополянский сборник», год 1962-й, Тула, 1962, с. 180—182).

[22] Н. Н. Гусев был освобожден из тюрьмы лишь через месяц — 20 декабря 1907 г.

[23] Толстой посетил орловскую тюрьму 27 сентября 1898 г.

[24] Либеральный священник и публицист Г. С. Петров, автор ряда статей и брошюр, направленных против казенной церкви, посетил Толстого 24—26 февраля 1908 г. Толстой нашел его взгляды туманными, половинчатыми. Брошюра Петрова «Письмо митрополиту Антонию» (СПб., 1908) сохранилась в Яснополянской библиотеке. О Петрове см. записи от 7 февраля и 15 марта 1908 г.

[25] Реакционный журналист А. А. Столыпин, брат министра П. А. Столыпина, помещал в 1907—1908 гг. в газете «Новое время» фельетоны, в которых вышучивал, как якобы надуманные, многие важные и острые проблемы русской действительности. По этому поводу Толстой язвительно отметил в записной книжке от декабря 1907 г. «Столыпин А. кормится» (*ПСС*, т. 56, с. 278). Об отношении Толстого к статьям А. Столыпина см. запись от 21 декабря 1908 г. и прим. 260, 261 к ней.

[26] Группа молодых людей, принадлежавших к партии эсеров, совершили в июле 1907 г. нападение на Ясенковское почтовое отделение Тульской губернии и изъяли незначительную сумму денег. В феврале 1908 г. они были приговорены тульским губернским судом к разным срокам тюремного заключения.

[27] В послесловии к рассказу А. П. Чехова «Душечка» (1905) Толстой утверждал, что, следуя общепринятым представлениям, Чехов хотел высмеять свою героиню, а вместо этого возвысил ее. «Он, как Валаам, намеревался проклясть, но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил» (*ПСС*, т. 41, с. 377).

[28] Сообщение о тринадцати смертных приговорах в Варшаве было опубликовано в газете «Русь», 1908, 30 января, № 29. Приговор был вынесен членам революционной организации «Сговор рабочих».

[29] См. запись от 14 января 1908 г. и прим. 13 к ней.

[30] Толстой напечатал в «Современнике» почти все свои ранние произведения, но с 1858 г., не разделяя революционно-демократического направления журнала, отошел от него.

[31] Об отношении Толстого к Чернышевскому см. вступительную статью.

[32] См.: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 328—330.

[33] Об отношении Толстого к творчеству Некрасова см. вступительную статью.

[34] Толстой познакомился с Н. К. Михайловским в Москве в 1881 г. До этого, в 1874 г., он переписывался с ним в связи с намерением Михайловского написать для «Отечественных записок» статью о педагогических воззрениях Толстого. (Переписка неизвестна.) Толстой читал многие статьи Михайловского, в том числе серию его статей «Записки профана» («Отечественные записки», 1875, № 1—8), и, хотя не принимал взглядов их автора, находил, что «Михайловский очень хорошо пишет» (Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну 24—25 августа 1883 г. — В кн.: Г. А. Русанов, А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883—1901. Воронеж, 1972, с. 34).

О знакомстве и переписке Михайловского с Толстым см.: Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900.

[35] Толстой прочитал заметку о рассказе «Тьма» в газете «Русь», 1908, 3 февраля, № 27. Рассказ «Тьма» он прочитал в альманахе «Шиповник», СПб., 1908, кн. 3. Альманах с пометами Толстого сохранился в Яснополянской библиотеке. Отзыв Толстого о нем см. в записи от 10 февраля 1908 г. В 1909 г., перечитав рассказ, Толстой сказал о нем: «Слабо, психологически неверно, много лишнего» (*ЯЗ*, 20 октября).

[36] Толстой имеет в виду образ жизни, который вел его сын Андрей. В письме к нему от 23 августа 1901 г. Толстой с болью писал: «...уж давно твой образ жизни, твой тон, твои роскошные праздные привычки, твои отношения с женой, твои знакомства, твое невоздержание в вине — все это очень нехорошо и все это идет хуже и хуже...» (*ПСС,* т. 73, с. 129).

[37] Журналист М. О. Меньшиков с 1901 г. стал постоянным сотрудником «Нового времени», где печатал злобные статьи против Толстого. В данном случае имеется в виду серия статей Меньшикова под общим заглавием «Письма к ближним», направленных против революции, в защиту самодержавного строя.

[38] Роман М. П. Арцыбашева «Санин» печатался в журнале «Современный мир» (1907, № 1—5 и 9). В романе содержится оправдание аморализма и сексуальной распущенности.

[39] Речь идет о письме М. М. Докшицкого от 4 февраля 1908 г. Приводимое ниже ответное письмо от 10—11 февраля 1908 г. см. *ПСС,* т. 78, с. 58—59.

[40] И. С. Тургенев. Отцы и дети, гл. XXI (разговор Базарова с Кирсановым): « — Гм... это ты сказал противоположное общее место. — Что ты называешь этим именем? — А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место, а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же».

[41] Статья М. П. Новикова «Старая вера» в печати не появлялась. Ее местонахождение неизвестно.

[42] Поэт-символист К. Д. Бальмонт познакомился с Толстым в 1901 г. в Крыму, читал ему свои стихи. В декабре 1901 г. и в январе 1902 г. Бальмонт писал Толстому и посылал ему свои книги и стихи. Толстой проявлял сочувственный интерес к личности Бальмонта, но о его декадентских стихах отзывался неодобрительно. См.: А. И. Шифман. Л. Толстой и К. Бальмонт.— «Русская литература», 1970, № 3, с. 118—125.

[43] Писатель и публицист А. М. Бодянский, помещик Харьковской губернии, познакомился с Толстым в 1892 г. Под влиянием идей Толстого отдал землю крестьянам. Неоднократно преследовался царским правительством. В начале февраля 1908 г. был снова приговорен к тюремному заключению за распространение запрещенных сочинений Толстого.

«Драма мира» была прислана Толстому в рукописи (позднее издана: М., изд-во Португалова, 1911). Ее действующие лица: Христос, Иуда, апостол Матфей и др. Оценивая ее, Толстой писал Бодянскому 12 февраля 1908 г.: «Я без чувства sacrilége <святотатства> не могу себе представить разодетых актеров, изображающих эти лица. И потому не желал бы, чтобы она была не только играна, но и напечатана, на что едва ли и найдутся охотники» (*ПСС,* т. 78, с. 64).

[44] Ответ на письмо крестьянина Ф. С. Куницына от 11 февраля 1908 г. Куницын жаловался на неправильный раздел имущества в его семье и просил совета, как ему поступить.

[45] Мысль о детском «Круге чтения» возникла у Толстого в связи с его занятиями с крестьянскими детьми. Для этого издания он отбирал сказки и небольшие рассказы, а также перерабатывал материалы из «Круга чтения» для взрослых, делая их более выразительными и доходчивыми. Издание детского «Круга чтения» не состоялось.

[46] Речь Николая II к депутатам Государственной думы «о неприкосновенности священного права собственности» была произнесена 14 февраля 1908 г.

[47] Упомянутый ниже сон см.: «Исповедь». — *ПСС,* т. 23, с. 57—59.

[48] Американский публицист Болтон Холл писал Толстому об успехах возглавляемой им в США лиги сторонников учения Генри Джорджа, борющейся за ликвидацию частной собственности на землю. В ответном письме от 28 марта 1908 г. Толстой писал: «Я очень рад слышать, что разрешение этого вопроса подвигается в вашей стране вперед. Безразличие России к этому важнейшему вопросу является для меня необъяснимой загадкой.

Я пытался предлагать эту систему членам правительства и Думы, но они все кажутся столь занятыми разными незначительными делами, что не имеют ни времени, ни ума для этого серьезного вопроса. Однако вопрос этот должен быть решен, и в скором времени» (*ПСС,* т. 78, с. 90).

[49] Кадеты в земельном вопросе отстаивали интересы помещиков. Они отвергали любую форму общественного пользования землей, высказывались против отмены частной собственности на нее, против местных земельных комитетов, в которых преобладали крестьяне. Кадеты выступали «против революции вообще и особенно против крестьянской аграрной революции» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 16, с. 359).

[50] Двадцатого января 1908 г. у Толстого был молодой крестьянин Арсений Токарев. Имена посетителей, принесших его рукопись, не установлены.

[51] «Закон 9 ноября» — разработанный П. А. Столыпиным и изданный в 1906 г. реакционный указ царского правительства о порядке выхода крестьян из общины, закреплении за ними в личную собственность надельной земли и свободной ее продаже. Целью закона было разобщение крестьян и создание слоя деревенской буржуазии (кулаков) в качестве верной опоры царизма. Толстой решительно выступал против столыпинской реформы, справедливо считая, что она приведет деревню к еще большему разорению. См. об этом во вступительной статье.

[52] Была прислана книга «Tjutschew F. I. Gedichte. Im Versmaß der Urschrift von Fr. Fiedler. Leipzig, 1907 (Ф. И. Тютчев, Стихотворения. Перевод в размерах оригинала Фр. Фидлера. Лейпциг, 1907). Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[53] Толстой читал рассказ «Пески» в альманахе «Шиповник», 1908, кн. 3. Перечитав его 25 марта 1908 г., он сказал: «Это — такая прелесть. Ничего особенного, но настоящее художественное произведение. Это мне Чехова напоминает» (*ЯЗ,* 25 марта).

[54] Письмо от А. Б. Гольденвейзера от 18 февраля 1908 г.

[55] «The Light of India» («Свет Индии») — философский журнал, выходивший в Лос-Анжелесе. В Яснополянской библиотеке сохранились номера журнала за 1906—1908 гг. Толстой прочитал в № 1 за 1908 г. роман Баба Бхарати «Джим». Упоминаемый эпизод содержится в 30-й главе романа.

[56] Баба Премананд Бхарати (псевдоним Мукерджи Шурендраната Бхарати) — индийский философ и публицист. В 1905—1907 гг. находился с Толстым в переписке. Статью Бхарати «Белая опасность» Толстой читал в сборнике И. Ф. Наживина «В долине скорби», М., 1907.

[57] Композитор С. И. Танеев познакомился с Толстым в начале 1890-х годов. Неоднократно бывал у него в Москве и Ясной Поляне, участвовал в домашних концертах.

[58] Письмо воспитанника Варшавского кадетского корпуса М. Лоскутова от 12 февраля 1908 г. В ответном письме от 24 февраля 1908 г. Толстой писал: «Коротко ответить: разумеется, упадок, и тем особенно печальный, что упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации... Цель искусства есть объединение людей в одном и том же чувстве. Это условие отсутствует в декадентстве. Их поэзия, их искусство нравятся только их маленькому кружку точно таких же ненормальных людей, каковы они сами. Истинное же искусство захватывает самые широкие области, захватывает сущность души человека. И таково всегда было высокое и настоящее искусство» (*ПСС*, т. 78, с. 67).

[59] Позднее статья «Всему бывает конец» получила заглавие «Закон насилия и закон любви» (см. *ПСС*, т. 37).

[60] Ответ на письмо старообрядца Л. Е. Козлова от 1 февраля 1908 г. с вопросом, от кого Толстой «получил право смущать народ и губить души человеческие» (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 323).

[61] Ответ на письмо А. И. Качалова от 15 февраля 1908 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 324).

[62] Эта звуковая запись сохранилась и воспроизведена на пластинках, изданных в последние годы массовым тиражом.

[63] Ошибка Н. Н. Гусева. В письме Т. Л. Толстой из Рима от 15 февраля 1908 г. была вложена вырезка из статьи не Меньшикова, а реакционного публициста В. П. Буренина, напечатанной в «Новом времени» от 8 февраля 1908 г. В ней утверждается, что люди никогда настолько не «поумнеют», чтобы им не понадобилась сильная «внешняя власть».

[64] В трактате «Что такое искусство?» Толстой писал о Бетховене: «Среди часто по заказу, второпях писанных бесчисленных произведений его есть, несмотря на искусственность формы, и художественные произведения; но он становится глух, не может слышать и начинает писать уже совсем выдуманные, недоделанные и потому часто бессмысленные, непонятные в музыкальном смысле, произведения» (*ПСС*, т. 30, с. 125). Далее Толстой утверждал, что музыка Бетховена доступна «только людям, воспитавшим в себе болезненную нервную раздражительность» (*ПСС*, т. 30, с. 165).

[65] См. запись от 21 декабря 1907 г. и прим. 26 к ней. В газете «Русь» (1908, 4 января, № 3) была напечатана (за подписью *Н. Л.)* статья «Клевета на Пушкина». Ссылками на письма Пушкина и свидетельства его друзей автор опроверг «пошлые сплетни

г-жи Араповой» относительно якобы безнравственного поведения поэта.

[66] Толстой имел в виду статью В. А. Жуковского «О смертной казни» (В. А. Жуковский. Собр. соч., т. 2. СПб., 1869, с. 614—617).

[67] См. запись от 28 декабря 1907 г. В ответном письме от 24 февраля 1908 г. Толстой писал: «совершенно согласен и разделяю ваш взгляд на мои художественные произведения» (*ПСС*, т. 78, с. 68).

[68] Толстой познакомился с Н. С. Лесковым в 1887 г. и высоко ценил его как большого самобытного писателя, великолепного мастера русского языка. По поводу легенды Лескова «Час воли божией» Толстой писал ему: «Много лишнего несоразмерного, но verve <воодушевление> и тон удивительны» (*ПСС*, т. 65, с. 198). Толстому также нравились рассказы Лескова «Под праздник обидели», «Загон», «Коза», «На краю света» и др. О Лескове см. также в записи от 26 ноября 1908 г.

[69] «Комитет почина» для организации юбилейного чествования Толстого был создан в Петербурге 7 января 1908 г. на литературно-музыкальном вечере в честь Толстого, устроенном Обществом народных университетов. В Комитет вошли: Л. Н. Андреев, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, А. К. Глазунов, Н. Н. Златовратский, В. И. Немирович-Данченко, Н. А. Римский-Корсаков, А. И. Сумбатов-Южин и многие другие деятели культуры. Комитет возглавили: проф. М. М. Ковалевский, В. Г. Короленко, И. Е. Репин, И. Я. Гинцбург.

Девятнадцатого февраля 1908 г. Комитет обратился с призывом ко всем деятелям культуры, русским и зарубежным, — превратить юбилей во всемирный праздник культуры. В ответ прогрессивные газеты выступили с различными предложениями. Так, предлагалось в честь юбилея отменить в России смертную казнь, объявить всеобщую амнистию, учредить в Ясной Поляне народный университет, поставить Толстому при жизни памятник.

По примеру Петербургского (Всероссийского) «Комитета почина» возникли аналогичные комитеты во многих странах мира. Во Франции комитет возглавили Анатоль Франс, Жан Жорес, Поль Буайе; в Германии — Гергардт Гауптман, в Англии — Редьярд Киплинг и др.

Девятого марта был создан Московский «Комитет почина», в который, кроме вышеназванных деятелей, проживавших в Москве, вошли Н. В. Давыдов, С. И. Танеев, Д. И. Телешов, В. В. Вересаев и др. Аналогичные комитеты возникли и в других городах

(в Киеве о его создании хлопотал М. М. Коцюбинский), преимущественно при университетах. В газетах и журналах печаталось много статей о Толстом, воспроизводились его фотоснимки. Черносотенная и церковная печать травила Толстого, требовала от правительства запретить публичное чествование Толстого, как врага церкви и государства.

[70] *ПСС*, т. 78, с. 69—70. Сведения о письме Толстого к М. М. Дондуковой-Корсаковой проникли в печать и вызвали среди читателей большое раздражение. Многие газеты («Биржевые ведомости», 1908, 13 марта, и др.) укоряли Дондукову-Корсакову в бестактности, расценивали ее письмо как грубое давление церковных кругов на Толстого.

[71] В письме к М. А. Стаховичу Толстой писал: «Просьба моя в том, чтобы вы прекратили этот затеянный юбилей, который, кроме страдания и хуже, чем страдания — дурного поступка с моей стороны, не доставит мне ничего иного. Вы знаете, что и всегда, а особенно в мои годы, когда так близок к смерти, — вы узнаете это, когда состаритесь, — нет ничего дороже любви людей. И вот эта-то любовь, я боюсь, будет нарушена этим юбилеем. ...А это мне самое больное. Те, кто любит меня, я знаю их, и они меня знают, но для них, для выражения их чувств не нужно никаких внешних форм» (*ПСС*, т. 78, с. 73—74).

[72] Рассказ В. Гюго «Un athée» («Неверующий») в переводе Толстого был им включен во 2-е издание «Круга чтения» (см. *ПСС*, т. 41).

[73] См. письма Толстого к М. И. Ершовой от 28 декабря 1907 г. (*ПСС*, т. 77, с. 274—275) и от 4 января 1909 г. (*ПСС*, т. 79, с. 249).

[74] Крестьянский писатель С. Т. Семенов познакомился с Толстым в 1886 г. Толстой помогал ему в литературной работе. В 1894 г. Толстой написал предисловие к тому «Крестьянских рассказов» Семенова (*ПСС*, т. 29). Рекомендуя рассказ «Из жизни Макарки» редактору журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевичу, Толстой писал ему 5 марта 1908 г.: «Рассказ этот очень хорош, как первые рассказы Семенова, и потому, смело, исполняя его просьбу, предлагаю его вам» (*ПСС*, т. 78, с. 77). Рассказ был напечатан в «Вестнике Европы», 1908, № 5.

[75] Этот свой замысел Толстой частично осуществил в неоконченных произведениях: «Кто убийцы? Павел Кудряш» (*ПСС*, т. 37) и «Нет в мире виноватых» (*ПСС*, т. 38).

[76] «Голоса народов», сборник составлен И. Ф. Наживиным, вып. 1, М., 1908. Толстой нашел книгу «прекрасной» (*ПСС*, т. 78, с. 78), а о статье «Бог и человек» писал: «Статья индуса особенно поразила меня. Это необыкновенно хорошо, и вся книга пре-

красна, только желательно бы было еще прибавить к тем голосам народов, которые там есть» (*ПСС*, т. 78, с. 84—85).

[77] Рассказ Л. Андреева «Иван Иванович» был напечатан в «Нашем журнале», 1908, № 2.

[78] Толстой читал книгу Б. Шоу «The Impossibility of Anarchism» («Невозможность анархизма»). Его отзыв о ней: «Очень умно. Он за социализм против анархизма. Мне это очень интересно» (*ЯЗ*, 9 марта).

[79] Имеется в виду фельетон М. О. Меньшикова «Толстой в плену» из его серии «Письма к ближним» («Новое время», 1908 г., 9 марта, № 11491). В этом фельетоне, направленном против намерения прогрессивных кругов России отметить 80-летие Л. Н. Толстого, Меньшиков приводит письмо Толстого к нему от 23 января 1907 г. по поводу картины М. В. Нестерова «Святая Русь». Присоединяясь к всеобщей высокой оценке картины, Толстой писал: «И теперь вспоминая, не могу удержать выступающие слезы умиления и печали. Но умру все-таки с верой, что Россия эта жива и не умрет» (*ПСС*, т. 77, с. 17).

[80] В письме к А. М. Бодянскому от 12—13 марта 1908 г. Толстой писал: «Многим эта мысль покажется шуткой, парадоксом, а между тем эта самая простая и несомненная истина... Теперь же не могу воздержаться от того, чтобы не желать всей душой того, чтобы то, что вы предлагаете, было принято не как шутка, а как поступок, действительно могущий успокоить всех тех, которым мои писания и распространение их неприятны...» (*ПСС*, т. 78, с. 88). Д. П. Маковицкий записал по этому поводу следующие слова Толстого: «Было бы верное избавление от празднования. Туда, куда-нибудь в Крапивну, с венками не пришли бы» (*ЯЗ*, 12 марта).

[81] В своем фельетоне «Толстой в плену» (см. прим. 79) М. О. Меньшиков привел письмо А. П. Чехова к нему от 28 января 1900 г., в котором Чехов, объясняя свое отношение к Толстому, писал: «Я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру» (см.: А. П. Чехов. Собр. соч., т. 12. М., 1957, с. 395—396).

[82] Ответ на письмо А. М. Кузнецовой из Таганрога от 10 марта 1908 г., в котором она писала, что потеряла веру в людей и не знает, «для чего нужно жить» (*ПСС*, т. 78, с. 89).

[83] Имеется в виду статья Толстого «О Шекспире и о драме» (*ПСС*, т. 35), в которой содержится критика драматургических принципов и приемов Шекспира.

[84] См. запись от 3 апреля 1908 г.

[85] Статья проф. С. Богданова «Разрушение общины» («Новое время», 1908, 15 марта, № 11497).

[86] П. А. Сергеенко передал историку вел. кн. Н. М. Романову желание Толстого получить для задуманного им произведения (вероятно, рассказа «Кто убийцы? Павел Кудряш») сведения о распорядке дня русских императоров. 12 февраля 1908 г. Н. М. Романов прислал Толстому эти сведения, а в середине марта — выписки из писем Николая I, относящиеся ко времени процесса и казни декабристов. В письме от 28 февраля 1908 г. Толстой благодарил Н. М. Романова за эти материалы (*ПСС*, т. 78, с. 72).

[87] Статья «О власти. Из неизданной польской рукописи». — «Свободное слово», 1904, № 11, 12 и 14.

[88] Это намерение не было осуществлено.

[89] В связи с предстоящим юбилеем в Ясную Поляну, наряду с одобрительными и приветственными письмами, поступали и письма «ругательные», главным образом от верующих, обманутых церковью и прессой. Толстой читал эти письма с огорчением. 25 марта он написал открытое письмо в газеты, в котором высказал свое резко отрицательное отношение к юбилею.

«Я чувствую, — писал он, — что этот готовящийся юбилей вызывает недобрые, нелюбовные чувства ко мне... Это мне мучительно тяжело, и поэтому я бы просил всех тех добрых людей, любящих меня, сделать все, что возможно, для того, чтобы уничтожить всякие попытки чествования меня» (*ПСС*, т. 78, с. 104—106). Из опасения, что письмо будет в печати «перетолковано», Толстой не отправил его в редакции, а послал секретарю Московского «Комитета почина» Н. В. Давыдову, который зачитал его в заседании от 2 апреля 1908 г. Юбилей был отменен.

[90] Кому адресовано письмо, не установлено. Письмо корреспондента не сохранилось. Ответ Толстого от 19 марта 1908 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 329).

[91] Имеется в виду статья И. Ф. Наживина «Документы к истории духоборов» в его сборнике «Голоса народов», вып. 1, М., 1908.

[92] Речь идет о письме члена японского парламента, редактора газеты «Хоши симбун», Катсундо Миноура. Ответ Толстого см.: *ПСС*, т. 77, с. 89—90.

[93] В. А. Шейерман в письме от 17 марта 1908 г. советовал Толстому отказаться от юбилея, дабы не вызвать недобрых чувств у тех, кто не разделяет его религиозно-нравственного учения. В ответном письме от 25 марта 1908 г. Толстой писал: «Ваше отношение к этому смешному моему юбилею было точно такое же, как и мое к нему, только с тою разницей, что мне затруднительно было выразить то мое отношение к этим людям, так как мешало их доброе желание. Вы же этим не были стеснены,

Слава богу, как вы, может быть, прочли в газетах, вся эта затея, должно быть, прекратится» (*ПСС*, т. 78, с. 107—108).

[94] Название книги не установлено.

[95] По инициативе Толстого и с его предисловием был в 1909 г. издан альбом рисунков художника Н. В. Орлова «Русские мужики» (СПб., изд. т-ва Р. Голике и А. Вильборг). Здесь речь идет о картине Орлова «Освящение монополии». Отзыв Толстого о картине Орлова см. в записи от 28 марта 1908 г.

[96] «Матушка Анна» — основательница Свято-Троицкой женской общины в Тарусском уезде Калужской губернии. Крайняя реакционерка. Приезжала в Ясную Поляну, чтобы укорять Толстого в безбожии и вернуть его в лоно православной церкви.

[97] Заметка о намерении Толстого посетить Японию была опубликована в газете «Дальний Восток» (Владивосток, 1908, 1 марта, № 49). Сообщение не соответствовало действительности.

[98] В яснополянском кабинете Толстого висят семь репродукций картин Н. В. Орлова — сцены из народного быта. Здесь речь идет о картине «Христа ради».

[99] П. А. Сергеенко, в частности, рассказал о циркуляре министра внутренних дел губернаторам и начальникам жандармских управлений по поводу готовящегося чествования Толстого. Всем местным властям предписано принять решительные меры «к прекращению всяких попыток к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации, каковые попытки тем более возможны, что проповедуемые гр. Л. Н. Толстым идеи представляют для подобной агитации самый широкий простор» (цит. по сб. «Толстой и о Толстом», I. М., 1924, с. 81—83).

[100] Имеется в виду опубликованное в газетах 28 марта постановление Петербургского «Комитета почина», принятое им 22 марта, после заслушания письма Толстого к М. А. Стаховичу (см. запись от 27 февраля). Не желая прервать начатого дела, комитет решил преобразоваться в общество им. Л. Н. Толстого с целью популяризации его сочинений. Однако, ввиду отказа Толстого дать на это согласие, общество создано не было. Вслед за Петербургским «Комитетом почина» прекратили работу Московский и другие комитеты, в том числе и зарубежные.

[101] Ответ Н. Н. Гусева на письмо А. М. Бодянского (см. запись от 12 марта 1908 г.).

[102] Письмо от неизвестной от 29 марта 1908 г. Помета Толстого на конверте: «Радостное» (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 382).

[103] См. запись от 11 марта 1908 г. В ответном письме к

М. С. Дудченко от 7 апреля 1908 г. Толстой писал: «Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены жизни, которую вы мне советуете и отсутствие которой составляет для меня мучение, что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и вам и мне» (*ПСС*, т. 78, с. 114).

[104] См. запись от 3 октября 1907 г.

[105] Рассказ «Un athée» («Неверующий») Толстой перевел из книги В. Гюго «Постскриптум моей жизни». Книга Гюго с пометами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке. Кроме того, Толстой перевел и поместил в «Круге чтения» отрывки из сочинений В. Гюго под заглавиями «Сила детства», «Бедные люди», «Епископ Мириель» (*ПСС*, тт. 41—42). Толстой неоднократно указывал, что в юности на него оказали большое влияние романы Гюго «Собор Парижской богоматери» и «Отверженные».

[106] Сообщение о «новой» повести «Отец Сергий», якобы написанной Толстым «в духе Леонида Андреева и Арцыбашева», появилось в ряде столичных газет. По этому поводу Толстой получил укоряющее письмо от С. В. Спасской из Москвы.

[107] Письмо к Д. А. Микеладзе (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 333).

[108] Лев Львович Толстой, сын Л. Н. Толстого.

[109] В 1861—1862 гг. Толстой пригласил в качестве учителей в основанные им школы преимущественно студентов Московского университета, уволенных за участие в революционном движении. Биографические данные об этих учителях даны в *ПСС*, т. 8, с. 505—520. Бабурино — деревня в четырех километрах от Ясной Поляны. Намерение Толстого написать о студентах-учителях не было осуществлено.

[110] Что́ именно Толстой читал в эти дни о буддизме, установить не удалось. Описание литературы о буддизме в Яснополянской библиотеке см.: В. Ф. Булгаков. Книги об Индии в библиотеке Толстого. — «Краткие сообщения Института востоковедения», т. XXXI, 1959, с. 45—46.

[111] Сохранившиеся в Яснополянской библиотеке номера журнала «Былое» содержат следующие статьи о смертных казнях в России: П. Е. Щеголев. Петр Григорьевич Каховский (1906, № 1); М. С. Александров. Группа народовольцев. 1891—1894 (1906, № 11); Э. С. К истории партии «Народная воля» (1907, № 6). На всех этих номерах журнала имеются пометы Толстого. В газете «Русь» (январь — февраль 1906 г.) печаталась серия статей В. Владимирова о действиях карательной экспедиции Семеновского полка.

[112] Замысел позднее видоизменился. См. незавершенный рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш».

[113] В письме к Н. В. Давыдову от 9 апреля 1908 г. Толстой просил прислать ему «подробности смертной казни, о суде, приговорах и всей процедуре». «Вопросы мои такие: кем возбуждается дело, как ведется, кем утверждается, как, где, кем совершается; как устраивается виселица, как одет палач, кто присутствует при этом. Не могу сказать всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее» (*ПСС*, т. 78, с. 120). В ответ на эту просьбу Н. В. Давыдов прислал Толстому подробное описание процедуры смертной казни, составленное помощником секретаря Московского окружного суда.

[114] Среди писем С. А. Стахович к Толстому *(ГМТ)* упоминаемое письмо отсутствует.

[115] См. запись от 8 апреля 1908 г.

[116] Одиннадцатого апреля 1908 г. Толстой написал Н. В. Давыдову по поводу предстоящего суда над В. А. Молочниковым: «Мой план двоякий: или самому поехать в Петербург, вызваться быть защитником его, или подать заявление, в котором выразить, что книги получены им от меня, что если, кто виноват, то я, и если кого судить, то именно меня» (*ПСС*, т. 78, с. 121).

[117] Вероятно, дочь Достоевского — Любовь Федоровна Достоевская.

[118] Варвара Михайловна Феокритова.

[119] Анна Ильинична Толстая.

[120] Речь идет о статье «Закон насилия и закон любви». После этого Толстой еще много раз дорабатывал ее.

[121] Запись в дневнике Д. П. Маковицкого: «Лев Николаевич интересуется казнями, хочет писать про них. На днях просил С. Д. Николаева узнать про дворника, исполняющего в Москве обязанности палача» (*ЯЗ*, 14 апреля).

[122] В рассказе «Золотая рота» описывается тяжелый труд и бедственное положение поденных рабочих на лесном складе.

[123] Имеется в виду рассказ «Где человек?». В нем описывается кровавая расправа полиции и казаков с восемью бунтовщиками — крестьянскими парнями, скрывавшимися в саду женского монастыря.

[124] Этот факт приведен в статье Толстого «Не могу молчать» (*ПСС*, т. 37).

[125] Уездный казначей в г. Фатеже М. Н. Оптовцев в письме от 3 октября 1907 г. просил Толстого включить в новое издание «Круга чтения» для юношества статьи «о способах борьбы с дурными привычками, с соблазнами, о способах к укреплению воли, к улучшению своего «я».

[126] З. М. Гагина в течение 1908—1910 гг. присылала Толстому дневники своих школьных занятий, которые он всегда читал с интересом. Позднее дневники были опубликованы в издании «Библиотеки свободного воспитания» под заглавием: Н. Б. Петрова. Из дневника народной учительницы. М., 1915.

[127] Толстой читал книгу «Socialist at work», by Robert Hunter. New York, 1908. (Роберт Хантер. Социалист за работой. Нью-Йорк, 1908). Тема книги — социальные противоречия Америки, недовольство своим положением трудового населения. Отзыв Толстого: «Очень хорошая книга» (*ЯЗ,* 29 апреля).

[128] В 1902 г. Толстой читал статью немецкого социал-демократа Эдуарда Бернштейна, написанную по поводу трактата «Рабство нашего времени», в журнале «The Metaphysical Magazine» (т. XVI, № 3, с. 161—170) и сделал из нее выписку из предисловия К. Маркса к «Критике политической экономии». См. записную книжку Толстого за май 1902 г. (*ПСС*, т. 54, с. 278).

[129] Об отношении Толстого к научному социализму см. во вступительной статье. См. также: С. М. Брейтбург. Лев Толстой за чтением «Капитала» Маркса. — Сб. «Звенья», вып. 5. М.— Л., 1935; А. И. Толстая и П. С. Попов. Толстой за чтением литературы по научному социализму. — Сб. «Лев Толстой. Материалы и публикации». Тула, 1958; Т. Н. Архангельская. Л. Н. Толстой за чтением литературы о марксизме в 90-е годы.— «Яснополянский сборник. Статьи, материалы, публикации». Тула, 1970; А. Шифман, Лев Толстой читает «Капитал». — «Литературная Россия», 1972, 5 мая, № 19.

[130] По просьбе П. И. Бирюкова, писавшего биографию Л. Н. Толстого, Лев Николаевич набросал воспоминания о своей защите в 1866 г. в военном суде солдата Шибунина, ударившего офицера за издевательства над ним. Несмотря на страстную речь, произнесенную Толстым, солдат был приговорен к смертной казни и расстрелян. Написанные в виде письма к Бирюкову «Воспоминания о суде над солдатом» были окончены 24 мая 1908 г. Впервые опубликованы с цензурными изъятиями в кн.: П. И. Бирюков. Лев Николаевич Толстой. Биография, т. 2. М., изд-во «Посредник», 1908. В полном виде см. в *ПСС*, т. 37.

[131] Н. Н. Гусев ответил на вопрос сапожника Ф. Кизнера из Самарской губернии: как Толстой относится к «Посланиям апостолов»? Толстой приписал: «Отрицаю всякие авторитеты. Послания апостолов не более важны, чем газетные корреспонденции. Так, послание Иоанна чудесно, но надо выбирать» (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 339).

[132] М. В. Модржевская (ст. Жеребково Юго-Западных ж. д.) просила совета, как отвечать на вопросы ее детей о происхождении людей (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 339).

[133] См. *ПСС*, т. 77, с. 137. Толстой писал Е. И. Попову в связи с выходом в свет книги: Доктор М. Окер-Блюм. Что рассказывал доктор мальчику-племяннику. Первоначальные сведения из области половой жизни. С франц. перевел Е. И. Попов. М., изд-во «Посредник», 1908.

[134] Толстой частично осуществил этот замысел в статье «Не могу молчать» (*ПСС*, т. 37) и в незавершенном рассказе «Нет в мире виноватых» (*ПСС*, т. 38).

[135] Слова принадлежат И. Н. Крамскому.

[136] В черновике письма Толстой упрекает Н. В. Давыдова за то, что он отговорил его «от возможности — не защищать — а высказать в глаза этим (далее Толстой начал писать слово «мерзавцам», но ограничился многоточием, сделав приписку: «предоставляю вам вставить приличествующие им названия») в судебном каком-то мерзком месте, которые приговорили Молочникова к году крепости» (*ПСС*, т. 78, с. 132).

[137] Статья «Закон насилия и закон любви». Закончена лишь в августе 1908 г. Выпущенные две главы были впоследствии включены как приложения к статье.

[138] Имеется в виду отказ М. А. Шмидт от прежней обеспеченной жизни.

[139] Письмо от 8 мая 1908 г. В нем Толстой писал: «Не могу высказать, до какой степени это взволновало меня. Не могу понять того, что делается в головах и, главное, сердцах людей, занимающихся составлением таких приговоров» (*ПСС*, т. 78, с. 132).

[140] Поэт-символист Л. Д. Семенов, внук известного географа П. П. Семенова-Тян-Шанского, познакомился с Толстым в 1907 г., находился с ним в переписке. 14 апреля 1908 г. Семенов, длительное время находившийся в ссылке, посетил Толстого и много рассказывал ему о жизни политзаключенных и совершаемых над ними издевательствах.

[141] Рассказ Л. Д. Семенова о смертной казни читался в доме Толстого по рукописи. 10 мая 1908 г. Толстой писал Семенову: «...с самого начала описания заключенных, их душевного состояния и казни: инженер, гимназист, священник, доктор, сын дьякона, да все, все это превосходно, так хорошо, что не могу себе представить ничего лучше... Я не мог говорить от слез, душивших меня» (*ПСС*, т. 78, с. 137—138).

[142] Двенадцатого мая 1908 г. Толстой записал в дневнике: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20

повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать» (*ПСС*, т. 56, с. 117).

[143] Д. П. Маковицкий записал: «Муравьев рассказал про палачей, между прочим, про екатеринославского (из арестантов), который при тамошнем бунте участвовал и застрелился. Рассказал про бунт в екатеринославской тюрьме... Солдаты из девятнадцати арестантов убили семнадцать. Рассказал, что тюрьмы переполнены на триста процентов» (*ЯЗ*, 12 мая).

[144] Тринадцатого мая 1908 г. Толстой начал писать статью о смертных казнях, позднее озаглавленную «Не могу молчать». 14 мая он отметил в дневнике: «Вчера, 13-го, написал обращение, обличение — не знаю что — о казнях... Кажется, то, что нужно» (*ПСС*, т. 56, с. 118). В первоначальном варианте статьи фигурировали имена Милюкова, Гучкова, содержались резкие нападки на Николая II, Столыпина и министра юстиции Щегловитова. В окончательный текст эти места не вошли.

[145] Рассказ Н. С. Лескова «Под праздник обидели» в переработке Л. Н. Толстого был помещен под заглавием «Воров сын» во втором издании «Круга чтения» (см. *ПСС*, т. 41, с. 22—25).

[146] Толстой читал конфискованную к тому времени книгу В. Водовозова «Русские женщины на эшафоте» (М., 1907). В ней описывается деятельность В. Н. Фигнер, С. Л. Перовской и других членов «Народной воли», суд над ними и казнь присужденных к повешению.

[147] А. М. Добролюбов прислал в Ясную Поляну сборник стихов «Из книги невидимой». Толстой сказал о ней: «Она неясна, фальшива, искусственна» (*Гольденвейзер*, I, с. 161).

[148] Имеются в виду книги: «Малым ребятам. Сборники рассказов и стихов для младшего возраста. Сост. И. Горбунов-Посадов». Вып. 1—25. М., изд-во «Посредник», 1906; Л. Н. Толстой. Мысли о воспитании и обучении. Собранные Владимиром Чертковым. Изд. «Свободное слово», Лондон, 1902.

[149] Письмо учителю О. М. Лифшицу (*ПСС*, т. 78, с. 342).

[150] Имеется в виду письмо Толстого к министру внутренних дел И. Л. Горемыкину и министру юстиции Н. В. Муравьеву от 20 апреля 1896 г. с протестом против ареста земского врача М. М. Холевинской за распространение запрещенных книг Толстого (см. *ПСС*, т. 69, с. 83—87). По словам судебного деятеля Н. В. Давыдова, записанным С. И. Танеевым в его дневнике от 1 июня 1896 г., Муравьев сказал: «Правительство не может преследовать самого Льва Николаевича, а преследования людей, распространяющих его сочинения, служат для Льва Николаевича

наказанием» («История русской музыки в исследованиях и материалах». Под ред. проф. К. А. Кузнецова, т. I, М., 1924, с. 196).

[151] А. М. Бодянский был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за распространение запрещенных сочинений Толстого. Приведенные слова содержатся в письме Толстого к Бодянскому от 12—13 марта 1908 г. (*ПСС*, т. 78, с. 88). См. запись от 12 марта 1908 г.

[152] Свой протест против приговора В. А. Молочникову Толстой в резкой форме выразил в письме, адресованном редакции газеты «Русь» и опубликованном ею с большими цензурными искажениями (1908, 22 мая, № 140). Толстой писал: «Опять и опять совершается это удивительное дело: мучают и разоряют людей, распространяющих мои книги, и оставляют в покое меня, главного виновника не только распространения, но и появления этих книг... Казалось бы ясно, что одно разумное средство прекратить то, что не нравится в моей деятельности, — это то, чтобы прекратить меня. Оставлять же меня и хватать и мучить распространителей не только возмутительно, несправедливо, но еще и удивительно глупо» (*ПСС*, т. 78, с. 142—143). Позднее Толстой переработал это письмо в статью (см. «По поводу заключения В. А. Молочникова». — *ПСС*, т. 37).

[153] См. запись от 1 мая 1908 г. и прим. 130 к ней.

[154] «Рассказ о семи повешенных» был напечатан в альманахе «Шиповник», 1908, № 5.

[155] Ясную Поляну посетил чикагский профессор социологии Джером Реймонд с женой. Толстой разговаривал с ним на религиозные темы, а также о политических партиях в Америке, о положении негров, о предстоящих выборах президента (*ЯЗ*, 23 мая).

[156] Американский политический деятель Вильям Брайан, трехкратный (1896—1908) кандидат от демократической партии на пост президента США, посетил Ясную Поляну 5 декабря 1903 г. Толстой положительно отнесся к его кандидатуре, так как Брайан высказывал общие с ним взгляды «в отношении сочувствия к трудящимся массам, антимилитаризму и признанию зол, приносимых капитализмом» (*ПСС*, т. 78, с. 231). Брайан не был избран президентом.

[157] Письмо крестьянину Оренбургской губернии А. Шильцову в ответ на его вопросы: «Какого вы мнения о нашей кормилице-земле? Когда она не будет в частной собственности, скоро или нет, и когда народ будет ею пользоваться на одинаковых правах?» (см. *ПСС*, т. 78, с. 146—148).

[158] В 1886 г. Генри Джордж выставил свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка. Мэром он избран не был.

[159] Рассказ А. Франса «Кренкебиль» (в переводе В. М. Величкиной) был после переработки его Толстым включен в «Круг чтения» под заглавием «Уличный торговец» (см. *ПСС*, т. 41).

[160] Позднее в печати появилось сообщение, что в Херсоне казнено не двадцать, а двенадцать крестьян. В связи с этим Толстой в статье «Не могу молчать» сделал следующую приписку: «В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке... Оставляю без перемены все то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленным людям» (*ПСС*, т. 37, с. 83).

[161] Работа над статьей «Не могу молчать» продолжалась с 13 мая по 15 июня 1908 г. О ее публикации см. в записи от 3 июля 1908 г.

[162] Толстой перечитывал «Евгения Онегина». Его отзыв: «Это единственное из стихотворений, где этого усилия стихотворства не чувствуется» (*ЯЗ*, 2 июня). См. запись от 8 июня 1908 г.

[163] Тяжелое настроение Толстого было вызвано письмом от И. Райского из Нижнего Новгорода, в котором тот, основываясь на лживых сообщениях реакционных газет, упрекал Толстого в том, что, на словах проповедуя «царство божие», он из своей жизни устроил «царство лжи и откровенного лицемерия». По этому поводу Толстой записал в дневнике: «Третьего дня получил письмо с упреками за мое богатство и лицемерие и угнетение крестьян, и, к стыду моему, мне больно. Нынче целый день грустно и стыдно. Сейчас ездил верхом, и так желательно и радостно показалось уйти нищим, благодаря и любя всех» (*ПСС*, т. 56, с. 132).

[164] Ветеринар А. В. Юшко (Роман), сочувствовавший взглядам Толстого, был в Балашовском уезде Саратовской губернии привлечен к суду за обращение к прибывшим туда солдатам с призывом — не стрелять в крестьян, вырубивших помещичий лес. 23 июля 1907 г. Толстой просил А. А. Столыпина (брата министра П. А. Столыпина) похлопотать об облегчении участи Юшко (см. *ПСС*, т. 77, с. 163—164). А. В. Юшко был приговорен к административной высылке, о чем его сестра Л. В. Сербашева и сообщила Толстому, прося его о помощи.

[165] Письмо к А. А. Андрианову (*ПСС*, т. 78, с. 162).

[166] Толстой читал в эти дни книгу: Ч. В е т р и н с к и й (В. Е. Чешихин). А. И. Герцен. СПб., 1908. Цитата из Герцена приведена по этому изданию, с. 224. Книга в Яснополянской библиотеке не сохранилась.

[167] См.: Н. Г. М о л о с т в о в и П. А. С е р г е е н к о. Лев Толстой. СПб., изд-во Сойкина. Вышло три издания.

[168] Комедия «Зараженное семейство», предназначавшаяся для

постановки в Малом театре, писалась Толстым в конце 1863 — начале 1864 г. Толстой читал ее А. Н. Островскому в феврале 1864 г. Рукопись окончательной редакции комедии была передана Толстым В. А. Соллогубу, взявшему на себя хлопоты в цензурном комитете, и не сохранилась. Комедия опубликована по черновым редакциям, сохранившимся в бумагах Толстого (см. *ПСС*, т. 7).

[169] Отзывы Толстого о Некрасове противоречивы (см. запись от 5 февраля 1908 г. и вступительную статью).

[170] «Закон насилия и закон любви».

[171] Рассказ А. П. Чехова «Беглец» был помещен (без изменения текста) только в первом издании «Круга чтения». Во второе издание рассказ не вошел, о чем Толстой выразил глубокое сожаление (*ЯЗ*, 8 сентября).

[172] В письме к М. М. Стасюлевичу Толстой писал: «Посылаю вам отрывок рассказа Леонида Семенова. По-моему, эта вещь замечательная и по чувству, и по силе художественного изображения. Хорошо было бы ее и напечатать поскорее» (*ПСС*, т. 78, с. 169).

Рассказ Л. Д. Семенова (под заглавием «Смертная казнь») вместе с письмом Толстого был опубликован в журнале «Вестник Европы», 1908, № 8.

[173] В июне 1908 г. В. Г. Черткову было разрешено вернуться в Тульскую губернию. Желая жить вблизи Толстого, он строил дом в деревне Телятинки, в трех километрах от Ясной Поляны.

[174] *ПСС*, т. 41, с. 461.

[175] Статья «Не могу молчать» была в отрывках опубликована в газетах «Русские ведомости», «Речь», «Слово», «Современное слово» и др., за что редакции были строго предупреждены. В августе 1908 г. статья была нелегально отпечатана отдельной брошюрой в Туле местной социал-демократической организацией. В том же году она была издана М. П. Ладыжниковым в Берлине. В полном виде в России статья распространялась в рукописных и гектографированных списках.

[176] *ПСС*, т. 89, с. 99.

[177] Тяжелое настроение Толстого было вызвано ссорой с женой из-за преследований ею яснополянских крестьян за порубку леса. В «тайном» дневнике, начатом 2 июля 1908 г., Толстой записал: «Очень было мучительно вчера. Считал деньги и соображал, как уйти» (*ПСС*, т. 56, с. 172).

[178] В Ясную Поляну приезжали фотокорреспонденты «Нового времени» К. Булла с сыном и в течение двух дней сделали много снимков Толстого к его восьмидесятилетию. «Лев Николаевич чувствовал себя очень нехорошо. Он сказал мне на мой вопрос, не

устал ли он: «Нет, не устал, а мне просто стыдно на старости лет такими глупостями заниматься» (*Гольденвейзер*, I, с. 233—234).

[179] См. запись от 10 февраля 1908 г. и прим. 39 к ней.

[180] За опубликование отрывков из статьи «Не могу молчать» были оштрафованы газеты «Русские ведомости», «Слово», «Речь», «Современное слово» и др.

[181] За опубликование и расклейку по городу статьи «Не могу молчать» был в Севастополе арестован и подвергнут тюремному заключению издатель И. О. Перпер.

[182] По поводу статьи «Не могу молчать» Толстой получил шестьдесят сочувственных писем. Письма хранятся в Отделе рукописей *ГМТ*.

[183] Имеется в виду следующее место из статьи «Не могу молчать»: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я не смею мечтать о таком счастье), надели на меня так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак, и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю» (*ПСС*, т. 37, с. 95).

[184] Жена Михаила Львовича, Александра Владимировна (рожд. Глебова) с детьми — Любовью, Владимиром, Александром, Петром.

[185] Под влиянием первой русской революции усилилось революционное движение в Персии и Турции. В 1906 г. царствующая в Персии династия Каджаров вынуждена была «даровать» восставшему народу конституцию и парламент. По сговору с Англией царская Россия, в целях подавления революции, ввела в 1908 г. в Персию свои войска. В Турции молодые офицеры, члены младотурецкой партии, подняли в июне 1908 г. восстание против султана Абдул-Гамида, и он вынужден был после неудачных попыток подавить волнение восстановить уничтоженную им конституцию.

[186] Ответ на письмо И. С. Молодцова (ст. Малороссийская) от 8 июля 1908 г.

[187] В. Г. Чертков и его помощники составили тематический свод высказываний Толстого на социальные, религиозные, нравственные и философские темы. Свод не опубликован. Хранится в Отделе рукописей *ГМТ*.

[188] Ответ на письмо Г. Назарнова (Екатеринослав) от 18 июля

1908 г. Автор письма, высказывая свой взгляд на историю как на «колоритную картинку народных трудов и славы, ошибок и падений», спрашивал, «как Толстой смотрит на историю и почему не кладет ее в основу своего миросозерцания» (*ПСС,* т. 78, с. 350).

[189] Упоминание о Шопене было связано с тем, что в этот день Толстой читал биографию Шопена: J. Huncer, Chopin, the man and his music (И. Ханкер. Шопен, человек и его музыка. Лондон, 1901). Книга ему не понравилась.

[190] По поводу статьи «Не могу молчать» Толстой получил двадцать одно «ругательное» письмо.

[191] Толстой записал в дневнике: «Была два раза музыка Сибора и Гольденвейзера. В последний раз много думал во время игры, а именно: определял всякую вещь известным чувством, настроением, перенося ее в область словесного искусства» (*ПСС,* т. 56, с. 142).

[192] Индийский политический деятель Таракнатх Дас прислал в Ясную Поляну письмо (от 24 мая 1908 г.), в котором описывал бедственное положение индийского народа под властью англичан и просил Толстого «высказать свое мнение о горестном положении Индии». Вместе с письмом Таракнатх Дас прислал два номера журнала «The Free Hindustan» («Свободный Индустан»), который он издавал в Ванкувере (Канада). Девизом журнала было изречение Г. Спенсера: «Сопротивление насилию не только оправдываемо, но и обязательно». Письмо Даса и призывы журнала побудили Толстого написать статью «Письмо к индусу» (1908), в которой он, резко осуждая английских колонизаторов, изложил свою теорию гражданского неповиновения властям (*ПСС,* т. 38).

[193] См. запись от 28 мая 1908 г. В письме от 28 июля 1908 г. крестьянин А. Шильцов писал: «Да, дорогой Лев Николаевич, только все и делается мозолистой рукой. Мозолистая рука питает всех, и, наверно, скоро эта же мозолистая рука сдвинет и устранит всю неправду. Все крестьяне уже давно чувствуют, что творится что-то неладное, и вот это чувство с каждым годом, и особенно неурожайным, разрастается больше и больше, а потом сразу обрушится вся эта стихийная сила на головы злодеев». Толстой ответил Шильцову 10 августа письмом, в котором убеждал его: «Вся сила в мозолистых руках. Это справедливо, но только тогда, когда мозолистые руки или, скорее, головы людей с мозолистыми руками руководствуются какими-либо нравственными основами, а не одним из самых ужасных чувств: завистью» (*ПСС,* т. 78, с. 197).

[194] О разговоре Франциска Ассизского с учеником (братом Львом) Толстой прочитал в книге П. Сабатье «Жизнь св. Франциска Ассизского». М., 1898. Эту же мысль Толстой в другой редакции включил в «Круг чтения» (*ПСС,* т. 41, с. 330).

[195] См. запись от 7 августа и прим. 193 к ней.

[196] Письмо Я. И. Мальцеву (*ПСС*, т. 78, с. 195—196).

[197] Ответ на письмо А. Клопова (Любань) (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 352).

[198] Имеется в виду «Азбука», составленная Толстым в 1868 г. «Новая азбука» и четыре «Русские книги для чтения», изданные им в 1874—1875 гг. (см. *ПСС*, тт. 21 и 22). Упоминание Толстого о его желании передать в общее пользование «всё народное» из его сочинений было вызвано опубликованием С. А. Толстой в газетах протеста против проекта дешевого издания «Азбуки» и «Русских книг для чтения» к восьмидесятилетнему юбилею Толстого.

[199] Заказ — часть яснополянского леса, неподалеку от дома Толстого. Там, на краю оврага, Лев Николаевич и был похоронен. Сказочку о «зеленой палочке» рассказывал своим братьям старший брат Толстого — Николенька. Палочка эта будто бы была зарыта в Заказе на краю оврага; на ней был написан «секрет», как сделать, чтобы все люди были счастливы, никогда не ссорились, не сердились. См. «Воспоминания» Л. Н. Толстого (*ПСС*, т. 34).

[200] Вероятно, повесть из жизни революционера, которого приговорили к смертной казни (см. запись от 6 и 13 мая 1908 г.).

[201] «Всё в табе, в любве» — любимое изречение религиозного мыслителя Василия Кирилловича Сютаева, крестьянина Тверской губернии. Толстой виделся с ним на его родине в 1881 г. и позднее — в Москве и в Ясной Поляне.

[202] *ПСС*, т. 56, с. 143—144.

[203] Делир — верховая лошадь Толстого.

[204] Проф. А. П. Мартынов.

[205] Толстой читал присланную в Ясную Поляну книгу индийского философа и юриста Абдуллы-аль-Мамун Сухраварди «The Sagings of Mahommed» («Изречения Магомета»). Калькутта, 1907. Из этой книги Толстой почерпнул девятнадцать изречений для сб. «На каждый день» (*ПСС*, тт. 43—44). Эти и другие изречения в переводе С. Я. Николаева вошли в подготовленную изд-вом «Посредник» книгу «Изречения Магомета, не вошедшие в Коран. Избраны Л. Н. Толстым». М., 1910.

[206] Тульский крестьянин М. П. Новиков прислал Толстому книгу «На войну. Записки крестьянина — призывного 1904 года» (изд. «Свободное слово», Лондон, 1905) и письмо от 11 августа с приглашением провести день восьмидесятилетия в его семье, в деревне, куда не дойдет «никакая поздравительная телеграмма». В ответном письме Толстой выразил сожаление, что «это мое и ваше желание не исполнится» (*ПСС*, т. 78, с. 206).

[207] Бернард Шоу в декабре 1906 г. прислал Толстому свою пьесу «Man and Superman» («Человек и сверхчеловек»), она сохранилась в Яснополянской библиотеке. В письме от 17 августа 1908 г. Толстой сообщил Шоу свое мнение о ней. Положительно оценив критику Шоу буржуазного прогресса, он неодобрительно отозвался о неуместном шутливом тоне в разговоре «о таком предмете, как назначение человеческой жизни», и «желании удивить, поразить читателя своей большой эрудицией, талантом и умом» (*ПСС*, т. 78, с. 201—202).

[208] Статья «Религия и наука» (*ПСС*, т. 37).

[209] Толстой относился к Ф. Ницше резко отрицательно. Он называл его философию «безнравственной, грубой, напыщенной, бессвязной болтовней» (*ПСС*, т. 34, с. 275). В статье «Что такое религия и в чем сущность ее?» (1902) он выразил глубокое возмущение тем, что «мальчишеское оригинальничанье полубезумного Ницше» признается «последним словом философской науки» (*ПСС*, т. 35, с. 183).

[210] См. запись от 19 августа 1908 г. и прим. 209 к ней. Толстой читал книгу Ф. Ницше «Jenseits des Guten und Bösen. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft». Leipzig, 1891 («По ту сторону добра и зла. Вступление к философии будущего». Лейпциг, 1891), о которой отозвался: «Он сумасшедший. Читать нельзя» (*ЯЗ*, 25 августа), «Ницше — это бред сумасшествия и самоуверенности» (*ЯЗ*, 30 августа). Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[211] Илья Васильевич Сидорков, слуга в доме Толстого.

[212] *ПСС*, т. 56, с. 144—145.

[213] В статье «Лев Толстой как журналист» М. О. Меньшиков писал, что «Не могу молчать» — «просто слабо написанная, не волнующая, неубедительная статья...». И далее: «В истории литературы, в истории просвещения будет известен романист Лев Толстой. О том же, что он писал, кроме беллетристики, религиозные, философские, политические статьи, будут знать разве лишь академики из усидчивых крохоборов» («Новое время», 1908, 3 июля, № 11 614).

На эту статью Толстой не откликнулся. Написать М. О. Меньшикову его побудила новая статья Меньшикова — «Толстой и власть», в которой он утверждал, что Толстой якобы «стремится подговорить власть к величайшему насилию, какое мог бы придумать тиран, — к отмене частной земельной собственности» («Новое время», 1908, 10 августа, № 11642).

[214] Несмотря на мягкость тона, Толстой с укором заметил Меньшикову: «Очень скоро будет казаться странным, что люди, как вы, могут защищать казни» (*ПСС*, т. 78, с. 207). Н. Н. Гусев сохранил копию письма, благодаря чему его текст стал известен,

[215] Всего в связи с юбилеем Л. Н. Толстого в Ясную Поляну поступило свыше двух тысяч приветственных писем и телеграмм.

[216] Федерация лиг «единого земельного налога» в Австралии, поздравляя Толстого с 80-летием, выразила надежду на скорую отмену во всем мире частной земельной собственности. В ответном письме от 2 сентября 1908 г. Толстой писал: «Разрешение этого вопроса, то есть уничтожение земельной собственности, в наше время везде так же настоятельно требует своего разрешения, как полвека тому назад требовал своего разрешения вопрос рабства в России и Америке». По мнению Толстого, «время это пришло и приблизилось уже теперь настолько, что ничто не может уже отдалить уничтожение этого ужасного средства угнетения народа» (*ПСС*, т. 78, с. 222).

[217] Фамилия студента не установлена. «За распространение сочинений Толстого он был осужден на полтора года тюремного заключения» (*ЯЗ*, 31 августа).

[218] Автограф письма не сохранился.

[219] Злобный отклик на приведенные выше (прим. 183) слова Толстого в статье «Не могу молчать». Указанные на посылке имя, отчество, фамилия и адрес отправителя оказались фиктивными. Приводимый ниже ответ Толстого см. в *ПСС*, т. 78, с. 223—224.

[220] «Общество мира» было основано в Петербурге в 1907 г. группой либеральных земских деятелей во главе с членом Государственной думы П. Д. Долгоруковым. Толстой часто получал письма от подобных пацифистских организаций из многих стран. Некоторые из «Обществ мира» избирали его своим почетным членом или председателем. Толстой не сочувствовал деятельности подобных обществ. По поводу присланного Долгоруковым воззвания Д. П. Маковицкий записал: «Лев Николаевич не подпишет и не ответит. Это общество ни к чему, оно ничего не сделает. Сделает перемена мировоззрения» (*ЯЗ*, 8 сентября).

[221] *ПСС*, т. 78, с. 240—242. (Первая редакция письма.)

[222] Живя в Лондоне, В. Г. Чертков многократно встречался с Кропоткиным. По его словам, «Кропоткин оправдывает применение насилия в социальной борьбе, хотя сам он очень добрый человек. Толстой на это сказал, что Кропоткину трудно отказаться от своего самоотверженного прошлого и изменить свои взгляды» (*ЯЗ*, 8 сентября).

[223] Толстой перечитывал Пушкина в начале июля 1908 г. «Лев Николаевич наслаждается Пушкиным, читал его все последние дни... Он сказал: «Как это все хорошо — «Повести Белкина»,

А уж «Пиковая дама» это chef d'oeuvre...» Когда кончил читать, он сказал: «Так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно! И как странно: были Пушкин, Лермонтов, Достоевский... А теперь что? Еще милый, но бессодержательный, хотя и настоящий художник Чехов. А потом уж пошла эта самоуверенная декадентская чепуха» (*Гольденвейзер*, I, с. 220—221).

[224] Толстой высоко ценил роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». В письме к Берте Зутнер от 9 октября 1891 г. он отмечал, что «отмене невольничества (в США. — *А. Ш.*) предшествовала знаменитая книга женщины, г-жи Бичер-Стоу» (*ПСС*, т. 66, с. 58). По-видимому, Толстой мечтал создать книгу, столь же страстно и убедительно осуждающую земельное рабство. Но этот замысел остался неосуществленным.

[225] Толстой отредактировал статью С. Д. Николаева «Об освобождении земли. По Генри Джорджу». Впоследствии включена в «Круг чтения» (*ПСС*, т. 42, с. 594—596).

[226] Толстой получил прокламацию тульской эсеровской организации, в которой содержался призыв к террору и экспроприациям. В беседе с четырьмя рабочими-печатниками он утверждал, что борьба путем насилия не может привести к победе. Эти же мысли он изложил в письме к ним от 15 сентября 1908 г. (*ПСС*, т. 78, с. 229—230).

[227] В статье «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» Толстой обличал царское самодержавие за жестокую расправу над участниками революционных выступлений и революционерами за их методы борьбы (см. *ПСС*, т. 36).

[228] Помещик Харьковской губернии Д. А. Хилков, под влиянием учения Толстого, отказался от собственности, вел среди крестьян антиправительственную пропаганду. Находился с Толстым в переписке. Жестоко преследовался властями. По распоряжению церковных властей у него были насильно отобраны двое детей, что вызвало резкие протесты Толстого. В 1900 г. Хилков примкнул к эсерам.

[229] *ПСС*, т. 78, с. 233—234. Глубокое возмущение преследованием Н. Н. Гусева Толстой выразил и в письме, адресованном в редакции ряда газет. Он указал, что распространение своих книг считает «полезным и даже обязательным для себя», ибо не желает «хотя бы одним молчанием о тех злодеяниях, которые совершаются правительством, признавать себя участником в них» (*ПСС*, т. 78, с. 234—235). По совету В. Г. Черткова, считавшего, что опубликование этого письма озлобит правительство и повредит Гусеву, оно в редакции газет не было отправлено.

[230] Угрюмы — деревня вблизи Ясной Поляны. Об отношении Толстого к судам над крестьянами, преследуемыми Софьей Андреевной за воровство и хищения, см. запись от 7 октября 1907 г. и прим. 10 к ней.

[231] «Уссурийская молва», 1908, 28 августа, № 256. Название статьи: «Великий старец».

[232] Двадцать восьмого сентября 1908 г. Толстого посетил известный народоволец-шлиссельбуржец Николай Александрович Морозов, автор ряда трудов по химии и астрономии. Он произвел на Толстого хорошее впечатление. По возвращении из Ясной Поляны Н. А. Морозов опубликовал в газете «Русские ведомости» (№ 229, 3 октября) очерк «Свидание с Л. Н. Толстым».

[233] В воззвании «Время пришло» Толстой, развивая свою аргументацию против государственного устройства, писал: «Пора опомниться, пора очнуться. Пора и потому, что страдания, и главное, развращение народа, то есть наше, все растет и растет и дошло уже до ужасающих размеров. Какой-нибудь — не могу удержаться — негодяй, называемый императором, или подлец, называемый министром, задумают для самых ничтожных, легкомысленных, тщеславных, корыстных, низких целей присоединить к своим государствам маленькие народы других государств, вступят в войны, и сотни тысяч людей идут убивать братьев и умирать в сраженьях». В воззвании звучит призыв: «Очнитесь, братья! Время пришло» (*ПСС,* т. 37, с. 366—371).

[234] В. А. Молочников в письме от 7 октября 1908 г. воспроизвел свою беседу с вором-профессионалом, который был коридорным старостой в тюрьме («Письма В. А. Молочникова к Л. Н. Толстому». — Сб. «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. II. М., 1920, с. 143—148). В ответном письме от 12 октября 1908 г. Толстой писал: «Нынче получил ваше письмо, и, как всегда, чтение его для меня было серьезной радостью... Как хорош ваш рассказ про уголовного вора» (*ПСС,* т. 78, с. 243).

[235] Предисловие к «Кругу чтения» было впоследствии переделано свыше ста раз. Впервые напечатано в 1911 г. как предисловие к книге «Путь жизни» (см. *ПСС,* т. 45).

[236] После осуществленного в 1908 г. насильственного присоединения Боснии и Герцеговины Австрия осенью этого же года предприняла также захват Сербии. В связи с этим Толстой получил из Белграда от Анджи М. Петровичевой письмо с просьбой выступить в защиту славянских народов (см. *ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 494—502). Статья «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии», в которой Толстой резко осуждает захватническую политику Австрии, является ответом на это письмо. Статья была опуб-

ликована в газете «Голос Москвы», 1908, 4—7 декабря, и в других газетах. Статью Толстого см. в *ПСС*, т. 37.

[237] В письме к тульскому губернатору Д. Д. Кобеко Толстой просил сделать все возможное «для несчастной семьи убитого» (*ПСС*, т. 78, с. 257).

[238] Толстой перечитывал роман Эртеля «Гарденины» с 23 октября по 26 ноября 1908 г. В дневнике Маковицкого записаны следующие отзывы Толстого о романе: «Подробности хороши, но недостает чувства меры» (*ЯЗ*, 23 октября); «Все хуже и хуже. Сначала хорошо, язык превосходный. А потом — не то, что в мои восемьдесят лет, а и в молодые годы любовные похождения были мне скучны» (*ЯЗ*, 9 ноября); «Лев Николаевич пробовал читать вслух «Гардениных». Хвалил народный язык Эртеля: «Он играет им. Теперь этого языка ни у кого нет» (*ЯЗ*, 10 ноября); «Я помню, что всегда хвалил «Гардениных». Мне очень понравились» (*ЯЗ*, 14 ноября).

[239] Толстой читал присланную ему автором — китайским историком и публицистом Ку Хун-мином книгу «The Universal Order or Conduct of Life. A Confucian Catechism» («Всеобщий порядок, или Поведение жизни. Конфуцианский катехизис». Шанхай, 1906).

[240] *ПСС,* т. 78, с. 244—245.

[241] Ответ на письмо С. А. Энгельгардта из Москвы от 9 ноября 1908 г. (см. *ПСС,* т. 78, с. 259—260).

[242] Арт. Шопенгауэр. О религии. Диалог. СПб., 1908. Автор указывает на общность моральных принципов, лежащих в основе всех религий. В письме к П. С. Пороховщикову от 21 ноября 1908 г. Толстой назвал книгу Шопенгауэра «Parerga und Paralipómena» «в высшей степени полезной в наше время» и выразил сожаление, что она запрещена (*ПСС*, т. 78, с. 266). Книга с пометами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[243] В ознаменование восьмидесятилетия Л. Н. Толстого Московское общество грамотности решило открыть в деревне Ясная Поляна народную библиотеку-читальню. Ее открытие состоялось в присутствии Толстого 31 января 1910 г.

[244] О беседе Анучина с Толстым см.: Д. Анучин. Несколько часов в Ясной Поляне. — «Русские ведомости», 1908, 27 ноября, № 275.

[245] Крайний реакционер и церковный мракобес Гермоген, епископ саратовский, опубликовал в журнале «Братский листок» (Саратов, 1907, 24 августа, № 93) «Архипастырское обращение к духовенству и православному народу» по поводу «нравственно-беззаконной затеи некоторой части общества приветствовать, чество-

вать, даже торжествовать юбилейный день анафематствованного безбожника и анархиста-революционера Льва Толстого». В конце «Обращения», заполненного грубой бранью, Гермоген потребовал высылки Толстого «за пределы всякого государства».

Тринадцатого сентября 1908 г. Толстой написал Гермогену ответное письмо, в котором указал, что владеющее Гермогеном чувство злобы и раздражения «вдвойне нехорошо для руководителя людей, исповедующих христианство» (*ПСС*, т. 78, с. 228). Письмо отправлено не было.

[246] За связь с революционерами А. И. Эртель был в 1884 г. арестован и посажен в Петропавловскую крепость. По состоянию здоровья был освобожден через четыре месяца с запретом проживать в Москве и Петербурге. Толстой цитирует письмо Эртеля к В. Г. Черткову от 13 июля 1888 г. См. «Письма А. И. Эртеля». М., 1909, с. 34.

[247] Имеется в виду статья В. Г. Короленко «Лев Николаевич Толстой» («Русское богатство», 1908, кн. 8).

Короленко отметил, что в созданной Толстым галерее образов имеется существенный пробел: «вы напрасно станете искать в ней «среднего сословия», интеллигента, человека свободных профессий, горожанина» (В. Г. Короленко, Собр. соч. в 10-ти томах, т. 8, с. 102).

[248] См. вступительную статью и прим. 30, 31 к записи от 5 февраля 1908 г.

[249] Письмо от П. Н. Софронова от 23 ноября 1908 г. Помета Толстого на конверте: «Н. Н. Послать книги и ответить». Софронову были посланы книги. Статья «Старый лицемер» напечатана в газете «Астраханский вестник», 1908, 16 октября, № 216.

[250] Письмо (без подписи) из г. Пензы от 29 ноября 1908 г. На конверте помета Толстого: «Очень хорошее».

[251] *ПСС*, т. 78, с. 278. Коммерческое издательство «Ясная Поляна» было основано в Петербурге в 1906 г. неким В. А. Максимовым и существовало по 1911 г. Спекулируя на интересе широкой публики к творчеству Толстого, издательство выпускало журнал «Ясная Поляна» и рекламировало в качестве приложения к нему «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого». Журнал и приложения к нему издавались небрежно, безграмотно, материалы в журнале носили пошлый характер. Свои обязательства перед подписчиками издательство не выполняло.

[252] Ответ на письмо А. А. Пафомова (Серпухов) от 5 декабря (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 78, с. 377).

[253] Толстой читал книгу А. С. Пругавина «Религиозные отщепенцы». М., изд-во «Посредник», 1906.

[254] Имеется в виду заметка (без подписи) в газете «Русь», 1908, 13 декабря, «У художников», где речь шла о молодых художниках, проявляющих интерес к новым направлениям в живописи.

[255] Четырнадцатого декабря 1908 г. Толстой записал в дневнике: «...нынче вешанье, мучанье людей вызвало негодование, недоброе, злое чувство к вешателям. Думаю о художественном, и как будто нарождается» (*ПСС*, т. 56 с. 163). Для задуманного рассказа, получившего позднее заглавие «Кто убийцы? Павел Кудряш», Толстой собирал литературу. В Яснополянской библиотеке сохранились следующие книги и брошюры: Б — и й. Что такое народовластие и для чего оно нужно народу. М., 1906; А. Н. Бах. Экономические очерки. Одесса, 1906; И. Белочкин. Что нам нужно? М., 1905; Г. Берч. Долой безработицу! СПб., 1906; Буржуазная революция и рабочее дело, б. м., 1905; Л. К. Бух. Земля народу! СПб., 1905; П. А. Вихляев. Право на землю. М., 1906; Ф. В. Волховский. Как мужик у всех в долгу остался. СПб., 1906, и др.

[256] Статью «Требования любви» см. *ПСС*, т. 42.

[257] Ученица старшего класса московской гимназии К. Т. Разумникова написала Толстому о том, что она горячо сочувствует его взглядам, не знает, как устроить свою жизнь. Она понимает, что учение в казенной гимназии безнравственно, а получение казенного паспорта равносильно признанию существующего государственного строя, но выход из гимназии и отказ от паспорта убьет ее родителей. Как быть? В ответном письме от 15 декабря 1908 г. Толстой предложил избрать «то решение, при котором не нарушается, а проявляется наибольшая любовь» (*ПСС*, т. 78, с. 286—287).

[258] На шахтерском жаргоне дудка — место в забое, где шахтер вручную рубит уголь.

[259] В письме от 9/22 июля 1908 г. Т. Эдисон просил Толстого прочесть в фонограф «краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении» (*ЛН*, т. 37—38, с. 332). 24 декабря Толстой прочел на русском, английском и французском языках ряд своих любимых изречений.

[260] Письмо из Петербурга от студента Л. А. Арсеньева от 18 декабря 1908 г. В письмо была вложена газетная вырезка со статьей А. А. Столыпина «Заметки» («Новое время», 18 декабря, № 11 772).

[261] Двадцатого декабря 1908 г. Толстой ответил Арсеньеву и Столыпину. Арсеньеву он писал: «Оправдывать смертную казнь словами Христа не решался до сих пор ни один изувер. Такое

оправдание, кроме своей искусственности, и глупо и бессовестно». И одновременно Столыпину: «Прочел то, что вы написали 18 декабря. Стыдно, гадко. Пожалейте свою душу» (*ПСС*, т. 78, с. 203, 294).

[262] «Смертная казнь и христианство». *ПСС*, т. 38.

## 1909 ГОД

(Стр. 227)

[1] См. запись от 22 мая 1908 г. и прим. 154 к ней.

[2] Д. П. Маковицкий записал такой отзыв Толстого о рассказе Л. Андреева: «Смелость, небрежность языка», всё «сплеча, психологически неверно» (*ЯЗ*, 1 января).

[3] *ПСС*, т. 38, с. 48. См. запись от 21 декабря 1908 г. В окончательном варианте статья озаглавлена «Смертная казнь и христианство».

[4] «Весы» — ежемесячный литературный журнал русских символистов. Выходил в Москве с 1904 по 1909 г. Толстой читал первую книжку журнала «Весы» за 1909 г. В ней напечатаны стихи Вл. Соловьева, В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Н. Толстого, рассказ А. Ремизова «Жертва», статья Д. Мережковского «Лермонтов», статья Эллис «О современном символизме» и другие материалы.

[5] В связи с этим разговором Толстой записал в дневнике: «Третьего дня был настоящий интеллигент, литератор Гершензон, будто бы с вопросами о моих метафизических основах, в сущности же с затаенной (но явной) мыслью показать мне всю безосновность моей веры в любви» (*ПСС*, т. 57, с. 5).

[6] Об отношении Толстого к Тургеневу и Чехову см. во вступительной статье. Толстой, возможно, имел в виду ранние юмористические рассказы и фельетоны Чехова, подписанные «Антоша Чехонте».

[7] Любимый афоризм Толстого.

[8] Письмо от политического ссыльного Ф. А. Мишуровского из с. Теврис Тобольской губернии. Помета Толстого на конверте: «Хорошее письмо. Н. Н. (Гусеву. — *А. Ш.*) ответить, что и мне на пользу были его мысли. Не послать ли книг» (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 252). 13 января 1909 г. Ф. А. Мишуровскому были посланы письмо и книги.

[9] Толстой перевел из венской газеты «Wohlstand für Alle» (1909, № 2, 17 января) диалог «Schwere Fragen» («Трудные вопросы»). Его вольный перевод, озаглавленный «Разговор отца с сыном», послужил началом написанной им вскоре серии диалогов под общим названием «Детская мудрость» (см. *ПСС*, т. 37).

[10] Ответ на письмо Н. Г. Недумова от 4 января 1909 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 252).

[11] Ответ И. Горностаеву (Симбирск) на письмо от 3 декабря 1908 г.

[12] Ответ на письмо Н. Н. Владимирова (Севастополь) от 15 октября 1908 г., предложившего создать «Общество нравственного самосовершенствования» под названием «Воскресение» и избрать Толстого почетным президентом Общества.

[13] Ответ на письмо Н. И. Грошникова (Большие Соли Костромской губернии) от 10 января 1909 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 252).

[14] Как позднее установлено, архиерей Парфений приезжал в Ясную Поляну по заданию высших церковных властей с целью «примирить» Толстого с церковью. После отъезда Парфения Толстой записал в дневнике: «Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего греха его дела. А надо было. Испортило же мне его рассказ Сони об его разговоре с ней. Он, очевидно, желал бы обратить меня, если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их — зловредное влияние на веру в церковь. Особенно неприятно то, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы ни придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я «покаялся» перед смертью. И поэтому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь» (*ПСС*, т. 57, с. 16).

[15] В яснополянском кабинете Толстого висят фотоснимки с картин Н. В. Орлова: «С работы», «Христа ради», «Переселенцы», «Со службы», «Умирающая», «Шинкарка», «Монополия» («Освятили»). На снимке с картины «Освятили» надпись Н. В. Орлова: «Примите мой слабый труд, дорогой мой учитель Лев Николаевич, не в суд и не в осуждение кого бы то ни было писал я свой этот рассказ в доступной форме живописи; я рассказал лишь верное событие в нашем Отечестве — верное и грустное, — как представителями так называемой православной христианской веры был освящен *кабак*. Это только я и хотел указать. Любящий Вас *Н. Орлов*. 1904 г.».

[16] «Из прошлого смертной казни». — «Слово», 1909, 3 февраля, № 698.

[17] Статья эта была 9 февраля 1909 г. напечатана в газете «Жизнь» под редакторским заглавием: «Нет худа без добра» (такими словами она начинается). За опубликование статьи на ре-

дактора Н. П. Лопатина был наложен штраф в три тысячи рублей с заменой арестом на три месяца. Не имея средств заплатить штраф, Лопатин выбрал последнее. Благодаря Лопатина за помещение статьи, Толстой в письме к нему в тюрьму от 28 февраля 1909 г. писал: «Нельзя и не должно молчать о тех преступлениях всех законов божеских и человеческих, которые совершаются правительством под предлогом общего блага... Но вместе с благодарностью не могу не чувствовать огорчения при мысли о том, что те меры, которые должны бы были по справедливости обращены на меня, обращаются на людей, близких мне по своим взглядам» (*ПСС*, т. 79, с. 97). Статью «Нет худа без добра» см. в *ПСС*, т. 38.

[18] В письме к Е. И. Лозинскому от 26 января 1909 г. Толстой солидаризировался с его критикой современной интеллигенции и буржуазного парламентаризма, но оспаривал его мнение о возможности для рабочего класса добиться улучшения своего положения путем «прямых требований» к существующему режиму и «удовлетворения поставленных им условий» (*ПСС*, т. 79, с. 47—48). См. также запись от 14 октября 1907 г. и прим. 15 к ней.

[19] Е. И. Лозинский в книге «Итоги парламентаризма» (СПб., 1908) полемизирует с анархистских позиций против проповеди непротивления, содержащейся в статье Толстого «О значении русской революции» (1905).

[20] С. Спиро. Л. Н. Толстой и епископ Парфений («Русское слово», 1909, 5 февраля, № 28). На эту статью полемически откликнулся архиерей Парфений («Новое время», 1910, 10 ноября, № 12452). В заметке «Епископ Парфений о поездке к Л. Н. Толстому» приводились следующие его слова, сказанные корреспонденту этой газеты: «Заметка, помещенная вскоре после моего визита к Льву Николаевичу и якобы им самим редактированная, не что иное, как плод фантазии корреспондента. Это известно было и Льву Николаевичу, который даже письменно извинился предо мною за эту заметку, но, по взаимному уговору, возражения на нее мы не писали». Это утверждение — сплошной вымысел. Никаких писем с «извинением» Толстой архиерею Парфению не писал.

[21] Статью В. Апучина «Казнь Якова Стеблянского» Толстой прочел 14 января 1909 г., и она произвела на него «страшное впечатление» (*ЯЗ*, 14 января).

[22] М. Н. На войну. Записки крестьянина — призывного 1904 года. Лондон, изд. «Свободное слово», 1905.

[23] Толстой прочитал в журнале «Былое», № 1-2 за 1906 г. статью П. Е. Щеголева «Петр Григорьевич Каховский». Упоминаемые им факты содержатся во второй книжке журнала, с. 191.

[24] Толстой не всегда придерживался этого мнения. В письме к П. И. Чайковскому от декабря 1876 г. он утверждал высокое назначение музыки в жизни человека и называл ее «высшим в мире искусством» (*ПСС*, т. 62, с. 297).

[25] «Образование», 1909, № 2.

[26] Норберт Грабовский. Духовная любовь. Лейпциг, 1902. См. запись от 6 марта 1909 г.

[27] Запрещение ряда публицистических произведений Толстого, особенно статьи «Одумайтесь!», было вызвано тем, что они содержали критику милитаристской политики Японии и японского микадо (императора).

[28] Толстой перечитывал Гоголя с 3 по 13 марта. Один из его отзывов: «Много у него прекрасного, но самое прекрасное для меня это — «Коляска», вещица: нет ничего лишнего и ничего не недостает, добродушная сатира и смешно до невозможности» (*ЯЗ*, 9 марта). В записной книжке Толстого от 3 марта 1909 г. имеется следующая его заметка:

«Гоголь — огромный талант, прекрасное сердце и слабый, то есть несмелый, робкий ум. Лучшее произведение его таланта — «Коляска»; лучшее произведение его сердца — некоторые из писем. Главное несчастье его всей деятельности — это его покорность установившемуся лжерелигиозному учению церкви и государства, какое есть...» (*ПСС*, т. 57, с. 202).

[29] К. Молосаю (Херсон) были посланы деньги и книги (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 260).

[30] В статье «О Гоголе» Толстой развил мысли, набросанные в записной книжке (см. прим. 28). К числу лучших произведений Гоголя он причислил первую книгу «Мертвых душ», «Ревизор», «Старосветские помещики» и некоторые письма. См. *ПСС*, т. 38.

[31] В. Г. Чертков был выслан из Тульской губернии за антиправительственную агитацию среди крестьян. Письмо С. А. Толстой от 6 марта 1909 г. с протестом против высылки В. Г. Черткова было напечатано в газете «Русские ведомости», 1909, 11 марта, № 57, и перепечатано многими русскими и иностранными газетами, в том числе газетой «Таймс» (Лондон).

[32] В связи с восьмидесятилетием Л. Н. Толстого и в ознаменование его военных заслуг как участника обороны города во время Крымской войны 1854—1855 гг., собрание гласных Севастополя обратилось 28 августа 1908 г. в министерство внутренних дел с предложением присвоить Л. Н. Толстому звание почетного гражданина г. Севастополя.

[33] Статья М. П. Новикова «Новая вера» содержала критику официальной религии и казенной церкви. Посылая ее А. М. Хирьякову для опубликования, Толстой писал 1 мая 1909 г.: «Жела-

тельно было бы напечатать ее и для публики, так как она очень хорошо выясняет то зло, которое вносится в народ ложной верой, и для автора, для которого гонорар будет не лишним» (*ПСС*, т. 79, с. 178—179). По цензурным условиям статья напечатана не была.

[34] Что́ именно в это время читал Толстой, установить не удалось. В Яснополянской библиотеке сохранились следующие сочинения Гегеля в переводе В. Чижова: «Логика», «Философия природы», «Философия духа». М., 1861—1864.

[35] Имеется в виду рассказ М. П. Новикова «На войну» (см. запись от 7 февраля 1909 г.).

[36] Перефразированные слова Толстого, высказанные им во многих письмах к этнографам, — например, к Н. Н. Миклухо-Маклаю от 25 сентября 1886 г., к путешественнице А. А. Корсини от 28 марта 1909 г. и другим лицам.

[37] Толстой перечитывал книгу: Baba Bharati. Shree Krishna. The Lord of Love (Баба Бхарати. Кришна, бог любви. Нью-Йорк, 1904) по просьбе С. Д. Николаева, составившего по ней краткое изложение легенды о Кришне для изд-ва «Посредник». Позднее Толстой исправлял эту рукопись и написал к ней предисловие (*ПСС*, т. 39). Но книжка в свет не вышла.

[38] Письмо к А. П. Иващенко (*ПСС*, т. 79, с. 126), утверждавшему, что учение о непротивлении злу насилием неприложимо к жизни.

[39] Имеются в виду письма Толстого к М. А. Энгельгардту от 20 декабря 1882 г. (*ПСС*, т. 63, с. 112—124) и к М. М. Чернавскому от января 1888 г. (*ПСС*, т. 64, с. 140—144), в которых он изложил основы своего миропонимания.

[40] В письме к М. А. Энгельгардту Толстой откровенно писал о своих семейных делах.

[41] Толстой перечитывал «Мертвые души».

[42] Проспер Сен-Тома, француз-гувернер, воспитатель Л. Н. Толстого и его братьев. Изображен в повести «Отрочество» под именем Сен-Жерома.

[43] Ответ на письмо А. Г. Андросовой (Харьков) от 27 февраля 1909 г. (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 262).

[44] Ответ на письмо ученика пятого класса коммерческого училища Г. Журавлева (Петербург) от 21 марта 1909 г. Журавлев писал, что он не желает «жить дармоедом», спрашивал, как устроить «чистую» и честную жизнь (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 269).

[45] Рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш» (*ПСС*, т. 37).

[46] Ст. 279 уголовного кодекса касается лиц, осужденных к

смертной казни, порядка их содержания в тюрьме до приведения приговора в исполнение.

. [47] Н. Н. Гусев привез Толстому книги: «Смертная казнь в Европе». Казань, 1908; А. С. Пругавин. В казематах. СПб., 1909; «Русские революционеры. Софья Львовна Перовская». 1903; «Смертники». СПб., 1895 и др.

[48] Судя по сохранившемуся черновику письма к генералу А. Г. Сандецкому от 19 января 1909 г., Толстой просил о смягчении участи шестнадцатилетнего юноши, жителя с. Тась Енисейской губернии, Г. Н. Ветвинова (*ПСС*, т. 79, с. 36). В ответном письме от 6 февраля 1909 г. А. Г. Сандецкий обещал, что «постарается смягчить приговор». О дальнейшей судьбе Ветвинова ничего не известно.

[49] Толстой отвечал на вопросы, поставленные В. Ф. Булгаковым. Позднее ответ перерос в статью «О воспитании» (см. *ПСС*, т. 38).

[50] Речь идет о письме Клавдии Романюк-Петровой от 1 апреля 1909 г. из Бутырской тюрьмы (Москва).

[51] Толстой ошибочно принимал позднейшие мальтузианские извращения в дарвинизме за основы этого учения. Он обличал в дарвинизме теорию борьбы за существование, считая, что она дает повод буржуазным ученым оправдать социальное неравенство.

[52] «Из дневника Амиеля». Перевод с франц. М. Л. Толстой под редакцией и с предисловием Л. Н. Толстого. Изд-во «Посредник», 1905, с. 70—71.

[53] Окончательное заглавие статьи «Неизбежный переворот» (см. *ПСС*, т. 38).

[54] Эта мысль содержится в книге: Т. Карлейль. Загадка сфинкса. Перевод Л. Н. Никифорова. М., 1900, откуда Толстой почерпнул ряд изречений для «Круга чтения».

[55] Ответ на письмо Г. Шемелина (Чита) от 16 февраля 1909 г. На конверте рукою Толстого: «Надо бы ответить, жениться не советую. Переменить жизнь — одно, жениться другое» (см. письма по поручению. — *ПСС*, т. 79, с. 275).

[56] Княжна М. М. Дондукова-Корсакова, принадлежавшая к секте пашковцев, прислала в 1908 г. Толстому несколько писем, в которых отстаивала христианский миф о сошествии Христа на землю и другие библейские чудеса. Письма ее остались без ответа.

[57] В 1908 г. для фотографирования Л. Н. Толстого был приглашен В. Г. Чертковым из Англии фотограф Томас Тапсель. Ему принадлежат многие фотографии Толстого 1908—1910 гг.

[58] Толстой читал первую часть повести А. И. Куприна «Яма», напечатанную в альманахе «Земля», 1909, вып. 3. Отзыв

Толстого о ней: «Отвратительно! Отношение автора не то, какое должно быть. Но любуюсь его художественным талантом: придумывает каждому лицу характерные черты» (*ЯЗ*, 8 мая). Продолжая чтение повести, Толстой сказал: «Грубость циническая ослабляет впечатление художественное, а не усиливает» (*ЯЗ*, 9 мая). В дневник он записал: «Очень плохо, грубо, не нужно грязно» (*ПСС*, т. 57, с. 61). Отзывы Толстого стали известны автору. В 1915 г. Куприн заявил: «Когда Лев Толстой прочитал «Яму», он сказал: «Грязно это». Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Лев Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он сделал бы великое дело» («Биржевые ведомости», 1915, 21 мая, № 14855).

[59] Имеется в виду разговор околоточного надзирателя Кербеша с содержательницей публичного дома Анной Марковной («Яма», ч. I, гл. II).

[60] «Вехи» — сборник статей реакционно-мистического содержания, изданный в начале 1909 г. группой русской буржуазной интеллигенции. В сборнике помещены статьи П. Б. Струве, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона и др. Авторы статей выступили против революционного движения масс, открыто обратились к проповеди идеализма и мистики. Они призывали интеллигенцию на службу самодержавию. Вокруг «Вех» разгорелась ожесточенная борьба. Реакционные газеты «Новое время», «Слово», декадентский журнал «Весы» и др. приветствовали появление сборника и солидаризировались с ним. Кадетская, меньшевистская и эсеровская печать, лицемерно оспорив отдельные частности, в целом согласилась с его основными положениями. В. И. Ленин назвал этот сборник «энциклопедией либерального ренегатства» (Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 19, с. 168).

Толстого возмутили в сб. «Вехи» невежество и самоуверенность его авторов, взявшихся решать судьбу русского народа, не зная основ народной жизни, чаяний русского крестьянства. В статье «О «Вехах» Толстой подверг их резкой критике: «Не просвещать надо вам народ, а учиться у него тому главному делу, которое вы совсем не умеете делать... правдиво ставить себе основные, существенные вопросы о жизни и просто, прямо и искренно отвечать на них» (*ПСС*, т. 38, с. 289). См. также записи от 20 мая и 14 июля 1909 г.

[61] Е. И. Л о з и н с к и й. Итоги и перспективы рабочего движения на Западе и в России. СПб., 1909. Отзыв Толстого: «Очень хорошо отрицание, хотя натянуто, но заключение очень плохо» (*ПСС*, т. 57, с. 53).

[62] Речь идет о просьбе рабочего-революционера А. Анохина. В письме к С. А. Стахович от 3 января 1909 г. Толстой горячо

благодарил ее «за устройство малолетних детей Анохина в приют» (*ПСС*, т. 79, с. 12).

[63] В Ясную Поляну приезжал журналист С. П. Спиро. Его корреспонденция с изложением содержания статьи Толстого «О «Вехах» была напечатана — «Русское слово», 1909, 21 мая, № 114. Перепечатана в кн.: С. П. Спиро. Беседы с Л. Н. Толстым, М., 1911.

[64] См. «Круг чтения» (*ПСС*, т. 41, с. 337).

[65] Имеется в виду книга «Goethe. Kalender auf das Jahr 1909». Leipzig, 1908 («Гетевский календарь на 1909 год»), посланная Толстому издателем Теодором Вейхером. В письме от 25 мая (н. с.) 1909 г. Вейхер просил Толстого сообщить об его отношении к Гете. Толстой ответил Вейхеру 27 мая (ст. с.) письмом, в котором дал высокую оценку присланной книге. «Что меня особенно заинтересовало, это разговоры Гете с разными лицами. В этих разговорах я нашел для себя много нового и ценного...» (*ПСС*, т. 79, с. 207—208). «Гетевский календарь» с пометами Толстого сохранился в Яснополянской библиотеке.

[66] См. «На каждый день» (*ПСС*, т. 42, с. 215).

[67] По поручению П. А. Столыпина, 23 мая 1909 г. в Телятинки приезжал полковник А. Г. Лубенцов. Толстой поехал в этот день в Телятинки, чтобы переговорить с ним о деле Черткова, но, встретившись с ним, «почувствовал к нему гнев» и не подал ему руки (см.: Н. Н. Гусев. Эпизоды из жизни Л. Н. Толстого. — «Красная нива», 1928, № 37).

[68] Письмо не сохранилось. Имя автора не установлено.

[69] Сообщение о повторном причислении Анны Кашинской к лику святых и предстоящих по этому случаю церковных торжествах напечатано — «Новое время», 1909, 24 мая, № 11923.

[70] Анна Кашинская (умерла в 1359 г.) — жена великого князя Михаила Ярославича. Торжества по случаю ее вторичного причисления к лику святых состоялись в г. Кашине Тверской губернии. По этому поводу Толстой сказал: «Когда кто муку ворует, за это судят. А тут обманывают целое сословие, и в самом святом» (*ЯЗ*, 14 мая).

[71] В письме к В. Г. Черткову от 12 мая 1909 г. Толстой писал: «...приезжает... интересный для меня Мечников, к посещению которого готовлюсь, чтобы не оскорбить его неуважением к его деятельности, на которую он посвятил жизнь и которую считает очень важной» (*ПСС*, т. 89, с. 116). Мечников приехал вместе с женой — Ольгой Николаевной. В этот день Толстой писал Черткову: «Нынче утром приехал Мечников... Он мне очень симпатичен» (*ПСС*, т. 89, с. 122).

[72] В беседе Толстого с Мечниковым были затронуты многие важные вопросы — о религии, науке, искусстве, о социальных проблемах России и Запада и др. О пребывании Мечникова в гостях у Толстого см. его очерк «День у Толстого в Ясной Поляне» (И. И. Мечников, Собр. соч., т. 13. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 215—224). См. также: О. Н. Мечникова. Жизнь И. И. Мечникова. М., ГИЗ, 1926, с. 161—165; интервью Толстого корреспонденту С. П. Спиро «Толстой о И. И. Мечникове» («Русское слово», 1909, 3 июня, № 125).

[73] Имеется в виду глава первая из «Дневника писателя» за апрель 1877 г., где Достоевский оправдывает русско-турецкую войну.

[74] «Вегетарианское обозрение» — журнал, выходивший с 1909 г. в Кишиневе, а с 1910 по 1915 г. — в Киеве. На его страницах публиковались некоторые статьи Толстого.

[75] Статья «По поводу приезда сына Генри Джорджа». См. *ПСС*, т. 38.

[76] В «Русском слове» статья не появилась, 9 июля она была напечатана — «Русские ведомости», 1909, 9 июня, № 130.

[77] Второго июня 1909 г. А. И. Куприн направил С. А. Толстой телеграмму: «Не обеспокою ли Вас и Льва Николаевича, если в середине июня заеду всего на час». Софья Андреевна просила Куприна отложить приезд до осени ввиду того, что Лев Николаевич собирался уехать к дочери — Т. Л. Сухотиной. Встреча Куприна с Толстым не состоялась.

[78] «Русское слово», 1909, 3 июня, № 125.

[79] О Генри Джордже-сыне Толстой в дневнике отозвался «приятный» (*ПСС*, т. 57, с. 79). Свое посещение Ясной Поляны Генри Джордж-сын описал в статье «My Farewell to Count Tolstoy» («Мое прощание с графом Толстым»). — «New York World», 1909, 14 Novembre.

[80] Б. С. Трояновский находился в Ясной Поляне с 4 по 6 июня, играл Толстому в течение трех вечеров. Толстой порекомендовал ему ряд новых народных песен, в том числе песню «Варяг», которую он слышал в исполнении яснополянских ребят. См.: Б. С. Трояновский. В гостях у Льва Толстого.— «Ленинские искры», 1940, 20 мая; Воспоминания. — «Смена», 1940, 20 ноября, № 269.

[81] Толстой читал книгу Энрико Малатеста «Краткая система анархизма в десяти беседах». М., 1906. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[82] По поводу увиденного в пути, в Кочетах. Толстой записал в дневнике: «Особенно живо чувствовал безумную безнравственность роскоши властвующих и богатых и нищету и задавленность

бедных. Почти физически страдаю от сознания участия в этом безумии и зле» (*ПСС*, т. 57, с. 80).

[83] Толстой имел в виду повесть «Нет в мире виноватых», начатую им 23 апреля 1909 г. Повесть осталась незавершенной (см. *ПСС*, т. 38).

[84] Атрпет. Мамед-Али-шах. Народное движение в стране Льва и Солнца. Александрополь, 1909. Толстой нашел в ней «много для себя нового и в высшей степени интересного». См. письмо к Атрпету от 15 июня 1909 г. (*ПСС*, т. 79, с. 231). Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[85] «Buddhistischer Katechismus». Von Subhadra Bhikschu. Verlegt von M. Altmann. Leipzig, 1908 (Субхадра Бхикшу. Буддийский катехизис. Изд. М. Альтмана, Лейпциг, 1908). Об этой книге Толстой записал в дневнике: «Читаю буддийский катехизис. Все подвигаюсь в внутренней работе» (*ПСС*, т. 57, с. 84). Книга с пометами Толстого сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[86] «Religionslehre für die Jugend» von Eugen Schmitt (Эуген Шмит. Религиозное учение для юношества. Лейпциг, 1909). Толстой писал Шмиту о ней: «По-моему, очень желательно распространение книги вследствие ее внутренней ценности» (*ПСС*, т. 80, с. 73).

[87] Речь идет о Т. М. Сухотиной — дочери Т. Л. Толстой-Сухотиной.

[88] Из-за занятости другими работами это намерение не было осуществлено.

[89] Имеется в виду профессор государственного права Петербургского университета Л. И. Петражицкий. С ним Толстой полемизировал в статье «Письмо студенту о праве» (*ПСС*, т. 38).

[90] В связи с чтением статьи «Единая заповедь» Толстой писал В. Г. Черткову 23 июня 1909 г.: «Вчера я прочел нашим (человек 5) мою статью «Единая заповедь», которая, как мне кажется, может вызвать в людях хорошие мысли и чувства. Но, читая ее вчера нашему брату, изуродованным, жалким людям, я убедился (хорошо убедиться в этом на 81-м году), что все, что я пишу, глупо, потому что обращено не к той публике, которой это нужно — к миллионам рабочих без- и полуграмотных, но с неизвращенным разумом людям. И в первый раз не умом, а всем существом понял всю глупость того, что делал, и намерен те месяцы, дни, часы, которые мне остались, обратить на писание для них, передачи им того, что я, мне кажется, что знаю, а они, мне кажется, не знают; писать для них и в рассуждательной и в художественной форме» (*ПСС*, т. 89, с. 124).

[91] Первого июля Толстой ездил на ярмарку в село Ломцы (в

семи верстах от Кочетов) и провел там полтора часа. «Хорошо было» (запись в дневнике 3 июля. — *ПСС*, т. 57, с. 92).

[92] Первый Всероссийский съезд издателей и книгопродавцев происходил в Петербурге с 29 июня по 5 июля 1909 г. Приветствие осталось без ответа.

[93] Президент XVIII Международного мирного конгресса, назначенного на 14 августа 1909 г. в Стокгольме, уведомлял Толстого об избрании его почетным делегатом Конгресса и приглашал принять участие в его работе. В ответном письме от 12/25 июля 1909 г., адресованном Организационному комитету, Толстой сообщал, что намерен прибыть на Конгресс к назначенному сроку и выступить с изложением своих взглядов на войну (*ПСС*, т. 80, с. 22—23). См. прим. 103.

[94] Ответ на письмо агронома Н. М. Кузьмина от 10 июля 1909 г. (*ПСС*, т. 80, с. 18).

[95] Статья «О науке», написанная 1—20 июля 1908 г. в ответ на письмо (от 22 июня) симбирского крестьянина Ф. А. Абрамова с вопросами о том, «что́ есть наука?» и «чего до́лжно требовать от науки?». Впервые опубликовано — «Русские ведомости», 1909, 10 ноября, № 258. Статью «О науке» см. в *ПСС*, т. 38.

[96] По поводу языка авторов сборника «Вехи» Толстой записал в дневнике: «Удивительный язык. Надо самому бояться этого. Нерусские, выдуманные слова, означающие подразумеваемые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные. Могут быть нужны эти слова, только когда речь идет о ненужном» (*ПСС*, т. 57, с. 52).

[97] Первого июля 1909 г. Мечников прислал Толстому из Парижа две книги Elie Metchikoff, Essais Optimistes (Илья Мечников. Оптимистические этюды. Париж, 1907). Edouard Foá. La Traversée de l'Afrique, du Sambése au Congo Française (Эдуард Фоа. Путешествие по Африке от Замбези до французского Конго. Париж, 1900). Читая книгу Мечникова «Оптимистические этюды», Толстой, как он записал в дневнике, «ужасался на ее легкомыслие» (*ПСС*, т. 57, с. 97).

[98] Крестьяне деревни Колпна впервые обратились по этому вопросу к Толстому 8 июля 1909 г. Толстой написал тогда владельцу земли, крупному московскому заводчику Ю. П. Гужону письмо, прося его продать часть земли крестьянам (см. *ПСС*, т. 80, с. 8—9). Вторичное обращение крестьян к Толстому было вызвано тем, что Гужон на просьбу крестьян не откликнулся. Во втором письме к Гужону Толстой повторил свою просьбу и назвал цену за землю — двести рублей за десятину (*ПСС*, т. 80, с. 27). Ответа от Гужона не поступило.

[99] Художник И. К. Пархоменко находился в Ясной Поляне с 19 по 21 июля 1909 г. Созданный им портрет Толстого воспроизводился на открытках. (В настоящее время местонахождение портрета неизвестно.) О пребывании художника в Ясной Поляне см.: И. К. Пархоменко. Три дня у Толстого. — «Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом». М., изд-во «Златоцвет», 1911.

[100] А. М. Оссендовский (Марк Чертван). Людская пыль. Повесть. СПб., 1909. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[101] В дневнике от 21 июля Толстой записал: «С вечера вчера Софья Андреевна была слаба и раздражена. Я не мог заснуть до 2-х и дольше. Проснулся слабый. Меня разбудили. Софья Андреевна не спала всю ночь. Я пошел к ней. Это было что-то безумное. Душан отравил ее и т. п. ... Я устал и не могу больше и чувствую себя совсем больным... Страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва, и во вред всем» (*ПСС*, т. 57, с. 98).

[102] В дневнике от 22 июля Толстой записал: «Вчера ничего не ел и не спал, как обыкновенно. Очень было тяжело. Тяжело и теперь, но умиленно-хорошо. Да, «любить желающих нам зло», говоришь? Ну-ка, испытай. Пытаюсь, но плохо. Все больше и больше думаю о том, чтобы уйти и сделать распоряжение об имуществе... Пришел с прогулки. Не знаю, что буду делать» (*ПСС*, т. 57, с. 99).

[103] Поездка Толстого в Стокгольм не состоялась. Конгресс был вначале отложен из-за крупной забастовки рабочих, но потом состоялся, однако присланный доклад Толстого зачитан не был. «Умеренная и благонамеренная среда пацифистов, собравшихся на конгресс, была скандализирована «выходкой» Льва Николаевича, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали, — не должно быть войска. Это показалось им такой наивностью, что, снисходительно улыбаясь и воздавая должное великому гению, они, пригласившие его на конгресс, не решились вслух объявить его мнение» (П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. IV. М., 1923, с. 191). Доклад был впервые опубликован за границей: «Л. Н. Толстой. Собрание статей по общественным вопросам за 1909 год». Лос-Анжелес, изд. Русского народного университета, 1910. Текст доклада см. *ПСС*, т. 38.

[104] «Тульская молва», 1909, 16 июля (без подписи).

[105] Письмо от 26 июля 1909 г. Ответ не известен.

## ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ В ЧЕРДЫНЬ

(Стр. 281)

Печатается (с небольшими сокращениями) по сохранившемуся в архиве Н. Н. Гусева исправленному, дополненному и отредактированному им тексту его брошюры «Из Ясной Поляны в Чердынь. Воспоминания бывшего секретаря Л. Н. Толстого», М., 1911. Очерк написан в 1910 г.

[1] См. запись от 22 октября—20 декабря 1907 г.,

[2] См. запись от 20 сентября 1908 г.,

[3] Статья «Прощание с Гусевым». — «Русские ведомости», 1909, 11 августа, № 201.

[4] В своем «Заявлении об аресте Н. Н. Гусева» Толстой с возмущением писал: «Все мы слышали и читали о тысячах и тысячах таких распоряжений и исполнений, но когда они совершаются над близкими нам людьми и на наших глазах, то они бывают особенно поразительны. И потому то, что случилось с Гусевым, особенно поразило меня: поразила меня и несообразность с личностью Гусева той жестокой и грубой меры, которая была принята против него, поразила и явная несправедливость выставленных причин для ее применения и, главное, нецелесообразность этой меры, как по отношению к Гусеву, если он считается вредным человеком, так и еще более по отношению ко мне, против кого, собственно, и направлена эта мера». И далее: «Я опять просил бы тех людей, которым неприятно распространение моих мыслей и моя деятельность, если они уже никак не могут оставаться спокойными и во что бы то ни стало хотят употреблять насильственные меры против кого-нибудь, то употребить их никак не против моих друзей, а против меня, единственного и главного виновника и появления и распространения этих неугодных им мыслей» (*ПСС,* т. 38, с. 127, 130).

«Заявление» было опубликовано в газете «Русские ведомости», 1909, 11 августа, № 183.

[5] Ответ на письмо Н. Н. Гусева от 16 августа 1909 г., в котором он сообщал о прибытии к месту ссылки в с. Коренино Пермской губернии. Этому письму предшествовало другое письмо Толстого к Н. Н. Гусеву, написанное 6 августа 1909 г., то есть через день после ареста последнего. Письмо до Гусева не дошло, — поэтому, вероятно, оно не вошло в его очерк «Из Ясной Поляны в Чердынь». Приводим это письмо:

«Пишу вам, милый друг Николай Николаевич, чтобы только сказать вам, как вы мне близки и дороги не по вашей помощи мне материальной, а по духовному единению. Написал нынче письмо губернатору. Марья Алексеевна повезет его и поедет к

нему завтра. Я нынче писал о вас, но, как всегда, сначала не то. Постараюсь завтра поправить. Как меня радует то, что все, все вас так хорошо любят. Пишите же почаще и, пожалуйста, доставьте нам удовольствие чем-нибудь вещественным услужить вам. *Л. Т.»* *(ПСС,* т. 80, с. 53).

В письме к тульскому губернатору Д. Д. Кобеко, переданном через М. А. Маклакову, Толстой просил разрешить Н. Н. Гусеву следовать к месту ссылки не по этапу, а на собственный счет (*ПСС,* т. 80, с. 54).

*«Нынче писал о вас».* — Имеется в виду «Заявление об аресте Н. Н. Гусева».

[6] Запрос в Государственной думе об аресте Гусева сделан не был.

[7] Толстой получил письмо от агронома Д. П. Павлова от 23 августа с известиями о своем друге А. Н. Соловьеве, который за отказ от военной службы был приговорен к четырем годам заключения.

[8] Засосов Владимир Иванович — крестьянин Клинского уезда Московской губернии, отказавшийся по религиозным мотивам от военной службы, приезжал в Ясную Поляну 10—11 августа с рекомендательным письмом от П. А. Сергеенко.

[9] Толстой получил приглашение прочесть подготовленный им для Конгресса мира в Стокгольме доклад (см. записи от 9 и 22 июля 1909 г. и прим. 93 и 103 к ним) на массовом собрании в Берлине. По его просьбе, словацкий врач Альберт Шкарван перевел доклад на немецкий язык, а немецкий публицист Эуген Шмит должен был зачитать его. Однако чтение было запрещено полицейскими властями.

[10] Толстой получил двадцать три таких письма.

[11] Имеется в виду анонимная статья в газете «Русские ведомости», 1909, 20 августа. Против нее и других статей, осуждающих арест Гусева, направлена статья М. О. Меньшикова в «Новом времени» «Две души Л. Н. Толстого» (1909, 23 августа, № 12014.).

[12] Сборники «На каждый день» выходили отдельными выпусками в издании т-ва Сытина. В 1909—1910 гг. вышло в свет шесть выпусков. В их подготовке к печати принимал участие И. И. Горбунов-Посадов.

[13] *ПСС,* т. 80, с. 73—74.

[14] В письме от 23 августа 1909 г. Н. Н. Гусев сообщал о том, как он устроился в селе Корепино.

[15] См. запись от 11 августа 1908 г. и прим. 202 к ней.

[16] Толстой гостил у В. Г. Черткова в его имении Крекшино Московской губернии с 4 по 8 сентября 1909 г.

[17] Издано под заглавием: «Изречения китайского мудреца Лао-Тсе, избранные Л. Н. Толстым». М., изд-во «Посредник», 1910.

[18] В марте 1909 г. Толстой получил из г. Закопане (Галиция) от польки Стефании Ляудвен письмо с упреками в том, что, откликнувшись печатно на захват Австрией Боснии и Герцеговины, он не выступил в защиту угнетенного царским правительством польского народа. «Она мне пишет, — рассказал Толстой, — Вы написали о Боснии и Герцеговине, а о Польше ничего не скажете. Здесь ничего не поделаешь с вашим дурацким непротивлением, а единственное средство — вооруженная борьба» (*Гольденвейзер,* I, с. 312). Толстой тогда же написал ей ответ, но не отправил его. Приступив во второй половине августа к переработке письма, он закончил его 8 сентября. Статья «Ответ польской женщине» (вместе с письмом С. Ляудвен) была опубликована в журнале «Жизнь для всех» (1909, № 12) с большими цензурными сокращениями. Полный текст статьи см. *ПСС,* т. 38.

[19] Издатель И. Д. Сытин задерживал выпуск в свет второго издания сборника «Круг чтения» и отдельных выпусков «На каждый день». Свое недовольство Толстой высказал 3 сентября в Москве корреспонденту «Русского слова» С. П. Спиро, и тот передал это Сытину.

[20] *ПСС,* т. 80, с. 88—89.

[21] В письме от 31 августа 1909 г. Гусев писал о своей новой жизни, о товарищах по ссылке, о своем настроении.

[22] См. заметку «Прокламации в банках», с. 330—331.

[23] См. запись от 2 марта 1908 г.

[24] *ПСС,* т. 80, с. 99.

[25] В письме от 5 октября 1909 г. Гусев вспоминал свою жизнь в Ясной Поляне и благодарил за ту пользу, которую принесло ему общение с Толстым.

[26] Семнадцатого октября 1909 г. в Ясную Поляну приезжали представители «Общества деятелей периодической печати» и записали голос Толстого на пяти пластинках. Толстой прочитал отрывки из своих последних статей.

[27] Девятнадцатого октября 1909 г. Толстой записал в дневнике: «Перечитал по случаю фонографа свои писания: «О смысле жизни», «О жизни» и др., и так ясно, что не надо только портить того, что сделано» (*ПСС,* т. 57, с. 154).

[28] *ПСС,* т. 80, с. 152.

[29] В письме от 3 ноября 1909 г. Гусев писал о своем намерении заняться популярным изложением философских взглядов Толстого.

[30] *ПСС,* т. 80, с. 190.

[31] В письме от 22 декабря 1909 г. Гусев писал о крестьянине

И. Е. Шашкове, отбывшем в с. Корепино свой срок ссылки и возвращающемся домой. По пути на родину Шашков заезжал в Ясную Поляну.

[32] В письме от 2 января 1910 г. Гусев приводил выписки из письма к нему С. Н. Дурылина, посетившего Ясную Поляну 20 октября 1909 г.

[33] Согласно вычислениям английского астронома Э. Галлея, в 1910 г. ожидалось прохождение над землей кометы (названной «Кометой Галлея»), что вызвало в печати много вздорных толков.

[34] *ПСС*, т. 81, с. 43—44.

[35] В письме от 25 января 1910 г. Гусев описывал быт жителей с. Корепина и близлежащих деревень.

[36] Эти сборники получили позднее название «Путь жизни». М., изд-во «Посредник», 1911.

[37] *ПСС*, т. 81, с. 99.

[38] Ответ на письмо Гусева от 16 февраля 1910 г.

[39] Описывая свое душевное состояние, Гусев сообщал, что стремится уничтожить в себе недобрые чувства к людям, в частности, к В. Г. Черткову.

[40] *ПСС*, т. 81, с. 113.

[41] Слова ветеринарного врача Ивана Ивановича из рассказа «Крыжовник». См.: А. П. Чехов, Собр. соч., т. 8. М., 1956, с. 308.

[42] В письме от 9 марта 1910 г. Гусев сообщил, что ему грозит новое привлечение к суду, так как при обыске у одного ссыльного нашли запрещенные статьи Толстого, которые он дал ему читать. Согласно найденному недавно «Делу канцелярии Пермского губернатора о высылке в Чердынский уезд под гласный надзор полиции рязанского цехового Николая Николаевича Гусева», обыск был произведен в селе Тулпане у административно ссыльного М. Е. Масалова; у него были найдены переданные ему Гусевым брошюры Л. Н. Толстого, изданные «Посредником»: «Привет заключенным за отказ от военной службы» и «О государстве» («Исторический архив», 1961, № 2, с. 227. Публикация Е. Т. Захаровой). При обыске у Гусева было найдено семнадцать запрещенных книг Толстого и Кропоткина.

[43] *ПСС*, т. 81, с. 152.

[44] Ответ на письмо Гусева от 13 июля 1910 г. Письмо Гусева к В. Г. Черткову не известно.

[45] Имеется в виду статья «О безумии», оставшаяся незавершенной (см *ПСС*, т. 38).

[46] Гусев приложил к своему письму вырезку из газеты «Утро России» (1910, 8 июня, № 166) со статьей А. Стаховича «Случай». В ней сообщалось о жестокой расправе над крестья-

нами Лебедянского уезда Тамбовской губернии за их отказ выделиться из общины на хутора. В результате столкновения с войсками шесть человек было убито и пятнадцать ранено.

[47] *ПСС*, т. 82, с. 61—62.

[48] Ответ на письмо Гусева от 31 августа 1910 г., в котором он сообщал, что находится в Чердынском земском арестном доме, где отбывает двухнедельный арест за самовольную отлучку.

[49] «Воспоминания о Н. Я. Гроте» (см. *ПСС*, т. 38).

[50] П. В. Калачев, народный учитель из г. Бугуруслана, отбывал четырехлетний срок заключения за отказ от военной службы по религиозным мотивам. Письмо Толстого к нему см. *ПСС*, т. 82, с. 153—154.

[51] *ПСС*, т. 82, с. 155.

[52] См. запись от 11 августа 1908 г.

[53] В бумагах Н. Н. Гусева сохранился следующий вариант окончания его очерка «Из Ясной Поляны в Чердынь»:

«Я прожил в ссылке полностью все два года, которые были отмерены мне самодержавным правительством. Здесь, в ссылке, я пережил радостное чувство при известии об уходе Толстого из тягостной для него яснополянской усадьбы и мучительно перестрадал вскоре за тем последовавшую его смерть.

Пятнадцатого июля 1911 г. я выехал с места ссылки и направился прежде всего в Ясную Поляну.

Незадолго до того кипевший оживленной жизнью, яснополянский дом был пуст и мертв и напоминал кладбище. В нем жила одна Софья Андреевна. Александра Львовна, не дружившая с матерью, жила отдельно в своей усадьбе в Телятинках.

Я поселился у В. Г. Черткова и занялся приготовлением к печати неизданных произведений Толстого. В Ясной Поляне я бывал редко и всегда с тяжелым чувством, вызывавшимся сознанием той ничем не заполнимой пустоты, которая образовалась в ней после смерти Льва Николаевича».

## ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 317)

Печатается (с небольшими сокращениями) по сохранившимся в архиве Н. Н. Гусева рукописям: «Отрывочные воспоминания о Л. Н. Толстом, не вошедшие в мою книгу «Два года с Л. Н. Толстым», «Мои отношения к Льву Николаевичу» и др. Отдельные записи публиковались автором в «Литературной газете», 1945, 17 ноября, и в сб. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1960. Большинство записей публикуется впервые.

Некоторые подзаголовки даны составителем (они отмечены угловыми скобками).

[1] Двадцать седьмого ноября 1864 г. Толстой в Большом театре слушал оперу Россини «Моисей».

[2] *ПСС*, т. 57, с. 69.

[3] «Ежедневник» С. А. Толстой. Запись от 17 апреля 1909 г.

[4] Это выражение, приведенное (со слов Тургенева) А. А. Фетом в его письме к Толстому от 20 июня 1876 г., заимствовано Тургеневым у самого Толстого. В письме к И. С. Тургеневу от 1 ноября 1857 г. Толстой писал: «Ежели вы верите в мою дружбу к вам, напишите мне, как можете искреннее, что́ вы делаете? Что думаете? Зачем вы остались? Эти вопросы сильно мучают меня. И даже по этому случаю гончие собаки подняли у меня под черепом мысль, которую гоняют с месяц» (*ПСС*, т. 60, с. 235).

[5] Письмо к В. Г. Черткову от 2 декабря 1884 г. (*ПСС*, т. 85, с. 121).

[6] Н. Н. Гусев читал журнал «Весы», 1908, № 2.

[7] Д. Маковицкий. Яснополянские записки. Первый выпуск. М., изд-во «Задруга», 1922, с. 34.

[8] «Не могу молчать» (*ПСС*, т. 37, с. 91).

[9] «Круг чтения» (*ПСС*, т. 41, с. 441).

[10] Там же, с. 588.

[11] *ПСС*, т. 80, с. 6.

[12] «Номер газеты» (*ПСС*, т. 38, с. 277).

[13] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, 1879—1880, т. XII, кн. 2. Л., 1967, с. 273—274.

[14] Упоминание о Гаршине содержится в черновой рукописи «Предисловия к сочинениям Гюи де Мопассана» (*ПСС*, т. 30, с. 273). В окончательный текст оно не вошло.

[15] Г. А. Русанов в очерке «Поездка в Ясную Поляну» так описывает свой разговор с Толстым о Гаршине:

« — А читали вы Гаршина? — вдруг с большим оживлением спросил Толстой.

— Да, читал.

— Это прелесть, прелесть! Тургенев первый указал мне на него. «Вот и прочтите», — сказал он мне, увидав у меня книжку журнала. — И действительно прелесть» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. I. М., 1955, с. 237).

[16] Последнее издание: П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, тт. 1—4. М. — Пг., ГИЗ, 1923.

[17] Рассказ «Заблудшие», как и некоторые другие рассказы Чехова, не понравился Толстому.

Его отзыв о ранних юмористических рассказах Чехова: «Это не сатира, которая исходит из определенных требований, а только

ирония, — ирония ни на чем не основанная» (В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1960, с. 85).

[18] См. «Из Ясной поляны в Чердынь», с. 308.

[19] «Воспоминания о суде над солдатом» (*ПСС*, т. 37, с. 68).

[20] Имеется в виду рассказ А. И. Куприна «Мелюзга». — Впервые опубликован в журнале «Современный мир», 1907, № 12.

[21] А. Шопенгауэр. О религии. Перевод П. Пороховщикова. СПб., 1906.

[22] См.: А. И. Герцен. Былое и думы, ч. II, гл. 16. — Собр. соч. в 30-ти томах, т. 8. М., 1956, с. 289.

[23] Драма «Живой труп» (*ПСС*, т. 34, с. 22).

[24] На славном посту (1860—1900). — «Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому». СПб., 1901.

[25] «Русское слово», 1909, 18 марта, № 64.

[26] См. об этом также с. 48—49.

[27] Письмо к В. Г. Черткову от конца ноября — начала декабря 1885 г. (*ПСС*, т. 85, с. 286—287).

[28] «Война и мир» (*ПСС*, т. 11, с. 209).

[29] «Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе)». Сочинения Ф. Глинки, автора «Писем русского офицера», М., 1839, с. 39.

[30] См. рецензию В. Г. Белинского на кн.: «Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе)». Сочинения Ф. Глинки, автора «Писем русского офицера», М., 1839. — Полн. собр. соч., т. III. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 349.

[31] «Дневник А. С. Суворина». Редакция и примечания К. Кричевского. Изд. Л. Д. Френкель. М. — Пг., 1923, с. 133.

[32] Отрывок «Свободный человек» см. в «Круге чтения» (*ПСС*, т. 41).

[33] Буревич К. (Нахичевань) в письме от 16 февраля 1908 г., разбирая роман «Воскресение», высказал ряд резких замечаний по адресу Дмитрия Нехлюдова. По его мнению, Нехлюдов — человек неискренний, лицемерный, пошлый, а его поступок в отношении Катюши Масловой — мерзкий и подлый. К. Буревич назвал «неправдоподобным» нравственное возрождение «закоренелого барина» Нехлюдова, а потому подверг сомнению правомерность заглавия романа — «Воскресение», поскольку никакого внутреннего воскресения у главного героя романа не произошло.

[34] См.: «Бедные люди. По Виктору Гюго изложил Л. Н. Толстой» (*ПСС*, т. 41, с. 145—146).

[35] Имеется в виду рассказ А. Франса «Прокурор Иудеи».

[36] См.: «Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские. (Воспоминания и впечатления В. Т-вой Починковской)». — «Минувшие годы», 1908, № 1, с. 84—124; № 2, с. 265—304.

[37] Стихотворение М. Л. Михайлова «Памяти Добролюбова» было напечатано в «Колоколе», 1862, 15 января, лист 119—120.

[38] «Тайный» дневник 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 172).

[39] «Тайный» дневник 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 173).

[40] *ПСС*, т. 57, с. 82. А. В. Свербеева — жена С. Н. Свербеева, бывшего тогда советником русского посольства в Вене.

[41] Из письма к В. А. Молочникову от 16 июня 1909 г. (*ПСС*, т. 79, с. 234).

[42] Книга печаталась отдельными выпусками. В полном виде см.: «Лев Толстой, критико-биографическое исследование Н. Г. Молоствова и П. А. Сергеенко, под ред. А. Волынского», изд. П. П. Сойкина, СПб., 1910.

[43] Этот эпизод вошел в рассказ «Смерть Сократа», помещенный Толстым в «Круг чтения» (*ПСС*, т. 42, с. 65—72).

### ЛЕВ ТОЛСТОЙ — ЧЕЛОВЕК
(Стр. 349)

Печатается по машинописной копии, сохранившейся в архиве Н. Н. Гусева. Очерк написан в 1928 г. для передачи по радио. Отдельные фрагменты из него публиковались под заглавиями «День Льва Толстого», «Из воспоминаний» и др. в кн.: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М. — Л., 1928; в газете «Уральский рабочий», 1940, 20 ноября; в кн.: «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II, М., 1960, и других изданиях. Очерк публикуется с некоторыми сокращениями.

[1] Об этом Толстой рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Помню, как он [отец] раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю» («Прощай, свободная стихия...») и «Наполеон» («Чудесный жребий совершился: угас великий человек...») и т. д. ... Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (*ПСС*, т. 34, с. 357).

[2] Тургенев писал в письме к И. П. Борисову от 27 февраля 1868 г.: «В этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть — что нельзя не сознаться, что с появления «Войны и мира» — Толстой встал на первое место между всеми нашими современными писателями» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. VII, М. — Л., 1964, с. 76).

[3] Из письма И. С. Тургенева к А. А. Фету от 30 сентября 1873 г. После посещения Ясной Поляны Тургенев писал: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три прекрасных дня... Его имя начинает приобретать европей-

скую известность. Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, т. XIII. М. — Л., 1966, с. 361).

[4] *ПСС*, т. 23, с. 47.

[5] «В чем моя вера» (*ПСС*, т. 23, с. 455—456).

[6] «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». Изд. М. и С. Сабашниковых. 1928, с. 41.

[7] Из письма к Т. А. Кузминской.

[8] В связи с болезнью Толстого Чехов писал М. О. Меньшикову 28 января 1900 г.: «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место... Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было бы беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться» (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. XVIII. Письма, 1899—1900, М., 1949, с. 312—313).

[9] Об этом эпизоде Т. Л. Толстая рассказывала Д. П. Маковицкому. Злоба реакционных кругов против Толстого была вызвана его трообличительным трактатом «Царство божие внутри вас», увидевшим свет в 1893 г. за границей. По словам Т. Л. Толстой, раздражение царя против Толстого было очень велико, но на предложение употребить против Толстого репрессии Александр III сказал: «Я не желаю увеличивать его славу короной мученика». От себя Т. Л. Толстая добавила: «Мы ожидаем, что нас все-таки куда-нибудь вышлют. Но правительство знает, что, если бы оно выслало отца за границу, это лишь увеличило бы его влияние» (Д. П. Маковицкий. У Л. Н. Толстого. — «Утро России», 1910, 9 ноября, № 295).

[10] Эту мысль Толстой в разных выражениях высказывал в ряде писем к своим единомышленникам, осужденным за отказы от военной службы и за распространение его запрещенных сочинений.

[11] Из письма Толстого к министру внутренних дел И. Л. Горемыкину и министру юстиции Н. В. Муравьеву от 20 апреля 1896 г. Точный текст: «Если же правительство хочет непременно не бездействовать, а наказывать, угрожать или пресекать то, что оно считает злом, то наименее неразумное и наименее несправедливое, что оно может сделать, состоит в том, чтобы все меры наказания, устрашения или пресечения зла направить... против меня, тем более что я заявляю вперед, что буду, не переставая,

до своей смерти, делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед богом обязанностью» (*ПСС*, т. 69, с. 86).

[12] Из плана ненаписанной статьи о Л. Н. Толстом. — «Художественное наследство», Репин, т. I. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1948, с. 330. Точный текст: «Вырубленный задорно топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд, грубых простых черт все другие покажутся скучны».

[13] Из письма Т. Л. Толстой к А. П. Чехову от 30 марта 1899 г. Точный текст: «Отец читал рассказ четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи» («Архив Чехова. Аннотированный каталог писем к А. П. Чехову», вып. II, Гос. библиотека СССР имени В. И. Ленина, М., 1941, с. 68).

## УКАЗАТЕЛЬ
### ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*



---

* В указатель включены все имена, названия литературных произведений, статей, журналов, прямо или косвенно упоминаемых в тексте. Аннотируются, как правило, лишь те имена, о которых нет сведений в примечаниях. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не вводятся. Ссылки на страницы примечаний набраны курсивом. Иноязычные имена и названия произведений помещены в конце указателя.

## СОДЕРЖАНИЕ

**Гусев Н. Н.**

Г 96 Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. 1907—1909. Сост., вст. статья и примеч. А. И. Шифмана. М., «Худож. лит.», 1973

464 с.

В сборник воспоминаний Н. Н. Гусева, секретаря Л. Н. Толстого, включены его дневник «Два года с Л. Н. Толстым», очерки «Из Ясной Поляны в Чердынь», «Отрывочные воспоминания» и «Лев Толстой — человек». Мемуары Н. Н. Гусева, охватывающие жизнь великого писателя 1907—1909 годов, создают яркое представление о его неповторимой личности, о его напряженных духовных исканиях, литературных интересах, о круге его общения, об обстановке в Ясной Поляне. Воспоминания Гусева занимают видное место в обширной мемуарной литературе о Льве Толстом.

$Г \frac{0722\text{-}226}{028(01)\text{-}73}$ 35—73 8PI

*Николай Николаевич*

*Гусев*

ДВА ГОДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Редактор *С. Розанова*

Художественный редактор *А. Виноградов*

Технический редактор *Л. Титова* Корректоры *Т. Кузина* и *А. Юрьева*

Сдано в набор 12/VII 1973 г. Подписано в печать 22/XI 1973 г. Бумага № 1, $84 \times 108^1/_{32}$, 14,50 печ. л., 24,36 усл. печ. л., 25,71 уч.-изд. л. + 1 вкл. + + 1 альбом = 26,32 л. Тираж 75000 экз. Заказ 716. Цена 1 р. 19 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
198052, Ленинград, Измайловский проспект, 29


1Р. 18К.